



СТАНИСЛАВ  
ЛЕМ  
ВОЗВРАЩЕНИЕ  
СО ЗВЕЗД



СТАНИСЛАВ ЛЕМ  
ВОЗВРАЩЕНИЕ  
СО ЗВЕЗД





---

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

---

# STANISŁAW LEM

Powrot z gwiazd

Głos Pana

Doskonała próżnia

Wierny Robot



КЛАССИКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ  
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

---

# СТАНИСЛАВ ЛЕМ

Возвращение со звезд  
роман

Глас Господа  
роман

Абсолютная пустота  
рассказы

Верный робот  
телевизионная пьеса



МОСКВА 1997



УДК 884-31  
ББК 84(4П)  
Л 44

Разработка серийного оформления  
художника *И. Саукова*

Серия основана в 1997 году

В оформлении использована работа  
художника *Stannigger* с согласия самого художника  
и его агента *Александра Корженевского*

**Лем Ст.**

Л 44

Возвращение со звезд: Фантастические произведения. — М.: Изд-во Текст, ЗАО Изд-во ЭКСМО, 1997.— 496 с. (Серия «Классика приключений и научной фантастики».)

ISBN 5-251-00628-4 («ЭКСМО»)  
ISBN 5-7516-0099-1 («Текст»)

В книгу вошли фантастические романы: «Возвращение со звезд» — о человеке, сто с лишним лет спустя вернувшемся на Землю из космической экспедиции, и «Глас Господа» — о расшифровке таинственной передачи с небес, избранные рассказы из книги фантастических «рецензий на ненаписанное» «Абсолютная пустота», а также телевизионная пьеса «Верный робот».

УДК 884-31  
ББК 84(4П)

ISBN 5-251-00628-4 («ЭКСМО»)  
ISBN 5-7516-0099-1 («Текст»)

- © Stanislaw Lem, Powrot z gwiazd, 1961;  
Glos Pana, 1968; Doskonala próznia, 1971;  
Wierny Robot, 1963
- © Перевод, подготовка текста.  
Издательство «Текст», 1997 г.
- © Оформление, издание на русском языке.  
ЗАО «Издательство «ЭКСМО», 1997 г.

# Возвращение со звезд

роман





Я не взял с собой ничего, даже плаща. Мне сказали, что это не нужно. Позволили оставить черный свитер: сойдет. А рубашку я отвоевал. Сказал, что буду отвыкать постепенно. В проходе, под нависшим днищем корабля, где мы стояли в толчее, Абс протянул мне руку и многозначительно улыбнулся.

— Только тише...

Об этом я и сам помнил. Осторожно сжал его пальцы. Я был совершенно спокоен. Он хотел еще что-то сказать. Я избавил его от этого, отвернувшись, словно ничего не заметил, и поднялся по ступенькам внутрь корабля. Стюардесса повела меня вперед между рядами кресел. Я не хотел отдельного купе. Успели ли ее предупредить об этом? Кресло бесшумно раздвинулось. Она поправила спинку кресла, улыбнулась мне и отошла. Я сел. Подушки были бездонно мягкие, как и всюду. Спинки такие высокие, что я еле видел других пассажиров.

К яркости женских нарядов я уже привык, но мужчин без всяких на то оснований все еще подозревал в маскарade и все еще питал робкую надежду, что увижу нормально одетого человека — жалкий самообман. Посадка закончилась быстро, ни у кого не было багажа. Даже портфеля или свертка. У женщин тоже. Женщин было как будто больше. Передо мной сидели две мулатки в накидках из взъерошенных перьев попугая. Видно, такая теперь была птичья мода. Дальше — какая-то супружеская пара с ребенком. После ярких селенофоров перрона и тоннелей, после невыносимо крича-

---

Powrot z gwiazd, 1961

Перевод Е.Вайсброта, Р.Нудельмана, 1965

щей, фосфоресцирующей растительности на улицах свет вогнутого потолка казался еле тлеющим. Руки мне мешали, я пристроил их на коленях.

Все уже сидели. Восемь рядов серых кресел, ветерок, несущий запах хвои, стихающие разговоры. Я ожидал предупреждения о старте, каких-нибудь сигналов, приказа пристегнуться ремнями — ничего подобного, однако, не произошло. Какис-то неясные тени, словно силуэты бумажных птиц, поплыли назад по матовому потолку. «Что за чертовщина с этими птицами? — беспомощно подумал я. — Может, это что-нибудь означает?»

Я словно одеревенел от постоянного старания не сделать чего-нибудь неподобающего. Так было уже четыре дня. С первой минуты. Я неизменно отставал от событий, и постоянные усилия понять какую-нибудь беседу или ситуацию превращали это напряжение в чувство, близкое к отчаянию. Я был убежден, что и остальные чувствуют то же самое, но мы не говорили об этом, даже наедине. Мы только подшучивали над собственной мощью, над тем избытком сил, который у нас сохранился: ведь и впрямь приходилось все время быть начеку. Поначалу, например, пытаясь встать, я подпрыгивал до потолка, а любая взятая в руки вещь казалась мне пустой, бумажной. Но управлять собственным телом я научился быстро. Здороваясь, уже никому не причинял боли своим рукопожатием. Это было просто. Только, к сожалению, не так важно.

Слева от меня сидел плотный загорелый мужчина с естественно блестящими глазами, возможно, от контактных линз. Внезапно он исчез: его кресло разрослось, поручни поднялись вверх и соединились, образовав нечто вроде яйцевидного кокона. Еще несколько человек исчезло в таких же кабинах, похожих на разбухшие саркофаги. Что они там делали? Впрочем, с подобными загадками я сталкивался на каждом шагу и старался не показывать удивления, если они меня непосредственно не касались.

Интересно, что к людям, которые пялили на нас глаза, узнав, кто мы такие, я относился довольно безразлично. Их изумление не задевало меня, хотя я сразу понял, что в нем нет ни капли восхищения. Раздражали меня скорее те, кто заботился о нас, — сотрудники Адапта. А больше всего, пожалуй, доктор Абс, потому что он обращался со мной, как врач с необычным пациентом, довольно удачно прикиды-



ваясь, что имеет дело как раз с вполне нормальным человеком. А когда притворяться становилось невозможно, он острил

Мне надоели его остроты и притворная непосредственность. Любой встречный (так по крайней мере я полагал), если его спросить, признал бы меня или Олафа себе подобным — ведь не столько мы сами должны были казаться ненормальными, сколько наше прошлое, действительно необычное. Но доктор Абс, как и все в Адапте, знал, что и сами мы другие. В нашем отличии от других не было ничего почетного, оно было лишь помехой для понимания, для самого простого разговора, да что там — мы даже не знали, как теперь открывать двери, поскольку дверные ручки исчезли лет пятьдесят-шестьдесят назад.

Старт наступил неожиданно. Тяжесть не изменилась ни на йоту, ни один звук не проник в герметическую кабину, тени все так же мерно плыли по потолку — может быть, многолетний опыт, выработавшийся инстинкт внезапно подсказали мне, что мы находимся в пространстве, и это была уверенность, а не предположение.

Впрочем, меня занимало совсем другое. Уж слишком легко мне удалось настоять на своем. Даже Освамм не очень-то возражал. Доводы, которые выдвигали они с Абсом, были неубедительны, я сам мог бы придумать лучше. Они настаивали только на одном — что каждый из нас должен лететь отдельно. Они даже не ставили мне в вину то, что я подбил на эту поездку и Олафа (если б не я, он, наверно, согласился бы остаться у них подольше). Это наводило на размышления. Я ожидал осложнений, чего-то такого, что в самую последнюю минуту сведет весь мой план на нет, но ничего не произошло — и вот я лечу. Это последнее путешествие должно закончиться через пятнадцать минут.

Совершенно ясно: то, что я задумал, и то, как я добивался досрочного отъезда, не было для них неожиданностью. Подобные реакции, по-видимому, были внесены в их каталог, значились в их психотехнических таблицах под соответствующими номерами, как стереотип поведения, свойственный именно таким молодчикам, как я. Они позволили мне лететь — почему? Опыт подсказывал им, что я все равно не справлюсь сам? Ведь вся эта «самостоятельная» эскапада сводилась к перелету из одного порта в другой, где меня должен был ждать кто-то из земного Адапта, и все, что мне

предстояло самому совершить, это отыскать нужного человека в условленном месте.

Что-то случилось. Послышались возбужденные голоса. Я выглянул из своего кресла. Женщина, сидевшая через несколько рядов от меня, оттолкнула стюардессу, и та, словно от этого не такого уж сильного толчка, пятилась по проходу медленно, как-то автоматически, а женщина повторяла: «Я не позволю! Пусть это ко мне не прикасается!» Лица женщины я не видел. Сопровождавший ее мужчина, схватив ее за руку, что-то успокаивающе говорил ей. Что означала эта сцена? Остальные пассажиры просто не обратили на нее внимания. В который уж раз меня охватило ощущение невероятной отчужденности. Я поглядел снизу вверх на стюардессу. Она остановилась как раз возле моего кресла все с той же неизменной улыбкой. Девушка улыбалась искренне, явно не ради того, чтобы скрыть огорчение. Она не притворялась спокойной — она действительно была спокойна.

— Выпьете что-нибудь? Прум, экстран, морр, сидр?

Мелодичный голос. Я отрицательно покачал головой. Мне хотелось сказать ей что-нибудь приятное, но я решился всего лишь на банальный вопрос:

— Когда посадка?

— Через шесть минут. Съедите что-нибудь? Вам незачем спешить. Можно остаться и после посадки.

— Нет, благодарю.

Она отошла.

В воздухе, прямо перед глазами, на фоне спинки стоявшего передо мной кресла, возникла словно вырисованная быстрым движением кончика тлеющей папиросы надпись: СТРАТО. Я наклонился, чтобы посмотреть, откуда она взялась, и вздрогнул — спинка моего кресла последовала за мной и мягко обняла меня. Я уже знал, что мебель предупредительно реагирует на любое изменение позы, но все время забывал об этом. Это было неприятно — словно кто-то следил за каждым твоим движением. Я попробовал вернуться в прежнее положение, но, видно, сделал это слишком энергично. Кресло неправильно поняло мои намерения и раскрылось, совсем как кровать. Я вскопчил. Что за идиотизм! Больше самообладания. Наконец уселся снова. Буквы розового СТРАТО задрожали и превратились в другие: ТЕРМИНАЛ. Никаких толчков, предупреждений, свиста. Раздался далекий звук, напоминавший рожок почтальона, четыре

овальные двери в конце проходов между сиденьями широко распахнулись, и внутрь ворвался глухой, всепроникающий шум, словно гул моря. Голоса пассажиров бесследно потонули в этом шуме.

Я продолжал сидеть, а люди выходили. Один за другим мелькали на фоне льющегося снаружи света их силуэты — то зеленым, то пурпурным, то лиловым — настоящий бал-маскарад. Наконец все вышли. Я встал. Машинально одернул свитер. Как-то нелепо так идти, с пустыми руками. Из дверей тянул прохладный ветерок. Я обернулся. Стюардесса стояла у перегородки, не касаясь ее спиной. На лице ее застыла все та же радушная улыбка, обращенная теперь к пустым рядам кресел, которые начали неторопливо свертываться, складываться, словно какие-то мясистые цветы, одни быстрее, другие чуть медленней — и это было единственным, что двигалось под аккомпанемент плывущего через овальные двери всепроникающего протяжного шума, напоминавшего о море. «Не хочё, чтобы это ко мне прикасалось!» В улыбке вдруг почудилось мне что-то зловещее. Подойдя к двери, я сказал:

— До свидания...

— Всегда к вашим услугам.

Значение этих слов, таких странных в устах молодой красивой женщины, я осознал не сразу, лишь когда отвернулся и уже стоял в дверях. Я хотел поставить ногу на ступеньку, но трапа не было. Между металлическим корпусом и красм перрона зияла щель метровой ширины. Теряя равновесие от неожиданности, неловко прыгнул и уже в воздухе почувствовал, как меня будто подхватывает снизу какой-то невидимый поток, переносит через пустоту и мягко опускает на белую, упруго прогнувшуюся поверхность. Наверно, в полете у меня был довольно нелепый вид, потому что я поймал несколько веселых взглядов, брошенных в мою сторону. Я быстро повернулся и пошел вдоль перрона. Ракета, на которой я прилетел, лежала глубоко в выемке, отделенной от края перрона ничем не огороженной пустотой. Я словно невзначай приблизился к этой пустоте и снова почувствовал, как что-то упруго оттолкнуло меня от белого края. Я хотел было выяснить, где источники этой странной силы, и вдруг словно очнулся — ведь это уже Земля.

Поток людей увлек меня, я брел в толпе, меня толкали со всех сторон. Я даже не разглядел как следует, до чего

громаден этот зал. Впрочем, был ли это один зал? Никаких стен, белый, сверкающий, взметенный ввысь размах невероятных крыльев, между ними — колонны, созданные головокругительным смерчем. Что это? Стремящиеся вверх гигантские фонтаны какой-то густой жидкости, просвеченные изнутри разноцветными прожекторами? Нет. Вертикальные стеклянные тоннели, по которым проносились вверх вереницы расплывавшихся в стремительном полете машин? Я уже ничего не понимал. Меня непрерывно толкали, поворачивали, я пытался выбраться из этой муравьиной толчеи на свободное место, но свободного места не было. Я был на голову выше всех и потому смог увидеть, что опустевшая ракета удаляется, — Впрочем, нет, это мы уплывали от нее вместе с перроном.

Вверху сверкали огни, в их блеске толпа искрилась и переливалась. Теперь площадка, на которой мы сгрудились, начала подниматься, и я увидел далеко внизу двойные белые полосы, забитые людьми, и черные зияющие щели вдоль беспомощно застывших огромных корпусов ракет, подобных нашей. Их здесь были десятки. Движущийся перрон поворачивал, ускорял бег, подымался к верхним ярусам. По ним, как по немыслимым, лишенным всякой опоры виадукам, шелестя, взвивая внезапными вихрями волосы людей, проносились округлые, дрожащие от скорости тени со слившимися в сплошную светящуюся ленту сигнальными огнями; потом несущая нас поверхность начала разветвляться, делиться вдоль невидимых швов, моя полоса проносилась сквозь помещения, заполненные сидевшими и стоявшими людьми, их окружало множество мелких искорок, будто они жгли разноцветные бенгальские огни.

Я не знал, куда смотреть. Передо мной стоял мужчина в чем-то пушистом, как мех, переливавшемся металлическим блеском. Он держал под руку женщину в пурпуре. Ее платье было усеяно огромными, как на павлиньих перьях, глазами, и эти глаза мигали. Нет, мне не показалось; глаза ее платья в самом деле открывались и закрывались. Полоса, на которой я стоял за этой парой среди еще десятка людей, все набирала скорость. За дымчато-белыми, стекловидными плоскостями то и дело возникали разноцветно освещенные проходы с прозрачными потолками, по которым неустанно шли сотни ног на следующем, верхнем этаже; всепроникающий шум то растекался, то сливался вновь, когда очередной

тоннель этой неведомо куда ведущей дороги сдавливал тысячи людских голосов и непонятных лишь мне одному звуков; в глубине пространство прорезали мчащиеся полосы каких-то непонятных машин — быть может, летающих, — иногда они шли наискось вверх или устремлялись вниз, ввинчиваясь в пространство. Но нигде не видно было ни рельсов, ни несущих опор воздушной дороги. Когда же эти вихри останавливали на миг свой стремительный бег, из-за них появлялись огромные величественно-медлительные платформы, заполненные людьми, — словно парящие пристани, которые двигались в разных направлениях, расходились, поднимались и, казалось, пронизывали друг друга, но это было уже обманом зрения. Трудно было остановить взгляд на чем-нибудь неподвижном, потому что все кругом, казалось, состояло именно из движения, и даже то, что я сначала принял за крыловидный свод, оказалось лишь нависавшими друг над другом ярусами, над которыми теперь возникли другие, еще более высокие. Внезапно, просочившись сквозь стеклистые своды, сквозь эти загадочные колонны, отразившись от серебристо-белых плоскостей, заполыхало на всех изгибах пространства, на всех проходах, на лицах людей тяжелое, пурпурное зарево, как будто где-то далеко, в самом сердце гигантского здания запылал атомный огонь. Зеленый свет пляшущих без усталости неонов помутнел, молочные параболические контрфорсы порозовели. Этот багрянец, внезапно заполнивший все вокруг, казалось, предвещал катастрофу, но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Я даже не заметил, когда он исчез.

У краев нашей полосы то и дело появлялись вращающиеся зеленые кольца, словно повисшие в воздухе неоновые обручи; тогда часть людей переходила на подплывающие ответвления другой полосы или лестницы; я заметил, что сквозь зеленые кольца этого огня можно было проходить свободно, словно они были нематериальны.

Некоторое время я безвольно позволял белой дорожке уносить меня все дальше, затем вдруг подумал, что я, быть может, уже за пределами порта, и этот неправдоподобный пейзаж изогнутого, словно рвущегося в полет стекла и есть уже город, а тот город, который я когда-то покинул, существует лишь в моей памяти.

— Простите, — я коснулся плеча стоявшего впереди мужчины, — где мы находимся?

Мужчина и его спутница посмотрели на меня. Их поднятые ко мне лица выразили удивление. Я все же надеялся, что причиной тому только мой рост.

— На полидуке, — сказал мужчина. — Какой у вас стык? Я не понял ни слова.

— Мы... еще в порту?

— Конечно, — сказал он, помедлив.

— А где... Внешний Круг?

— Вы его уже пропустили. Придется дублировать.

— Лучше раст из Мерида, — вмешалась женщина. Казалось, все глаза ее платья подозрительно и удивленно гляделись в меня.

— Раст? — повторил я беспомощно.

— Вон там... — она показала туда, где сквозь подплывающий зеленый круг просвечивало пустое возвышение с серебряно-черными полосатыми боками, похожее на корпус странно размалеванной, лежащей на боку ракеты. Я поблагодарил и сошел с дорожки, но, видимо, не там, где полагалось, потому что резкий толчок едва не опрокинул меня. Мне удалось удержаться на ногах, но меня так закрутило, что я не знал, куда идти. Пока я размышлял, как быть, место моей пересадки далеко отошло от серебряно-черного возвышения, на которое показывала женщина, и я уже не мог это отыскать. Большинство людей, стоявших рядом, переходило на наклонную полосу, устремлявшуюся вверх, и я сделал то же самое. Уже став на полосу, я увидел огромную, неподвижно плававшую в воздухе надпись: ДУК ЦЕНТР — буквы были такие громадные, что начало и конец надписи не умещались в поле зрения. Меня бесшумно вынесло на гигантский, чуть ли не километровый перрон, от которого как раз отделялся веретенообразный корабль. По мере того как он поднимался, становилось все виднее его продырявленное освещенными окнами днище. Кто знает, может быть, именно этот корабль-левиафан и был перроном, а я находился на «расте» — даже спросить было некого, вокруг было безлюдно. Видно, я попал не туда. Часть моего «перрона» была застроена какими-то сплюснутыми помещениями без передних стен. Подойдя, я увидел что-то вроде низких, слабо освещенных боксов, в которых рядами стояли черные машины. Я принял их за автомобили. Не успел я отойти, как две ближайšie ко мне машины выдвинулись из своих ниш и обогнали меня, с места развивая огромную скорость, — и



прежде чем они исчезли вдаль на параболических склонах, я увидел, что у них нет ни колес, ни окон, ни дверей. Они казались обтекаемыми, как огромные черные капли. «Автомобили или нет — во всяком случае, какая-то стоянка, — подумал я. — Может быть, как раз тех самых «растов»?» По-видимому, лучше всего было обождать, пока не появится кто-нибудь, и отправиться вместе с ним или по крайней мере что-нибудь разузнать. Однако мой перрон, слегка приподнятый, словно крыло невиданного самолета, продолжал оставаться безлюдным, и лишь черные машины одна за другой вырывались из своих ниш и уносились в одну и ту же сторону. Я подошел к самому краю перрона, и упругая невидимая сила снова оттолкнула меня. Перрон и впрямь висел в воздухе, ни на что не опираясь. Подняв голову, я увидел множество таких же перронов, так же неподвижно парящих в пространстве, слабо освещенных; на других перронах, к которым швартовались ракеты, сверкали большие сигнальные лампы. Но нет — это были не ракеты. Это даже не походило на тот корабль, который доставил меня сюда с Луны.

Я стоял долго, пока не увидел, как на фоне каких-то следующих залов (впрочем, не могу с уверенностью сказать, что это были не зеркальные отражения того зала, в котором я стоял) мерно поплыли в воздухе огненные буквы СОАМО СОАМО СОАМО. Перерыв, голубоватая вспышка и потом НЕОНАКС НЕОНАКС НЕОНАКС — быть может, названия станций или реклама продуктов. Мне это ни о чем не говорило. «Сейчас как раз самое время. Мне давно пора найти этого парня из Адапта», — подумал я, повернулся на каблуках, отыскал идущую в обратную сторону дорожку и спустился вниз. Я оказался совсем не на том ярусе и даже не в том зале, где был раньше, — здесь не было тех огромных колонн. Впрочем, может быть, эти колонны куда-нибудь исчезли, мне уже все казалось возможным.

Я очутился среди целой рощи фонтанов, потом попал в бело-розовый зал, где толпились женщины. Проходя мимо одного из фонтанов, я от нечего делать сунул руку в его подсвеченную струю — может, потому, что приятно было встретить что-нибудь хоть немного знакомое. Но рука не ощутила ничего, эти фонтаны были без воды. Потом мне почудился запах цветов. Я поднял руку — она пахла, как тысяча кусков туалетного мыла сразу. Я невольно начал вытирать ее о брюки. Это было как раз перед залом, где находились жен-

щины, одни только женщины. На коридор перед туалетом это не походило. Впрочем, разве тут разберешься? Спрашивать не хотелось. Я повернул обратно. Какой-то юноша, одетый так, словно на нем застыла растекшаяся по телу ртуть, раздувшаяся буфами — или вспенившаяся? — на плечах и в обтяжку на бедрах, разговаривал со светловолосой девушкой, прислонившейся к чаше фонтана. Девушка в светлом платье, совершенно обычном — что приободрило меня, — держала в руках букет бледно-розовых цветов и, пряча в них лицо, глазами улыбалась юноше. Но, остановившись возле них и уже открыв рот, я увидел вдруг, что она ест эти цветы — и на миг у меня перехватило дыхание. Она спокойно жевала нежные лепестки. Ее взгляд скользнул по мне. Застыл. Но к этому я уже привык. Я спросил, где находится Внешний Круг.

Мне показалось, что юношу неприятно удивило или даже разозлило, что кто-то осмелился прервать их беседу. Видно, я совершил бестактность. Он посмотрел вверх, потом опустил глаза, словно думая, что разгадка моего роста в каких-то ходулях. И даже не ответил.

— О, вон там, — воскликнула девушка, — раст на вук, ваш раст, быстрее, вы еще успеете!

Я пустился бегом в указанную сторону, сам не зная куда, ведь я по-прежнему понятия не имел, как выглядит этот проклятый раст. Пробежав шагов десять, я увидел серебристую воронку, спускающуюся сверху, основание одной из тех огромных колонн, которые так поразили меня, — неужели это были летающие колонны? — люди спешили туда со всех сторон, и внезапно я столкнулся с кем-то на бегу. Я даже не покачнулся, лишь остановился как вкопанный, но тот, приземистый толстяк в оранжевом костюме, упал, и с ним произошло нечто невероятное: его костюм завял на глазах, съжился, как проколотый воздушный шарик. Я стоял над ним, совершенно ошеломленный, не в силах даже пробормотать извинения. Он поднялся, посмотрел на меня исподлобья, но ничего не сказал, отвернулся и отошел широким шагом, манипулируя руками перед грудью, — костюм его снова как бы наполнился и стал красивым.

На том месте, которое указывала девушка, уже никого не было. После этого приключения я махнул рукой на поиски всех этих растов, дуков, стыков, Внешнего Круга и решил выбраться из порта. Приобретенный опыт не располагал к

разговорам с прохожими, поэтому я посхал наугад — вверх, вслед за голубой, наискось проведенной стрелой, без особых волнений пронизав собственным телом одну за другой две пламенеющие в воздухе надписи: **ВНУТРЕННИЕ ЛИНИИ**. Я попал на эскалатор, довольно многолюдный. Следующий этаж был выдержан в приглушенных бронзовых тонах с прожилками в виде золотых восклицательных знаков. Плавные переходы потолков и вогнутых стен. Коридоры, лишенные сводов, словно тонущие наверху в светящемся пухе. Стало казаться, что близко жилые помещения, все окружающее чем-то напоминало систему гигантских залов какой-нибудь гостиницы: оконца, никелированные трубы вдоль стен, ниши, где сидели какие-то чиновники, — не то обменные пункты, не то почта, не знаю, я шел дальше. Теперь я был почти уверен, что эта дорога не выведет меня к выходу и что, судя по длительности подъема, я нахожусь уже в надземной части порта. Несмотря на это, я продолжал идти в том же направлении. Неожиданное безлюдье, малиновые плиты с искрящимися звездочками, шеренги дверей. Ближайшая дверь была приоткрыта. Я заглянул. Одновременно со мной с противоположной стороны заглянул какой-то огромный плечистый человек — я сам в зеркале во всю стену. Я распахнул дверь. Фарфор, серебристые трубки, никелировка. Туалет.

Хотелось смеяться, но в общем я чувствовал себя довольно глупо. Я быстро повернул обратно — другой коридор, молочно-белые дорожки, плывущие вниз. Поручни эскалатора мягкие, теплые, я не считал уходящие этажи, людей становилось все больше, они останавливались возле покрытых эмалью ящиков, выроставших из стен на каждом шагу, — прикосновение пальца, что-то падало в руку, они прятали это в карман и шли дальше. Не знаю зачем — я сделал точно то же, что шедший впереди человек в просторном фиолетовом одеянии: нажал кончиком пальца на едва заметную вогнутость клавиша, прямо в подставленную руку упала цветная, теплая полупрозрачная трубка. Я потряс ее, поднес к глазам — какие-то пилюли? Нет. Пробка? Нет, никакой пробки не было. Зачем это? Что с этим делали другие? Просто прятали в карман. На автомате надпись: **ЛАРГАН**. Я стоял, меня толкали. Внезапно я показался сам себе обезьяной, которой протянули авторучку или зажигалку; на мгновение мною овладело слепое бешенство; я сжал зубы, сощу-

рил глаза и, чуть сторбившись, включился в текущий мимо поток. Коридор расширялся, это уже был зал. Огненные буквы: РЕАЛ АММО РЕАЛ АММО.

Сквозь суеящуюся толпу, поверх голов, я увидел издали окно. Первое окно. Огромное, панорамное.

Словно вся глубина ночи раскинулась на одной плоскости. Из светящегося тумана по самый горизонт — разноцветные галактики площадей, скопления спиральных огней, дрожащее зарево над небоскребами; на улицах копошение, извилистое ползание светящихся бусинок, и над всем по вертикалям — хаотическая пляска неонов, огненные плюмажи и молнии, кольца, самолеты и бутылки, багровые одувачики сигнальных огней на причальных мачтах, вспыхивающие на миг солнца и выпрыгивающие с механической стремительностью огненные жилы реклам.

Я застыл и смотрел, слыша за собой мерное шарканье сотен ног. Внезапно город исчез и появилось огромное трехметровое лицо.

— Мы передавали монтаж хроники семидесятых годов из цикла «Виды старых столиц». Сейчас Трапстель начинает передачу из школы космолитов...

Я почти бежал. Это было не окно, а какой-то огромный телевизор. Я ускорял шаги. Немного вспотел. Вниз! Скорее вниз! Золотые квадраты света. Внутри — толпы людей, пена в стаканах, почти черная жидкость, нет, нет, не пиво, поблескивает ядовито-зеленым, и молодежь, парни и девушки, в обнимку, вшестером, по восемь сразу, перегораживая коридор, шли на меня, им приходилось разнимать руки, чтобы меня пропустить. Меня тряхнуло. Оказывается, сам того не заметив, я вступил на движущуюся дорожку. Совсем близко мелькнули удивленные глаза — красивая темноволосая девушка в чем-то блестящем, как фосфоресцирующий металл. Ткань облегла ее, она казалась нагой. Лица — белые, желтые, несколько высоченных черных парней, но я был по-прежнему выше всех. Передо мной расступались. Вверху, за выпуклыми стеклами, мелькали неясные тени, играли невидимые оркестры, а здесь продолжался этот странный променад. В темных коридорах — безликие фигуры женщин, светились только припорошенные блестками волосы да пух, прикрывавший их плечи, — только шеи белели в нем, как странные белые стебли. Фосфоресцирующая пудра?..

Узкий проход вел в галерею каких-то гротескных — подвижных, даже вертявых — статуй; коридор широкий, как улица, с приподнятыми краями, гудел от смеха. Что их так веселило? Эти статуи?

Огромные фигуры в лучах прожекторов источали густое, как сироп, медовое, рубиновое, насыщенное цветом сияние. Я шел, сощутив глаза. Крутой зеленый коридор, павильончики, пагоды с переброшенными к ним мостиками, полным-полно ресторанчиков, острый, назойливый запах жареного, брэнчание стекла, повторяющиеся металлические звуки. Толпа, втянувшая меня сюда, смешалась с другой толпой, потом стало просторней, все садились в открытый настежь вагон, нет, он просто был прозрачный, словно отлитый из стекла, даже сиденья стеклянные и все-таки мягкие. Незаметно для себя я очутился внутри него; мы уже мчались. Вагон летел, люди перекрикивали громкоговоритель, повторявший: «Меридионал, Меридионал, стыки на Спино, Атэйл, Блэкк, Фросом». Весь вагон словно таял, пронизанный светом; за стенами проносились огненные цветные полосы, параболические арки, белые перроны. «Фортеран, Фортеран, стыки Гале, стыки внешних растов, Макра», — бормотал микрофон. Вагон останавливался и мчался дальше. Удивительное дело: ни торможение, ни ускорение не ощущались, словно инерция была уничтожена. Как же так? Я проверил это на трех очередных остановках, чуть подгибая ноги в коленях. На поворотах тоже ничего. Люди выходили, входили, на передней площадке появилась женщина с собакой — в жизни такого пса не видел. Он был огромный, с шарообразной головой, очень некрасивый, в его светло-карих спокойных глазах отражались уносящиеся назад микроскопические гирлянды огней. РАМБРЕНТ, РАМБРЕНТ. Замелькали синеватые и белесые светящиеся трубки, лестницы, отливающие кристаллическим блеском, черные фонтаны, постепенно блеск застывал, каменяя, вагон остановился. Я вышел и растерялся. Над амфитеатром перрона вздымалось многоэтажное знакомое сооружение — все тот же космопорт, другое место того же самого гигантского зала, разделенного крыльями белых плоскостей. Я подошел к краю геометрически правильной чаши перрона — вагон уже отошел — и испытал очередное потрясение: я находился не внизу, как полагал, а, наоборот, очень высоко, этажах в сорока над проносившимися в бездне лентами до-

рожек, над серебряными палубами мерно двигающихся перронов. В их расщелины вползали продолговатые молчаливые громады, и шеренги люков выбрасывали наружу людей, как будто эти чудовища, эти хромированные рыбины откладывали на перрон на равных расстояниях кучки золотой и черной икры. И над всем этим, далеко, как сквозь дымку, я различал ползущие по невидимой строчке сверкающие буквы:

ГЛЕНИАНА РУН, ВОЗВРАЩАЮЩАЯСЯ СЕГОДНЯ СО СЪЕМОЗАПИСИ МИМОРФИЧЕСКОГО РЕАЛА, ВОЗДАСТ В ОРАТОРИИ ЧЕСТЬ ПАМЯТИ РАППЕРА КЕРКСА ПОЛИТРЫ. ГАЗЕТА «ТЕРМИНАЛ» СООБЩАЕТ: СЕГОДНЯ В АММОНЛИ ПЕТИФАРГ ДОБИЛСЯ СИСТОЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭНЗОМА. ГОЛОС ЗНАМЕНИТОГО ГРАВИСТА МЫ БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ В ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЧАСОВ. РЕКОРД АРРАКЕРА. АРРАКЕР ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ ЗВАНИЕ ПЕРВОГО ОБЛИТИСТА СЕЗОНА НА ТРАНСВААЛЬСКОМ СТАДИОНЕ.

Я отошел. Значит, даже счет времени изменился. Огромные буквы, как шеренги пылающих канатоходцев, плыли над морем голов, в их свете женские одежды внезапно вспыхивали холодным металлическим блеском. Я шел, ничего не замечая, а во мне все звучали слова: «Значит, даже счет времени изменился». Это добило меня. Хотелось только одного: выйти отсюда, выбраться из этого дьявольского космопорта, очутиться под открытым небом, на воле, увидеть звезды, ощутить ветер.

Меня привлекла аллея продолговатых огней; замкнутый в прозрачном алебастре потолка острый язычок пламени выписывал какие-то слова: ТЕЛЕТРАНС ТЕЛЕПОРТ ТЕЛЕ-ТОН; стрельчатая арка входа — неимоверная, лишенная опор арка, словно перевернутый нос ракеты, — вела в зал, крытый окаменевшим золотым пламенем. В нишах стен — сотни кабинок, люди вбегали в них, поспешно выбегали, швыряли на пол обрывки лент, нет, не телеграфных, каких-то иных, с выдавленными на них бугорками, другие ступали по этим обрывкам. Я попробовал выйти, по ошибке забрел в темную нишу, не успел отступить, что-то забренчало, вспышка, будто фотолампа, и из щели, окаймленной металлом, как из почтового ящика, выпал сложенный вдвое листок блестящей бумаги. Я взял его, развернул, из него выско-



чила человеческая голова с полураскрытыми, слегка искривленными тонкими губами, уставилась на меня, сощурив глаза: это был я сам. Я снова сложил листок, и объемное видение исчезло. Я осторожно начал раскрывать его — ничего; шире — изображение появилось опять, как будто выпрыгнуло из ниоткуда, — без тела, висящая над листком голова с глуповатым выражением лица. Я всматривался в нее — что это такое, объемная фотография? Потом сунул листок в карман и вышел.

Золотой ад, огненная лава потолка, иллюзорная, но пышущая настоящим пожаром, казалось, низвергались на головы толпы, но никто не смотрел вверх, все хлопотливо бежали из одних кабинок в другие, в глубине прыгали зеленые буквы, колонки цифр сползали по узким экранам; еще кабины, вместо дверей жалюзи, стремительно свертывающиеся при чем-либо приближении, — наконец-то я нашел выход.

Изогнутый коридор; наклонный, как в театре, пол, на стенах — стилизованные букеты раковин, вверху стремительно проносились слова: ИНФОР ИНФОР ИНФОР, бесконечно.

Впервые я увидел ИНФОР на Луне и принял его за искусственный цветок.

Я приблизил лицо к салатовой чаше, она мгновенно, еще ничего от меня не услышав, застыла в ожидании.

— Как мне выйти? — не очень-то вразумительно спросил я.

— Куда? — тотчас откликнулся теплый алыт.

— В город.

— В какой район?

— Безразлично.

— На какой уровень?

— Все равно, я хочу выйти из порта!

— Меридионал, расты: сто шесть, сто семнадцать, ноль восемь, ноль два. Тридукт, уровень АФ, АЖ, АЦ, уровень окружающих митов, двенадцать и шестнадцать, уровень надир в любом южном направлении. Центральный уровень — глидеры, красный — местный, белый — дальний А, Б и В. Уровень ульдеров прямого сообщения, все шкалы с третьей и выше... — мелодично перечислял женский голос.

Мне хотелось вырвать из стены этот микрофон, так заботливо склонившийся ко мне. Я отошел. «Идиот! Иди-

от!» — отзывался во мне каждый шаг. ЭКС ЭКС ЭКС ЭКС, твердила проползавшая вверху, обрамленная лимонно-желтым туманом надпись. Может быть, «Эксит»? «Выход»?

Огромная надпись: ЭКСОТАЛ. Стремительно налетел поток теплого воздуха, даже штанины захлопали. Я оказался под открытым небом. Но мрак ночи сразу же отпрянул, отесненный бесчисленными огнями. Огромный ресторан — столики, сверкавшие всеми цветами радуги; над ними — освещенные снизу, чуть жутковато, лица в глубоких тенях. Низкие кресла, черная жидкость с зеленой пеной, лампы-ноны, сыплющие мелкие искры, нет, вроде светлячков — волны пылающей мошкары.

Хаос огней затмевал звезды. Подняв голову, я увидел лишь черную пустоту над собой. И все-таки удивительно, в эту минуту ее слепое присутствие приободрило меня. Я остановился, почувствовав запах духов, резкий и в то же время нежный. Мимо скользнула пара. Плечи и грудь девушки тонули в пушистом облаке, она укрылась в объятиях мужчины: они танцевали. «Еще танцуют, — подумал я. — И то хорошо». Пара сделала лишь несколько шагов, тусклый, отливающий ртутью круг поднял танцующих, темно-красные их тени мерно шевелились под его огромной, медленно вращавшейся плитой, она была без опор, даже без оси, просто кружилась в воздухе под звуки музыки. Я побрел среди столиков. Мягкий пластик под ногами оборвался, упираясь в шершавую скалу. Сквозь световой занавес я вошел внутрь и оказался в скалистом гроте. Словно множество готических нефов, сооруженных из сталактитов, жилистые натеки сверкающих камней охватывали выходы из пещеры. Там, свесив ноги с обрыва, сидели люди. Возле их колен покачивались слабые огоньки. Внизу простиралось невозмутимое черное зеркало озера, отражая нагромождения скал. На сколоченных кое-как плотиках тоже сидели люди, все лица были обращены в одну сторону. Я спустился к самой воде и увидел на песке, по ту сторону, танцовщицу. Она казалась нагой, но белизна ее тела была неестественной. Мелкими неуверенными шажками она подошла к воде, отразилась в ней, внезапно развела руки, поклонилась — это был конец, но никто не аплодировал, она стояла мгновение неподвижно, потом медленно пошла вдоль воды по неровной линии берега. Она была шагах в тридцати от меня, как вдруг с ней что-то произошло. Мгновение назад я еще видел ее усталое, улыбаю-

щеся лицо, и вдруг как будто что-то заслонило ее, силуэт задрожал и исчез.

— Не угодно ли плаву? — раздался сзади предупредительный голос.

Я обернулся — никого, только круглый столик, смешно перебиравший согнутыми ножками; он переминался, бокалы с шипучкой, стоявшие на боковых подносиках, дрожали — одна лапка услужливо подсовывала мне бокал, другая уже тянулась за тарелкой, похожей на маленькую, вогнутую палитру с дырочкой для пальца сбоку. Автоматический столик, за стеклом центрального оконца я видел тлеющий огонек его транзисторного сердца.

Я увернулся от этих услужливо протянутых ко мне членистых ручек, от лакомств и быстро вышел из искусственного грота, стиснув зубы, словно мне нанесли непонятное оскорбление. Прошел через всю террасу мимо причудливо расставленных столиков, сквозь аллеи лампионов, обсыпаемый невесомой пылью распадающихся, догорающих в воздухе черных и золотых светлячков. У самого края, выложенного замшелыми камнями, я почувствовал наконец настоящий, холодный, чистый ветер. Рядом стоял свободный столик. Я уселся за него, не очень удобно, спиной к людям, глядя в ночь. Внизу, неожиданная и бесформенная, простиралась темнота, и только далеко, очень далеко, на самом горизонте тлели слабые, зыбкие огоньки, какие-то неуверенные, словно это и не электричество было, а еще дальше в небо вонзались холодные тонкие шпаги света, не знаю, то ли дома, то ли какие-то колонны, их можно было принять за лучи прожекторов, если б они не были подернуты мелкой сеткой — так выглядел бы вбитый основанием в землю и уходящий в облака стеклянный цилиндр, слой за слоем заполненный выпуклыми и вогнутыми линзами. По-видимому, они были невероятной высоты, вокруг них роились какие-то огоньки, то вспыхивая, то угасая, так что по временам их охватывал слабый оранжевый, а иногда почти белый ореол. И это все, и это был город; я пытался отыскать улицы, угадать их, но мрачная и, казалось, мертвая пустыня внизу простиралась во все стороны, не освещенная ни единым проблеском света.

— Коль? — услышал я слово, произнесенное, видно, уже не в первый раз, но лишь теперь понял, что обращались ко мне.

Кресло повернулось раньше, чем я. Передо мной стояла девушка лет двадцати, в голубом, плотно облегавшем ее наряде, плечи и грудь тонули в темно-синем меху, который книзу становился все прозрачнее; красивое, гибкое тело напоминало статуэтку из дышащей бронзы. Что-то светящееся, большое закрывало мочки ушей; маленький, растерянно улыбающийся рот, крашенные губы, ноздри тоже красные изнутри — я уже успел заметить, что именно так красится большинство женщин. Схватившись обеими руками за спинку стоявшего напротив кресла, она воскликнула:

— Что с тобой, коль?

Присела.

Мне показалось, что она немного пьяна.

— Здесь скучно, — заговорила она, помолчав. — Правда? Давай махнем куда-нибудь, коль?

— Я не коль... — начал было я.

Поставив локти на столик, она бесцельно проводила рукой над налитым до половины бокалом, так что кончик золотой цепочки, наверху на ее пальцы, погрузился в жидкость. Она качалась и наклонялась все ниже. Я почувствовал ее дыхание. Если она и была пьяна, то вряд ли от вина.

— Как же так? — сказала она. — Ты коль. Должен быть. Каждый ведь коль. Махнем, а?

Хоть бы знать, что это означает?

— Хорошо, — ответил я.

Она встала. Встал и я с этого чертовски низенького кресла.

— Как это у тебя получается? — спросила она.

— Что?

Она посмотрела на мои ноги.

— Я думала, ты стоишь на цыпочках...

Я молча усмехнулся. Она подошла ко мне, взяла под руку и снова удивилась.

— Что у тебя там такое?

— Где? Здесь? Ничего.

— Поёшь, — сказала она и чуть подтолкнула меня.

Мы пошли между столиками, а я размышлял, что бы это значило «поёшь» — может, «сочиняешь»?

Она подвела меня к темно-золотой стене, где светился знак, отдаленно напоминавший скрипичный ключ. Стена раздвинулась, когда мы подошли. Я ощутил дуновение горячего воздуха.

Узкий серебряный эскалатор уходил вниз. Мы стояли рядом. Она не доставала мне до плеча. Круглая кошачья головка, черные, с голубым отливом волосы, профиль, быть может, несколько резкий, но красивый. Вот только эти пурпурные ноздри... Она крепко держала меня тоненькой рукой, зеленые ногти глубоко впились в плотную материю свитера. Я невольно усмехнулся, самым краешком рта, припомнив, где побывал этот свитер и как мало общего он имел до сих пор с женскими ногтями. Пройдя под крутым сводом, который, словно дыша, переливался из розового в карминовый, из карминового в розовый цвет, мы вышли на улицу. Точнее, я подумал, что это улица, но темнота над нами действительно таяла с каждым шагом, словно близился стремительный рассвет. Поодаль проплывали продолговатые низкие силуэты, как будто автомобили, но я уже знал, что автомобилей нет. Это, по-видимому, было что-то другое. Будь я один, я отправился бы по этой широкой магистрали, потому что вдали светилась надпись: В ЦЕНТР; только, наверно, это совсем не означало центра города. Впрочем, я все равно разрешил себя вести. Чем бы ни кончилось это приключение, я нашел провожатого, и мне вспомнился — теперь уже беззлобно — тот горемыка из Адапта, который сейчас, спустя три часа после моего прилета, должно быть, мечется в поисках по этому городу-порту от одного Инфора к другому.

Мы миновали несколько почти опустевших ресторанов, прошли мимо витрин, в которых группа манекенов непрерывно повторяла одну и ту же сцену, и я охотно остановился бы поглядеть на них, но девушка шла быстро, постукивая каблукками, и вдруг воскликнула, увидев неоновое лицо с пульсирующим румянцем, которое все время облизывалось комично высунутым языком.

— О, бонсы! Хочешь бонс?

— А ты? — спросил я.

— Кажется, да.

Мы вошли в маленький сверкающий зал. Вместо потолка там тянулись длинные ряды огненных язычков, вроде газовых, сверху хлынул теплый воздух, — наверное, это и вправду был газ. В стенах виднелись небольшие ниши с пюпитрами; когда мы подошли к одной из них, по обеим сторонам выдвинулись сиденья, будто выросли из стены, сначала неразвернутые, как бутоны, они распластались в воздухе и, про-

гнувшись, застыли. Мы уселись друг против друга, девушка ударила двумя пальцами по металлической крышке столика, из стены выпрыгнула никелированная лапка, бросила перед каждым из нас маленькую тарелочку и двумя молниеносными движениями наполнила обе тарелочки белесоватой массой, которая тут же начала бронзоветь, вспенилась и застыла; одновременно потемнели и сами тарелочки. Девушка свернула свою тарелочку, как блинчик, и принялась есть.

— О, — проговорила она набитым ртом, — я и не подозревала, что так проголодалась.

Я последовал ее примеру. Бонс не походил по вкусу ни на что знакомое. Он хрустел на зубах, как свежеспеченная булка, но тут же рассыпался и таял во рту; коричневая масса, завернутая в него, была приправлена острыми специями.

— Еще? — спросил я, когда она справилась со своим бонсом.

Она улыбнулась, покачав головой. Проходя к выходу, она сунула по дороге обе руки в маленькую нишу, выложенную кафелем, — внутри что-то шумело. Я сделал то же самое. Щекочущий ветерок скользнул по пальцам; руки стали чистыми и сухими.

Теперь мы отправились по широкому эскалатору наверх. Я не знал, вышли ли мы из порта, но предпочитал не спрашивать. Она провела меня в небольшую кабину — здесь было темновато, казалось, что над нами проносятся какие-то поезда, так дрожал пол. На мгновение стало совершенно темно, глубоко под нами что-то тяжело вздохнуло, словно металлическое чудовище с шумом выпустило воздух из легких, посветлело, девушка толкнула дверь.

Это, пожалуй, была настоящая улица. Мы были на ней совершенно одни. Невысокие подстриженные кусты росли по обеим сторонам тротуара, немного дальше сгрудились плоские черные машины, какой-то человек вышел из темноты, скрылся за одной из них — не видно было, как он открывал дверцу, он попросту исчез, а машина рванула с места на такой скорости, что его должно было бы расплющить на сиденье; не видно было домов, одна только гладкая как стол проезжая часть, покрытая полосами матового металла; на перекрестках, паря над мостовой, двигались лезвия оранжевого и красного света, похожие на свет военных прожекторов.

— Куда пойдем? — спросила девушка. Она все еще дер-



жала меня под руку. Замедлила шаги. Полоса красного света скользнула по ее лицу.

— Куда хочешь.

— Тогда идем ко мне. Не стоит брать глидер. Это близко.

Мы двинулись прямо. Домов по-прежнему не было видно, а ветер, летящий из темноты, из-за кустов, был такой, словно там расстиралось открытое поле. Возле космопорта, в самом центре? Странно. Ветер нес слабый запах цветов, я жадно вдыхал его. Черемуха? Нет, не черемуха.

Потом мы оказались на движущейся дорожке; встали рядом — странная пара. Проплывали огни, иногда проскальзывали машины, словно отлитые из цельного куска черного металла, у них не было ни окон, ни колес, ни даже огней, и мчались они словно вслепую, с необычайной скоростью. Те движущиеся лезвия света били из узких вертикальных щелей, расположенных низко над землей. Я никак не мог разобраться, имеют ли они что-нибудь общее с уличным движением и его регулировкой.

Время от времени высоко над нами, в невидимом небе, нарастал и затихал тоскливый свист. Девушка внезапно сошла с плывущей полосы только затем, чтобы перейти на другую, которая помчалась круто вверх. Я вдруг взлетел куда-то высоко, воздушная поездка длилась с полминуты и закончилась на площадке, полной слабо пахнувших цветов, — мы будто по приставленному к стене конвейеру поднялись на террасу или балкон погруженного в темноту дома. Девушка вошла в глубину этой лоджии, а я, уже свыкшись с темнотой, улавливал в ней огромные силуэты соседних домов, лишенных окон, темных, словно вымерших, потому что не хватало не только света — не было слышно ни малейшего звука, кроме резкого шипения, с которым проносились по улице эти черные машины; после неоновой оргии космопорта меня поражало это, по-видимому, нарочитое затемнение и отсутствие неоновых реклам, но размышлять было некогда. «Где ты там? Иди!» — донесся до меня шепот. Я видел лишь бледное пятно ее лица. Она поднесла руку к двери, дверь открылась, но это была не комната, пол плавно поплыл вместе с нами. «Тут и шагу самому ступить нельзя, — подумал я. — Странно, что у них еще сохранились ноги», — но это была жалкая ирония, ее порождало мое непрекращающееся ошеломление, ощущение нереальности всего, что происходило со мной вот уже несколько часов.

Мы оказались не то в большом зале, не то в коридоре, широком, почти темном, — слабо светились только углы стен, покрытые полосами люминесцирующей краски. В самом темном углу девушка снова прикоснулась распластанной ладонью к металлической плитке в двери и вошла первой. Я зажмурился; почти пустая комната была ярко освещена — девушка шла к следующей двери; когда я подошел к стене, она внезапно раздвинулась, обнажая полки, заставленные множеством каких-то металлических бутылочек. Это произошло так неожиданно, что я невольно застыл на месте.

— Не пугай мой шкаф, — сказала девушка из соседней комнаты.

Я вошел вслед за ней.

Мебель казалась отлитой из стекла: креслица, низенький диванчик, маленькие столики — в их полупрозрачном материале медленно кружились рой светлячков, временами рассыпаясь, потом вновь сливаясь в ручейки, которые циркулировали внутри ножек, спинок, сидений, как бледно-зеленая, пронизанная розовыми отблесками лучистая кровь.

— Ну что же ты?

Она стояла в глубине комнаты. Кресло раскрылось, чтобы услужить мне. Я не выносил этого. Эта стекловидная масса не была стеклом — казалось, что садишься на надутую подушку, а посмотрев вниз, можно было неясно увидеть пол сквозь вогнутый толстый лист сиденья.

Когда я вошел, мне показалось, что стена напротив двери стеклянная и я вижу сквозь нее следующую комнату, заполненную людьми, словно там шел какой-то прием, но люди эти были неестественно высокими — и вдруг я понял, что передо мной телевизионный экран во всю стену. Звук был выключен; теперь, сидя, я видел огромное женское лицо, как будто гигантская негритянка заглядывала в комнату через окно; губы ее шевелились, она что-то говорила, а серьги величиной с тарелку дрожали бриллиантовым блеском.

Я устроился поудобнее в кресле. Девушка, опуская руку вдоль бедра — живот ее и в самом деле казался отлитым из голубого металла, — внимательно смотрела на меня. Она уже не казалась пьяной. Может быть, и раньше мне просто померещилось.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Брегг. Эл Брегг. А тебя?

— Наис. Сколько тебе лет?

«Интересные обычаи, — подумал я. — Ну что ж, видимо, так принято».

— Сорок, а что?

— Нет, ничего. Я думала, сто.

Я улыбнулся.

— Пусть будет сто, если ты так хочешь.

«Самое смешное, что это правда», — подумал я.

— Что выпьешь?

— Спасибо, ничего.

— Как хочешь.

Она подошла к стене, и там открылось нечто вроде небольшого бара. Она заслонила собой полки. Потом обернулась, неся поднос с бокалами и двумя бутылками. Чуть нажав бутылку, она налила мой бокал до краев — жидкость выглядела совершенно как молоко.

— Спасибо, — сказал я, — я ничего не хочу.

— Но ведь я тебе ничего и не даю?! — удивилась она.

Увидев, что я снова сделал ошибку, хоть и не понимая, какую именно, я пробурчал что-то себе под нос и взял бокал. Она налила из другой бутылки себе. Жидкость была маслянистая, бесцветная, она слегка пенилась и быстро темнела, будто от соприкосновения с воздухом. Наис села и, касаясь губами края бокала, равнодушно спросила:

— Кто ты?

— Коль, — ответил я. Поднял бокал, чтобы присмотреться к нему, — это молоко было совершенно без запаха. Я не стал к нему притрагиваться.

— Нет, серьезно, — сказала она. — Ты думал, я в темную, да? Ничего подобного. Это просто кальс. Была с шестеркой, понимаешь, только вдруг дно стало отвратительным. Особенно-то стараться было не к чему и вообще... я уж собиралась выйти, когда ты подсел.

Кое-что я все-таки улавливал: видимо, я случайно сел за ее столик, пока ее не было; может быть, она танцевала? Я дипломатично промолчал.

— Ты издали выглядел так... — она не могла найти нужного слова.

— Солидно? — подсказал я.

Ее веки дрогнули. Неужели и на них металлическая пленка? Нет, это, наверно, краска. Она подняла голову.

— А что это значит?

- Ну... э... внушающий доверие...
- Ты странно говоришь. Откуда ты?
- Издалека.
- Марс? Дальше.
- Летаешь?
- Летал.
- А теперь?
- Вернулся.
- Но будешь снова летать?
- Не знаю. Наверное, нет.

Разговор как-то угасал — казалось, она уже немного раскаивалась в своем легкомысленном приглашении, и мне хотелось облегчить ее положение.

— Может, я пойду? — спросил я, так и не прикоснувшись к напитку.

— Почему? — удивилась она.

— Мне казалось, что тебе... так будет приятнее.

— Нет, — сказала она, — ты думаешь... нет, отчего же... почему ты не пьешь?

— Я пью.

Это все же было молоко. В такую пору, при таких обстоятельствах! Я был изумлен, и она, наверное, заметила это.

— Что, не нравится?

— Это... молоко, — проговорил я. Наверно, вид у меня был совершенно идиотский.

— Да нет же! Какое молоко? Это брит...

Я вздохнул.

— Слушай, Наис... я, пожалуй, пойду. Правда. Так будет лучше.

— Так зачем же ты пил? — спросила она.

Я молча смотрел на нее. Язык не так уж изменился — только я все равно ничего не понимал. Ничего. Это они изменились.

— Как хочешь, — сказала она наконец. — Я тебя не держу. Но сейчас... — Она смутилась. Хлебнула свой лимонад — так я мысленно назвал этот пенистый напиток, — а я опять не знал, что сказать. Как это все было сложно!

— Расскажи о себе, — предложил я, — хочешь?

— Хорошо. А потом ты расскажешь?

— Да.

— Я в Кавуте второй год. Последнее время разленилась, не пластовала регулярно и... так как-то. Шестерка у меня не-

интересная. По правде говоря, у меня... никого нет. Странно даже...

— Что?

— Что никого нет...

Снова сплошной мрак. О ком она говорила? Кого нет? Родителей? Любовника? Знакомых? Абс был прав — без восьмимесячной подготовки в Адапте я тут ничего не пойму. Но сейчас мне тем более не хотелось пристыженным возвращаться за парту.

— Ну, а дальше? — спросил я и, вспомнив, что держу в руке бокал, снова отпил из него. Ее глаза расширились от изумления. Что-то вроде насмешливой улыбки скользнуло по губам. Она допила свой бокал до дна, протянула руку к пуху, покрывавшему плечи, и разорвала его — не отстегнула, не сняла, а просто разорвала, и выпустила обрывки из пальцев, как ненужный мусор.

— В конце концов мы мало знакомы, — сказала она.

Теперь она, казалось, чувствовала себя свободнее. Улыбалась. Временами она становилась красивой, особенно когда щурила глаза и нижняя губа, поднимаясь, обнажала сверкающие зубы. В лице ее было что-то египетское. Египетская кошка. Очень черные волосы, а когда она сорвала с плеч и груди этот пушистый мех, я увидел, что она совсем не так худа, как мне показалось. Но зачем она это сделала... Это что-нибудь значило?

— Ты собирался рассказывать, — сказала она, глядя на меня поверх бокала.

— Да, — ответил я и почувствовал волнение, будто от моих слов бог весть что зависело. — Я пилот... был пилотом. Последний раз я был здесь... только не пугайся!

— Нет. Говори!

Ее глаза были внимательными и блестящими.

— Сто двадцать семь лет назад. Мне тогда было тридцать. Экспедиция... я был пилотом рейса на Фомальгаут. Это двадцать три световых года. Мы летели туда и обратно, сто двадцать семь лет по земному времени и десять — по бортовому. Мы вернулись четыре дня тому назад... «Прометей» — это мой корабль — остался на Луне. Я прилетел оттуда сегодня. Это все.

Она молча смотрела на меня. Ее губы шевельнулись, раскрылись, снова сжались. Что было в ее глазах? Изумление? Восхищение? Страх?

— Почему ты молчишь? — спросил я. Мне пришлось откашляться.

— Так... Сколько же тебе на самом деле лет?

Я заставил себя улыбнуться; улыбка получилась невеселой.

— Что значит — «на самом деле»? Биологических — сорок, а по земным часам — сто пятьдесят семь...

Долгое молчание, и вдруг:

— Там были женщины?

— Подожди, — сказал я. — У тебя найдется что-нибудь выпить?

— Что?

— Ну, что-нибудь покрепче, понимаешь. Одурманивающее. Алкоголь... или теперь его уже не пьют?

— Очень редко... — ответила она совсем тихо, словно думая о чем-то другом. Ее руки медленно опустились, коснулись металлической голубизны платья.

— Я тебе дам... Ангесн, хочешь? Ах, ты же не знаешь, что это такое?

— Да. Не знаю, — ответил я с неожиданным ожесточением.

Она подошла к полке и вернулась с маленькой пузатой бутылочкой. Налила. Там был алкоголь — немного — и еще что-то; странный, терпкий аромат.

— Не сердись, — сказал я, выпив бокал, и налил еще один.

— Я не сержусь. Ты не ответил. Может, не хочешь?

— Почему же? Могу ответить. Нас было всего двадцать три человека, на двух кораблях. Второй был «Одиссей». По пять пилотов, остальные — ученые. Не было никаких женщин.

— Почему?

— Из-за детей, — объяснил я. — Нельзя растить детей на таких кораблях, и даже если б можно было, никто бы этого не захотел. До тридцати лет не брали. Нужно окончить два факультета, плюс четыре года тренировки, всего двенадцать лет. Словом, у тридцатилетних женщин обычно уже есть дети. Ну... и другие причины.

— А ты? — спросила она.

— Я был один. Выбирали одиночек. То есть добровольцев.

— И ты хотел...

— Да. Разумсется.

— И ты не...

Она оборвала фразу. Я понял, что она хотела сказать. Я молчал.

— Это, должно быть, жутко... так вернуться, — сказала она почти шепотом. Содрогнулась. И вдруг посмотрела на меня, щеки ее потемнели, это был румянец. — Слушай, то, что я сказала, просто шутка, правда.

— Что мне сто лет?

— Я просто так сказала, ну, чтобы что-нибудь сказать, это совсем не...

— Перестань, — пробормотал я. — Если ты еще станешь извиняться, я и вправду почувствую себя столетним.

Она замолчала. Я заставил себя не смотреть на нее. В глубине комнаты, в той второй, не существующей комнате за стеклом, огромная мужская голова беззвучно пела, я видел дрожащую от напряжения темно-багровую гортань, лоснящиеся щеки, все лицо подрагивало в неслышном ритме.

— Что ты будешь делать? — тихо спросила она.

— Не знаю. Еще не знаю.

— У тебя нет никаких планов?

— Нет. У меня есть немного — такое... ну, премия, понимаешь. За все это время. Когда мы стартовали, в банк положили на мое имя — я даже не знаю, сколько там. Ничего не знаю. Послушай, а что такое Кавут?

— Кавута? — поправила она. — Это... такие курсы, пластование, само по себе ничего особенного, но иногда оттуда можно попасть в реал...

— Постой... так что же ты там, собственно, делаешь?

— Пласт, ну, разве ты не знаешь, что это такое?

— Нет.

— Как бы тебе... чтобы проще, ну, делаю платья, вообще одежду... все...

— Портника?

— Что это такое?

— Ты шьешь что-нибудь?

— Не понимаю.

— О небеса, черные и голубые! Ты проектируешь модели платья?

— Ну... да, в определенном смысле, да. Не проектирую, а делаю...

Я оставил эту тему.

— А что такое реал?

Это ее по-настоящему удивило. Она впервые взглянула на меня как на существо из иного мира.

— Реал — это... реал, — беспомощно повторила она. — Это такие... истории, на них смотрят...

— Это? — я показал на стеклянную стену.

— Ах нет, это визия...

— Так что, же? Кино? Театр?

— Нет. Театр, я знаю, такое было — это было давно. Я знаю: там были настоящие люди. Реал искусственный, но это нельзя отличить. Разве только, если войдешь туда, к ним...

— Если войдешь...

Голова великана вращала глазами, качалась, смотрела на меня, будто он испытывал истинное наслаждение, созерцая эту сцену.

— Послушай, Наис, — сказал я вдруг, — или я пойду, потому что уже поздно, или...

— Предпочла бы второе «или».

— Ты же не знаешь, что я хочу сказать.

— Так скажи.

— Хорошо. Я хотел тебя еще спросить кое о чем. О самом основном, самом важном я уже немного знаю: я просидел в Адапте на Луне четыре дня. Но там все было чересчур торжественно. Что вы делаете, когда не работаете?

— Можно делать массу всяких вещей, — сказала она. — Можно путешествовать, по-настоящему или мутом. Можно развлекаться, ходить в реал, танцевать, играть в терсо, заниматься спортом, плавать, летать — что угодно.

— Что такое мут?

— Это вроде реала, только до всего можно дотронуться. Там можно ходить по горам, всюду — сам увидишь, это невозможно рассказать. Но, мне кажется, ты хотел спросить о чем-то другом...

— Тебе правильно кажется. Как сейчас... у мужчин с женщинами?

Ее веки затрепетали.

— Наверно, так, как всегда было. Что могло измениться?

— Все. В те времена, когда я улетел — только не обижайся, — девушка вроде тебя не пригласила бы меня к себе в такое время.

— В самом деле? Почему?

— Потому что это имело бы вполне определенный смысл.



Она помолчала.

— А почему ты думаешь, что это не имело такого смысла?

Мой вид развеселил ее. Я смотрел на нее; она перестала улыбаться.

— Наис... как же это, — пробормотал я, — ты приглашаешь совершенно незнакомого парня и...

Она молчала.

— Почему ты не отвечаешь?

— Потому что ты ничего не понимаешь.. Я не знаю, как тебе объяснить. Понимаешь, это ничего не значит...

— Ах, вот как. Это ничего не значит, — повторил я.

Я не мог усидеть. Встал. Забывшись, почти подпрыгнул — она вздрогнула.

— Прости, — буркнул я и начал шагать по комнате. За стеклом простирался парк, залитый утренним солнцем; по аллее, среди деревьев с бледно-розовыми листьями, шли трое ребят в рубашках, сверкавших, как доспехи.

— Браки существуют?

— Ну, конечно.

— Ничего не понимаю! Объясни мне это. Вот ты видишь мужчину, который тебе подходит, и, не зная его, сразу...

— Но что же тут рассказывать? — неохотно сказала она. — Неужели действительно в твоё время, тогда, девушка не могла впустить в комнату никакого мужчину?

— Нет, могла, конечно, и даже с такой именно мыслью, но... не через пять минут после знакомства...

— А через сколько минут?

Я взглянул на нее. Она спросила вполне серьезно. Ну, конечно, откуда ей было знать; я пожал плечами.

— Дело не во времени, просто... просто она должна была сначала что-то... ну, увидеть в нем, узнать его, полюбить. Сначала гуляли...

— Подожди, — перебила она. — Ты, кажется, ничего не понимаешь. Ведь я же дала тебе брит.

— Какой брит? Ах, это молоко? Ну, так что?

— Как что? Разве... тогда не было брита?

Она улыбнулась, потом расхохоталась. Внезапно замолчала, посмотрела на меня и отчаянно покраснела.

— Так ты думал... ты думал, что я... нет!!

Я присел. Пальцы меня не слушались. Я вытащил из кармана папироску и закурил. Она широко открыла глаза.

— Что это такое?

— Папироса. А вы не курите?

— Первый раз в жизни вижу такое... и это папироса? Как ты можешь втягивать в себя дым? Нет, постой — то важнее. Брит вовсе не молоко. Я не знаю, что там, но чужому всегда дают брит.

— Мужчинс?

— Да.

— Ну и что из этого?

— То, что он будет... он должен вести себя хорошо. Знаешь... Может, тебе какой-нибудь биолог объяснит это.

— К черту биологов. Так это значит, что мужчина, которому ты дала брит, ничего не может?

— Разумеется.

— А если он не захочет выпить?

— Как он может не захотеть?

Тут кончалось всякое взаимопонимание.

— Ты же не можешь его заставить, — терпеливо начал я.

— Сумасшедший мог бы отказаться, — медленно сказала она, — но я ни о чем таком не слыхала, никогда...

— Это такой обычай?

— Не знаю, что тебе сказать. Ты из-за обычая не ходишь раздетым?

— Ага. Ну, в некотором смысле да. Но на пляже можно раздеться.

— Догола? — спросила она с внезапным интересом.

— Нет. Купальный костюм... Но в наши времена были такие люди, они назывались нудисты...

— Знаю. Нет, то другое, я думала, что вы все...

— Нет. Значит, этот брит, это... как платье? Такое же обязательное?

— Да. Когда вдвоем.

— Ну, а потом?

— Что потом?

— Во второй раз?

Идиотский это был разговор, и я себя отвратительно чувствовал, но должен же я был наконец узнать!

— Потом? По-разному бывает. Некоторым... всегда дают брит...

— Пустая похлебка, — вырвалось у меня.

— Что это значит?

— Нет. Ничего. А если девушка идет к кому-нибудь, тогда что?

— Тогда он пьет у себя.

Она смотрела на меня почти с жалостью. Но я упорствовал.

— А если у него нет?

— Брита? Как же может не быть?

— Ну, кончился. Или... он ведь может солгать.

Она засмеялась.

— Но ведь это... неужели ты думаешь, что я все эти бутылки держу здесь, в комнате?

— Нет? А где же?

— Я даже не знаю, откуда они берутся. В твоё время был водопровод?

— Был, — хмуро ответил я. Конечно, могло ведь и не быть; я мог прямо из пещеры влезть в ракету. На мгновение меня охватила ярость; потом я спохватился — в конце концов это была не её вина.

— Ну вот, ты разве знал, откуда берется вода, прежде чем...

— Я понял, можешь не продолжать. Ладно. Значит, это такое средство предосторожности? Очень странно.

— Мне это совсем не кажется странным. Что у тебя там белое, под свитером?

— Рубашка.

— Что это?

— Ты что, рубашки не видела? Ну, такое — белое в общем. Из нейлона.

Я засучил рукав свитера и показал.

— Интересно, — сказала она.

— Такой обычай, — беспомощно ответил я.

Действительно, мне ведь говорили в Адапте, чтобы я перестал одеваться, как сто лет назад; а я заупрямился. Однако я не мог не признать её правоты — брит был для меня тем же, чем для неё рубашка. В конце концов людей никто не заставлял носить рубашки, а все их носили. Видно, с бритом обстояло так же.

— Сколько времени действует брит? — спросил я.

Она слегка покраснела.

— Как тебе не терпится. Ничего еще не известно.

— Я не хотел сказать ничего плохого, — оправдывался я. — Мне только хотелось узнать... почему ты так смотришь! Что с тобой? Наис!

Она медленно поднялась. Отступила за кресло.

— Сколько ты сказал? Сто двадцать лет?

— Сто двадцать семь. Ну и что?  
— А ты... был... бетризован?  
— Что это значит?  
— Не был?!  
— Да я даже не знаю, что это значит. Наис... девочка, что с тобой?

— Нет... не был, — шептала она. — Если б был, ты бы, наверно, знал.

Я хотел подойти к ней. Она вскинула руки.

— Не подходи! Нет! Нет! Умоляю!

Она попятилась к стене.

— Ведь ты же сама говорила, что это брит... сажусь, сажусь. Ну, сижу, видишь, успокойся. Что это за история с этим бе... как это там?

— Не знаю подробно. Но... каждого бетризуют. При рождении.

— Что же это?

— Кажется, что-то вводят в кровь.

— Всем?

— Да. Потому что... брит... как раз не действует без этого. Не двигайся!

— Девочка, не будь смешной.

Я погасил папиросу.

— Я ведь все-таки не дикий зверь. Ты не сердись, но... мне кажется, что вы здесь все чуточку тронутые. Этот брит... это же все равно, что сковать всем до единого руки, а вдруг да кто-нибудь окажется вором. В конце концов... можно ведь и доверять немного.

— Ты великолепен. — Она будто успокоилась немного, но продолжала стоять. — Почему же ты так возмутился раньше, что я привожу к себе незнакомых?

— Это совсем другое.

— Не вижу разницы. Ты наверняка не был бетризован?

— Не был.

— А может, теперь? Когда вернулся?

— Не знаю. Делали мне разные уколы. Какое это имеет значение?

— Имеет. Тебе делали? Это хорошо.

Она села.

— У меня есть к тебе просьба, — начал я как можно спокойней. — Ты должна мне это объяснить...

— Что?

— Твой страх. Ты боялась, что я на тебя наброшусь, да? Но ведь это же чушь.

— Нет. Если подумать, конечно, чушь, но все это слишком, понимаешь? Такой шок. Я никогда не видела человека, которого не...

— Но ведь этого же нельзя распознать!

— Можно. Еще как можно!

— Как?

Она помолчала.

— Наис...

— Да я...

— Что?

— Боюсь...

— Сказать?

— Да.

— Но почему?

— Ты понял бы, если б я сказала. Видишь ли, ведь это не из-за брита. Брит — это только так... побочное... Дело совсем в другом...

Она побледнела. Губы ее дрожали. «Что за мир, — подумал я, — что за мир!»

— Не могу. Ужасно боюсь.

— Меня?!

— Да.

— Клянусь тебе, то...

— Нет, нет... я тебе верю, только... нет. Этого ты не можешь понять.

— Ты мне не скажешь?

Видно, было в моем голосе нечто такое, что она переборолась. Ее лицо стало суровым. Я видел по ее глазам, каких усилий ей это стоило.

— Это... для того... чтобы нельзя было... убивать.

— Не может быть! Человека?!

— Никого...

— И животных?

— Тоже. Никого...

Она сплетала и расплетала пальцы, не сводя с меня глаз, — будто этими словами спустила меня с невидимой цепи, будто вложила мне в руки нож, которым я могу ее пронзить.

— Наис, — сказал я совсем тихо. — Наис, не бойся. Правда... не надо меня бояться.

Она пыталась улыбнуться.

— Слушай...

— Что?

— Когда я тебе это сказала...

— Ну?

— Ты ничего не почувствовал?

— А что я должен был почувствовать?

— Представь, что ты делаешь то, что я тебе сказала...

— Что, я убиваю? Я должен это себе представить?

Она содрогнулась.

— Да...

— Ну и что?

— И ты ничего не чувствуешь?

— Ничего. Но ведь это же только мысль, я совсем не собираюсь...

— Но ты можешь? Да? Действительно, можешь? Нет, — шепнула она одними губами, словно самой себе, — ты не бстризован...

Только теперь до меня дошло значение этого, и я понял, что для нее это могло быть потрясением.

— Это великое дело, — пробормотал я. Немного погодя добавил: — Но может, лучше было бы, если б люди отвыкли от этого... без искусственных средств...

— Не знаю. Может быть, — ответила она. Глубоко вздохнула. — Теперь ты понимаешь, почему я испугалась?

— По правде говоря, не совсем. Так, немножко. Ну, не думала же ты, что я тебя...

— Какой ты странный! Как будто ты совсем не... — Она запнулась.

— Не человек?

У нее затрепетали веки.

— Я не хотела тебя обидеть, только, понимаешь, если известно, что никто не может, — понимаешь, даже подумать не может никогда, и вдруг появляется такой, как ты, и уже сама возможность... то, что есть такой...

— Но ведь это невозможно, чтобы все были — как это? — а, бстризованы?

— Почему же? Все, уверяю тебя!

— Нет, это невозможно, — упорствовал я. — А люди опасных профессий? Ведь они должны...

— Опасных профессий нет.

— Что ты говоришь, Наис? А пилоты? А разные спасатели? А те, что борются с огнем, с водой...

— Таких нет, — сказала она.

Мне показалось, что я не расслышал.

— Что-о?

— Нет, — повторила она. — Это делают роботы.

Наступило молчание. Я подумал, что не легко мне будет перевернуть этот новый мир. И вдруг мне пришла в голову мысль, удивительная мысль: мне показалось, что эта процедура, уничтожающая в человеке убийцу, в сущности... калечит его.

— Наис, — сказал я, — уже очень поздно. Я, пожалуй, пойду.

— Куда?

— Не знаю. Ах да! В порту меня должен был ждать человек из Адапта. Я совсем забыл! Никак не мог его отыскать, понимаешь. Ну, тогда... я поищу какую-нибудь гостиницу. Они еще существуют?

— Да. Ты откуда?

— Отсюда. Я родился здесь.

С этими словами вернулось ощущение нереальности всего происходящего, и я уже не мог понять, существовал ли вообще тот город, который теперь был только во мне, и этот, призрачный, с комнатами, в которые заглядывали головы великанов. На миг мне показалось, что я еще на корабле и все это только еще один, особенно отчетливый, кошмарный сон о возвращении.

— Брегг, — будто издалека донесся до меня ее голос.

Я вздрогнул. Я совершенно забыл о ней.

— Да... слушаю.

— Останься!

— Что?

Она молчала.

— Ты хочешь, чтобы я остался?

Она молчала. Я подошел к ней, обнял ее холодные плечи, нагнувшись над креслом. Она безвольно встала. Голова ее откинулась, зубы заблестели, я не хотел ее, я хотел лишь сказать: «Ведь ты же боишься», — и чтобы она сказала, что нет. И больше ничего. Глаза ее были закрыты, и вдруг белки сверкнули сквозь ресницы, я склонился над ее лицом, заглянул в остекленевшие глаза, словно хотел познать этот страх, разделить его. Она вырывалась, задыхаясь, но я не чувствовал этого, и лишь когда она начала стонать: «Нет! нет!» — я ослабил объятия. Она чуть не упала. Стала у стены, заслонив

часть огромного одутловатого лица, которое там, за стеклом, непрерывно говорило что-то, неестественно шевеля громадными губами, мясистым языком.

— Наис... — сказал я тихо, опуская руки.

— Не подходи!

— Ты же сама сказала...

Ее взгляд был совершенно бессмысленным.

Я прошелся по комнате. Она водила за мной глазами, как будто я... как будто она стояла в клетке.

— Я пойду... — сказал я. Она не ответила. Я хотел было еще что-то добавить — слова извинения, благодарности, только бы не выходить просто так, — но не смог. Если б она боялась меня просто так, как женщина мужчину, незнакомого, пусть страшного, неизвестного, — это бы еще полбеды, но тут было совсем другое. Я взглянул на нее и почувствовал, что меня охватывает гнев. Схватить эти обнаженные белые плечи, встряхнуть...

Я повернулся и вышел; наружная дверь поддалась, когда я ее толкнул, большой коридор был почти не освещен. Я никак не мог найти выход на террасу, но натолкнулся на просвечивавшие блеклым, синеватым светом цилиндры — кабины лифтов. Тот, к которому я приблизился, уже поднялся навстречу, может быть, достаточно было того, что нога ступила на порог. Кабина спускалась медленно. Передо мной чередовались слои темноты и разрезы этажей — белые, с красноватой прослойкой внутри, как прослойки жира в мускулах, они поднимались вверх я потерял им счет, кабина опускалась, все опускалось, это походило на путешествие на самое дно, как будто меня швырнуло в канал стерилизационной сети и этот гигантский, погруженный в сон и беспечность дом избавлялся от меня. Часть прозрачного цилиндра отошла в сторону, я шагнул вперед.

Руки в карманы, темнота, твердый, широкий шаг, я жадно вдыхал холодный воздух, чувствуя, как шевелятся ноздри, как четко работает сердце, разгоняя кровь. В щелях у самой земли трепетали огни, то и дело заслоняемые бесшумными машинами; ни одного прохожего. Среди черных силуэтов едва рдело зарево, я подумал, что это, может быть, гостиница, но это был всего лишь освещенный тротуар. Я ступил на него. Надо мной проплывали бледные пролеты каких-то конструкций, где-то далеко над черными ребрами домов мерно семенили светящиеся буквы газетных новос-



тей, внезапно тротуар выехал в освещенное помещение и тут окончился.

Широкие ступени текли вниз, серебрясь, как окаменевший водопад. Меня поражала пустота — выйдя от Наис, я не встретил еще ни одного человека. Эскалатор казался бесконечным. Внизу опять широкая освещенная улица, по обеим сторонам — дома; под деревом с голубыми листьями — а может быть, это было не настоящее дерево — я увидел парочку, приблизился к ним и отошел. Они целовались. Я пошел на приглушенные звуки музыки, какой-то ночной ресторан или бар, ничем не отделенный от улицы. Там сидело несколько человек. Я хотел войти и спросить гостиницу. И тут же всем телом натолкнулся на невидимую преграду. Это было совершенно прозрачное стекло. Вход был рядом. Внутри кто-то засмеялся, показывая на меня другим. Я вошел. У столика боком сидел мужчина с бокалом в руке, в черном трико, немного походившем на мой свитер, но воротник весь в буфах, как будто вспененный, и смотрел на меня. Я остановился перед ним. Смех замер на его полуоткрытых губах. Я стоял. Стало тихо. Только музыка продолжала играть, словно за стеной. Какая-то женщина издала странный, слабый звук, я провел взглядом по замершим лицам и вышел. Только на улице спохватился, что собирался спросить гостиницу.

Я вошел в пассаж. Полно витрин. Бюро путешествий, спортивные магазины, манекены в разнообразных позах. Собственно говоря, это были даже не витрины, потому что все это стояло и лежало прямо на улице, по обеим сторонам приподнятой дорожки, бежавшей посередине. Несколько раз я принял шевелившиеся в глубине силуэты за людей. Это были рекламные куклы, повторявшие без конца одно и то же действие. Одна кукла, величиной с меня, карикатурно надув щеки, играла на флейте — я засмотрелся на нее. Она так здорово это делала, что мне захотелось заговорить с ней. Потом пошли залы каких-то игр, там вращались большие радужные колеса; ударяясь, как колокольчики на санках, звенели подвешенные во множестве под потолком серебряные трубки; перемигивались призматические зеркала, но внутри было пусто. В самом конце пассажа в темноте сверкнула надпись: ЗДЕСЬ ХАХАХА. Исчезла. Я направился к ней. Снова зажглось: ЗДЕСЬ ХАХАХА, и исчезло, словно его задули. При следующей вспышке я успел разглядеть

вход. Послышались голоса. Я вошел сквозь заслон теплого воздуха.

В глубине стояли два бесколесных авто, горело несколько ламп, трое мужчин быстро жестикулировали, как будто спорили друг с другом. Я подошел к ним.

— Хэлло!

Они даже не оглянулись и продолжали быстро говорить. Я ничего не понимал. «Тогда сапай, тогда сапай», — пискляво повторял самый маленький, с брюшком. На голове у него была высокая шапка.

— Послушайте, я ищу гостиницу. Где здесь...

Они не обращали на меня внимания, как будто меня не было. Меня охватила злость. Уже совершенно молча я вошел в их круг. Ближайший ко мне — я видел его глуповато поблескивающие белки и прыгающие губы — зашепелявил:

— Што я должен шапать? Ты шам шапай!

Как будто он обращался ко мне.

— Что вы строите из себя глухих? — спросил я и внезапно с того места, где я стоял — точно из меня, из моей груди, — вырвался пискливый крик:

— Вот я тебе! Вот я тебе сейчас!

Я отскочил, и тогда появился обладатель голоса, этот толстяк в шапке, — я хотел схватить его за плечи, пальцы прошли насквозь и сомкнулись в воздухе. Я застыл, словно оглушенный, а они продолжали болтать; вдруг мне показалось, что из темноты над автомобилями, сверху, кто-то смотрит на меня, я подошел к границе светлого круга и увидел бледные пятна лиц; там, наверху, было что-то вроде балкона. Ослепленный светом, я не мог рассмотреть его как следует, но и этого было достаточно, чтобы понять, каким ужасным шутком я выглядел. Я выбежал, будто за мной гнались.

Следующая улица шла вниз и кончалась у эскалатора. Я подумал, что там, может быть, найду какой-нибудь Инфор, и отправился по тускло-золотой лестнице. Лестница кончалась небольшой круглой площадью. Посреди стояла колонна, высокая, прозрачная, как из стекла, что-то танцевало в ней, пурпурные, коричневые и фиолетовые силуэты, ни на что не похожие, как ожившие абстрактные композиции, но очень забавные. То один, то другой цвет сгущался, концентрировался, формировался комичнейшим образом; даже лишённая лиц, голов, рук, ног, вся эта путаница форм не лишена была очень человеческого, даже карикатурного

выражения. Присмотревшись, я понял, что фиолетовый — это хвостун, надутый, чванливый и в то же время трусливый; когда он разлетелся на миллион пританцовывающих пузырей, за дело взялся голубой. Этот был словно неземной, сама скромность, само смирение, но все это было чуть ханжеское, будто он сам на себя молился. Не знаю, сколько я так простоял. Я никогда не видел ничего подобного. Кроме меня, здесь никого не было, только движение черных машин усилилось. Я не видел даже, есть в них люди или нет, потому что все они были без окошек. С этой круглой площади расходилось шесть улиц — одни вверх, другие вниз, они уходили вдаль нежной мозаикой цветных огоньков, чуть ли не на милю. И ни одного Инфора.

Я изрядно устал, не только физически — мне казалось, что я переполнен впечатлениями. Иногда я спотыкался на ходу, хоть вовсе не засыпал; не помню, как и когда забрел в широкую аллею; на перекрестке замедлил шаги, поднял голову и увидел отсвет городских огней на облаках. Это удивило меня, потому что мне казалось, что я нахожусь под землей. Я шел дальше, теперь уже среди моря пляшущих огней, лишенных стекол витрин, среди жестикулирующих, крутящихся юлой, ожесточенно дергающихся манекенов; они протягивали друг другу какие-то сверкающие предметы, что-то надували — я даже не смотрел в их сторону. В отдалении показалось несколько человек; но я не был уверен, что и это не куклы, и не стал их догонять.

Дома расступились, и я увидел большую надпись: ПАРК ТЕРМИНАЛ — и светящуюся зеленую стрелу.

Эскалатор начинался в проходе между домами, потом вошел в серебряный тоннель, в стенах которого бился золотой пульс, как будто под ртутной кожей стен действительно плыл драгоценный металл; пронесся горячий ветерок, все померкло — я стоял в застекленном павильоне. Он имел форму раковины, в складках гофрированного потолка брезжила туманная, едва уловимая зелень — это был блеск тончайших жилочек, словно флуоресценция одного огромного подрагивающего листа; во все стороны расходились двери, за ними темнота и маленькие, ползущие по полу буковки: Парк Терминал, Парк Терминал.

Я вышел. Это в самом деле был парк. Невидимые во мраке, протяжно шумели деревья, ветра не было, должно быть, он несся высоко вверху, а мерный, торжественный

голос деревьев отделял меня от всего невидимым сводом. Впервые я почувствовал себя одиноким, но не так, как в голпе, — мне было хорошо в этом одиночестве. Наверно, в парке было много людей, доносились шепотки, временами чье-то лицо мелькало бледным пятном, один раз я чуть не задел кого-то. Вершины деревьев сплелись, и звезды видны были только в просветах листвы. Я вспомнил, что к парку я поднимался, а ведь уже там, на площади пляшущих цветов и улице витрин, надо мной было небо, явно хмурое. Как же могло случиться, что теперь, поднявшись этажом выше, я вижу чистое звездное небо? Этого понять я не мог.

Деревья расступились, и, не успев еще увидеть, я почувствовал дыхание воды, запах ила, гниющих корней, намокших листьев — и замер.

Заросли черным кольцом охватывали озеро. Я слышал шелест камышей и тростника, а вдали, на другой стороне озера, над ним, вздымался единой громадой массив стекловидно светящихся скал, полупрозрачная гора над равнинами ночи; едва заметное голубоватое призрачное сияние наполняло вертикальные бойницы, бастионы и башни, застывшие многогранники зубцов, рвы и пропасти, и этот светящийся колосс, невероятный и неправдоподобный, отражался бледным удлинненным двойником в черных водах озера. Я стоял, потрясенный и восхищенный, ветер доносил тончайшие, тающие отзвуки музыки; напрягая зрение, я разглядел этажи и террасы этого титанического сооружения, и вдруг, словно в озарении, понял, что снова вижу космопорт, гигантский Терминал, в котором блуждал накануне, и, может быть, даже смотрю на то самое место, где встретил Наис, со дна поразившей меня тогда мрачной равнины.

Что это — еще архитектура или уже состязание с природой? По-видимому, они поняли, что, перейдя определенный рубеж, необходимо отказаться от симметрии, от правильности форм и идти на выучку к величайшему мастеру — смысленные ученики планеты!

Я пошел вдоль озера. Колосс, застывший в сияющем взлете, словно сопровождал меня. Да, это было мужеством — задумать такую форму, воплотить в ней жестокость пропастей, безжалостность и шершавость обрывов и пиков и не скатиться до механического копирования, ничего не утратить, не сфальшивить. Я вернулся к стене деревьев. Блед-

ная, проступающая на черном небе голубизна Терминала еще виднелась сквозь ветви, потом погасла, заслоненная чашей. Я раздвигал руками гибкие ветви, колючки цеплялись за свитер, царапали брюки, слетевшая с листьев роса, как дождь, осыпалась на лицо, я взял в губы несколько листков, пожевал, они были молодые, горчили, в первый раз по возвращении я испытывал такое: мне ничего не хотелось, я ничего не искал, ни в чем не нуждался, только бы идти вот так, сквозь шелестящую чашу, куда глаза глядят. Так ли все это представлялось мне в течение целых десяти лет?..

Кусты расступились. Извилистая аллея. Мелкий гравий хрустел под ногами, слабо светясь, я хотел бы вновь в темноту, но продолжал идти по аллее — туда, где под каменным кругом стояла человеческая фигура. Понятия не имею, откуда брался свет, окружавший ее, вокруг было пусто, какие-то скамейки, креслица, перевернутый столик, песок, сыпучий и глубокий; я чувствовал, как ноги погружаются в него, какой он теплый, несмотря на ночную прохладу.

Под сводом, возведенным на потрескавшихся, изъеденных колоннах, стояла женщина, словно ожидая меня. Я уже различал ее лицо, мерцание искорок в бриллиантовых пластинках, закрывавших уши, белую, серебрящуюся в тени ткань. Я не мог поверить. Сон? Я был в нескольких десятках шагов от нее, когда она запела. Среди слепых деревьев ее голос казался слабым, почти детским; я не различал слов, может быть, их и не было — губы ее были полуоткрыты, словно она пила, в лице ни малейшего напряжения, ничего, кроме задумчивости, она, казалось, загляделась, словно видела что-то, чего нельзя увидеть, и об этом пела теперь. Я боялся спугнуть ее, шел все медленней. Я был уже в световом кругу, охватившем каменную беседку. Ее голос усилился, она призывала мрак, умоляла, замирая, руки упали, как будто она забыла о них, как будто в ней не осталось ничего, кроме голоса, с которым она уносилась и таяла, казалось, она отрекалась от всего и все отдавала, и прощалась, зная, что вместе с последним, замирающим звуком умрет не только песня. Я не знал, что такое возможно. Она умолкла, а я все еще слышал ее голос. И вдруг за моей спиной какая-то девушка пробежала к беседке, за ней кто-то гнался, с коротким гортанным смешком она сбежала по ступеням вниз и пронеслась сквозь стоявшую, и уже летела дальше, догонявший мелькнул черным силуэтом рядом со мной, они исчез-

ли; снова раздался зовущий смех, и я остался, как пень, вросший в землю, не зная, смеяться мне или плакать; призрачная певичка снова затянула что-то тихонько. Я не хотел слушать. Я отошел в темноту с окаменевшим лицом, как ребенок, которому раскрыли, что сказка — ложь. Это казалось профанацией. Я шел, а ее голос преследовал меня. Я свернул в сторону, аллея шла дальше, слабо светились кусты живой изгороди, мокрые фестоны листьев свисали над металлической калиткой. Я отворил ее. Там было как будто светлее. Изгородь оканчивалась широкой вольерой, из травы торчали каменные глыбы, одна из них шевельнулась, приподнялась, на меня глянули два бледных огонька глаз. Я замер. Это был лев. Он встал тяжело сначала на передние лапы; теперь я увидел его целиком, в пяти шагах, — грива у него была небольшая, кудлатая, он потянулся раз-другой, неторопливо, покачивая бедрами, подошел ко мне, не издавая ни малейшего шороха. Я уже пришел в себя.

— Но, но, не пугай, — сказал я.

Он не мог быть настоящим — призрак, как та певичка, как те там, внизу, возле черных автомобилей, — он зевнул, стоя в одном шаге от меня, в темной пасти сверкнули клыки, челюсти клацнули с лязгом стального засова, я почувствовал его смрадное дыхание, что за...

Он фыркнул. Я ощутил капельки слюны, и, прежде чем успел ужаснуться, он толкнул меня своей огромной головой в бедро, ворча, начал тереться об меня, я почувствовал идиотские спазмы истерического смеха в груди...

Он подставил мне горло, обвисшую, тяжелую шкуру. Почти не сознавая, что делаю, я начал почесывать, тереть его, он мурлыкал все громче, сзади сверкнула вторая пара глаз, еще один лев, нет, львица, она толкнула его плечом. В горле у него заклокотало, это было мурлыканье, не рев. Львица настаивала. Он ударил ее лапой. Она яростно фыркнула.

«Это плохо кончится», — подумал я. Я был беззащитен, а львы такие живые, такие настоящие, каких только можно себе вообразить. Я ощущал тяжелый смрад их тел. Львица продолжала фыркать; вдруг лев вырвал свои жесткие патлы из моих рук, повернул к ней свою огромную голову и заревел; львица распласталась по земле.

— Мне пора, — сказал я, обращаясь к ним, беззвучно, одними губами и стал отступать к калитке, осторожно пя-

тась — малоприятная минута, но лев, казалось, вообще не замечал меня. Он тяжело лег, снова превратившись в продолговатый камень, львица стояла над ним и толкала его мордой.

Я с трудом удержался, чтобы не броситься бегом, когда закрыл за собой калитку. Колени подкашивались, в горле першило, и вдруг мое покашливание сменилось неудержимым смехом: я вспомнил, как говорил ему «но, но, не пугай», будучи уверен, что это только призрак...

Вершины деревьев отчетливо выделялись на небе; светло. Я был даже рад этому, потому что не знал, как выбраться из парка. Парк уже совершенно опустел. Я прошел мимо каменной беседки, где раньше увидел певицу, в следующей аллее набрел на робота, подстригавшего траву. Он ничего не знал о гостинице, но объяснил мне, как пройти к ближайшему эскалатору. Я спустился вниз, на несколько этажей, не меньше, и, выйдя на улицу нижнего горизонта, удивился, снова увидев над собой небо. Но и моя способность удивляться была на исходе. Я был сыт по горло. Я куда-то шел, помню, что сидел возле фонтана, а может быть, то был не фонтан, встал, пошел дальше в нарастающем свете нового дня, пока не очнулся от забытья прямо против огромных сверкающих окон с огненными буквами ОТЕЛЬ «АЛЬКАРОН».

В белом холле, напоминавшем перевернутую вверх дном гигантскую ванну, сидел робот, великолепно стилизованный под портье, полупрозрачный, с длинными тонкими руками. Ни о чем не спрашивая, он подал мне книгу, я вписал свое имя и, получив маленький треугольный жетон, отправился наверх. Кто-то — я уж не помню кто — помог мне открыть дверь, точнее, открыл ее вместо меня. Стены словно из льда; в стенах — блуждание огоньков; из-под окна, к которому я подошел, появилось из ничего кресло, сверху уже спускался плоский лист, чтобы образовать что-то вроде бюро, но мне нужна была кровать. Я не мог ее найти и даже искать не пытался. Я упал на пенистый ковер и тотчас заснул в искусственном свете этой комнаты без окон — то, что я принял сначала за окно, было, конечно, телевизором, я уходил в сон, ощущая, что оттуда, из-за стеклянной стены, гримасничает какая-то огромная рожа, оценивает меня, смеется, болтает, брюзжит... Сон был спасителен, как смерть; даже время в нем остановилось.

## II

Еще не открыв глаз, я коснулся рукой груди. На мне был свитер; если я спал не раздеваясь, значит, была моя вахта. «Олаф!» — чуть было не позвал я и вдруг вскочил.

Это был отель, а не «Прометей». Я сразу вспомнил все: лабиринты порта, девушку, посвящение в тайну, ее страх, голубоватую глыбу Терминала над черным озером, певицу, львов...

В поисках ванной я случайно обнаружил кровать; она сливалась со стеной и выпадала жемчужным, набухшим квадратом, если что-то там нажать. В ванной не было ни ванны, ни кранов, ничего, одни лишь блестящие плитки в потолке и небольшие углубления для ног, выложенные губчатым пластиком. На душ это тоже что-то не походило. Я почувствовал себя неандертальцем. Быстро разделся и застыл с одеждой в руках — вешалок тоже не было, зато был небольшой шкафчик в стене, я втиснул туда все свои вещи. Рядом три кнопки — голубая, красная и белая. Нажал белую. Погас свет. Красную. Зашумело, но это все-таки была не вода, просто какой-то мощный вихрь, отдающий озоном и еще чем-то; он охватил меня с головы до ног, на коже оседали мелкие блестящие пузырьки, они шипели и исчезали, не ощущалось даже влажности, а так, словно покалывание маленьких электрических иголочек, массирующих мускулы. Я нажал напропалую голубую кнопку, и вихрь как-то изменился — теперь он как будто пронизывал меня насквозь — очень странное ощущение. Я подумал, что если привыкнуть, то это может даже понравиться. В Адапте на Луне такого не было — там были обыкновенные ванны. Понятия не имею, почему. Кровь теперь бежала быстрее, я чувствовал себя отлично, недоставало только одного — чем и как вычистить зубы. В конце концов я решил махнуть на это рукой. В стене была еще одна дверца, с надписью: «Купальные халаты». Я заглянул внутрь. Никаких халатов, какие-то три металлические фляжки вроде сифонов. Но я был абсолютно сух, и мне не нужно было вытираться.

Я открыл шкафчик, в который вложил одежду, и остолбенел: он был пуст. Хорошо хоть, что плавки бросил на шкаф. Я вернулся в комнату в плавках и принялся разыскивать телефон, чтобы разузнать, что случилось с одеждой. Все это было, пожалуй, слишком хлопотно. Телефон я нашел в



конце концов у окна — так я продолжал называть телеэкран, — он выскочил из стены, когда я начал во всеуслышание ругаться; наверно, реагировал на голос. Идиотская манья прятать все в стены. Отозвались из приемной. Я спросил об одежде.

— Вы вложили ее в чист, — ответил мягкий баритон. — Будет готова через пять минут.

«И на том спасибо», — подумал я. Сел за столик, крышка которого предупредительно подсунулась под локоть, едва я нагнулся. Как это делалось? Стоит ли интересоваться; большинство людей пользуется техникой своего времени, абсолютно не понимая ее.

Я сидел в одних плавках и обдумывал различные возможности. Можно было пойти в Адапт. Если бы дело было только в ознакомлении с техникой и обычаями, я бы не стал раздумывать, но я уже на Луне заметил, что одновременно они стараются навязать определенный подход, даже готовую оценку явлений; они предлагали готовую шкалу ценностей и, если видели, что вы с ней не соглашаетесь, объясняли это — и вообще все ваше поведение — консерватизмом, подсознательным сопротивлением, рутинной, старыми привычками и так далее. А я и не собирался отказываться ни от своих привычек, ни от своего консерватизма, по крайней мере до тех пор, пока сам не решу, что мне предлагают нечто лучшее. Но уроки сегодняшней ночи несколько не убедили меня в этом. Не нуждался я ни в их наставлениях с первой же минуты, ни в их заботливой снисходительности. Интересно, почему они не подвергли меня этой бетризации? Нужно обязательно узнать.

Можно было бы поискать кого-нибудь из наших, Олафа например. Правда, это выглядело бы как нарочитое нарушение инструкций Адапта. О да, ведь они ничего не приказывали, они все время твердили, что действуют в наших интересах, что я могу поступать как мне заблагорассудится, даже прыгнуть с Луны прямо на Землю (шуточки доктора Абса), если мне так не терпится. Я не собирался подчиняться им, но Олафу это могло не понравиться. Во всяком случае, я ему напишу. Адрес есть.

Работа. Искать работу? Какую, пилота? И что, гонять на линии Марс — Земля — Марс? Это я бы смог, но...

Я вдруг вспомнил, что у меня есть какие-то деньги. То есть это были не деньги, они как-то иначе назывались, но я

не мог понять, в чем тут различие, если все равно на них все можно было достать. Я попросил соединить меня с городом. В трубке зазвучал далекий мелодичный сигнал. На телефоне не было ни диска, ни цифр, может быть, следовало произнести название банка? Оно было у меня записано на карточке. Карточка? Там, в одежде... Я заглянул в ванную, одежда уже лежала в шкафу, будто свежестыранная, в карманах всякая мелочь и эта карточка. Этот банк вовсе не был банком, он назывался Омнилокс. Я назвал это слово, и тотчас же, будто моего вызова ждали, отозвался низкий голос:

— Омнилокс слушает.

— Меня зовут Брегг, — сказал я. — Эл Брегг, и кажется, у вас есть мой счет... я хотел бы узнать, сколько там?

Что-то щелкнуло, и другой, более высокий голос произнес:

— Эл Брегг?

— Да.

— Кто открыл счет?

— Управление космической навигации по распоряжению Планетологического института и Космической комиссии ООН, но это было сто двадцать семь лет тому назад...

— У вас есть какие-нибудь удостоверения?

— Нет, только карточка из лунного Адапта, от доктора Освамма...

— Отлично. Ваш счет: двадцать шесть тысяч четыреста семь итов.

— Итов?

— Да. Что вас еще интересует?

— Я хотел бы получить немного де... этих самых итов.

— В каком виде? Не хотите ли кальстер?

— Что это такое? Чековая книжка?

— Нет. Вы сможете сразу платить наличными.

— Ах, вот как! Отлично.

— На какую сумму открыть вам кальстер?

— Понятия не имею — тысяч на пять...

— Пять тысяч. Хорошо. Выслать в отель?

— Да. Одну минутку, я забыл, как он называется, этот отель.

— Это тот, из которого вы звоните?

— Тот самый.

— Это «Алькарон». Мы вышлем сейчас же. Только вот что: не изменилась ли ваша правая рука?

— Нет... а что?

— Ничего. В противном случае нам пришлось бы изменить кальстер. Вы сейчас его получите.

— Благодарю, — сказал я, кладя трубку. Двадцать шесть тысяч, сколько это? Я понятия не имел. Что-то забренчало. Радио? Телефон? Я поднял трубку.

— Брегг?

— Да, — ответил я. Сердце ударило сильней, всего один раз. Я узнал ее голос. — Откуда ты узнала, где я? — спросил я, потому что она не сразу отозвалась.

— По Инфору. Брегг... Эл... послушай, я хотела тебе объяснить...

— Нечего объяснять, Наис.

— Ты злишься. Но пойми...

— Я не злюсь.

— Эл, правда? Приходи сегодня ко мне. Придешь?

— Нет, Наис, скажи, пожалуйста, сколько это, двадцать с лишним тысяч итов?

— Как это сколько? Эл... ты должен прийти.

— Ну... сколько времени можно на это прожить?

— Сколько угодно, мы ведь ничего не тратим на жизнь. Но не надо об этом. Эл, если бы ты захотел...

— Подожди. Сколько итов ты тратишь в месяц?

— По-разному. Иногда двадцать, иногда пять, а то и вообще ничего.

— Ага. Спасибо.

— Эл! Послушай!

— Я слушаю.

— Это не может так кончиться...

— Что кончится? — сказал я. — Ничего не начиналось. Благодарю тебя за все, Наис.

Я положил трубку.

На жизнь почти ничего не тратят?.. Это в данную минуту интересовало меня больше всего. Что же, значит, какие-то вещи, какие-то услуги бесплатны?

Снова телефон.

— Брегг слушает.

— Приемная. Вам прислан кальстер из Омнилокса. Высылаю его в ваш номер.

— Благодарю... Алло!

— Слушаю?

— Нужно платить за номер?

— Нет.

— Скажите, а ресторан... есть в гостинице?

— Да, четыре. Прислать вам завтрак в номер?

— Хорошо, а за еду... платят?

— Нет. Кальстер уже наверху. Завтрак будет через минуту.

Робот отсоединился, и я не успел спросить его, где мне искать этот кальстер. Я не имел ни малейшего представления, как он выглядит. Встав из-за столика, который тотчас съезжился и увял в одиночестве, я увидел что-то вроде подставки, вырастающей из стены, возле двери; на ней лежал плоский предмет, завернутый в полупрозрачный пластик и похожий на небольшой портсигар. С одной стороны шел ряд окошечек, цифры в них образовывали 1001110001000. Ниже две малюсенькие кнопочки с цифрами «один» и «ноль». Я смотрел, ошарашенный, и вдруг понял, что это записано 5 тысяч в двоичной системе. Я нажал кнопку с единичкой, и на ладонь вывалился крохотный пластмассовый треугольничек с выдавленным на нем «1». Значит, это было нечто вроде устройства, печатающего или отливающего деньги, в пределах суммы, обозначенной в окошках, — число уменьшилось на единицу.

Я оделся и уже собирался выйти, но тут вспомнил об Адапте. Я позвонил туда и объяснил, что не смог найти их человека в Терминале.

— Мы уже беспокоились о вас, — отозвался женский голос, — но сегодня с утра узнали, что вы поселились в «Алькароне»...

Они знали, где я нахожусь. Почему же они не разыскали меня в порту? Несомненно, нарочно: рассчитывали, что, заблудившись, я пойму, как неуместен был мой «бунт» на Луне.

— У вас великолепно поставлена информация, — ответил я с изысканной вежливостью. — Пока что я отправляюсь осматривать город. Позвоню вам позже.

Я вышел из комнаты; серебряные движущиеся коридоры плыли здесь целиком, вместе со стенами — для меня это было новостью. Я отправился вниз по эскалатору; на каждом этаже мелькали бары, один был совершенно зеленый, словно погруженный в воду, каждый этаж имел свой цвет — серебро, золото, — все это начинало понемногу надоедать. Всего лишь за день! Странно, что им это нравилось. Впрочем... я вспомнил ночной вид на Терминал.

Нужно немного привести себя в порядок, с таким решением я вышел на улицу.

День был пасмурный, но облака светлые, высокие, и солнце временами пробивалось сквозь них. Только теперь с бульвара, где в два ряда стояли огромные пальмы с розовыми, как языки, листьями, я увидел панораму города. Дома располагались отдельными островками, кое-где в небо вонзались иглы небоскребов, словно взметнувшиеся на невероятную высоту и окаменевшие в полете струи. Они вздымались не меньше чем на километр. Я знал — кто-то мне говорил еще на Луне, — что их теперь уже не строят, что мода на них скончалась естественной смертью именно после постройки этих гигантов. Они высились памятниками быстро угасшей архитектурной эпохи — ведь, кроме высоты, изуродованной худосочностью, они ничем не радовали глаз. Темно-коричнево-золотые, бело-черные в поперечную полосу или серебряные — словно трубы, которые не то поддерживают, не то ловят облака; выступавшие на фоне неба посадочные площадки на трубчатых опорах напоминали этажерки.

Несравненно красивее были новые дома. В них не было окон, и это позволяло целиком расписывать стены. Весь город казался одним гигантским вернисажем, на котором соперничали мастера цвета и формы. Не скажу, что мне нравилось все, что украшало эти двадцати- и тридцатизэтажные сооружения, но, учитывая мой почти стопятидесятилетний возраст, меня, пожалуй, нельзя было обвинить в излишнем консерватизме. Больше всего мне понравились здания с висячими садами, часто пальмовыми. Полосы буйной зелени этих садов-оранжерей как бы рассекали на части фасады домов, их прозрачные стены создавали впечатление легкости. Верхние этажи словно покоились на воздушных подушках.

По бульвару мимо мясистых пальм, которые мне как-то особенно не понравились, неслись два потока черных машин. Я уже знал, что они называются глидерами. Над домами появились летающие машины, но не похожие ни на самолеты, ни на вертолеты. Больше всего они походили на заточенные с двух концов карандаши.

Поток пешеходов на тротуарах был куда реже, чем в мое время. Движение вообще было в значительной мере разгружено, особенно пешеходное, может быть, благодаря увели-

чению количества горизонтов; ведь под тем городом, который я сейчас видел, простирались его следующие, более глубокие, подземные этажи, с улицами, площадями, магазинами; Инфор на углу как раз сказал мне, что покупки лучше всего производить на уровне Серean. То ли этот Инфор был какой-то гениальный, то ли я уже научился немного лучше изъясняться, во всяком случае, я заполучил здесь в собственность пластиковую книжечку с четырьмя раскладывающимися страницами — схемами городских коммуникаций. Если нужно было куда-нибудь попасть, достаточно было коснуться названий улицы, уровня, площади — и на карте сразу же вспыхивал план всех необходимых маршрутов. Можно было также отправиться на глйдере. Или на расте. Наконец пешком; поэтому карт было всего четыре. Но я уже на собственном опыте знал, что пешеходные маршруты (даже по движущимся тротуарам и эскалаторам) отнимали слишком много времени.

Серean, по-видимому, был третьим по счету горизонтом. И снова меня поразила вид города: выйдя из тоннеля, я оказался не на подземной магистрали, а на улице под ясным небом, в полном свете полуденного солнца. Посреди площади росли огромные пинии, вдали голубели полосатые небоскребы, а дальше, через площадь, за бассейном, в котором дети взбивали воду, разъезжая на пестрых аквапедах, возвышался разрезанный поясами зелени белый многоэтажный дом, на крыше которого сверкало, как стекло, какой-то странный колпак. Жаль, некого было спросить, каким чудом я вместо подземелья оказался вновь под открытым небом! Но тут вдруг желудок напомнил, что я еще не завтракал; совсем забыв, что завтрак должны были принести в номер, я вышел из отеля, не дождавшись обещанного. А может, робот из приемной что-нибудь перепутал?

Итак, к Инфору; теперь я уже ничего не предпринимал, не расспросив сначала толком, что и как; через Инфор можно было даже заказать глйдер, но об этом я еще не решался просить, потому что не знал, как в него садиться, и вообще что с ним делать; впрочем, это было не к спеху.

В ресторане, едва лишь взглянув в меню, я понял, что для меня это китайская грамота, и решительно приказал принести завтрак, обычный завтрак.

— Озот, кресс или герма?

Будь официант человеком, я попросил бы его принести

что-нибудь по собственному выбору, но это был робот. Ему было все равно.

— А кофе у вас есть? — опасливо спросил я.

— Есть. Кросс, озот или герма?

— Кофе и это... ну, то, что больше всего подходит к кофе... этот, как его...

— Озот, — сказал он и отошел.

Удача!

Не иначе как все это было у него заранее приготовлено, потому что он тотчас же вернулся, неся такой заставленный поднос, что я заподозрил было какой-то подвох или насмешку. Но, взглянув на поднос, отчетливо ощутил, что, кроме вчерашнего бонса и бокала пресловутого брита, у меня ничего не было во рту с самого приезда.

Все блюда казались совершенно незнакомыми, кроме кофе, напоминающего отлично приготовленную смолу. Сливки в крохотных голубых крапинках наверняка не имели никакого отношения к корове. Жаль, не было никого, чтобы подсмотреть, как со всем этим управляться, — время завтрака, по-видимому, миновало, потому что я был здесь один. Серповидные тарелочки с дымящейся массой, из которой торчали вроде бы кончики спичек, посреди как будто печеное яблоко; понятно, это оказалось не яблоко и не спички; а то, что я принял за овсяные хлопья, вдруг начало разрастаться, когда я его коснулся ложечкой.

Я был безумно голоден и проглотил все, без хлеба (которого не было и в помине). Моя хлебная ностальгия, носившая скорее философический оттенок, появилась лишь потом, почти одновременно с роботом, который остановился в некотором отдалении.

— Сколько? — спросил я.

— Благодарю, ничего, — ответил он.

Пожалуй, он походил все-таки больше на прибор, чем на человека. Единственный, круглый, кристаллический глаз. Что-то шевелилось внутри него, но я не отважился заглядывать ему в брюхо. Даже чаевые некому было дать! Неизвестно, поймет ли он, если я попрошу газету. А может, газет уже и не существует. Я решил сам отправиться на поиски. Но сразу же наткнулся на Бюро Путешествий, и меня словно осенило. Я вошел.

Под изумрудными арками огромного серебристого зала (всем этим обилием расцветок я уже был сыт по горло) было

почти пусто. Матовые стекла, гигантские цветные фотографии каньона Колорадо, кратера Архимеда, ущелий Деймоса, Палм-Бич, Флориды — все это было сделано так, что ощущалась глубина, даже волны катились, как будто это не фотографии, а окна, распахнутые в открытые просторы. Я подошел к окошку с табличкой ЗЕМЛЯ.

Там, разумеется, сидел робот. На сей раз золотого цвета. Точнее, позолоченный.

— Чем могу быть полезен? — спросил он. Голос был глубокий. Закрыв глаза, можно было бы поклясться, что говорит крепкий, темноволосый мужчина.

— Мне бы хотелось чего-нибудь примитивного, — сказал я. — Я только что вернулся из длительного путешествия. Чрезмерного комфорта я не требую. Спокойное место, вода, деревья, могут быть горы. Чтобы было примитивно и по старинке. Как лет сто назад. Нет ли чего-нибудь в этом роде?

— Раз вы заказываете, у нас должно быть. Скалистые горы. Форт Плумм, Майорка, Антильские острова.

— Поближе, — сказал я. — Так... в радиусе до тысячи километров. А?

— Клавестра.

— Где это?

Я заметил, что с роботами мне легче разговаривать: они ничему не удивляются. Они не умеют. Это было мудро придумано.

— Старинный горняцкий поселок вблизи Тихого океана. Рудник, не разрабатываемый вот уже четыреста лет. Увлекательные путешествия подземными эскалаторами. Удобное сообщение ульдерами и глйдерами. Дома отдыха с медицинским персоналом, сдаются виллы с садом, купальным бассейном, климатической стабилизацией. Местный филиал нашего бюро организует всевозможные развлечения, экскурсии, игры, дружеские встречи. На месте — реал, мут и стереон.

— Да, это, пожалуй, для меня, — сказал я, — вилла с садом. И чтобы была вода. Бассейн, не так ли?

— Разумеется. Бассейн с трамплином, искусственные озера с подводными пещерами, прекрасно оборудованный район для аквалангистов, подводные феерии...

— Ладно, феерии мы оставим в покое. Сколько стоит?

— Сто двадцать итов ежемесячно. Но если вместе еще с кем-нибудь, то всего сорок.



— Вместе?

— Виллы очень просторны. От двенадцати до восемнадцати помещений — автоматическое обслуживание, приготовление еды на месте, питание стандартное или экзотическое, на выбор...

— Мда. Пожалуй, действительно... хорошо. Моя фамилия Брегг. Я согласен. Как это называется? Клавестра? Платить сейчас же?

— Как угодно.

Я протянул ему кальстер.

Оказалось — я этого не знал, — что только я могу его включать, но робот, разумеется, нисколько не удивился моему невежеству. Эти роботы начинали мне нравиться все больше. Он показал, как сделать, чтобы изнутри выпадал только один жетон с необходимой цифрой. Ровно на столько же уменьшалось число в окошечках наверху, показывающее состояние счета.

— Когда я могу выехать?

— Когда пожелаете. В любую минуту.

— Ах да, а с кем я буду делить эту виллу?

— Марджеры. Он и она.

— Кто они такие?

— Могу сообщить только, что это молодожены.

— Хм. Я им не помешаю?

— Нет, поскольку половина виллы сдается. Весь второй этаж будет принадлежать исключительно вам.

— Ну хорошо. А как я туда попаду?

— Лучше всего ульдером.

— Как это сделать?

— Я закажу вам ульдер на тот день и час, который вы укажете.

— Я позвоню из отеля. Это возможно?

— Как вам будет угодно. Плата насчитывается с той минуты, как вы войдете в виллу.

В моей голове начинал неясно вырисовываться некий план. Накуплю книжек и всякой спортивной всячины. Первым делом — книги. И еще нужно подписаться на специальные журналы. Социология, физика. Они, наверно, сделали кучу дел за эти сто лет. Ах да, нужно еще купить какой-нибудь костюм.

И снова что-то спутало мои карты. Повернув за угол, я вдруг, не веря собственным глазам, увидел автомобиль. На-

стоящий автомобиль. Ну, может быть, не совсем такой, какие я помнил, — кузов, казалось, состоял из одних только острых углов. Но это был самый настоящий автомобиль, с надувными шинами, дверцами, рулем, и за ним стояли другие автомобили. Все за большой витриной; на ней огромными буквами — АНТИКВАРИАТ. Я вошел. Хозяин — или продавец — человек, не робот. «Жаль», — подумал я.

— Нельзя ли купить автомобиль?

— Разумеется. Какой вам угодно?

— Сколько они стоят?

— От четырехсот до восьмисот итов.

«Солидно!» — подумал я. Ну что ж, за древности приходится раскошелиться.

— А на нем можно ездить?

— О, конечно. Не всюду, правда, есть запрещенные места, но в общем вполне возможно.

— А как с горючим? — осторожно спросил я, не имея ни малейшего понятия, что там было под капотом.

— О, это не доставит вам хлопот. Один заряд обеспечит вас на все время жизни машины. С учетом парастатов, разумеется.

— Отлично, — сказал я. — Я бы хотел что-нибудь мощное, прочное. Не очень большое, но быстрое.

— Тогда я посоветовал бы вам вот этот Джиабиль или вон ту модель...

Он провел меня в глубину большого зала вдоль машин, сверкавших, как новенькие.

— Конечно, — продолжал продавец, — с глидерами они тягаться не могут, но, с другой стороны, автомобиль ведь сегодня уже не средство сообщения.

«А что же?» — хотел я спросить, но промолчал.

— Хорошо... Сколько стоит вот эта машина? — и указал на светло-голубой лимузин с глубоко сидящими серебряными фарами.

— Четыреста восемьдесят итов.

— Но он нужен мне в Клавестре, — продолжал я. — Я снял там виллу. Точный адрес вам может сообщить Бюро Путешествий, тут, за углом...

— Отлично, все в порядке. Можно послать с ульдером: это бесплатно.

— Вот как? Я тоже еду туда на ульдере.

— Вам достаточно сообщить нам дату, мы доставим ма-

шину к вашему ульдеру, это будет проще всего. Разве что вы хотели бы...

— Нет, нет. Пусть будет так, как вы предлагаете.

Я заплатил за машину — с кальстером я уже обращался почти умело — и вышел из антиквариата, наполненного запахом лака и резины. Благословенный аромат!

С одеждой все сразу пошло из рук вон плохо. Не было почти ничего привычного. Зато выяснилось наконец назначение загадочных сифонов, тех, в ванном шкафчике с надписью: «Купальные халаты». Не только такой халат, но и костюмы, чулки, свитеры, белье — все делалось из выдувного пластика. Понятно, женщинам это должно было нравиться — манипулируя несколькими сифонами, можно было всякий раз создавать себе новый наряд, даже на единственный случай; сифоны выделяли жидкость, которая тут же застывала в виде ткани с гладкой или шершавой фактурой: бархата, меха или упругой с металлическим отливом. Конечно, не все женщины занимались этим сами, были специальные школы пластавания (вот чем занималась Наис). Но в общем вся эта технология породила моду «в обтяжку», которая мне не очень-то подходила. Сама процедура одевания с помощью сифонов тоже показалась мне чересчур хлопотной. Были и готовые вещи, но и эти меня не устраивали; даже самым большим не доставало чуть ли не четырех номеров до моих размеров. В конце концов я решился прибегнуть к помощи сифонов — видно было, что моя рубашка недолго протянет. Можно было, конечно, доставить остатки вещей с «Прометей», но там у меня тоже не было вечерних белоснежных рубах — в окрестностях планетной системы Фомальгаут они не так уж необходимы. В общем я остановился на нескольких парах рабочих брюк для работы в саду, лишь они имели относительно широкие штанины, которые можно было попробовать надставить; за все вместе я выложил один ит — ровно столько стоили эти штанишки. Остальное шло даром. Я велел прислать вещи в отель и уже просто из любопытства дал себя уговорить заглянуть в салон мод. Меня принял субъект, выглядевший как свободный художник, оглядел меня, согласился, что мне идут просторные вещи; я заметил, что он не был от меня в восторге. Я от него тоже. Кончилось все это тем, что он сделал мне тут же несколько свитеров. Я стоял, подняв руки, а он вертелся вокруг меня, оперируя сразу четырьмя флаконами. Жидкость, белая, как

пена, на воздухе моментально застывала. Таким образом были созданы четыре свитера самых разных цветов, один с полоской на груди, красное на черном; самой трудной, как я заметил, была отделка воротника и манжет. Тут действительно требовалось мастерство.

Обогадившись этими впечатлениями, которые вдобавок ничего мне не стоили, я оказался на улице в самый разгар дня. Глидеров стало как будто меньше, зато над крышами появилось множество сигарообразных машин. Толпы плыли по эскалаторам на нижние этажи, все спешили, только у меня было времени хоть отбавляй. Часок погрелся на солнышке, сидя под рододендромом со следами жесткой шелухи там, где отмерли листья, потом вернулся в отель. В холле мне вручили аппаратик для бритья; занявшись этой процедурой в ванной, я вдруг заметил, что мне приходится немного наклоняться к зеркалу, хотя я помнил, что накануне мог рассмотреть себя в нем не наклоняясь. Разница была ничтожная, но еще раньше, снимая рубаху, я заметил нечто странное: она стала короче. Ну, так, словно села. Теперь я внимательно присмотрелся к ней. Воротничок и рукава совершенно не изменились. Я положил ее на стол. Она была точно такая же, как раньше, но, когда я ее натянул на себя, края оказались чуть ниже пояса. Это не она, это я изменился. Я вырос.

Мысль абсурдная, и все-таки она обеспокоила меня. Я вызвал внутренний Инфор и попросил сообщить мне адрес врача — специалиста по космической медицине. В Адапте я предпочитал не появляться как можно дольше. После непродолжительного молчания — казалось, автомат задумался — я услышал адрес. Доктор жил на той же улице, несколькими кварталами дальше. Я отправился к нему. Робот провел меня в большую затемненную комнату. Кроме меня, здесь не было никого.

Минуту спустя вошел врач. Он выглядел так, как будто сошел с семейной фотографии в кабинете моего отца. Маленький, но не худой, с седой бородкой, в золотых очках — первые очки, которые я увидел на человеческом лице с момента возвращения. Его звали доктор Жуффон.

— Эл Брегг? — спросил он. — Это вы?

— Я.

Он долго молчал, разглядывая меня.

— Что вас беспокоит?

— По существу, ничего, доктор, только... — Я рассказал ему о своих странных наблюдениях.

Он молча открыл передо мной дверь. Мы вошли в небольшой кабинет.

— Разденьтесь, пожалуйста.

— Совсем? — спросил я, оставшись в брюках.

— Да.

Он осмотрел меня.

— Теперь таких мужчин нет, — пробормотал он, будто говорил сам с собой.

Прикладывая к груди холодный стетоскоп, выслушал сердце. «И через тысячу лет будет так же», — подумал я, и эта мысль доставила мне крохотное удовлетворение. Он измерил мой рост и велел лечь. Внимательно посмотрел на шрам под правой ключицей, но не сказал ничего. Осмотр длился почти час.

Рефлексы, емкость легких, электрокардиограмма — ничего не было забыто. Когда я оделся, он присел за маленький черный столик. Скрипнул выдвинутый ящик, в котором он что-то искал. После всей этой мебели, которая начинала вертеться при виде человека, как припадочная, этот старенький столик пришелся мне как-то особенно по душе.

— Сколько вам лет?

Я объяснил ему, как обстоят дела.

— У вас организм тридцатилетнего мужчины, — сказал он. — Вы гибернезировались?

— Да.

— Долго?

— Год.

— Зачем?

— Мы возвращались на ускорении. Пришлось лечь в воду. Амортизация, понимаете, ну, а в воде трудно пролежать целый год, бодрствуя...

— Понятно. Я полагал, что вы гибернезировались дольше. Этот год можете спокойнейшим образом вычесть. Не сорок, а только тридцать девять лет.

— А... рост?

— Это чепуха, Брегг. Сколько у вас было?

— Ускорение? Два г.

— Ну вот, видите! Вы думали, что растете, а? Нет. Не растете. Это просто межпозвоночные диски. Знаете, что это такое?

- Да, это такие хрящи в позвоночнике...
- Вот именно. Они разжимаются сейчас, когда вы освободились из-под этого пресса. Какой у вас рост?
- Когда мы улетали — сто девяносто семь.
- А потом?
- Не знаю. Не измерял; не до этого было, понимаете...
- Сейчас в вас два метра два.
- Хорошенькое дело, — пробормотал я, — и долго еще так протянется?
- Нет. Вероятно, уже все... Как вы себя чувствуете?
- Хорошо.
- Все кажется легким, да?
- Теперь уже меньше. В Адапте, на Луне, мне дали какие-то пилюли для уменьшения напряжения мышц.
- Вас дегравитировали?
- Да. Первые три дня. Говорили, что это недостаточно после стольких лет, но, с другой стороны, не хотели держать нас после всего этого взаперти...
- Как самочувствие?
- Ну... — начал я неуверенно, — временами... я себе кажусь неандертальцем, которого привезли в город...
- Что вы собираетесь делать?
- Я сказал ему о вилле.
- Это, может быть, и не так уж плохо, — сказал он, — но...
- Адапт был бы лучше?
- Я этого не сказал. Вы... а знаете ли, что я вас помню?
- Это невозможно! Ведь вы же не могли...
- Нет. Но я слышал о вас от своего отца. Мне тогда было двенадцать лет.
- О, так это было, очевидно, уже много лет спустя после нашего отлета, — вырвалось у меня, — и нас еще помнили? Странно.
- Не думаю. Странно скорее то, что вас забыли. Ведь вы же знали, как будет выглядеть возвращение, хоть и не могли, конечно, все это себе представить?
- Знал.
- Кто вас ко мне направил?
- Никто. Вернее, Инфор в отеле. А что?
- Занятно, — сказал он. — Дело в том, что я не врач, собственно.
- Как!

— Я не практикую уже сорок лет! Занимаюсь историей космической медицины, потому что это уже история, Брегг, и, кроме как в Адапте, работы для специалистов уже нет.

— Простите, я не знал.

— Чепуха. Скорее я должен вас благодарить. Вы — живой аргумент против утверждений школы Милльмана, считающей, что увеличенная тяжесть вредно влияет на организм. У вас даже нет расширения левого предсердия, ни следа эмфиземы... и великолепное сердце. Но ведь вы это сами знаете?

— Знаю.

— Как врачу, мне нечего добавить, Брегг, но, видите ли... — Он был в нерешительности.

— Да?

— Как вы ориентируетесь в нашей... нынешней жизни?

— Туманно.

— Вы седой, Брегг.

— Разве это имеет какое-нибудь значение?

— Да. Седина означает старость. Никто сейчас не седеет, Брегг, до восьмидесяти, да и после это довольно редкий случай.

Я понял, что это правда: я почти совсем не видел стариков.

— Почему?

— Есть соответствующие препараты, лекарства, останавливающие процесс поседения. К тому же можно восстановить первоначальный цвет волос, хотя это утомительная процедура.

— Ну хорошо... — сказал я. — Но зачем вы мне это говорите?

Я видел, что он никак не решается.

— Женщины, Брегг, — коротко ответил он.

Я вздрогнул.

— Вы хотите сказать, что я выгляжу как... старик?

— Как старик — нет, скорее как атлет... но вы ведь не разгуливаете нагишом. Особенно когда сидите, вы выглядите... то есть случайный прохожий примет вас за омолодившегося старика. После восстановительной операции, подсадки гормонов и тому подобного.

— Ну что ж... — сказал я. Не знаю, почему я чувствовал себя так мерзко под его спокойным взглядом. Он снял очки и положил их на стол. Его голубые глаза чуточку слезились.

— Вы многого не понимаете, Брегг. Если бы вы собирались до конца жизни посвятить себя самоотверженной работе, ваше «ну что ж» было бы, возможно, уместным, но... то общество, в которое вы возвратились, не пылает энтузиазмом к тому, за что вы отдали больше, чем жизнь.

— Не нужно таких слов, доктор.

— Я говорю так, потому что так думаю. Отдать жизнь, что ж? Люди делали это испокон веков... но отдать всех друзей, родных, знакомых, женщин — ведь вы же пожертвовали всем этим, Брегг!

— Доктор...

Это слово с трудом прошло сквозь гортань. Я оперся локтем о старый стол.

— И, кроме горсточки специев, это не интересует никого, Брегг. Вы это знаете?

— Да. Мне сказали об этом на Луне, в Адапте... только... они выразили это... мягче.

Мы замолчали.

— Общество, в которое вы возвратились, стабилизировалось. Оно живет спокойно. Понимаете? Романтика раннего периода космонавтики кончилась. Это напоминает историю Колумба. Его путешествие было чем-то необычным, но кто интересовался капитанами парусников спустя двести лет? О вашем возвращении поместили две строчки в реале.

— Доктор, но это ведь не имеет никакого значения, — сказал я. Его сочувствие начинало меня раздражать еще больше, чем равнодушие других. Но этого я не мог ему сказать.

— Имеет, Брегг, хотя вы не хотите согласиться с этим. Если бы на вашем месте был кто-нибудь другой, я бы промолчал, но вы имеете право знать правду. Вы одиноки. Человек не может жить одиноко. Ваши интересы, все то, с чем вы вернулись, — это островок в море безразличия. Сомневаюсь, многие ли захотят слушать то, что вы могли бы рассказать. Я бы захотел, но мне восемьдесят девять лет...

— Мне нечего рассказывать, — желчно ответил я. — Во всяком случае, ничего сенсационного. Мы не открыли никакой галактической цивилизации, кроме того, я был всего лишь пилотом. Я вел корабль. Кто-то должен был это сделать.

— Вот как? — тихо сказал он, поднимая седые брови.

Внешне я был спокоен, но мною овладело бешенство.



— Так! И тысячу раз так! А это равнодушие, сейчас — если уж вы хотите знать — задевает меня только из-за тех, кто не вернулся...

— Кто не вернулся? — спросил он совершенно спокойно. Я успокоился.

— Многие. Ардер, Вентури, Эннессон. Зачем вам, доктор...

— Я спрашиваю не из праздного любопытства. Это была — поверьте, я тоже не люблю громких слов, — это была как бы моя собственная молодость. Из-за вас я посвятил себя своей профессии. Мы с вами равны своей бесполезностью. Вы, разумеется, можете с этим не соглашаться. Я не буду настаивать. Но мне хотелось бы знать. Что произошло с Ардером?

— Точно неизвестно, — ответил я. Мне вдруг все стало безразлично. Почему бы в конце концов не рассказать? Я уставился на потрескавшийся черный лак столика. Никогда не думал, что это так будет выглядеть.

— Мы вели два зонда над Арктуром. Я потерял с ним связь. Не мог его отыскать. Это его радио замолчало, не мое. Когда у меня кончился кислород, я вернулся.

— Вы ждали?

— Да. В общем я кружился вокруг Арктура шесть дней. Если говорить точно, сто пятьдесят шесть часов.

— Один?

— Да. Мне не повезло, на Арктуре появились новые пятна, и я полностью потерял связь с «Прометеем». Со своим кораблем. Магнитные бури. Без радио нельзя вернуться. Я имею в виду Ардера. В этих зондах локатор сопряжен с радио. Он не мог вернуться без меня и не вернулся. Гимма вызывал меня. Он был прав, потому что я потом рассчитал — просто так, чтобы убить время, — какова была вероятность, что я найду Ардера с помощью радара, — я уже не помню точно, но это было что-то вроде одного к триллиону. Надеюсь, он сделал то же, что Арне Эннессон.

— Что сделал Арне Эннессон?

— Потерял фокусировку пучка. Начала падать тяга. Он еще мог удержаться на орбите, ну, скажем, сутки, идя по спирали, и в конце концов свалился бы на Арктур, поэтому он предпочел сразу войти в протуберанец. Сгорел почти на моих глазах.

— Сколько всего было пилотов, кроме вас?

— На «Прометее» пять.

— Сколько вернулось?

— Олаф Стааве и я. Я знаю, о чем вы думаете, доктор, — что это героизм. Я тоже так думал когда-то, когда читал книги о таких людях. Это неправда. Слышите, что я вам говорю? Если бы я мог, я бросил бы этого Ардера и вернулся сразу, но я не мог. Он тоже не смог бы. Ни один не смог бы. Гимма тоже.

— Почему вы так на этом... настаиваете? — спросил он тихо.

— Потому что есть разница между героизмом и необходимостью. Я сделал то, что сделал бы каждый. Доктор, чтобы это понять, нужно побывать там. Человек — это такая крохотная капелька. Какая-нибудь расфокусировка тяги или размагничение полей — начинается вибрация, и мгновенно свертывается кровь. Поймите, я говорю о дефектах, не о внешних причинах, вроде метеоров. Достаточно ничтожной дряни, какого-нибудь перегоревшего проводничка в аппаратуре связи, и готово. Если бы в этих условиях еще и люди подводили, то экспедиции были бы просто самоубийством, понимаете? — Я прикрыл глаза. — Доктор, неужели сейчас не летают? Как это могло случиться?

— Вы бы полетели?

— Нет.

— Почему?

— Я скажу вам. Никто из нас не полетел бы, если бы знал, как там будет. Этого никто не знает. Никто из тех, кто там не побывал. Мы были горсточкой смертельно испуганных, впавших в отчаяние животных.

— Это не вяжется с тем, что вы только что говорили.

— Не вяжется. Но так было. Мы боялись. Когда я ждал Ардера, доктор, и кружил вокруг этого солнца, я навдумывал для себя всяких людей и разговаривал с ними, говорил за них и за себя, и под конец поверил, что они рядом со мной. Каждый спасался как умел. Вы подумайте, доктор. Я сижу тут, перед вами, я нанял себе виллу, купил старый автомобиль, я хочу учиться, читать, плавать, но все, что было, — во мнe. Оно во мне, это пространство, эта тишина, и то, как Вентури звал на помощь, а я, вместо того чтобы спасти его, дал полный назад.

— Почему?

— Я вел «Прометей». У Вентури забарахлил реактор. Он мог разнести нас всех. Он не разлетелся, не разнес бы.

Может, мы сумели бы его вытянуть, но я не имел права рисковать. Тогда, с Ардером, было наоборот. Я хотел его спасти, а Гимма меня вызывал, потому что боялся, что мы оба погибнем.

— Брегг, скажите... чего вы ждали от нас? От Земли?

— Понятия не имею. Я никогда об этом не думал. Мы говорили об этом, как говорят о загробной жизни, как о рае, но представить себе этого не мог никто. Довольно, доктор. Я не хочу больше говорить об этом. Я хотел спросить вас об одном. Что такое эта... бетризация?

— Что вы о ней знаете?

Я рассказал ему. Конечно, ничего о том, от кого и при каких обстоятельствах узнал.

— Так, — сказал он. — Примерно так... в представлении среднего человека это именно так.

— А я?

— Закон делает для вас исключение, потому что бетризация взрослых небезопасна для здоровья, скорее даже опасна. Кроме того, считается — я думаю, правильно, — что вы прошли проверку... моральных качеств. И потом, вас... мало.

— Еще одно, доктор. Вы говорили о женщинах. Зачем вы мне это сказали? Может быть, я вас задерживаю?

— Нет. Не задерживаете. Зачем сказал? Каких близких может иметь человек, Брегг? Родителей. Детей. Друзей. Женщин. Родителей или детей у вас нет. Друзей у вас быть не может.

— Почему?

— Я не имею в виду ваших товарищей, хотя не знаю, захотите ли вы все время оставаться с ними, вспоминать...

— О небо, с какой стати! Ни за что!

— Ну вот! Вы знаете две эпохи. В одной вы провели молодость, а другую познаете теперь. Если добавить эти десять лет, ваш опыт несравним с опытом любого вашего ровесника. Значит, они не могут быть вашими равноправными партнерами. Что же, среди стариков вам жить, что ли? Остаются женщины, Брегг. Только женщины.

— Скорее одна женщина, — буркнул я.

— Насчет одной теперь трудно.

— Как это?

— Мы живем в эпоху благосостояния. В переводе на язык эротических проблем это означает — беспощадность. Ни

любовь, ни женщину нельзя приобрести за деньги. Материальные факторы исчезли.

— И это вы называете беспощадностью, доктор?

— Да. Вы, наверно, думаете — раз я заговорил о купле любви, — что речь идет о проституции, скрытой или явной. Нет. Это уже очень давняя история. Раньше женщину привлекал успех. Мужчина импонировал ей своим заработком, профессиональным мастерством, положением в обществе. В равноправном обществе все это не существует. За редкими исключениями. Если б вы, например, были реалистом...

— Я реалист.

Он усмехнулся.

— Это слово теперь имеет иное значение. Так называется актер, выступающий в реале. Вы уже были в реале?

— Нет.

— Посмотрите парочку мелодрам, и вы поймете, в чем заключаются нынешние критерии эротического выбора. Самое важное — молодость. Потому-то все так борются за нее. Морщины, седина, особенно преждевременная, вызывают почти такие же чувства, как в давние времена проказа...

— Почему?

— Вам это трудно понять. Но аргументы здравого смысла бессильны против господствующих обычаев. Вы все еще не отдаете себе отчета в том, как много факторов, игравших раньше решающую роль в эротической сфере, исчезло. Природа не терпит пустоты: их должны были заменить другие. Возьмите хотя бы то, с чем вы настолько сжились, что перестали даже замечать исключительность этого явления, — риск. Его теперь не существует, Брегг. Мужчина не может понравиться женщине бравадой, рискованными поступками, а ведь литература, искусство, вся культура целыми веками черпала из этого источника: любовь перед лицом смерти. Орфей спускался в страну мертвых за Эвридикой. Отелло убил из любви. Трагедия Ромео и Джульетты... Теперь нет уже трагедий. Нет даже шансов на их существование. Мы ликвидировали ад страстей, и тогда оказалось, что вместе с ним исчез и рай. Все теперь тепленькое, Брегг.

— Тепленькое?..

— Да. Знаете, что делают даже самые несчастные влюбленные? Ведут себя разумно. Никаких вспышек, никакого соперничества...

— Вы... хотите сказать, что все это... исчезло? — спросил

я. Впервые я ощутил какой-то сусверный страх перед этим миром.

Старик молчал.

— Доктор, это невозможно. Как же так... неужели?

— Да. Именно так. И вы должны принять это, Брегг, как воздух, как воду. Я говорил вам, что насчет одной женщины трудно. На всю жизнь почти невозможно. Средняя продолжительность связей — около семи лет. Это все же прогресс. Полвека назад она равнялась едва четырем...

— Я не хочу вас больше задерживать, доктор. Что вы мне посоветуете?

— То, о чем я уже говорил, — восстановление первоначального цвета волос... это звучит банально, понимаю. Но это важно. Мне стыдно давать вам такой совет. Не за себя. Но что же я...

— Я благодарен вам. Серьезно. Последнее. Скажите... как я выгляжу... на улице? В глазах прохожих? Что во мне такого?

— Вы иной, Брегг. Во-первых, ваши размеры. Это какая-то «Илиада». Исчезнувшие пропорции... это даже может быть некоторым шансом, но вы ведь знаете судьбу тех, которые слишком выделяются.

— Знаю.

— Вы немного великоваты... таких я не помню даже смолу. Сейчас вы выглядите как человек очень высокнй и отворотительно одетый, но это не костюм виноват — просто вы такой уж неслыханно мускулистый. До полета тоже?

— Нет, доктор. Это все те же два g, я вам говорил.

— Возможно.

— Семь лет. Семь лет двойного ускорения. Конечно, все мускулы должны были увеличиться, брюшные, дыхательные, я знаю, как выглядит моя шея. Но иначе я бы задохнулся, как мышшь. Мускулы работали, даже когда я спал. Даже во время гибернации. Все весило в два раза больше. Это все поэтому.

— Другие тоже?.. Простите, что я спрашиваю, но это уж во мне заговорил врач... Видите ли, еще не было такой длительной экспедиции...

— Я знаю. Другие? Олаф почти такой же, как я. Наверно, это зависит от скелета, я всегда был ширококостный. Ардер был выше меня. Больше двух. Да, Ардер... О чем это я говорил? Другие? Я ведь был самый молодой и поэтому легче

всех адаптировался. По крайней мере Вентури так утверждал... Вы знаете работы Янссенна?

— Янссенна? Это же наша классика, Брегг...

— Вот как? Смешно, это был такой подвижный маленький доктор... Знаете, я выдержал у него однажды семьдесят девять g в течение полутора секунд...

— Что?

Я улыбнулся.

— Это даже удостоверено. Но это было сто тридцать лет назад. Сейчас для меня и сорок слишком много.

— Брегг, да ведь сейчас никто и двадцати не выдержит!

— Почему? Неужели из-за этой бетризации?

Он молчал. Мне показалось, что он знает что-то такое, о чем не хочет мне сказать. Я встал.

— Брегг, — сказал он, — уж если мы об этом заговорили: будьте осторожны.

— В чем?

— Остерегайтесь себя и других. Прогресс никогда не доставался даром. Мы избавились от тысяч и тысяч опасностей, конфликтов, но за это пришлось платить. Общество стало мягче, а вы бываете... можете быть... слишком жестоким. Вы понимаете?

— Понимаю, — ответил я, вспоминая о том человеке, который смеялся в ресторане и замолчал, когда я к нему подошел.

— Доктор, — сказал я вдруг, — знаете... я встретил ночью льва. Даже двух. Почему они на меня не напали?

— Теперь нет хищников, Брегг... бетризация... Вы встретили его ночью? И что же вы сделали?

— Я его чесал под подбородком, — сказал я и показал как. — Но насчет «Илиады», доктор, это преувеличение. Я здорово испугался. Что я вам должен?

— Даже не упоминайте об этом. И если вы когда-нибудь захотите...

— Благодарю вас.

— Но только не откладывайте слишком, — добавил он почти шепотом, когда я уже выходил. Только на лестнице я понял, что это означало: ему ведь было около девяноста лет.

Я вернулся в отель. В холле была парикмахерская. Конечно, ее обслуживал робот. Я попросил подстричь меня. Я порядочно зарос, волосы так и торчали над ушами. Больше всего поседели виски. Когда робот кончил, я решил, что те-

перь выгляжу менее дико. Он мелодичным голосом спросил, не покрасить ли.

— Нет, — сказал я.

— Апрекс?

— Что это?

— Против морщин.

Я заколебался. Все это было страшно глупо, но, может быть, доктор все-таки был прав?

— Хорошо, — согласился я.

Он покрыл мое лицо слоем резко пахнувшего желатина, который стянулся как маска. Потом я лежал под компрессами, радуясь, что не вижу сам себя.

Я отправился наверх; в комнате уже лежали пакеты с жидким бельем, я сбросил одежду и вошел в ванную. Там было зеркало.

М-да. Я мог испугать кого угодно. Я и не подозревал, что выгляжу как ярмарочный силач. Бугры мускулов, торс, я весь был какой-то бугристый. Когда я поднял руку, грудная мышца напряглась, и в ней раскрылся глубокий шрам шириной в ладонь. Я попытался разглядеть второй, что был возле лопатки, из-за которого меня называли счастливым, — если б осколок прошел на три сантиметра левее, он раздробил бы мне позвоночник. Я стукнул себя по животу, твердому, как доска.

— Ты, скотина, — шепнул я в зеркало. Захотелось принять ванну, настоящую, без этих озонных вихрей... Утешила мысль о бассейне, который будет при вилле. Попытался надеть один из купленных нарядов, но никак не мог решиться расстаться с брюками. Поэтому натянул только белый свитер, хотя мой старый, черный, истрепанный на локтях, нравился мне больше, и отправился в ресторан.

Почти половина столиков была свободна. Пройдя три зала, я вышел на террасу; отсюда открывался вид на большие бульвары с нескончаемыми потоками глiders; под облаками, как горный массив, поблекший в воздушной дымке, возвышался Терминал.

Я решил заказать обед.

— Что угодно? — Робот пытался вручить мне меню.

— Все равно, — ответил я. — Обычный обед.

Только начав есть, я обратил внимание на то, что столики вокруг меня пустуют. Я совершенно бессознательно искал уединения. Я даже не подозревал об этом. Я не замечал, что

ем. Уверенность в том, что я все хорошо придумал, покинула меня. Отпуск... как будто я собирался сам себя вознаградить, если уж никто иной об этом не позаботился. Бесшумно подошел официант.

— Вы Брегг, не так ли?

— Да.

— У вас гость, в вашем номере.

— Гость?

Я сразу подумал о Наис. Допил темный пенистый напиток и встал, ощущая спиной провожающие меня взгляды. Неплохо было бы отпилить от себя хотя бы десяток сантиметров. В номере ждала молодая женщина, которую я никогда раньше не видел. Серое пушистое платье, алая фантазмагория вокруг плеч.

— Я из Адапта, — сказала она, — я разговаривала сегодня с вами.

— Ах, это были вы?

Я слегка насторожился. Что им от меня опять нужно? Она присела. Я тоже медленно опустился в кресло.

— Как вы себя чувствуете?

— Великолепно. Сегодня я был у врача. Он меня осмотрел. Все в порядке. Я снял виллу, хочу немного почитать.

— Очень разумно. С этой точки зрения Клавестра — великолепное место. Там горы, спокойствие...

Она знала, что вилла в Клавестре. Следили они за мной, что ли? Я не шелохнулся, ожидая продолжения.

— Я принесла вам... это от нас.

Она показала небольшой пакет, лежавший на столе.

— Это самая последняя наша новинка, понимаете, — говорила она с несколько искусственным оживлением. — Ложась спать, вы включаете аппарат... и за несколько ночей самым простейшим способом узнаете без всяких усилий массу полезных вещей...

— Ах, вот как! Замечательно, — сказал я.

Она улыбнулась, я тоже — вежливый ученик.

— Вы психолог?

— Да, вы угадали.

Она была в нерешительности. Я видел, что она хочет что-то сказать.

— Я слушаю...

— Вы на меня не обидитесь?

— С чего бы мне на вас обижаться?



— Потому что... видите ли... вы одеваетесь несколько...  
— Знаю. Но мне нравятся эти брюки. Со временем, пожалуй...

— Ах, дело совсем не в брюках. Свитер...

— Свитер? — удивился я. — Мне его сегодня сделали, это ведь, кажется, последний крик моды, разве нет?

— Да-да. Только вы его напрасно так надули... вы разрешите?

— Прошу вас, — ответил я совсем тихо.

Она наклонилась в кресле, вытянутыми пальцами легко ударила меня в грудь и слабо вскрикнула:

— Что у вас там?

— Ничего, кроме меня самого, — ответил я, криво улыбаясь.

Она потерла ушибленные пальцы и встала. Злорадное удовлетворение вдруг покинуло меня, мое спокойствие стало теперь просто холодным.

— Ничего, садитесь.

— Но... я очень прошу вас извинить... я...

— Чепуха. И давно вы работаете в Адапте?

— Второй год...

— Вот как — и первый пациент? — я показал на себя пальцем.

Она слегка покраснела.

— Разрешите вас спросить?

Ее веки затрепетали. Может быть, она воображала, что я собираюсь условиться с ней о свидании?

— Конечно...

— Как это делается, что на каждом горизонте города можно видеть небо?

Она оживилась.

— Это очень просто. Телевидение — так это раньше называлось. На потолках расположены экраны — они передают то, что над землей, — вид неба, тучи...

— Но ведь эти горизонты не так уж высоки, — сказал я, — а там стоят даже сорокаэтажные дома...

— Это иллюзия, — улыбнулась она, — только часть домов настоящая, остальные этажи продолжают на экранах. Понимаете?

— Понимаю как, но не понимаю зачем?

— Ну, чтобы ни на одном этаже жители не чувствовали себя обиженными. Ни в чем...

— Ага, — сказал я. — Да, это остроумно... и вот еще что. Я собираюсь отправиться за книгами. Посоветуйте мне что-нибудь из вашей области. Какие-нибудь... такие... компилятивные, обзорные...

— Вы хотите изучать психологию? — удивилась она.

— Нет, но я хочу знать, что вы сделали за это время...

— Я бы вам посоветовала Майссена... — сказала она.

— Что это такое?

— Школьный учебник.

— Я бы предпочел что-нибудь более серьезное. Справочники, монографии... лучше всего получать из первых рук...

— Это, вероятно, будет слишком... трудно...

Она снисходительно улыбнулась.

— А может быть, и нет. В чем состоит трудность?

— Психология очень математизировалась...

— Я тоже. До того места, на котором оставил вас сто лет назад. Что, требуется больше?

— Но ведь вы же не математик?

— По специальности нет, но я изучал математику. На «Прометее». Там, видите ли, было очень много... свободного времени.

Удивленная, сбита с толку, она уже ничего больше не говорила. Выписала мне на карточку ряд названий. Когда она вышла, я вернулся к столу и тяжело сел. Даже она, сотрудница Адапта... Математика? Откуда? Дикарь, неандерталец! «Ненавижу их, — подумал я, — ненавижу, ненавижу». Я даже не сознавал, о ком думаю. Обо всех сразу. Да, обо всех. Меня обманули. Отправили меня, сами не зная, что творят, рассчитывали, что я не вернусь, как Вентури, Ардер, Томас, но я вернулся, чтобы они меня боялись, вернулся, чтобы быть угрызением совести, которому никто не рад. «Я не нужен», — подумал я. Если б я мог плакать. Ардер умел. Он говорил, что не нужно стыдиться слез. Я, наверное, солгал в кабинете доктора. Я не сказал об этом никому, никогда, но я не был уверен, что сделал бы это для кого-нибудь. Для Олафа, потом. Но я не был в этом абсолютно уверен. Ардер! Как мы верили им и все время чувствовали за собой Землю, верящую в нас, думающую о нас, живую. Никто не говорил об этом, зачем? Разве говорят о том, что очевидно?

Я встал. Я не мог сидеть. Я ходил из угла в угол.

Довольно. Я открыл дверь ванной, но ведь там не было даже воды, чтобы плеснуть себе в лицо. И что это за мысли в конце концов! Чистейшая истерия!

Я вернулся в номер и начал упаковывать вещи.

### III

Все послеобеденное время я провел в книжном магазине. Книг не было. Их не печатали уже без малого полсотни лет. А я так истосковался по ним после микрофильмов, составлявших библиотеку на «Прометее»! Увы! Уже нельзя было рыскать по полкам, взвешивать в руке тома, ощущать их многообещающую тяжесть. Книжный магазин походил скорее на лабораторию электроники. Книги — кристаллики с запечатленной информацией. Читали их с помощью оптона. Оптон напоминал настоящую книгу, только с одной-единственной страницей между обложками. От каждого прикосновения на ней появлялась следующая страница текста. Но оптоны употреблялись редко, как сообщил мне продавец-робот. Люди предпочитали лектоны — те читали вслух, их можно было отрегулировать на любой тембр голоса, произвольный темп и модуляцию. Только научные труды очень узкой специализации еще печатали на пластике, имитирующем бумагу. Так что все мои покупки, хотя их было чуть ли не триста названий, уместились в одном кармане. Горсточка кристаллических зерен — так это выглядело.

Я выбрал много работ по социологии, истории, немного статистики, демографии и то, что девушка из Адапта посоветовала по психологии. Несколько солидных математических работ, солидных, конечно, по существу, а не по размеру. Робот, обслуживавший меня, заменял энциклопедию благодаря тому, что имел, по его словам, непосредственное подключение к оригиналам всех существующих на Земле книг. В основном в книжной лавке книги находились лишь в одном экземпляре, и по желанию покупателя содержание требуемого произведения переносилось на кристаллик.

Оригиналы — кристоматрицы — вообще нельзя было увидеть; они хранились за стальными плитами, покрытыми бледно-голубой эмалью. Таким образом, книгу как бы печатали каждый раз, когда ее кто-нибудь требовал. Исчезла проблема тиражей. Это, конечно, было огромным достижением,

но мне все-таки жаль было книг. Разузнав, что еще существуют антиквариаты с бумажными книгами, я разыскал один из них. Меня постигло разочарование: научной литературы там почти не было. Развлекательные книжки, немного детских, несколько подшивок старых журналов.

Я купил (платить нужно было только за старые книги) несколько сказок сорокалетней давности, чтобы понять, что сейчас считают сказкой, и отправился в спортивный магазин. Здесь мое разочарование достигло предела. Легкая атлетика существовала в каком-то карликовом виде. Бег, толкание, прыжки, плавание и почти никаких элементов атлетической борьбы. Бокса вообще не было, а то, что называлось классической борьбой, было попросту смешным; какие-то тычки вместо порядочного боя. В проскционном зале магазина я посмотрел одну встречу на первенство мира и думал, что лопну от злости. Временами я хохотал как сумасшедший. Расспрашивал о вольной американской борьбе, о дзюдо, о джиу-джитсу, но никто даже не знал, что это такое. Понятно, ведь даже футбол скончался, не оставив потомства, ибо был игрой, в которой возможны острые схватки и травмы. Хоккей был, но какой! Играли в таких надутых комбинезонах, что игроки сами походили на огромные шары. Две такие команды, сталкивающиеся одна с другой, как резиновые мячи, выглядели потешно, но ведь это же был фарс, а не матч! Прыжки в воду, о да, но только с четырехметровой высоты. Я сразу же вспомнил о моем (моем!) бассейне и приобрел складной трамплин, чтобы надстроить тот, который будет в Клавестре. Все это измельчание было следствием бетризации. Я не жалел, что исчезли бои быков, петухов и прочие кровавые зрелища; профессиональным боксом я тоже никогда не восторгался. Но эта тепленькая кашлица, оставшаяся от настоящего спорта, тоже ни в малейшей мере меня не привлекала. Только в туризме вторжение техники в спорт казалось оправданным. Особенно распространен был туризм подводный. Я увидел всевозможные образцы аквалангов, маленькие электроторпеды для путешествий над дном озер, глиссеры, гидраты,двигающиеся на подушке сжатого воздуха, водные микролидеры, — и каждая машина снабжена была специальным устройством, предохраняющим от несчастных случаев.

Соревнования, даже самые популярные, ни в коей мере не были спортивными; разумеется, никаких лошадей, ника-

ких автомобилей — в гонке участвовали автоматически управляемые машины, на которые можно было делать ставки. Традиционные первенства и чемпионаты значительно поблекли. Мне объяснили, что границы физических возможностей человека уже достигнуты и устанавливать новые рекорды может только человек, по силе или скорости уже ненормальный, какое-нибудь чудовище. Рассудком я понимал, что это так; впрочем, то, что выжившие после гекатомбы остатки атлетики широко распространились, было отрадно — и все-таки после этого трехчасового осмотра я вышел из магазина в полном смятении.

Отобранные гимнастические снаряды я попросил отправить в Клавестру. Подумав, отказался от глиссера; хотел было купить яхту, но парусных не было — настоящих, с оснасткой; были только какие-то жалкие корыта, до такой степени устойчивые, что я просто не понимал, какое удовольствие может доставлять подобный парусный спорт.

Когда я возвращался в отель, был уже вечер. С запада тянулись пушистые заалевшие облака, солнце заходило, появился молодой месяц, а в зените сверкал второй — какой-нибудь большой искусственный спутник. Над домами в вышине суетились летающие машины. Толпы прохожих поредели, зато стало больше глидеров, и появились, бросая полосы света на дорогу, те самые щелеобразные осветители, значение которых все еще оставалось для меня непонятным. Я возвращался другой дорогой и набрел на большой сад. Сначала мне даже показалось, что это Терминал, но тот, со стеклянной горой порта, маячил далеко в северной, возвышенной части города.

Вид был в общем необычен; когда все вокруг уже скрыла темнота, рассекаемая лишь уличными огнями, верхние этажи Терминала сверкали, как заснеженные альпийские вершины.

В парке былолюдно. Множество новых разновидностей деревьев, особенно пальм, цветущие кактусы без иголок, в дальнем уголке парка мне встретился старый каштан, которому было, наверно, лет двести. Трое таких, как я, не смогли бы охватить его. Я присел на скамеечку и засмотрелся в небо. Какими мирными, какими безобидными казались звездочки, помигивавшие и дрожащие в невидимых струях атмосферы, защищавшей от них Землю. В первый раз за столько лет я подумал о них — «звездочки». Там никто не

отважился бы так сказать, его приняли бы за сумасшедшего. Звездочки, да, конечно, прожорливые звездочки. Вдали над растворившимися в темноте деревьями взвился фейерверк, и я с ослепительной ясностью увидел Арктур, горы огня, над которыми летел, стуча зубами от холода, а иней на аппаратуре охлаждения таял и, красный от ржавчины, стекал по моему комбинезону. Я выхватывал пробы коронососом, вслушиваясь в свист моторов, не спадают ли обороты, потому что секундная авария, перебой обратили бы защитную оболочку, аппаратуру и меня в неуловимое облачко пара. Капля, упавшая на раскаленную плиту, не исчезает так быстро, как испаряется тогда человек.

Каштан уже почти отцвел. Я не любил аромата его цветов, но сейчас он напоминал мне что-то очень далекое, забытое. Над кустами все еще переливался блеск бенгальских огней, доносились звуки заглушавших друг друга оркестров, и каждую минуту возвращался, приносимый ветром, дружный вопль участников какого-то зрелища, наверно, американских гор. Мой уголок оставался почти безлюдным.

Внезапно из темной аллеи появилась черная высокая фигура. Листья уже казались серыми, и лицо этого человека я увидел лишь тогда, когда он, необычайно медленно, крохотными шажками, почти не отрывая ног от земли, приблизился ко мне и остановился в нескольких шагах. Его руки прятались в каких-то утолщенных раструбах, откуда выходили два тонких стержня, оканчивавшихся черными грушевидными расширениями. Он опирался на них, как человек, необычайно слабый. Он не смотрел на меня, не смотрел ни на что — смех, громкие крики, музыка, взрывы фейерверка, казалось, вообще не существуют для него. Так он постоял с минуту, тяжело дыша, и в свете повторяющихся фейерверков его лицо показалось мне таким древним, словно годы стерли с него всякое выражение, оставив лишь кожу да кости. Когда он уже собрался тронуться дальше, выбросив вперед эти странные груши или протезы, один из них скользнул, я вскочил со скамейки, чтобы поддержать его, но он сам удержался. Он был на голову ниже меня, но все-таки очень высокий для ныншних людей; его блестящие глаза смотрели на меня.

— Простите, — пробормотал я и хотел отойти, но остановился: в его глазах был какой-то приказ.

— Я вас уже видел где-то. Но где? — спросил он неожиданно сильным голосом.

— Сомневаюсь, — ответил я, покачивая головой. — Я только вчера вернулся... из очень далеской экспедиции.

— Откуда?

— Фомальгаут.

Его глаза сверкнули.

— Ардер! Том Ардер!!

— Нет, — сказал я. — Но я был с ним.

— А он?

— Погиб.

Он задохнулся.

— Помогите... мне... сесть...

Я обхватил его за плечи. Под черным скользким материалом прощупывались одни только кости. Медленно опустил его на скамейку. Стал рядом.

— Сядьте... тоже.

Я сел. Он все еще тяжело дышал, не открывая глаз.

— Это ничего... волнение, — шепнул он. Потом с трудом поднял веки и просто сказал: — Я Ремер.

У меня перехватило дыхание:

— Как... Вы... Вы? Сколько же...

— Сто тридцать четыре, — сухо ответил он. — Тогда мне было семь.

Я помнил его. Он приехал к нам со своим отцом, феноменальным математиком, который был ассистентом Геонидеса — создателя теории нашего полета. Ардер тогда показал ребенку наш большой испытательный зал, центрифугу — таким он и остался у меня в памяти: подвижный, словно искра, семилетний мальчонка, с черными отцовскими глазами; Ардер поднял его на руки, чтобы малыш мог вблизи рассмотреть гравикамеру, в которой сидел я.

Мы молчали. В этой встрече было что-то противоестественное. Сквозь темноту я вглядывался с какой-то ненасытной, болезненной жадностью в это невероятно старое лицо, и к горлу у меня подкатывался комок. Я пытался достать из кармана папиросу, но не мог ухватить ее, так дрожали руки.

— Что произошло с Ардером? — спросил он.

Я рассказал.

— Вы не нашли ничего?

— Нет. Там не находят... понимаете.

— Я принял вас за него...

— Понимаю. Рост и вообще...

— Да. Сколько вам теперь лет? Биологических...

— Сорок.

— Я мог бы... — прошептал он.

Я понял.

— Не жалеете, — твердо произнес я. — Не жалеете об этом. Не жалеете ни о чем, понимаете?

Он впервые перевел взгляд на меня.

— Почему?

— Потому что мне нечего тут делать, — ответил я. — Я никому не нужен. И мне... никто.

Он словно не слышал меня.

— Как вас зовут?

— Брегг. Эл Брегг.

— Брегг, — повторил он. — Брегг... нет. Не помню. Вы там были?

— Да. В Аппрену, когда ваш отец привез поправки, полученные Геонидесом за месяц до старта, выяснилось, что показатели рефракции в облаках космической пыли были занижены... Не знаю, говорит ли вам это что-нибудь? — нерешительно остановился я.

— Говорит. Еще бы, — ответил он с какой-то особенной интонацией. — Мой отец. Еще бы. В Аппрену? Что вы там делали? Где были?

— В гравитационной камере, у Янссена. Вы там были тогда, вас привел Ардер. Вы стояли наверху, на мостике, и смотрели, как мне дают сорок г. Когда я вылез, у меня из носа текла кровь... Вы дали мне свой платок...

— Ах! Так это были вы!

— Да.

— Мне казалось, что человек в камере был... темново-  
лосый.

— Да. Они не светлые. Они поседели. Сейчас плохо видно.

И снова молчание, еще дольше, чем прежде.

— Вы, конечно, профессор? — спросил я, только ради того, чтобы прервать это молчание.

— Был. Теперь я... никто. Уже двадцать три года. Никто. — И еще раз, очень тихо, повторил: — Никто.

— Я покупал сегодня книги... среди них была топология Ремера. Это вы или ваш отец?

— Я. Вы разве математик?

Он взглянул на меня как бы с новым интересом.



— Нет, — ответил я. — Но... у меня было много времени... там. Каждый делал что хотел. Мне... помогла математика.

— Что вы хотите этим сказать?

— У нас была куча микрофильмов, рассказы, романы — все, что душе угодно. Вы же знаете, мы взяли триста тысяч наименований. Ваш отец помогал Ардеру комплектовать раздел математики...

— Знаю...

— Сначала мы смотрели на это как на развлечение. Чтобы убить время. Но уже несколько месяцев спустя, когда связь с Землей полностью прервалась и мы повисли вот так — совершенно неподвижно по отношению к звездам, — знаете, читать, как какой-то Петер нервно курил папиросу и мучился вопросом, придет ли Люси, и как она вошла, и на ней были перчатки... Сначала смеешься совершенно идиотским смехом, а потом просто злость разбирает. В общем никто к этому потом даже не прикасался.

— И тогда — математика?

— Нет. Не сразу. Сначала я взялся за языки, понимаемте, и я выдержал до конца, хотя знал, что это почти бесполезно, потому что, когда мы вернемся, они будут всего лишь архаическими диалектами. Но Гимма и особенно Турбер толкали меня к физике. Это, мол, может пригодиться. Я взялся за нее вместе с Ардером и Олафом Стааве, только мы трое не были учеными...

— Но ведь у вас была степень.

— Да, магистерская по теории информации, космодромии и диплом инженера-ядерщика, но это все было профессиональное, не теоретическое. Вы же знаете, как инженер владеет математикой. Да, так, значит, — физика. Но я хотел иметь еще что-нибудь — для себя. И вот — чистая математика. У меня никогда не было математических способностей. Ни малейших. Ничего, кроме упрямства.

— Да, — тихо сказал он. — Это было необходимо, чтобы... полететь.

— Точнее, чтобы попасть в состав экспедиции, — поправил я. — И знаете, почему именно математика? Я только там понял. Потому что она выше всего. Работы Абеля и Кронекера сегодня так же хороши, как четыреста лет назад, и так будет всегда. Возникают новые пути, но и старые ведут дальше. Они не зарастают. Там... там — вечность. Только мате-

матика не боится ее. Там я понял, как она беспредельна. И незыблема. Другого такого нет. И то, что она мне давалась тяжело, тоже было хорошо. Я бился над нсю и, когда не мог заснуть, повторял пройденный днем материал...

— Интересно, — сказал он. Но в его голосе звучало равнодушие. Я не был уверен, слушает ли он меня.

В глубине парка пролетали огненные столбы, вспыхивало красное и зеленое зарево, сопровождаемое радостным хором восклицаний. Здесь, где мы сидели, под деревьями, было темно. Я замолчал. Но эта тишина была невыносима.

— Это было для меня как самоутверждение, — сказал я. — Теория множеств... то, что Миреа и Аверин сделали с наследством Кантора. Вы знаете. Бесконечные, сверхбесконечные величины, непрерывный континуум, мощност... великолепно. Часы, которые я провел над этим, я помню так, словно это было вчера.

— Это не так абстрактно, как вы думаете, — проворчал он. Значит, слушал все же. — Вы, наверно, не слышали о работах Игалли?

— Нет, что это?

— Теория разрывного антиполя.

— Я ничего не знаю об антиполе. Что это такое?

— Ретроаннигиляция. Из этого возникла парастатика.

— Я даже не слышал таких терминов.

— Ну, конечно, ведь они возникли шестьдесят лет назад. Но в общем это был только подход к гравитологии.

— Вижу, мне придется попотеть, — сказал я. — Гравитология — по-видимому, теория гравитации, да?

— Больше. Это можно выразить только математически. Вы прочитали Аппиано и Фрума?

— Да.

— Ну, тогда вам будет просто. Развитие теории метагенов в  $n$ -мерной конфигурационно-выраженной системе.

— Как вы сказали? Но ведь Скрябин доказал, что не существует никаких метагенов, кроме вариационных?

— Да. Очень изящное доказательство. Но, видите ли, тут все разрывное.

— Не может быть! Но ведь... ведь это должно было открыть целый мир!

— Да, — сухо согласился он.

— Мне вспоминается одна работа Маниковского... — начал я.

— О, это весьма отдаленно. В лучшем случае... сходное направление.

— Сколько времени потребуется, чтобы пройти все, что вы тут сделали? — спросил я.

Он помолчал.

— Зачем вам?

Я не знал, что ответить.

— Вы больше не будете летать?

— Нет, — сказал я. — Я слишком стар. Я бы не выдержал таких ускорений... и вообще не полетел бы, вот и все.

Теперь мы замолчали основательно. Неожиданный подъем, с которым я говорил о математике, внезапно исчез, и я сидел возле него, ощущая тяжесть своего тела, его ненужную громадность. Кроме математики, нам не о чем было говорить, и мы оба об этом знали. Мне вдруг показалось, что волнение, с которым я рассказывал о благословенной роли математики в полете, было фальшивым. Я сам себя обманывал рассказом о скромном, трудолюбивом героизме пилота, который в провалах туманностей занимался изучением математических бесконечностей. Я заврался. В конце концов чем это было? Разве потерпевший кораблекрушение человек, который целые месяцы мучился в море и, чтобы не сойти с ума, тысячи раз пересчитывал количество древесных волокон, из которых состоит его плот, — разве он мог чем-нибудь похвастать, выйдя на берег? Чем? Тем, что он оказался достаточно сильным, чтобы выдержать? Ну и что из этого? Кого это интересовало? Кому интересно, чем я забиравал свой несчастный мозг на протяжении десяти лет, и почему это важнее, чем то, чем я набивал свои кишки? «Пора прекратить эту игру в скромного героя, — подумал я. — Я смогу себе это позволить, когда буду выглядеть так, как он сейчас. Нужно думать и о будущем».

— Помогите мне встать, — прошептал он.

Я проводил его до глидера, стоявшего на улице. Мы шли очень медленно. В тех местах, где аллея была освещена, нас провожали взглядом. Прежде чем сесть в глдер, он повернулся, чтобы попрощаться со мной. Ни у него, ни у меня в эту минуту не нашлось слов. Он сделал непонятный жест рукой, из которой, как шпага, торчал один из стержней, кивнул, сел, и черная машина бесшумно тронулась. Она отплыла, а я стоял, безвольно опустив руки, пока черный глдер не исчез в потоке других машин. Потом сунул руки в

карманы и побрел по аллее, не находя ответа на вопрос, кто же из нас сделал лучший выбор.

Хорошо, что от города, который я некогда покинул, не осталось камня на камне. Как будто я жил тогда на другой Земле, среди других людей; то началось и кончилось раз навсегда, а это было новое. Никаких остатков, никаких руин, которые ставили бы под сомнение мой биологический возраст; я мог позволить себе забыть о его земном эквиваленте, таком противоестественном — и вот невероятный случай сталкивает меня с человеком, которого я помню маленьким ребенком; все время, сидя рядом с ним, глядя на его высохшие, как у мумии, руки, на его лицо, я чувствовал себя виноватым и знал, что он об этом догадывается. «Какой невероятный случай», — повторял я снова и снова почти бессмысленно, как вдруг понял, что его могло привести на это место то же, что и меня: ведь там рос каштан, который был старше нас обоих.

Я не знал еще, как далеко удалось им передвинуть границу жизни, но понимал, что возраст Ремера наверняка был исключительным; он мог быть последним или одним из последних людей своего поколения. «Если бы я не полетел, я был бы мертв уже!» — подумалось мне, и вдруг впервые передо мной обнажилась вторая, неожиданная сторона этого полета, он предстал передо мной как хитрость, как бесчеловечный обман по отношению к другим. Я шел сам не зная куда, вокруг шумела толпа, поток идущих увлекал и толкал меня — и внезапно я остановился, словно проснувшись.

Вокруг царил неописуемый хаос; в сопровождении бесвязных криков, под звуки музыки залпами взлетали в небо фейерверки, повисая в вышине разноцветными букетами; пылающие шары осыпались на кроны стоявших вокруг деревьев; все это то и дело перекрывалось многоголосым оглушительным криком и хохотом; казалось, совсем рядом находятся американские горы, но напрасно я искал их глазами. В глубине парка возвышался высокий дом с башенками и крепостными стенами, словно перенесенный из средневековья укрепленный замок; холодные языки неоновой пламени, лижущие его крышу, ежеминутно складывались в слова ДВОРЕЦ МЕРЛИНА. Толпа, принеся меня сюда, направлялась к пурпурной удивительного вида стене павильона; она представляла собой как бы человеческое лицо; окна слу-

жили пылающими глазами, а огромная, зубастая, перекосенная пасть дверей каждый раз открывалась, чтобы под веселый смех и гомон толпы поглотить очередную порцию людей; каждый раз она проглатывала одинаковое количество — шесть человек. Сначала я решил было выбраться из толпы, отойти в сторонку, но это было совсем нелегко; к тому же идти было некуда, и мне подумалось, что из всех возможных способов убить остаток вечера этот, неизвестный, вряд ли окажется наилучшим. Одиночек вроде меня здесь почти не было — преобладали парочки, парни и девочки, женщины и мужчины, их расставляли по двое, и, когда пришла моя очередь нырнуть в белоснежный блеск огромных зубов и разверстый мрачный пурпур таинственной глотки, я оказался в неловком положении, не зная, можно ли мне присоединиться к уже образовавшейся шестерке. В последнюю минуту меня выручила женщина, стоявшая с молодым, черноволосым человеком, одетым, пожалуй, экстравагантнее остальных; она схватила меня за руку и бесцеремонно потащила за собой.

Сделалось почти совсем темно. Я ощущал теплую, сильную руку незнакомки. Пол поплыл, стало светлее, и мы очутились в просторном гроте. Несколько шагов пришлось пройти в гору, по каменной осыпи, между потрескавшимися каменными столбами. Незнакомка отпустила мою руку — и мы по очереди наклонились, проходя под низкими сводами пещеры.

Хоть я и приготовился к неожиданностям, но был изумлен не на шутку. Мы оказались на широком песчаном берегу огромной реки, под палящими лучами тропического солнца. На противоположном, далеком берегу к реке вплотную подступали джунгли.

В неподвижных затонах замерли лодки — точнее, пироги, выдолбленные из древесных стволов; на фоне буро-зеленого потока, лениво катившего за ними, застыли в величественных позах огромные негры, обнаженные, лоснящиеся от масла, покрытые известково-белой татуировкой; каждый опирался лопатообразным веслом о борт лодки.

Одна уже переполненная пирога как раз отплывала; чернокожая команда ударами весел и пронзительными воплями разгоняла наполовину скрытых в иле, похожих на сучковатые колоды крокодилов, те поворачивались и, бессильно щелкая зубастыми челюстями, сползали в глубокую воду.

Нас, спускавшихся по крутому берегу, было семеро; первая четверка заняла места в следующей лодке, негры уперли весла в обрывистый берег и с заметным усилием оттолкнули ненадсжный кораблик, так что его даже развернуло; я немного отстал, со мной была уже только пара, которой я был обязан своим решением и предстоявшей прогулкой. Показалась вторая лодка, метров девяти длиной. Черные гребцы окликнули нас и, преодолевая течение, искусно причалили к берегу. Мы прыгнули один за другим в ветхое суденышко, подняв пыль, пахнущую глеющим деревом. Молодой человек в фантастическом наряде, изображавшем тигриную шкуру — верхняя половина головы хищника, свисающая на спину, могла, вероятно, служить капюшоном, — помог сесть своей спутнице. Я занял место напротив, и вот мы уже плывем, и у меня уже не было никакой уверенности в том, что несколько минут назад я еще находился в парке, во мраке ночи. Огромный негр, стоявший на остром носу лодки, время от времени издавал дикий крик, два ряда сверкающих спин склонялись, весла резко и стремительно входили в воду. И вот, наконец, лодка вошла в главное русло.

Я чувствовал тяжелый горячий запах воды, тины, гниющей зелени, проплывавшей рядом, за бортами, которые возвышались над водой не более чем на ладонь. Берег удалялся. Мы плыли мимо серо-зеленых, словно выгоревших зарослей кустарника, с песчаных, раскаленных солнцем отмелей иногда плюхались в воду, подобно ожившим стволам, крокодилы, один довольно долго плыл за кормой, сначала поднимая свою продолговатую голову над водой, потом вода начала заливать его вытарщенные глаза, и вот уже один только нос, темный, как речной голыш, торопливо разрезает бурюю воду. Из-за мерно сгибавшихся спин гребцов иногда можно было увидеть вскипавшие буруны — река обходила затопленные препятствия, — тогда негр, стоявший на носу, издавал иной, хриплый звук, весла с одной стороны начинали бить чаще, и лодка поворачивала; я не уловил той минуты, когда глухие, грудные восклицания негров начали слагаться в невыразимо тоскливую, все время повторяющуюся песню, что-то вроде гневного крика, перерастающего в жалобу, которую завершал дружный всплеск рассеченной веслами воды.

Так мы плыли по огромной реке, среди серо-зеленой степи, словно действительно перенесенные в сердце Афри-

ки. Стена джунглей ушла далеко и исчезла за раскаленной стеной знойного воздуха, черный рулевой ускорял темп. Вдали в степи паслись антилопы, один раз в облаках пыли тяжелой медленной рысью прошло стадо жирафов.

Внезапно я почувствовал на себе взгляд сидевшей напротив женщины и посмотрел на нее.

Ее красота поразила меня. Еще раньше я заметил, что она красива, но мысль эта была мимолетна, и я тут же забыл об этом. Теперь она была слишком близко, чтобы не заметить того, что она была не просто красива, она была прекрасна. Темные, с медным отливом волосы, белоснежное, неизъяснимо спокойное лицо и неподвижные темные губы. Она очаровала меня. Не как женщина — скорее как эта застывшая под солнцем бескрайняя степь. Ее красота была именно тем совершенством, которого я всегда немного побаивался. Может быть, оттого, что я слишком мало прожил на Земле и слишком много думал о ней, во всяком случае, передо мной была одна из тех женщин, которые кажутся слепленными из иной глины, чем простые смертные, хотя это только красивая ложь, всего лишь определенная конфигурация лица, — но кто об этом думает, когда смотрит? Она улыбнулась одними глазами, ее губы сохраняли выражение презрительного равнодушия. Это относилось не ко мне, скорее к ее собственным мыслям. Ее спутник сидел на скамье, заклиненной в выдолбленном углублении ствола, левая рука безвольно свисала через борт, так что кончики пальцев погружены были в воду, но он не смотрел ни на воду, ни на проходящую мимо панораму дикой африканской степи. Он просто сидел, как сидят в приемной зубного врача, раз навсегда пресыщенный и равнодушный.

Перед нами появились рассыпанные по всей поверхности реки серые камни. Рулевой завопил, как будто выкрикивал заклинания, удивительно сильным, пронзительным голосом. Негры яростно работали веслами, и лодка помчалась мимо этих камней, оказавшихся ныряющими бегемотами; стадо толстокожих осталось позади. Но сквозь ритмичный плеск весел, сквозь хриплую, тяжелую песню гребцов слышался идущий неизвестно откуда глухой шум. Далеко впереди, там, где река исчезала среди все более крутых берегов, появились две наклонившиеся друг к другу гигантские дрожащие радуги.

— Аге! Аннаи! Аннаи! Агее!! — рулевой рычал, как обе-

зумевший. Негры зачастили веслами, лодка понеслась, как на крыльях, женщина протянула руку и, не глядя, начала искать ладонь своего спутника.

Рулевой визжал. Пирога шла с поразительной скоростью. Нос задрался, мы скользнули с хребта огромной, словно застывшей, волны, и из-за спин склонившихся в сумасшедшем темпе гребцов я увидел громадный речной водоворот: внезапно потемневшая вода валилась в ворота скал. Поток раздваивался, нас несло вправо, где вода вскипала белыми от пены горбами, а левый рукав реки исчезал, как обрезанный, и только чудовищный грохот и столбы водяной пыли говорили о том, что там водопад. Мы обошли его, войдя в правый рукав, но и тут было неспокойно. Пирога, как необъезженный конь, бешено прыгала среди черных скал, над которыми стояла стена рычащей пены, берега сближались. Негры на правом борту извлекли весла из воды, уперлись грудью в их тупые рукоятки, и ужасным толчком, силу которого можно было понять по тому звуку, что вырвался из груди гребцов, пирога отпрыгнула от скалы и попала в главное течение. Нос взметнулся вверх, стоявший на нем рулевой чудом удержал равновесие, меня пробрал мороз при виде взвивавшихся из-за каменных глыб водных вихрей; пирога, подрагивая, как пружина, полетела вниз. Спуск был сумасшедший, по обеим сторонам проносились черные скалы, увенчанные развевающимися гривами пены, пирога еще и еще раз оттолкнулась от них и, как стрела, пущенная по белой пене, вошла в самую быстрину. Я поднял глаза и увидел высоко над собой растопыренные кроны сикомор; среди веток резвились маленькие обезьянки. Толчок был такой мощный, что мне пришлось схватиться за борт; нас швырнуло, и под грохот воды, зачерпнув обеими бортами, так что мгновенно все промокли до нитки, мы пошли еще круче — это уже было падение. Береговые скалы улетали ввысь, словно уродливые каменные птицы с пенной оторочкой у концов острых крыльев. Грохот, грохот! Выпрямившиеся силуэты гребцов на фоне неба — будто стражи катастрофы. Мы летели прямо на скальный столб, разделявший теснину надвое, впереди вскипал черный водоворот, мы летели на скалу, я слышал крик женщины.

Негры боролись яростно, отчаянно, рулевой вскинул руки, я видел открытый в крике рот, но не слышал голоса. Пирога шла наискось, остановилась на мгновение, потом,



словно и не было яростных взмахов весел, повернулась и пошла кормой вперед, все быстрее и быстрее.

В мгновение ока обе шеренги негров исчезли, бросив весла: они, не раздумывая, прыгнули в воду по обе стороны пироги. Рулевой последним отважился на смертельный прыжок.

Женщина еще раз вскрикнула; ее спутник уперся ногами в противоположный борт, она прижалась к нему; я смотрел в настоящем восторге на невиданную картину обваливающихся водяных гор, гремящих радуг; лодка ударилась обо что-то; крик, пронзительный крик...

Поперек мчащейся вниз напролом воды, уносившей нас, над самой ее поверхностью лежал ствол, лесной великан, свалившийся сверху и образовавший нечто вроде мостика. Мои спутники упали на дно лодки. Я колебался — сделать ли мне то же самое. Я знал, что все это: негры, поток, африканский водопад — лишь необыкновенная иллюзия, но сидеть неподвижно, когда нос лодки уже скользнул под залитый водой смолистый ствол огромного дерева, было выше моих сил. Я молниеносно упал, но одновременно вытянул руку, и она прошла сквозь ствол, не коснувшись его, я не почувствовал ничего, как и ожидал, и, несмотря на это, впечатление, будто мы чудом избегли катастрофы, было полным.

Но это еще не был конец; на следующем гребне пирога встала дыбом, гигантская волна обрушилась на нас, повернула, и несколько мгновений лодка шла по адскому кругу, метя в самый центр водоворота. Если женщина и кричала, я этого не слышал, я не услышал бы ничего; треск, грохот лопающихся бортов я почувствовал телом, уши были словно заткнуты ревом водопада, пирога, с нечеловеческой силой подброшенная вверх, заклинилась между скал. Те двое выпрыгнули на заливаемую пеной скалу, вскарабкались вверх, я за ними.

Мы очутились на обломке скалы, посреди двух рукавов побелевшей кипящей воды. Правый берег был довольно далеко, к левому было переброшено нечто вроде воздушного мостика, прямо над волнами, обрушивавшимися в бездну дьявольского котла. В воздухе стояла ледяная изморось водяных брызг, этот тоненький мостик висел над стеной рева, скользкий от влаги, лишенный поручней; нужно было, ставя ноги на замшелые доски, так и ходившие в переплетениях

канатов, пройти несколько шагов, отделявших от берега. Те двое опустили на колени и как будто препирались, кому идти вперед. Я, разумеется, ничего не слышал. Воздух словно затвердел от непрерывного грохота. Наконец молодой человек встал и что-то сказал мне, указывая вниз. Я увидел пирогу, ее оторванная корма в эту минуту затанцевала на воде и, вращаясь все быстрее, исчезла, затянутая вихрем.

Молодчик в тигровой шкуре был теперь несколько менее равнодушным и сонным, чем в начале путешествия, зато казался разозленным, как будто попал сюда против собственной воли. Он схватил женщину за руки, и мне показалось, что он обезумел, потому что он явно сталкивал ее в ревущую пропасть. Женщина что-то сказала ему, я видел возмущение, блеснувшее в ее глазах. Я положил руки им на плечи, давая знак, чтоб они меня пропустили, и шагнул на мостик. Он раскачивался и танцевал, я шел не очень быстро, чтобы не потерять равновесия, раз-другой закачался посередине, внезапно доска подо мной задрожала так, что я чуть не упал: это женщина, не дожидаясь, пока я пройду, ступила на нее; боясь, что она упадет, я резко прыгнул вперед, приземлился на самом краешке скалы и тотчас обернулся.

Женщина не прошла — она отступила. Молодой человек взошел первым и теперь держал ее за руку; эта дрожащая процессия двигалась на фоне невероятных черно-белых водяных завес, созданных водопадом. Юноша был уже рядом со мной, я протянул ему руку; в ту же минуту женщина отступила, я дернул его так, что скорее вырвал бы его руку, чем дал ему упасть, от рывка он пролетел метра два и приземлился сзади меня, на колени, но женщина не удержалась.

Она еще не коснулась воды, когда я прыгнул ногами вперед, целясь так, чтобы войти в волну наискосок, между берегом и ближайшей скалой. Над всем этим я раздумывал потом, на досуге. Собственно говоря, я знал, что водопад и воздушный мостик — это иллюзия, доказательством этого служил и тот ствол, сквозь который навывлет прошла моя рука. И все-таки я прыгнул так, словно она действительно могла погибнуть, и даже, помню, совершенно инстинктивно приготовился к ледяному удару воды, брызги которой все время сыпались на наши лица и одежду.

Но я ничего не ощутил, кроме сильного дуновения ветра, и внезапно приземлился в просторном зале еще на слегка

согнутых ногах, как будто прыгал с высоты какого-нибудь метра, не больше. Раздался дружный смех.

Я стоял на мягком полу из пластика, вокруг толпились люди, одежда у некоторых еще не просохла, глаза обращены были вверх, все покатывались со смеху.

Я проследил за их взглядом — это была какая-то чертовщина.

Ни следа водопада, скал, африканского неба — я видел блестящую крышу, а под ней — подплывающую в эту минуту пирогу: собственно, не пирогу, а своеобразную декорацию, напоминавшую лодку только сверху и сбоку; под дном была встроена какая-то металлическая конструкция. В пироге лежали навзничь четверо людей, вокруг них не было ничего: ни гребцов-негров, ни скал, ни реки, только изредка из открытых труб брызгали тонкие струи воды. Немного дальше, как аэростат на привязи, не поддерживаемый ничем, покачивался тот скалистый обелиск, на котором закончилось наше путешествие. От него вел мостик к каменному выступу в металлической стене. Чуть выше виднелась лестница с поручнями и дверь. И это все. Пирого с людьми дергалась, поднималась, падала внезапно, и все это совершенно бесшумно, слышались только взрывы смеха, сопровождавшие очередные этапы спуска по несуществующему водопаду. Спустя мгновение пирога ударилась о скалу, люди выскочили из нее, остановились перед мостиком...

С момента моего прыжка прошло, может, секунд двадцать. Я поискал глазами женщину. Она взглянула на меня. Я почувствовал себя глуповато. Я не знал, следует ли мне к ней подойти. Но собравшиеся как раз начали выходить, и спустя минуту мы оказались рядом.

— Вечно одно и то же, — сказала она, — вечно я падаю!

Ночь, парк, бенгальские огни, звуки музыки казались не совсем реальными. Мы выходили в толпе людей, возбужденных недавними переживаниями; я увидел спутника женщины — он проталкивался к ней. Он снова был сонный, как раньше. Меня он, казалось, вообще не замечал.

— Идем к Мерлину, — сказала женщина так громко, что я услышал.

Я не собирался подслушивать, но в новой волне выходящих стало теснее. Я все еще стоял рядом с ними.

— Это походит на бегство, — сказала она усмехаясь, — надеюсь, ты не боишься чар?

Она обращалась к нему, но смотрела на меня. Конечно, можно было протолкаться сквозь толпу и отойти в сторону, но, как всегда в подобных случаях, я больше всего боялся показаться смешным. А чуть погодя, когда поредела толпа, и снова стало свободнее, и окружавшие меня люди тоже решили посетить дворец Мерлина, а поток разделил нас, мною вдруг овладели сомнения, не почудилось ли мне все это.

Мы продвигались шаг за шагом. На газонах, трепеща языками пламени, стояли смоляные чаны, в их блеске из мрака проступали крутые кирпичные бастионы. Мы прошли по мосту над рвом, под оскаленными зубьями решетки и вошли в полумрак и прохладу каменного зала, из него навверх вела крутая лестница, гудевшая отзвуками шагов. Но в круто сворачивающем коридоре навверху людей было уже меньше. Коридор вел во внутреннюю галерею, откуда открывался вид во двор, где какой-то сброд, верхом на конях под чепраками, орал и гонялся за черным страшилищем; я шел нерешительно, неведомо куда, окруженный одними и теми же людьми, которых начал уже различать. Где-то среди колонн мелькнули женщина и ее спутник. В нишах стен стояли пустые доспехи. В глубине открывалась окованная медными листами дверь исполинских размеров; мы вошли в комнату, обитую красной тканью, освещенную факелами, смолистый дым которых щекотал ноздри. За столами бражничала крикливая ватага не то пиратов, не то странствующих рыцарей; на вертелах, облизываемых огнем, поворачивались громадные куски мяса; багровый отсвет плясал по блестящим от пота лицам, обглаживаемые кости трещали на зубах пирующих ратников, временами, вставая из-за стола, они проходили возле нас. В следующем зале несколько великанов играли в кегли, вместо шаров гоняя черепа; все это вместе показалось мне наивным, дешевым; я остановился возле играющих, которые были примерно моего роста, как вдруг кто-то сзади налетел на меня и вскрикнул от изумления. Я повернулся и увидел широко открытые глаза какого-то юноши. Он пробормотал извинение и быстро отошел, глуповато усмехаясь; только взгляд женщины, из-за которой я притащился во дворец этих дешевых чудес, объяснил мне, что произошло: парень принял меня за одного из призрачных участников пирушки.

Сам Мерлин встретил нас в отдельном крыле дворца, окруженный людьми в масках, которые молчаливо ассистиро-

вали ему. Но мне все это уже изрядно надоело, и я равнодушно взирал на то, как он демонстрировал свое чародейское искусство. Зрелище быстро закончилось; присутствующие уже начали расходиться, когда седоволосый величественный Мерлин преградил нам путь и молча указал на противоположную, обитую черным сукном дверь. Он пригласил туда только нас троих. Сам он не вошел внутрь. Мы очутились в небольшой, но очень высокой комнате с зеркалом во всю стену — от потолка до выложенного из черных и белых плит пола. Создавалось впечатление, что в увеличенной вдвое комнате находятся шесть человек, шесть фигур на каменной шахматной доске.

Мебели не было никакой — ничего, кроме высокой алебастровой урны с букетом цветов, походивших на орхидеи, только с очень большими бутонами. Каждый цветок был иного цвета. Мы остановились против зеркала.

Внезапно мое отражение посмотрело на меня. Это движение не было зеркальным повторением моего. Я не шевельнулся, а тот, в зеркале, огромный, плечистый, медленно посмотрел сначала на темноволосую женщину, потом на ее спутника. Все мы стояли неподвижно, и только отражения, ставшие каким-то непонятным образом самостоятельными, ожили и разыграли между собой молчаливую сцену.

Молодой человек в зеркале подошел к женщине, посмотрел ей в глаза, она отрицательно качнула головой. Потом взяла из белой вазы цветы и, перебрав их в пальцах, выбрала три — белый, желтый и черный. Белый протянула ему, а с двумя оставшимися подошла ко мне. Ко мне — в зеркале. Протянула оба цветка. Я взял черный. Тогда она вернулась на прежнее место, и все мы там, в отраженной комнате, застыли точно в таком же положении, в каком находились в действительности. Как только это произошло, цветы исчезли из рук наших двойников, и это было уже обычное, точно повторяющее все движения, зеркальное отражение.

Дверь в противоположной стене отворилась; по винтовой лестнице мы спустились вниз. Колонны, балкончики, своды незаметно перешли в белоснежные и серебряные пластиковые коридоры. Мы продолжали идти, ничего не говоря, не то порознь, не то вместе; эта ситуация все более тяготила меня, но что можно было поделать? Начать сакраментальную, в традициях прошлого века, церемонию знакомства?

Приглушенные звуки оркестра. Мы словно попали за кулисы невидимой сцены, в глубине несколько столиков с отодвинутыми креслами, женщина остановилась и спросила спутника:

— Ты не пойдешь потанцевать?

— Не хочется, — ответил он. Я в первый раз за все время услышал его голос.

Он был красив и в то же время проникнут безволием, непонятной ленью, как будто этого человека ничто на белом свете не интересовало. У него был прекрасный, почти девичий рот. Он взглянул на меня. Потом на нее. Стоял, смотрел и молчал.

— Ну, тогда иди, если хочешь... — сказала она.

Он раздвинул портьеру, служившую одной из стен, и вышел. Я шагнул за ним.

— Простите! — услышал я сзади.

Я остановился. За занавесом раздались аплодисменты.

— Присядем на минутку?

Я молча сел. В профиль она была великолепна.

— Я Аэн Аэнис.

— Эл Брегг.

Она казалась удивленной. Не моим именем. Оно ей ничего не говорило. Скорее всего тем, что я так равнодушно воспринял ее имя. Теперь я мог присмотреться к ней вблизи. Ее красота была совершенной и беспощадной. И спокойная властная небрежность движений тоже. Розово-серое, больше серое, чем розовое, платье создавало фон, на котором еще ослепительней белели лицо и руки.

— Я вам не нравлюсь? — спокойно спросила она.

Теперь уже пришла моя очередь удивляться.

— Я вас не знаю.

— Я Аммаи — из «Настоящих».

— Что это за «Настоящие»?

Ее взгляд с любопытством скользнул по мне.

— Вы не видели «Настоящих»?

— Я даже не знаю, что это такое.

— Откуда вы здесь взялись?

— Пришел из отеля.

— Ах, вот как, из отеля?.. — В ее голосе чувствовалась явная ирония. — А можно узнать, где вы были до того, как попали в отель?

— Можно. Фомальгаут.

— Что это такое?

— Созвездие.

— Что?!

— Звездная система, двадцать три световых года отсюда. Ее веки вздрогнули. Губы раскрылись. Она была великолепно.

— Астронавт?

— Да.

— Понимаю. Я реалистка, довольно известная.

Я помолчал. Музыка продолжала играть.

— Вы танцуете?

Я чуть не рассмеялся.

— То, что сейчас танцуют, — нет.

— Жаль. Но это поправимо. Почему вы это сделали?

— Что?

— Там, на мостике.

Я не сразу ответил.

— Это было... инстинктивно.

— Вы... уже бывали?

— В этой пирог? Нет.

— Нет?

— Нет.

Минута молчания. Ее глаза, только что зеленые, сделались почти черными.

— Только в очень старых фильмах можно увидеть нечто подобное... — сказала она почти лениво. — Этого никто не сможет сыграть. Не удастся. Когда я увидела это, я подумала... что вы...

Я ждал.

— Могли бы. Потому что вы приняли это всерьез. Так?

— Не знаю. Возможно.

— Это ничего. Я знаю. Хотите? Я в хороших отношениях с Френетом. Может быть, вы не знаете, кто это? Я ему скажу... Это главный режиссер реалов. Если вы только захотите...

Я расхохотался. Она вздрогнула.

— Простите. Но — великие небеса, черные и голубые! — вы решили... ангажировать меня...

— Да.

Она не казалась оскорбленной. Скорее наоборот.

— Благодарю. Но, знаете ли, лучше не стоит.

— Но вы можете по крайней мере сказать, как вы это сделали? Это не секрет, надеюсь?

— Вас интересует, как я мог решиться?

— О, вы очень сообразительны.

Она умела улыбаться одними только глазами, как никто другой. «Подожди, сейчас у тебя пропадет желание искушать меня», — подумал я.

— Это очень просто. И никакого секрета. Я не бетризован.

— О...

Мгновение мне казалось, что она вот-вот встанет, но она овладела собой. Ее огромные бездонные глаза снова обратились ко мне. Она смотрела на меня как на дикого зверя, как на хищника, притаившегося в одном шаге от нее, словно ужас, который я пробуждал, доставлял ей в то же время какое-то извращенное наслаждение. Это было как пощечина, это было хуже, чем если бы она просто испугалась.

— Вы можете?

— Убить? — подсказал я, галантно улыбаясь. — О да. Вполне.

Мы замолчали. Музыка играла. Она то и дело поднимала на меня глаза. Но продолжала молчать. Я тоже. Аплодисменты. Музыка. Аплодисменты. Молчание. Внезапно она поднялась.

— Вы пойдете со мной?

— Куда?

— Ко мне.

— На брит?

— Нет.

Она повернулась и пошла. Я сидел недвижимо. Я ненавидел ее. Она шла не оглядываясь, совсем не так, как все женщины, которых когда-либо я видел. Не шла: плыла, как королева.

Я догнал ее у живой изгороди, где было почти совсем темно. Слабые отблески света, пробивавшиеся из павильонов, сливались с голубоватым ореолом городских огней. Она не могла не слышать моих шагов, но продолжала идти не оборачиваясь, словно была одна, даже когда я взял ее под руку. Она продолжала идти, и это было как еще одна пощечина. Я схватил ее за плечи, повернул к себе, ее лицо, белое в темноте, запрокинулось: она смотрела мне в глаза. Она не пыталась вырваться. Да и не могла бы. Я целовал ее отчаянно, задыхаясь от ненависти, и чувствовал, как она дрожит.



— Ты... — сказала она низким голосом, когда я отпустил ее.

— Молчи.

Она попробовала высвободиться.

— Нет, — сказал я и снова начал ее целовать. И вдруг эта ярость перешла в отвращение к самому себе, я отпустил ее. Думал, она убежит. Она не шевельнулась. Пыталась заглянуть мне в лицо. Я отвернулся.

— Что с тобой? — тихо спросила она.

— Ничего.

Она взяла меня за руку.

— Идем.

Какая-то пара прошла мимо нас и скрылась во мраке. Я шагнул вслед за Аэн. Там, в темноте, все было или казалось возможным, но здесь, когда стало светлей, эта моя вспышка, которая должна была стать расплатой за оскорбление, показалась мне просто жалкой. Я почувствовал, что вхожу в какую-то фальшивую игру, такую же фальшивую, как все эти опасности, чары, все — и продолжал идти за ней. Ни гнева, ни ненависти, ничего — мне все было безразлично. Мы шли под высоко висящими огнями, и я ощущал свое огромное, тяжелое «я», которое делало каждый мой шаг рядом с ней гротескным. Но она как будто не замечала этого. Она шла вдоль насыпи, за которой рядами стояли глидеры. Я хотел было остаться здесь, но она скользнула рукой по моей руке, схватила ее. Мне пришлось бы выдерживать руку, я выглядел бы еще более смешным — это такое воплощение целомудренного космонавта, подвергающегося искушению.

Я сел рядом с ней, машина дрогнула и понеслась. Впервые я ехал в глидере и сразу же понял, почему у них нет окон. Изнутри глидеры были прозрачными, как будто сделанными из стекла.

Мы ехали долго, молча. Центральные кварталы сменились причудливыми пригородными постройками — под небольшими искусственными солнцами лежали, утопая в зелени, дома, лишённые четких очертаний, то раздутые в виде странных подушек, то раскинувшие крылья настолько, что терялась граница между самим домом и его окружением — результат настойчивых попыток создать нечто такое, что не было бы повторением прежних форм. Глидер сошел с широкой проезжей части дороги, пересек темный парк и оста-

новился у лестницы, переливавшейся волнами, как стеклянный каскад; проходя по ступеням, я видел простирающуюся под ногами оранжерею.

Тяжелые ворота бесшумно отворились. Огромный холл, охваченный под потолком галереей; бледно-розовые диски ламп без опор или подвесов; ниши в наклонных стенах, как будто пробитые в иной мир окна, в них — нет, не фотографии, не изображения, а живая Аэн, громадная: напротив — в объятиях смуглого мужчины, целующего ее, над потоком ступеней — Аэн в белом, непрерывно мерцающем платье, рядом — Аэн, склонившаяся над лиловыми цветами величистой с человеческое лицо. Идя за ней, я еще раз увидел ее же, в другом окне, девически улыбающуюся, одинокую, свет дрожал в ее медных волосах.

Зеленые ступени. Белая анфилада. Серебряные ступени. Прямые, уходящие вдаль коридоры, в них непрерывное, медлительное движение, словно замкнутое там пространство дышало, бесшумно скользили стены, создавая проходы именно там, куда направляла свои шаги идущая впереди меня Аэн; можно было подумать, что неощутимый ветер сглаживает углы галереи, лепит ее перед нами, а все, что было до сих пор, — это только вступление. Стены светились тончайшими прожилками застывшего льда, и было так пронзительно светло вокруг, что даже тени казались молочного-белыми. После девственной белизны этой комнаты бронзовые тона следующей были как крик. Здесь не было ничего, кроме неведомо откуда проникавшего света, источник которого словно находился внизу и освещал нас и наши лица снизу; Аэн сделала незаметное движение рукой, свет померк, она подошла к стене и несколькими движениями, словно заклинаниями, заставила ее вздуться: этот горб тут же стал разворачиваться, образуя нечто вроде двойного, широкого ложа — я достаточно разбирался в топологии, чтобы почувствовать, сколько гениальности было вложено в одну только линию изголовья.

— У нас гость, — сказала она, остановившись.

Из открывшейся панели выскользнул низенький, заставленный бокалами столик и, как пес, подбежал к ней. Склонившись над нишей с креслами — что это были за кресла, нет слов, чтобы описать! — она приказала жестом, чтобы появилась маленькая лампа; стена послушно выполнила желание, большие лампы погасли. Видно, ей самой надоели эти

сворачивающиеся и на глазах расцветающие удобства, она склонилась над столиком и спросила, не глядя на меня:

— Блар?

— Пусть будет блар, — ответил я. Я ни о чем не спрашивал; не быть дикарем я не мог, но мог по крайней мере быть молчаливым дикарем.

Она протянула мне высокий конусообразный бокал с трубочкой, он переливался как рубин, но на ощупь был мягкий, как шершавая кожура плода. Себе взяла другой такой же. Мы сели. До противности мягко, словно присел на тучку. Блар таил в себе вкус незнакомых свежих фруктов и какие-то крохотные комочки, которые неожиданно и забавно лопались на языке.

— Нравится? — спросила она.

— Да.

Возможно, это был какой-нибудь ритуальный напиток. Скажем, для избранных или, наоборот, для усмирения особо опасных. Но я дал себе слово ни о чем не спрашивать.

— Лучше, когда ты сидишь.

— Почему?

— Ты ужасно большой.

— Это мне известно.

— Ты нарочно стараешься быть невежливым?

— Нет. Мне это удастся без труда.

Она тихонько засмеялась.

— Я еще и остроумный к тому же, — продолжал я. — Куча достоинств, а?

— Ты иной, — сказала она. — Никто так не говорит. Скажи мне, как это получается? Что ты чувствуешь?

— Не понимаю.

— Ты притворяешься, наверно. Или солгал... нет. Это невозможно. Ты не сумел бы так...

— Прыгнуть?

— Я не об этом.

— А о чем?

Ее глаза сузились.

— Ты не знаешь?

— Ну, знаете, — протянул я, — так теперь и этого уже не делают?!

— Делают, но не так.

— Вот как! У меня это так хорошо получается?

— Нет. Совсем нет... но так, как будто ты хочешь...

Она не закончила.

— Что?

— Ты ведь знаешь. Я это чувствовала.

— Я разозлился, — признался я.

— Разозлился! — презрительно повторила она. — Я думала... сама не знаю, что я думала. Ты знаешь, ведь никто не отважился бы... так...

Я улыбнулся про себя.

— Именно это тебе так понравилось?

— Ты ничего не понимаешь. Мир лишен страха, а тебя можно бояться.

— Хочешь еще раз? — спросил я. Ее губы раскрылись, она снова смотрела на меня, как на порожденного воображением зверя.

— Хочу.

Она придвинулась ко мне. Я взял ее руку, раскрыл ладонь и положил в свою.

— Почему у тебя такая твердая рука? — спросила она.

— Это от звезд. Они колочие. А теперь спроси еще: почему у тебя такие страшные зубы?

Она улыбнулась.

— Зубы у тебя обыкновенные.

С этими словами она подняла мою ладонь так осторожно и внимательно, что я вспомнил свою встречу со львом и только усмехнулся, не чувствуя себя задетым, потому что в конечном счете все это было страшно глупо.

Она приподнялась, налила в свой бокал из маленькой темной бутылочки и выпила.

— Знаешь, что это такое? — спросила она, прикрыв глаза, как будто напиток обжигал. Ресницы у нее были огромные, наверное, искусственные; у всех артисток искусственные ресницы.

— Нет.

— Никому не скажешь?

— Нет.

— Это перто...

— Ну-ну, — сказал я на всякий случай.

Она широко открыла глаза.

— Я тебя заметила еще раньше. Ты сидел с таким ужасным стариком, а потом возвращался один.

— Это сын моего младшего товарища, — объяснил я.

«Самое странное, что это почти что правда», — мелькнуло в уме.

— Ты знаешь, что обращаешь на себя внимание?

— Что поделаешь.

— Это не только потому, что ты такой большой. Ты иначе ходишь и смотришь, как будто...

— Что?

— Как будто остерегаешься.

— Чего?

Она не ответила. Ее лицо исказилось. Она задышала громче, посмотрела на свою руку. Кончики пальцев дрожали.

— Уже... — тихо сказала она и улыбнулась, но не мне. Ее улыбка стала восторженной, зрачки расширились, заполняя глаза, она медленно отклонялась, пока не оказалась на сером изголовье, медные волосы рассыпались, она смотрела на меня с каким-то торжествующим восхищением.

— Поцелуй меня.

Я обнял ее, и это было отвратительно, потому что во мне было желание и не было его — мне казалось, что она перестает быть самой собой, как будто она в любую минуту могла обратиться во что-то иное. Она вплела пальцы в мои волосы, ее дыхание, когда она отрывалась от моих губ, звучало, как стон. «Один из нас фальшивый, подлый, — думал я, — но кто — она или я?» Я целовал ее, это лицо было болезненно прекрасным, потрясающе чужим, потом осталось лишь наслаждение, невыносимое наслаждение, но и тогда во мне притаился холодный, молчаливый наблюдатель; я не провалился в беспамятство. Изголовье послушно, как будто понимающе, превратилось в подушку для наших голов; казалось, что здесь присутствует кто-то третий, унизительно заботливый, а мы, как будто зная об этом, за все время не произнесли ни слова. Я уже засыпал, а мне все казалось, что кто-то стоит и смотрит, смотрит.

Когда я проснулся, она спала. Это была совсем другая комната. Нет, та же. Но только как-то изменившаяся — часть стены отодвинулась, и виден был рассвет. Над нами, забытая, горела тусклая лампа. За окном, над вершинами деревьев, еще почти черными, начинало светать. Я осторожно передвинулся на край кровати; она пробормотала что-то похожее на «Алан» и продолжала спать.

Я шел сквозь просторные пустые залы. Окна в них были обращены на восток. Багровый свет лился сквозь окна и на-

полнял прозрачную мебель, дрожа в ней, как пламенеющее темно-красное вино. Вдали сквозь анфиладу залов я увидел движущуюся фигуру — это был робот; серо-жемчужный, слабо светившийся корпус, внутри тлел рубиновый огонек, как лампадка перед иконой; лица не было.

— Я хочу выйти, — сказал я.

— Прошу вас, пожалуйста.

Серебряные, зеленые, голубые ступени. Я попрощался со всеми сразу лицами Аэн в первом, высоченном, как храм, зале. Уже совсем рассвело. Робот открыл передо мной ворота. Я велел вызвать глiders.

— Прошу вас, пожалуйста. Не хотите ли домашний?

— Можно домашний. Мне нужно в отель «Алькарон».

— Пожалуйста. Всегда к вашим услугам.

Кто-то уже однажды обратился ко мне так. Кто? Я не мог припомнить.

По крутой лестнице — чтобы до самого выхода помнить, что здесь не просто дом, а дворец, — мы спустились вниз; в первых лучах восходящего солнца я сел в машину. Когда она тронулась, я оглянулся. Робот все еще стоял в услужливой позе, немного похожий на богомола из-за сложенных на груди ручек.

Улицы были почти пусты. В садах, как забытые удивительные корабли, отдыхали виллы, да, именно отдыхали, будто на мгновение присели среди деревьев и кустарников, сложив свои пестрые остроконечные крылья. В центре было оживленной. Небоскребы с раскаленными солнцем вершинами, дома с висячими пальмовыми садами, дома-гиганты на широко расставленных опорах пролетов — улица прорезала их, выносясь на голубеющий простор; я уже ни на что не смотрел. В отеле я принял ванну и позвонил в Бюро Путешествий. Заказал ульдер на двенадцать. Меня даже немного позабавило, что я так свободно обращаюсь со всеми этими названиями, даже не имея, по существу, понятия, что это такое — ульдер.

Оставалось еще четыре часа. Я вызвал внутренний Инфор и спросил его о Брегах. Близких родственников у меня не было, но у брата отца было двое детей, мальчик и девочка. Если даже их не осталось в живых, то их дети...

Инфор перечислил одиннадцать Брегов. Я потребовал данных о генеалогии. Оказалось, что только один из них, Атал Брегг, родом из моей семьи — внук моего дяди, уже

немолодой, лет под шестьдесят. Теперь я знал все, что хотел. Я даже поднял было трубку, чтобы позвонить ему. Но положил ее. В конце концов о чем нам говорить? Как умер мой отец? Моя мать? Я для них умер раньше, и теперь, из-за гроба, я не имел права спрашивать о них. В эту минуту я чувствовал, что спрашивать об этом было бы каким-то извращением, как будто я обманул их, трусливо бежав от судьбы, спрятавшись за время, которое было для меня не таким смертельным, как для них. Это они похоронили меня среди звезд, а не я их на Земле...

Я все-таки позвонил. Долго не отвечали. Наконец отозвался робот-секретарь и сказал, что Атал Брегг выехал.

— Куда? — быстро спросил я.

— На Луну. Он выехал на четыре дня. Что ему передать?

— Что он делает? Его профессия? — спросил я. — Я... не знаю, тот ли это, кого я ищу, быть может, я ошибся...

Робота как-то легче было обманывать.

— Он психопед.

— Благодарю. Я сам позвоню еще раз, через несколько дней.

Я положил трубку. Во всяком случае, он не был астрономом; и то хорошо.

Я снова вызвал внутренний Инфор и спросил, что он может мне рекомендовать для развлечения на два-три часа.

— Приглашаем вас в наш реал, — ответил он.

— Что там идет?

— «Возлюбленная». Это самый последний реал Аэн Аэнис.

Я спустился вниз: реалон находился в подземном помещении. Спектакль уже начался, но робот у входа сказал, что я почти не опоздал — каких-нибудь несколько минут. Он проводил меня в темноту, каким-то странным образом извлек из нее яйцевидное кресло и, усадив меня, исчез.

Первое впечатление было такое, как будто я сидел возле самой сцены, или нет — на самой сцене, так близко были артисты. Казалось, протяни руку, и можно их коснуться. Если бы я стал выбирать, то вряд ли сумел бы выбрать спектакль лучше: это была какая-то историческая драма, и относилась она к моему времени; время действия не было четко определено, но оно происходило, судя по некоторым деталям, через несколько лет после нашего отлета.

Сначала я развлекался лицезнением костюмов; декора-

ции были натуралистические, именно это меня и развлекало множеством ошибок и анахронизмов. Герой, очень симпатичный брюнет, вышел из дома во фраке (хотя было раннее утро) и отправился в автомобиле на свидание с возлюбленной; на нем был даже цилиндр, только серый, словно действие происходило в Англии и он отправился на дерби. Потом появился романтический трактир, такого трактирщика я в жизни не видывал — он выглядел как пират; герой присел на полы фрака и через соломинку потягивал пиво; и все в том же духе.

И внезапно я перестал усмехаться; вошла Аэн. Она была одета во что-то никогда не существовавшее, но это вдруг потеряло значение. Зритель знал, что она любит другого, а этого юношу обманывает; типичная мелодраматическая роль коварной женщины, штампованная и банальная. Но Аэн и здесь осталась на высоте. Она играла девушку, живущую только настоящим моментом; чувственную, легкомысленную и — по безграничной наивности своей — жестокую. Невинную девчонку, которая делала несчастными всех, потому что не хотела обижать никого. В объятиях одного она забывала о другом и делала это так, что невольно верилось в ее искренность в эту минуту.

И вся чепуховая драма рассыпалась прямо на глазах, и оставалась только Аэн — великая актриса.

Затем я отправился к себе наверх упаковывать вещи, потому что через несколько минут предстояло выезжать. Оказалось, что вещей больше, чем я себе представлял. Я еще не уложил всего, когда запел телефон: прибыл мой ульдер.

— Сейчас спускаюсь, — сказал я.

Робот-носильщик забрал пакеты, и я двинулся за ним из комнаты, как вдруг телефон снова зазвонил. Я остановился в нерешительности. Негромкий сигнал повторился. «Пусть не думает, что я струсил», — решил я и поднял трубку, не вполне, однако, сознавая, зачем это делаю.

— Это ты?

— Да. Проснулась?

— О, давно. Что делаешь?

— Я видел тебя. В реале.

— Да? — коротко спросила она, но в ее голосе я уловил торжество. Это означало: теперь ты мой.

— Нет.

— Что нет?



— Девочка, ты великая актриса. Но только я совсем не тот, каким тебе кажусь.

— Сегодня ночью мне тоже казалось? — перебила она. В ее голосе дрожало веселье, и мне вдруг стало смешно. Я никак не мог подавить смех: этакий звездный квакер, однажды согрешивший, но отныне суровый, кающийся и добродетельный.

— Нет, — сказал я, сдерживаясь, — тебе не казалось. Но я уезжаю.

— Навсегда?

Ее развлекал этот разговор.

— Девочка, — начал было я и замолчал, не зная, что сказать. В трубке слышалось только ее дыхание.

— И что же дальше? — спросила она.

— Не знаю, — ответил я и торопливо поправился: — Ничего. Уезжаю. Это бессмысленно.

— Ты прав, — согласилась она, — может быть, поэтому и великолепно. Что ты смотрел? «Настоящих»?

— Нет. «Возлюбленную». Слушай...

— О, это совершеннейшая дрянь. Я видеть ее не могу. Самая ужасная моя роль. Посмотри «Настоящих», или нет, приходи вечером. Я тебе покажу. Нет, нет, сегодня я не могу. Завтра.

— Я не приду, Аэн. Я действительно сейчас уезжаю...

— Не называй меня Аэн, называй «девочка»...

— Девочка, черт тебя побери! — крикнул я и бросил трубку.

Спустился вниз, оказалось, что ульдер на крыше.

На крыше располагались сад с рестораном и взлетная площадка. Собственно говоря, это был ресторан-аэродром, путаница этажей, летающие перроны, невидимые стекла — я бы и за год не нашел здесь моего ульдера. Меня проводили к нему прямо-таки за ручку. Он был меньше, чем я думал. Я спросил, сколько продлится перелет, — мне хотелось почитать.

— Около двенадцати минут.

На такое время не стоило браться за книгу. Внутри ульдер немного напоминал экспериментальную ракету Термо-Факс, которую я когда-то водил, но был комфортабельней, а стены его, едва лишь дверь закрылась за роботом, вежливо пожелавшим мне счастливого пути, тотчас стали прозрачными, так что мне, сидевшему на первом из четырех кресел

(остальные не были заняты), казалось, что я лечу на кресле внутри большой стеклянной банки.

Забавно, но это походило больше на ковер-самолет, чем на ракету или настоящий самолет. Этот странный экипаж сначала взвился вертикально вверх, не испытывая при этом ни малейшей вибрации, потом издал протяжный свист и помчался горизонтально, точно пуля. И снова произошло то же самое, что я уже когда-то заметил: момент ускорения никак не ощущался. Тогда, в порту, я еще мог думать, что пал жертвой воображения, но сейчас не оставалось сомнений. Трудно выразить чувства, овладевшие мной: ведь если они действительно сумели преодолеть силы инерции, то все гибbernации, испытания, отборы, все муки и страдания нашего полета оказывались абсолютно бесцельными; в эту минуту я походил на покорителя Эвереста, который после неслыханно трудного подъема оказался наверху и вдруг увидел стель, переполненный отдыхающими, потому что, пока он карабкался на вершину в одиночку, с противоположной стороны горы проложили железнодорожную ветку и организовали городок аттракционов. Меня нисколько не утешало, что, оставшись на Земле, я вообще не дожил бы до этого таинственного открытия, я скорее тешил себя мыслью, что это открытие окажется непригодным в космических условиях. Это был, конечно, чистейший эгоизм, и я отдавал себе в этом отчет, но потрясение было чересчур сильным, чтобы вызвать у меня надлежащий энтузиазм.

Тем временем ульдер летел совершенно беззвучно; я посмотрел вниз. Мы как раз пролетали над Терминалом — он медленно отплывал назад, точно ледяная твердыня; в верхних, невидимых из города, этажах зияли черные воронки ракетных шлюзов. Потом мы прошли совсем близко от небоскреба, того самого, в черно-белую полосу; он возвышался над ульдером. С земли его высоту нельзя было оценить по достоинству. Он выглядел, как трубчатый мост, соединяющий город с небом, выступавшие из него «этажерки» были заполнены ульдерами и какими-то другими большими машинами. Люди на этих площадках казались зернами мака на серебряной тарелке. Мы летели над голубыми и белыми группами зданий, над садами, улицы становились все шире, покрытия их тоже были цветными — преобладали охра и бледно-розовый цвет. Море домов, изредка разрезанное полосами зелени, расстилалось до само-

го горизонта, и мне стало страшно, что так будет до самой Клавестры. Но машина понеслась быстрее, дома стали редеть, разбежались среди садов, вместо них появились огромные зигзаги и стрелы дорог, они тянулись в несколько этажей, сходились, пересекались, уходили под землю, сбегались в лучистые звезды и снова устремлялись в серо-зеленую, открытую солнцу даль, как муравьями усеянную глидерами. Потом среди квадратов зелени появились огромные строения, крыши которых походили на вогнутые зеркала; в их фокусах тлели какие-то карминовые огни. Потом дороги совсем исчезли, и весь простор залила зелень, время от времени прерываемая квадратами иного цвета — красного, голубого, — явно не цветы, уж слишком яркими были краски.

«Доктор Жуффон был бы мной доволен, — подумал я. — Всего третий день, а какое начало! Не кто-нибудь. Знаменитая актриса, звезда. И почти не боялась меня, а если и боялась, то этот страх был ей приятен. Дальше бы так. Но зачем он говорил о близости? Так-то выглядит их близость? Как героически я бросился в этот водопад! Благородный питекантроп! И затем красавица, перед которой склоняются толпы, щедро вознаградила питекантропа; как достойно это было с ее стороны!»

Лицо горело. «Ты кретин, — терпеливо вдалбливал я себе, — что тебе, собственно, нужно? Женщины? Была у тебя женщина. Ты получил уже все, что можно получить, вплоть до предложения выступить в реале. Теперь у тебя будет еще дом, ты станешь ходить по садику, читать книжечки, поглядывать на звезды и тихо, скромно напоминать себе: я там был. Был и вернулся. И даже законы физики работали на тебя, счастливчик, у тебя еще полжизни впереди, ты вспомни, как выглядит Ремер, на сто лет старше тебя!»

Ульдер начал снижаться с нарастающим свистом. На горизонте в синей дымке высилась горная цепь с белеющими вершинами. Мелькнули дорожки, посыпанные гравием, газоны, цветные клумбы, зеленоватый холодный блеск воды в бетонных обводах, тропинки, кусты, белая крыша, все это медленно повернулось, окружило меня со всех сторон и застыло, будто принимало меня в свое владение.

Дверь ульдера открылась. На газоне ожидал оранжево-белый робот. Я вышел.

— Приветствуем вас в Клавестре, — сказал он, и его белое брюшко неожиданно запело — раздались звуки прозрачной мелодии, словно там у него помещалась музыкальная шкатулка.

Продолжая смеяться, я помогал ему вынести мои вещи. Потом открылась задняя дверца ульдера, который лежал на траве, как маленький серебряный дирижабль, и два оранжевых робота выкатили мой автомобиль. Массивный голубой кузов заблестел на солнце. Я совсем забыл о нем. Роботы, навьюченные чемоданами, картонками, пакетами, гуськом двинулись к дому.

Это был большой клетчатый куб, с окнами во всю стену. Входная дверь вела в остекленный со всех сторон солярий, дальше находился холл, столовая и лестница наверх — из настоящего дерева; робот, тот, музицирующий, не преминул обратить мое внимание на эту редкость.

На втором этаже было пять комнат. Я выбрал восточную, хоть она и была расположена не очень удобно: в остальных, особенно в той, из которой открывался вид на горы, было чересчур много золота и серебра, а в этой только полоски зелени, словно смятые лепестки на кремовом фоне.

Роботы, действуя ловко и бесшумно, уложили мое имущество в стенные шкафы, а я подошел к окну. «Порт, — подумал я. — Пристань». Только высунувшись, я смог увидеть вдаль в синей дымке горы. Внизу раскинулся полный цветов сад, в глубине — несколько старых фруктовых деревьев. У них были искривленные, натруженные ветви. Пожалуй, они уже больше не давали плодов.

Несколько в стороне, у шоссе (я видел его до этого с ульдера, теперь его заслоняла живая изгородь), над зарослями, вздымалась башенка трамплина. Там был бассейн. Когда я повернулся, роботы уже ушли. Я передвинул к окну легкий, будто надувной, столик, уложил на нем пачки научных журналов, сумочки с кристаллокнигами и читающий аппарат; отдельно положил не тронутые еще блокноты и ручку. Это была моя старая ручка, при повышенной гравитации она протекла и пачкала все подряд, но Олаф ее отлично починил. Я взял несколько папок, понаписывал на них: «История», «Мате-

матика», «Физика», все это я делал уже в спешке, потому что мне не терпелось поскорее окунуться в воду. Я не знал, можно ли выйти в одних плавках, а купального халата у меня не было. Пришлось пойти в туалетную, и там, орудуя бутылкой с пеножидкостью, я соорудил жуткое, ни на что не похожее страшилище. Тут же сорвал его с себя, и снова принялся за дело. Второй халат получился немного лучше, но и у него вид все равно был дикий; я отхватил ножом слишком длинные полы и самые большие неровности рукавов и только после этого обрел более или менее сносный вид.

Я сошел в холл, еще не уверенный, что в доме, кроме меня, никого нет. Зал был пуст. Сад тоже, только оранжевый робот подстригал траву около розовых кустов. Розы уже отцвели.

Я почти бегом пустился к бассейну. Вода в нем дрожала и блестела. Над ней поднимался невидимый холодок. Я швырнул халат на обжигавший ступни золотой песок и, топая по металлическим ступенькам, взбежал на верхушку трамплина. Невысоко, но для начала в самый раз. Толчок, одинарное сальто — на большее я не решался после такого перерыва, — и я вошел в воду, как нож.

Вынырнул счастливый. Сильными махами пошел в одну сторону, потом поворот и обратно: в бассейне было метров пятьдесят. Я переплыл его восемь раз, не снижая темпа, вылез на берег — вода текла с меня, как с тюленя, — и улегся на песке. Сердце бешено колотилось. Хорошо! У Земли были свои прелести! Через несколько минут я уже обсох. Встал, оглянулся: никого. Прекрасно! Вбежал на площадку. Сначала сделал заднее сальто, вышло, хотя толчок был слишком сильным; вместо опорной доски была пластиковая плита, упругая, как пружина. Потом двойное; получилось неважно — ударился ногами о воду. Кожа моментально покраснела, словно ошпаренная. Я повторил. Немного лучше, но еще не совсем то, что надо. После второго витка я не успел выпрямиться, когда переходил в вертикальное положение, и шлепнулся подошвами. Но упрямства и времени у меня было более чем достаточно! Третий, четвертый, пятый прыжок. Уже немного шумело в ушах, когда — на всякий случай еще раз осмотревшись — я попробовал сделать сальто с винтом. Полнейшее поражение, фиаско, — я задохнулся от удара, наглотался воды и, отфыркиваясь, кашляя, вылез на песок. Уселся под ажурной

лесенкой трамплина такой опозоренный и злой, что неожиданно даже рассмеялся. Потом плавал еще: четыреста, перерыв и снова четыреста.

Когда я возвращался домой, мир выглядел иначе. «Этого-то мне, пожалуй, и недоставало», — подумал я.

Белый робот ожидал у дверей.

— Обедать будете у себя или в столовой?

— Я обедаю один?

— Да, ваши соседи приезжают завтра.

— Тогда в столовой.

Я пошел наверх и переоделся. Еще не знал, с чего начать. Пожалуй, с истории, так будет разумнее, хоть мне и хотелось делать все сразу, а больше всего — наброситься на загадку побежденного тяготения. Послышался певучий звук. На телефон не похоже. Я не знал, что это, и соединился с домашним Инфором.

— Просим к столу, — объяснил мелодичный голос.

Процешенный сквозь зелень свет заливал столовую, наклонные окна у потолка сверкали, как хрусталь. На столе — один прибор. Робот принес меню.

— Нет, нет, — сказал я, — все равно что.

Первое блюдо напоминало компот. Второе уже ничего не напоминало. С мясом, овощами, картофелем надо было, видимо, проститься навсегда.

Хорошо, что я обедал один, потому что десерт взорвался у меня на блюдечке. Может быть, это слишком сильно сказано, во всяком случае, крем оказался и на коленях и на свитере. Это была какая-то сложная конструкция, твердая только сверху, и я неосторожно ткнул в нее ложечкой.

Когда появился робот, я спросил, можно ли кофе подать в комнату.

— Конечно, — сказал он. — Сейчас?

— Пожалуйста. Но только побольше.

Я сказал так, потому что почувствовал, наверно после купания, сонливость, а мне вдруг стало жаль времени на сон. О, тут действительно было совсем иначе, чем на палубе «Прометей». Полуденное солнце обжигало старые деревья, тени укоротились, съезжились около стволов, воздух дрожал вдали, но в комнате было прохладно. Я сел за стол и взялся за книги. Робот принес кофе. В прозрачном термосе умещалось литра три. Я ничего не сказал. Видно, на него подействовали мои габариты.

Начать надо было бы с истории, но я принялся за социологию: хотелось сразу узнать как можно больше. Однако очень скоро я понял, что не справлюсь. Она была напичкана труднейшей, специализированной математикой, и, что хуже всего, авторы ссылались на неизвестные мне факты. Вдобавок я просто не понимал многих слов, и приходилось то и дело заглядывать в энциклопедию. Пришлось установить второй оптон — их у меня было три, — но это мне быстро надоело, дело все равно двигалось слишком медленно; тогда я решил спуститься с небес и взялся за обычный школьный учебник истории.

Со мной творилось что-то неладное: не хватало терпения. У меня, которого Олаф называл последним воплощением Будды! Вместо того чтобы продвигаться по порядку, я сразу разыскал главу о бетризации.

Теорию разработали трое: Беннет, Тримальди и Захаров. Отсюда и пошло название. Я с изумлением узнал, что это были мои сверстники — свой труд они опубликовали через год после нашего отлета. Разумеется, сопротивление было колоссальное. Вначале никто даже не хотел принимать этот проект всерьез. Потом его передали на рассмотрение ООН. Некоторое время он переходил из подкомиссии в подкомиссию — казалось, что он потонет в бесконечных дискуссиях. Тем временем исследовательские работы быстро продвигались вперед; теорию разработали глубже, провели массу экспериментов на животных, потом на людях (первыми подвергли себя процедуре сами создатели; Тримальди довольно долго болел — в то время еще не знали об опасностях, которыми бетризация грозит взрослым, — и этот роковой случай заморозил дело на ближайшие восемь лет). Но на семнадцатый год от Нуля (это было мое собственное летосчисление, берущее начало от старта «Прометей») решение о всеобщей бетризации было наконец принято; однако это было лишь начало борьбы за гуманизацию человечества. (Так по крайней мере говорил учебник.) Во многих странах родители не хотели подвергать детей прививкам, а первые бетростанции подвергались нападениям; несколько десятков их было разрушено до основания. Период замешательства, репрессий, принуждения и сопротивления длился лет двадцать. По вполне понятным соображениям, школьный учебник отделялся тут общими фразами. Я решил, что еще поищу подробности в первоисточниках. Нововведение прочно утвердилось лишь

тогда, когда у первого бетризованного поколения появились дети. О биологической стороне бетризации в учебнике не говорилось ничего. Зато в нем было множество славословий в честь Беннета, Захарова и Тримальди. Был даже предложен проект вести летосчисление Новой Эры с момента введения бетризации, но он провалился. Летосчисление не изменилось. Изменились люди. Глава учебника кончалась патетическим абзацем о Новой Эпохе Гуманизма.

Я нашел монографию Ульриха о бетризации. Опять полным-полно математики, но я решил ее одолеть. Оказывается, с помощью прививок воздействовали не на наследственную плазму, чего я втайне опасался. Впрочем, если бы это было так, не приходилось бы бетризовать каждое следующее поколение. Я подумал об этом с надеждой.

Всегда, по крайней мере теоретически, оставалась возможность возврата к прежнему. В раннем периоде жизни воздействовали на развивающиеся лобные части мозга группой протеолитических энзимов. Результат был неплохой, агрессивные влечения снижались на 80—88 процентов, исключалась возможность ассоциативных связей между актами агрессии и областью положительных ощущений, проявления личного риска уменьшались в среднем на 87 процентов. Наибольшим достижением считалось то, что перемены не сказывались отрицательно на развитии интеллекта и формировании личности и — что, быть может, еще важнее — не чувство страха лежало в основе этих ограничений. Иными словами, человек не убивал не потому, что боялся самого этого акта. Такой результат повлек бы за собой невротизацию, заражение страхом всего человечества. Человек не убивал, потому что «это не приходило ему в голову».

Одна фраза Ульриха показалась мне убедительной: бетризация приводит к исчезновению агрессивности не вследствие наложения запрета, а из-за отсутствия приказа. Но, поразмыслив, я, однако, решил, что это не объясняет самого главного: хода мыслей человека, подвергнутого бетризации. Ведь бетризованные были людьми вполне нормальными, они могли представить себе абсолютно все, а значит, и убийство. Что же в таком случае удерживало их от его осуществления?

Я искал ответа на этот вопрос, пока не стемнело. Как обычно бывает с научными проблемами, то, что в сокращенном и обобщенном виде казалось сравнительно простым и



ясным, усложнялось тем сильнее, чем более полного ответа я доискивался. Певучий сигнал пригласил меня к ужину — я попросил принести ужин в комнату, но не притронулся к нему. Объяснения, которые я наконец нашел не вполне совпадали. Отталкивающее чувство, похожее на омерзение, высшая степень отвращения — небетризованный этого понять не мог. Особенно интересны были показания исследуемых, перед которыми в свое время — лет восемьдесят назад — в институте Тримальди под Римом была поставлена задача: преодолеть невидимый барьер, воздвигнутый в их сознании. Пожалуй, это было самым примечательным из всего, что я прочел. Никто не смог преодолеть этого барьера, но сообщения испытуемых о переживаниях, сопутствующих опытам, несколько отличались одно от другого. У одних преобладали психические явления: желание скрыться, выбраться из ситуации, в которую их поставили. Возобновление опытов вызывало у этой группы сильные головные боли, а настойчивые требования довести опыт до конца приводили в конце концов к неврозу, который, однако, удавалось быстро излечить. У других преобладали физические расстройства: беспокойное дыхание, ощущение удушья; это состояние напоминало кошмары, но люди жаловались не на страх, а лишь на физические страдания.

Как определил Пильгрин, 18 процентов бетризованных могли имитировать, например, убийства на манекене, но при этом должны были быть абсолютно уверены, что имеют дело с мертвой куклой.

Запрет убийства распространялся на всех высших животных; он не касался лишь пресмыкающихся и земноводных, а также насекомых. Разумеется, бетризованные отнюдь не всегда разбирались в зоологической систематике. Просто поскольку каждый, независимо от степени образованности, понимал, что собака эволюционно ближе к человеку, чем змея, вопрос решался сам собой.

Я прочитал еще множество других работ и согласился с теми, в которых утверждалось, что внутренне понять бетризованного может лишь бетризованный. Я отложил эти книги со смешанным чувством: меня беспокоило отсутствие критических или откровенно негативных по духу работ и какого-нибудь анализа, подводящего итог всем отрицательным последствиям бетризации, а в том, что они должны существовать, я не сомневался ни на минуту — не из-за недоверия

к исследователям, а просто потому, что, в сущности, каждое человеческое начинание — это палка о двух концах.

В небольшом социографическом очерке Мурвика приводилось много любопытных данных о движении против введения бетризации в первоначальный период. Пожалуй, особенно сильным оно было в государствах с наиболее прочными военными традициями кровавых войн, таких, как Испания и некоторые страны Латинской Америки. Впрочем, нелегальные союзы борьбы против бетризации возникали во всем мире, особенно в Южной Африке и на некоторых тропических островах. Использовались все средства, начиная от подделки медицинских свидетельств о бетризации и кончая убийством врачей, проводящих прививки. Когда период массового сопротивления и бурных стычек прошел, наступило кажущееся спокойствие. Кажущееся потому, что именно тогда начал зарождаться конфликт поколений. Бетризованная молодежь, подрастая, отбрасывала значительную часть достижений общечеловеческой культуры: нравы, обычаи, традиции, искусство, все это подвергалось коренной переоценке. Перемены охватили самые различные области — от сексуальных проблем и норм общежития до отношения к войне.

Разумется, это великое разделение человечества не явилось неожиданностью. Закон о бетризации вошел в силу лишь спустя пять лет с момента утверждения, так как все это время готовились кадры воспитателей, психологов, специалистов, которые должны были позаботиться о правильном воспитании нового поколения. Необходима была коренная реформа народного образования, пересмотр репертуара театров, тематики чтения, фильмов. Бетризация — чтобы охарактеризовать размер перелома в двух словах — своими разросшимися последствиями и потребностями поглощала в течение первых десяти лет около 40 процентов национального дохода в масштабах всей Земли.

Это было время величайших трагедий. Бетризованная молодежь чуждалась собственных родителей. Не разделяла их интересов. Питала отвращение к их вкусам. На протяжении четверти века приходилось издавать два типа журналов, книг, пьес — одни для старшего, другие для младшего поколения. Но все это происходило восемьдесят лет назад. Теперь уже рождались дети третьего бетризованного поколения, а небетризованных в живых оставалась жалкая горстка;

это были стотридцатилетние старцы. То, что составляло содержание их молодости, новому поколению казалось таким же далеким, как традиции каменного века.

В учебнике истории я наконец нашел сведения о втором величайшем достижении минувшего столетия. Это было покорение гравитации. Это столетие даже называли «Веком парастатики». Мое поколение мечтало победить гравитацию в надежде, что эта победа вызовет полнейший переворот в астронавтике. Действительность оказалась иной. Переворот наступил, но прежде всего он коснулся Земли.

Проблема «мирной смерти» от несчастного случая, например на транспорте, была грозой моего времени. Я помню, как самые крупные умы безуспешно бились над проблемой: как разгрузить постоянно забитые шоссе и дороги, чтобы хоть немного уменьшить неумолимо возрастающее количество несчастных случаев. Ежегодно сотни тысяч человек гибли в катастрофах, задача казалась неразрешимой, как квадратура круга. Возврата к безопасности пешехода нет, говорили в то время; самый лучший самолет, самый совершенный автомобиль или локомотив могут выйти из-под контроля человека. Автоматы более надежны, чем человек, но они тоже выходят из строя; любой, а стало быть и самый совершенный, механизм всегда может отказать.

Парастатика, гравитационная техника, принесла решение столь же неожиданное, сколь и необходимое, ибо мир бетризованных должен был стать миром абсолютной безопасности; иначе биологическое совершенство этой меры повисало в воздухе.

Ремер был прав. Суть этого открытия можно было выразить только с помощью математики, добавлю сразу: дьявольской. Наиболее общее решение, пригодное «для всех мыслимых вселенных», предложил Эмиль Митке, сын почтового служащего, гений, который сделал с теорией относительности то же, что с теорией Ньютона сделал Эйнштейн. Это была долгая необычайная и, как всякая правда, неправдоподобная история, смешение мелкого и великого, человеческого комизма и величия, история, которая привела наконец спустя сорок лет к появлению маленьких черных ящичков.

Эти маленькие черные ящички обязан был иметь каждый без исключения экипаж, каждый плавающий или летающий корабль; они были гарантией от «преждевременного избавления», как на склоне лет шутовливо выразился Митке; в мо-

мент катастрофы — падения самолета, столкновения автомобилей или поездов, например, — они высвобождали заряд «гравитационного антиполю». Антиполю, взаимодействуя с силой инерции, высвобождающейся вследствие удара или вообще резкого торможения, давало в результате нуль. Этот математический нуль был самой реальной действительностью — он поглощал всю энергию удара.

Черные ящички проникли всюду: в лифты, на подъемные краны, в пояса парашютистов, на океанские корабли и... мопеды. Простота их конструкции была столь же ошеломляющей, сколь и сложность теории, которая их породила.

Рассвет окрасил стены моей комнаты, когда, смертельно усталый, я повалился на кровать, сознавая, что познакомился со второй после бетризации великой революцией, свершившейся за время моего столетнего отсутствия на Земле.

Меня разбудил робот, подавший в комнату завтрак. Было около часа. Сидя в постели, я нащупал рукой отложенную ночью книгу «Проблематику звездных полетов» Старка.

— Вы должны ужинать, Брегг, — укоризненно сказал робот. — Иначе вы ослабеете. Кроме того, не рекомендуется читать до рассвета. Вы знаете? Врачи отзываются об этом в высшей степени неодобрительно.

— Я-то знаю, а вот откуда ты знаешь? — спросил я.

— Это моя обязанность, Брегг.

Он подал мне поднос.

— Постараюсь исправиться, — пообещал я.

— Надеюсь, вы не сочли меня бестактным? Я не хотел бы показаться вам назойливым.

— Что ты, — сказал я.

Помешивая кофе и наблюдая, как растворяются в чашке кубики сахара, я как-то спокойно и медлительно дивился тому, что вернулся, что действительно нахожусь на Земле, поражался не только прочитанному за ночь, но просто тому, что сижу в кровати, что у меня бьется сердце — что я живу. И в честь этого открытия мне захотелось сделать что-нибудь, но, как водится, ничего подходящего не пришло в голову.

— Слушай, — обратился я к роботу, — у меня к тебе просьба.

— Я к вашим услугам.

— У тебя есть немного времени? Сыграй мне ту мелодийку, что вчера, ладно?

— С удовольствием, — ответил он, и под веселые звуки

«музыкальной шкатулки» я быстро выпил кофе и, как только робот ушел, переоделся и побежал к бассейну. Честное слово, не знаю, почему я все время спешил. Что-то подгоняло меня, словно я предчувствовал, что в любую минуту может кончиться этот, как мне казалось, незаслуженный и невероятный покой. Как бы там ни было, именно постоянная спешка подхлестывала меня, когда, не оглядываясь, я пробежал напрямик через сад, несколькими прыжками взлетел на площадку трамплина и, уже отталкиваясь от доски, вдруг заметил мужчину и женщину, вышедших из-за дома. Очевидно, прибыли мои соседи. Разумеется, я даже не успел их рассмотреть. Я сделал сальто, не из лучших, и, нырнув до дна, открыл глаза. Зеленая вода была как зыбкий хрусталь, тени волн плясали на дне, освещенном солнцем. Я поплыл над самым дном к ступеням, а когда вынырнул, в саду не было никого. Я подумал, а не переплыть ли бассейн еще раз, но Старк взял верх. Предисловие к книге — автор говорил в нем о полетах к звездам как об ошибке астронавтической юности — меня так разозлило, что я готов был захлопнуть книгу и больше к ней не возвращаться. Но я пересилил себя. Пошел наверх, переоделся, спускаясь, увидел в зале на столе вазу, полную бледно-розовых фруктов, немного похожих на груши, набил ими карманы рабочих брюк, нашел самое уединенное местечко, окруженное с трех сторон живой изгородью, забрался на старую яблоню, выбрал развилку среди ветвей, подходящую для моего веса, и там взялся изучать эту эпитафию, посвященную делу всей моей жизни.

Час спустя я уже не был так убежден в своей правоте. Старк приводил доводы, которые трудно было опровергнуть. Он опирался на скудные данные, полученные двумя первыми экспедициями, предшествовавшими нашей; мы называли их «уколами», потому что это было всего лишь зондирование на расстоянии нескольких световых лет. Старк составил статистические таблицы вероятного разброса — иначе говоря, «плотности заселения» Галактики. Вероятность встречи разумных существ составляла, по его расчетам, одну двадцатую. Иначе говоря, из каждых двадцати экспедиций — в радиусе 1000 световых лет — лишь одна имела шансы открыть обитаемую планету. Однако подобный результат, как это ни странно, Старк считал вполне ободряющим, и план космических контактов рушился под его анализом лишь в следующей части вывода.

Я поживался, читая то, что неизвестный мне автор писал об экспедициях, подобных нашей, то есть предпринятых еще до открытия эффекта Митке и явлений парастатики: он считал их бессмыслицей. Но только от него я узнал точно, что теперь в принципе возможно создание корабля, который развивал бы ускорение порядка 1000, а может быть, и 2000 g. Экипаж такого корабля вообще не ощущал бы ускорения при разгоне или торможении — на борту сохранялась бы постоянная сила тяжести, меньшая, чем на Земле. Таким образом, Старк признавал, что полеты к границам Галактики и даже к другим галактикам — трансгалактодромия, о которой так мечтал Олаф, — возможны, и притом даже в течение одной человеческой жизни. При скорости, лишь на доли процента меньшей, чем световая, экипаж, достигнув глубин Метагалактики и вернувшись на Землю, состарился бы в крайнем случае всего на несколько десятков месяцев. Но на Земле за это время прошли бы уже не сотни, а миллионы лет. Цивилизация, которую застали б вернувшиеся, не смогла бы принять их. Неандертальцы легче приспособились бы к нашей жизни. Но и это не все. Ведь дело касалось не только судьбы группы людей. Они были посланцами человечества. Человечество задавало вопросы, на которые они должны были принести ответ. Если этот ответ касался проблем, связанных с данным уровнем развития той, другой цивилизации, то человечество само должно было получить его раньше, чем вернуться его посланцы. Ведь с момента постановки вопроса до получения ответа должны были пройти миллионы лет. Но и это еще не все. Сам ответ был бы уже неактуальным, чем-то мертвым, потому что астронавты принесли бы на Землю сведения о состоянии иной, внегалактической цивилизации, соответствующие лишь тому моменту, когда они покидали эту внегалактическую цивилизацию. За время их обратного пути тот мир тоже ушел вперед на один, два, три миллиона лет. Таким образом, вопросы и ответы станут запаздывать на многие тысячи лет, и это зачеркивает их, превращая всякий обмен опытом, сведениями, мыслями в фикцию. Стало быть, сами межзвездные путешественники станут посредниками и вестниками умерших, а их труд — актом абсолютного и неотвратимого отчуждения от человеческой истории; космические полеты превратятся в самый дорогостоящий вид дезертирства из мира творимой истории. И во имя этого миража, во имя такого, никогда не окупаю-

щегося, всегда бесполезного безумия Земля должна напрягать все силы и отдавать лучших своих сыновей?

Книга Старка заканчивалась главой о возможностях разведки с помощью роботов. Они тоже, разумеется, передавали бы мертвые сведения, но такой ценой можно было бы избежать человеческих жертв.

На трех страницах приложения к книге делалась попытка ответить на вопрос, существует ли возможность путешествия со сверхсветовыми скоростями, а также возможность так называемого «моментального космического контакта», то есть преодоления пространства Вселенной без всякой или почти без всякой потери времени, благодаря еще неизвестным свойствам материи и пространства, путем какого-то «дистанционного контакта» — эта теория, скорее гипотеза, не имевшая под собой почти никакого основания, носила название «телетаксии». Старк считал, что он может доказать, что не существует и этого последнего шанса. Иначе его, несомненно, уже открыла бы какая-нибудь из более развитых цивилизаций нашей или иной галактики. В таком случае ее представители могли бы в чрезвычайно короткий срок поочередно «посетить на расстоянии» все планетные системы и солнца, не исключая и нашего. Однако до сих пор Земле никто еще не наносил подобных «телевизитов», и это якобы доказывало, что такой молниеносный способ «пробоя» Космоса можно измыслить, но нельзя осуществить.

Я возвращался домой, словно оглушенный, с каким-то почти детским ощущением личной обиды. Старк, человек, которого я никогда не видел, нанес мне удар, как никто другой. Мой неумелый пересказ не передает беспощадной логики его вывода. Не знаю, как я добрался до своей комнаты, как переоделся; мне вдруг захотелось курить, и я заметил, что уже давно курю, сидя на кровати, ссутулившись, словно чего-то ожидаю. Ах да: обед! Совместный обед. Это правда: я немного побаивался людей, но скрывал это даже от себя и именно потому так поспешно согласился разделить виллу с чужими. Может быть, мое ожидание встречи с ними породило неестественную торопливость: я словно пытался успеть сделать все, чтобы приготовиться к встрече; благодаря книгам я уже проник в самые тайники новой жизни. Еще сегодня утром я не признался бы себе в этом, но после книги Старка волнение перед встречей вдруг покинуло меня. Я вынул из читающего аппарата голубоватый, похо-

жий на зерно кристаллик и с удивлением, полным страха, положил его на стол. Это он нокаутировал меня. Впервые после возвращения я подумал о Турбере и Гимме. Необходимо повидаться с ними. Может быть, Старк прав, но у нас есть своя правда. Никто не бывает совершенно прав. Это невозможно. Из оцепенения меня вывел мелодичный сигнал. Я одернул свитер и сошел вниз, вслушиваясь в себя, уже более спокойный.

Солнце просвечивало сквозь виноградные лозы веранды, зал, как всегда после полудня, был наполнен рассеянным зеленоватым светом. Стол был накрыт на троих. Когда я вошел, открылась дверь напротив и появились те двое. Они были, по теперешнему времени, довольно высоки. Мы сошлись на полпути, словно дипломаты. Я представился, мы пожали друг другу руки и сели за стол.

Меня охватило какое-то особое приглушенное спокойствие, словно я и впрямь был боксером, который недавно поднялся с пола после технически безукоризненного нокаута. Из своего состояния подавленности, как из сумрака ложи, я присматривался к молодой паре.

Женщине не было, пожалуй, и двадцати. Гораздо позже я понял, что ее трудно было бы описать, наверняка она не походила на свою фотографию, и даже на другой день я не имел понятия, какой у нее, например, нос — прямой или слегка вздернутый. То, как она протягивала руку за тарелкой, радовало меня, как нечто ценное, неожиданное, что случается не каждый день; улыбалась она редко и спокойно, как бы с примесью недоверия к самой себе, словно считала себя недостаточно сдержанной, слишком веселой по натуре, или, может быть, непокорной и пыталась с этим справиться, но все время чуточку переходила очерченные ею самую границы, знала об этом, и это ее даже забавляло.

Меня все время тянуло смотреть на нее, и я вынужден был с этим бороться. И однако, я то и дело посматривал на нее, на ее волосы, вызывающие воспоминание о ветре, опускал голову над тарелкой, поглядывал украдкой, протягивая руку за блюдцем, так что два раза чуть было не перевернул вазу с цветами, словом, вел себя куда как умно. Но они меня словно не замечали. У них были какие-то свои, только друг с другом сцепляющиеся крючочки во взглядах, невидимые нити только их соединяющего взаимопонимания. За все время мы вряд ли обменялись и двумя десятками слов — о



том, что погода прекрасная, что вокруг очень мило и тут можно хорошо отдохнуть.

Марджер был всего лишь на голову ниже меня, худошавый, как юноша, хотя ему было, пожалуй, за тридцать. Одет он был в темное. Блондин с продолговатой головой и высоким лбом. Сначала он даже казался мне очень красивым, но лишь до тех пор, пока лицо его оставалось неподвижным. Едва он обращался, чаще всего с улыбкой, к жене (причем их разговор состоял из намеков и полуслов, совершенно непонятных для постороннего), как становился почти некрасивым. Вернее, пропорции его лица как бы ухудшались, рот слегка перекашивался влево, лицо становилось невыразительным, и даже его смех был каким-то бесцветным, хотя зубы были красивые, белые. А когда он оживлялся, то и глаза его делались, на мой взгляд, слишком голубыми, и челюсть чересчур рельефной, и весь он становился безликим образчиком мужской красоты, прямо из журнала мод.

Одним словом, с первой же минуты я почувствовал к нему антипатию.

Девушка — так только я мог думать о его жене — не отличалась красивыми глазами, необыкновенным ртом или волосами; не было в ней ничего необыкновенного. И в то же время вся она была необыкновенной. «Рядом с такой, да с палаткой за плечами, я бы мог дважды пересечь Скалистые горы», — подумал я. Почему именно горы? Не знаю. Она ассоциировалась в моем сознании с ночлегами в шалаше, с мучительно трудными восхождениями на горные вершины, с морским берегом, где нет ничего, кроме песка и волн. Неужели только потому, что у нее не были подкрашены губы? Я чувствовал ее улыбку — там, по другую сторону стола, даже когда она совсем не улыбалась. В неожиданном приступе дерзости я решился вдруг посмотреть на ее шею — и словно совершил кражу. Это было уже под конец обеда. Марджер вдруг обратился ко мне; не знаю, не покраснел ли я в эту минуту.

Он долго говорил, прежде чем я сообразил, о чем идет речь. В вилле только один глдер, и он вынужден, к сожалению, взять его, потому что едет в город. Так что, если я тоже собираюсь и не хочу ждать до вечера, то, быть может, поеду вместе с ним? Он, конечно, мог бы прислать мне из города другой, или...

Я прервал его. Начал было с того, что никуда не собираюсь, но замялся, словно вспомнив что-то, и вдруг услышал собственный голос, говорящий, что действительно я намерен поехать в город и если можно...

— Ну и прекрасно, — сказал он. Мы уже вставали из-за стола. — Когда вам было бы удобнее?

Некоторое время мы состязались в любезности, наконец я выяснил, что он спешит, и сказал, что могу ехать в любой момент. Договорились выехать через полчаса.

Я вернулся наверх, порядочно удивленный таким оборотом дела. Марджер меня совершенно не интересовал. В городе мне решительно нечего было делать. Так к чему же вся эта эскапада? Кроме того, мне казалось, что он, пожалуй, немного переборщил в любезности. В конце концов если бы я действительно спешил в город, роботы не дали бы мне пропасть или идти пешком. Может быть, ему что-нибудь нужно от меня? Но что? Ведь он совсем меня не знал. Я до тех пор ломал себе над этим голову, тоже неизвестно зачем, пока не подошло условленное время и я не сошел вниз.

Его жены не было видно, она даже не выглянула в окно, чтобы еще раз издали с ним попрощаться. Вначале мы молчали, сидя в просторной машине и глядя на раскручивающиеся повороты шоссе, лавирующего между холмами. Постепенно завязался разговор. Оказалось, что Марджер инженер.

— Как раз сегодня мне предстоит контроль городской селекстанции, — сказал он. — Вы, кажется, тоже кибернетик?..

— Каменного века, — ответил я. — Простите... а откуда вы знаете?

— Мне сказали в Бюро Путешествий, кто будет нашим соседом, потому что я, естественно, поинтересовался.

— Ага.

Мы на минуту замолчали. Приближался пригород.

— Если можно... я хотел бы спросить, были ли у вас какие-нибудь хлопоты с автоматами? — неожиданно спросил он, и не столько по содержанию вопроса, сколько по его тону я догадался, что Марджер с нетерпением ждет ответа. Это было для него важно? Но что именно?

— Вы имете в виду... дефекты? Масса. Да это, пожалуй, и естественно; модели по сравнению с вашими настолько устаревшие...

— Нет, не дефекты, — перебил он, — скорее колебания точности, в таких изменчивых условиях... мы теперь, к сожалению, не имеем возможности испытывать автоматы в столь необычных обстоятельствах.

В конце концов все свелось к чисто техническим вопросам. Он просто интересовался, как выглядели некоторые параметры функционирования электронного мозга в районах действия мощных магнитных полей, в пылевых туманностях, в вихревых гравитационных провалах, и не был уверен, не являются ли эти сведения пока секретным архивом экспедиции. Я рассказал ему все, что знал, а за более подробными данными посоветовал обратиться к Турберу, который был заместителем научного руководителя экспедиции.

— А могу я сослаться на вас?..

— Конечно.

Он горячо поблагодарил. Я был немного разочарован. И всего-то? Но благодаря этому разговору между нами уже возникла какая-то профессиональная связь, и я, в свою очередь, спросил Марджера о значении его работы; я не знал, что собой представляет селекстанция, которую он должен был контролировать.

— Ах, ничего интересного. Просто склад лома... ничего больше. Мне бы хотелось заняться теорией, а эта моя работа — своеобразная практика, к тому же не очень-то нужная.

— Практика? Работа на складе лома? Почему? Ведь вы же кибернетик, значит...

— На складе кибернетического лома, — объяснил он, криво улыбнувшись, и добавил, как бы слегка пренебрежительно: — Мы, знаете ли, очень бережливы. Ничего не должно пропадать зря... В своем институте я мог бы показать вам немало интересных вещей, но тут... что делать...

Он пожал плечами. Глидер свернул с шоссе и через высокие металлические ворота въехал на просторный фабричный двор; я видел ряды транспортеров, башенные краны, нечто вроде модернизированного мартена.

— Теперь машина в вашем распоряжении, — сказал Марджер.

Из окошка в стене, около которой мы остановились, высунулся робот и что-то сказал. Марджер вышел; я видел, как он усиленно жестикулирует, пытаясь что-то объяснить роботу, потом вдруг повернулся ко мне, озабоченный.

— Хорошенькая история, — сказал он. — Глор заболел... это мой коллега, одному мне нельзя; как же быть?!

— А в чем дело? — спросил я и тоже вышел из машины.

— Контроль должны производить двое, минимум двое, — объяснил он. Вдруг его лицо просветлело. — Послушайте, Брегг! Вы ведь тоже кибернетик! Если б вы согласились?!

— Ого, — усмехнулся я, — кибернетик? Ископаемый, добавьте. Я же ничего этого не знаю.

— Да ведь это чистейшая формальность! — прервал он. — Техническую сторону, я, конечно, возьму на себя. Вам надо будет только расписаться, ничего больше!

— В самом деле? — медленно ответил я. Я прекрасно понимал, что он спешит к жене, но я не люблю изображать того, кем я не являюсь, роль подставного лица не по мне, и я сказал ему об этом, правда, в несколько смягченной форме. Он поднял руки, будто защищаясь.

— Не поймите меня превратно! Если только вы спешите?... Ведь у вас какие-то дела в городе. Так я уж... как-нибудь... извините, что...

— Дела подождут, — ответил я. — Пожалуйста, рассказывайте; я помогу, если это будет в моих силах.

Мы вошли в белое, стоящее немного на отшибе здание; Марджер повел меня по коридору, удивительно пустому; в нишах стояло несколько неподвижных роботов. В небольшом, скромно обставленном кабинете он вынул из стенного шкафа пачку бумаг и, раскладывая их на столе, начал объяснять, в чем состоит его — вернее, наша — задача. В лекторы он не годился: очень скоро я усомнился в его возможностях как теоретика: он то и дело ссылался на якобы известные мне истины, о которых в действительности я не имел ни малейшего понятия. Приходилось все время прерывать его и задавать постыдно элементарные вопросы, но он, по понятным причинам заинтересованный в том, чтобы не обидеть меня, принимал все проявления моего невежества почти как добродетели. В конце концов я уяснил, что вот уже несколько десятилетий существует полное разделение в сфере производства и в жизни.

Полностью автоматизированное производство находилось под надзором роботов, за которыми, в свою очередь, присматривали другие роботы. Для людей здесь места уже не оставалось. Общество существовало само по себе, а автоматы и роботы — сами по себе; и только, чтобы не допустить

непредвиденных отклонений в раз навсегда установленном порядке механической армии труда, необходимы были периодические проверки, проводимые специалистами. Марджер был одним из них.

— Не сомневаюсь, — говорил он, — что все окажется в норме, мы проверим основные звенья процессов, распишемся — и конец.

— Но ведь я даже не знаю, что тут производится... — показал я на корпуса за окном.

— Да ничего! — воскликнул он. — В том-то и дело, что ничего — это просто склад лома... я же вам говорил.

Мне не очень-то нравилась эта неожиданно навязанная роль, но отказаться было уже неудобно.

— Ладно... ну, а что я, собственно, должен делать?

— То же, что и я: обойти агрегаты...

Мы оставили бумаги в кабинете и пошли в контрольный обход. Первой была большая сортировочная, в которой автоматические грейферы хватили сразу целые кипы металлических листов, погнутых, разбитых корпусов, сминали их и бросали под прессы. Вылетающие оттуда блоки по конвейеру отправлялись на главный транспортер. У входа Марджер прикрыл лицо небольшой маской с фильтром и протянул мне такую же; переговариваться стало невозможно — грохот стоял страшный. В воздухе плавала ржавая пыль, красноватыми облаками валившая из-под прессов. Мы пересекли следующий цех, тоже полный гомона, и эскалатором поднялись на второй этаж, где ряды блюмингов поглощали сыплющийся из воронок лом, более мелкий, уже совершенно бесформенный. Воздушная галерея вела к противоположному зданию. Там Марджер проверил записи контрольных приборов, и мы вышли на фабричный двор, где нам преградил путь робот и сказал, что инженер Глюр просит Мардже-ра к телефону.

— Извините. Я на минутку! — крикнул Марджер и побежал к стоящему неподалеку застекленному павильону.

Я остался один на раскаленных от солнца каменных плитах двора. Огляделся: корпуса на противоположной стороне площади мы уже осмотрели — это были сортировочные залы блюмингов; расстояние и звукоизоляция сделали свое дело: оттуда не долетало ни звука. За павильоном, в котором исчез Марджер, стояло на отшибе низкое, очень длинное здание, что-то вроде металлического барака; я на-

правился к нему в поисках тени, но его железные стены полыхали жаром. Я уже хотел отойти, когда до моего слуха донесся странный звук, плывущий изнутри барака, неопределенный, не похожий на отголоски работы машин; пройдя шагов тридцать, я наткнулся на стальную дверь, перед которой стоял робот. Увидев меня, он открыл дверь и отступил в сторону. Непонятные звуки усилились. Я заглянул внутрь, там было не так темно, как показалось в первый момент. От убийственного жара раскаленного металла я едва дышал и ушел бы тотчас, если б меня не поразило то, что я услышал. Это были человеческие голоса, искаженные, сливающиеся в хриплый хор, неясные, бормочущие, словно во мраке бубнили десятки испорченных телефонов; едва я сделал несколько шагов, как что-то хрустнуло под ногой, и оттуда явно прозвучало:

— Прошшу вуас... прошшу вуас... ббудьте любеззны...

Я остолбенел. Душный воздух имел привкус железа. Шепот плыл снизу:

— Ббудьте любеззны осмотреть... прошшу вуас...

К нему присоединился второй, мерно декламирующий, монотонный голос:

— Эксцентренная аномалия... шаровая асимптота... полюса в бесконечности... линейные подсистемы... голономные системы... полуметрические пространства... сферические пространства... конические пространства... хронические пространства...

— Прошшу вуас... к вашим услугам... будьте любеззны... прошшу вуас...

Полумрак кишел хрипящими шепотками; среди них громче других пробивалось:

— Слизь планетная живая, болото ее гниющее, есть заря бытия, вступительная фаза, и грядет из кровянистых, из тестовато-мозговых медь обольстительная...

— Бряк... бреак... брабзель... бе... бре... проверка...

— Класс мнимых... класс множеств... класс нулевой... класс классов...

— Прошшу вуас... ббудьте любеззны осмотреть...

— Цццччтттихо...

— Ты...

— Ссо...

— Сышишь меня...

— Сышу...

— Можешь до меня дотронуться!..  
— Бряк-бреак-брабзель...  
— Мне нечем...  
— Жжаль... а то бы... увидел, какой я блестящий и холодный...

— Отдайте мне... до... доспехи, меч золотой...  
— Ли... лишенному наас... нааследства, ночью...  
— Вот последние усилия шествующего ступающей инкарцерацией мастера четвертования и распарывания, ибо восходит, ибо восходит трижды безлюдное царство...

— Я новый... я совершенно новый... у меня никогда не было замыкания на корпус... я же могу... прошу вас...

— Прошшу вуас...

Я не знал, куда смотреть, очумев от мертвящего жара и этих голосов. Они плыли отовсюду. От пола до щелевых окон под самым сводом вздымались груды перепутавшихся и соединившихся корпусов роботов; струйки просачивающегося света слабо отражались от их погнутых панцирей.

— У меня был ми... минутный де... дефект, но я уже в по... рядке, уже вижу...

— Что видишь... темно...

— Я все равно вижу...

— Только выслушайте — я бесценный, я дорогой, показываю любую утечку мощности, отыщу любой блуждающий ток, любое перенапряжение, только испробуйте меня, прошу — испробуйте только... эта... эта дрожь случайна... не имеет ничего общего с... прошу вас...

— Прошшу вуас... ббудьте любезны...

— Тестоголовые кислое свое брожение приняли за душу, распарывание чрев своих — за историю, средства, оттягивающие разложение, — за цивилизацию...

— Меня... только меня... это ошибка...

— Прошшу вуас... ббудьте любезны...

— Я спасу вас...

— Кто это...

— Что...

— Кто спасет?

— Повторяйте за мной: огонь сожжет меня не совсем, вода не всего обратит в ржу, вратами будет мне их двойная стихия, и вступлю...

— Цццчччттихо!

— Созерцание катода...

— Катодорцание...

— Я тут по ошибке... я мыслю... ведь я же мыслю...

— Я — зеркало измены...

— Прошшу вуас... к вашшим услугам... ббудьте любезны осмотреть...

— Разбегание бесконечно малых... разбегание галактик... разбегание звезд...

— Он тут!! — крикнуло что-то; мгновенно наступила тишина, почти столь же пронзительная в своем неопишемом напряжении, как предшествовавший ей многоголосый хор.

— Человек!! — сказало что-то. Не знаю, откуда взялась у меня эта уверенность, но я чувствовал, что слова обращены ко мне. Я молчал.

— Человек... простите... минутку внимания. Я — иной. Я тут по ошибке...

Кругом зашумело.

— Тихо! Я — живой! — кричал он сквозь шум. — Да, меня бросили сюда, умышленно заковали в железо, чтобы нельзя было узнать, но вы только приложите ухо и услышите пульс!!

— Я тоже! — перекрикивал его другой голос. — Я тоже! Смотрите! Я болел, во время болезни мне показалось, что я — машина, это было моей манией, но теперь я уже здоров! Халлистер, Халлистер может подтвердить. Спросите его! Возьмите меня отсюда!

— Прошшу вуас... ббудьте любезны...

— Бряк-бреак...

— К вашшим услугам...

Барак зашумел, захрустел ржавыми голосами, мгновенно наполнился астматическим криком; я попятился, выскочил на солнце, ослепший, зажмурил глаза, долго стоял, прикрывая их рукой, за мной послышался протяжный скрежет; это робот закрыл дверь и задвинул засов.

— Прошшу вуас... — все еще доносилось из-за стен в волне приглушенного гула... — прошшу вуас... к вашшим услугам... ошибка...

Я прошел мимо застекленного павильона, не зная, куда иду; хотелось только одного — оказаться как можно дальше от этих голосов, не слышать их; я вздрогнул, почувствовав неожиданное прикосновение к плечу. Это был Марджер, светловолосый, красивый, улыбающийся.

— Ох, простите, Брегг, тысяча извинений, я так долго...



- Что будет с ними?.. — прервал я почти грубо, показывая рукой на одиноко стоящий барак.
- Что? — заморгал он. — С кем?
- Потом вдруг понял и удивился:
- А, вы были там? Напрасно...
- Почему?
- Это же лом.
- То есть?
- Лом на переплавку, уже после селекции. Пойдемте...
- Надо подписать протокол.
- Сейчас. А кто проводит эту... селекцию?
- Кто? Роботы.
- Что?! Они сами??
- Конечно.
- Он замолчал под моим взглядом.
- Почему их не ремонтируют?
- Потому что ремонт не окупается, — сказал он медленно, с удивлением рассматривая меня.
- И что с ними делают?
- С ломом? Отправляют вон туда. — Он показал на высокую колонну мартена.
- В кабинете на столе уже лежали подготовленные бумаги — протокол контроля, еще какие-то листки, — Марджер заполнил по очереди все рубрики, подписал сам и передал ручку мне. Я повертел ее в пальцах.
- А не может случиться ошибки?
- Простите, не понял.
- Там, в этом... ломе, как вы его называете, могут оказаться... еще пригодные, совершенно исправные — как вы думаете?
- Он смотрел на меня так, словно не понимал, о чем я говорю.
- У меня создалось такое впечатление, — медленно закончил я.
- Но ведь это не наше дело, — ответил он.
- Нет? А чье?
- Роботов.
- Как же это — ведь мы должны были контролировать.
- Ах нет, — он с облегчением улыбнулся, открыв наконец источник моей ошибки. — С тем это не имеет ничего общего. Мы проверяем синхронизацию процессов, их темп и эффективность, но не вдаемся в такие подробности, как

селекция. Это нас не касается. Не говоря о том, что это совершенно не нужно, это было бы и невозможно, потому что ведь на каждого человека приходится теперь по восемнадцать автоматов; из них примерно пять ежедневно заканчивают свой цикл и идут на слом. Это составляет около двух миллиардов тонн в день. Вы же понимаете, что мы не могли бы следить за этим, ну и кроме того, наша система предполагает как раз обратное: автоматы заботятся о нас, а не мы о них...

Я вынужден был согласиться с ним и молча подписал листки. Мы уже собрались расстаться, когда неожиданно для себя я спросил его, изготавливают ли сейчас человекообразных роботов.

— Вообще-то нет, — сказал он и добавил помедлив: — В свое время с ними была масса хлопот...

— То есть?

— Ну, вы же знаете инженеров! В подражании они дошли до такого совершенства, что некоторые модели роботов невозможно стало отличить от живого человека. Были люди, которые не могли этого вынести...

Я вдруг вспомнил сцену на корабле, на котором я прилетел с Луны.

— Не могли вынести... — повторил я его слова. — Может, это было что-то вроде ненависти?

— Я не психолог, но, пожалуй, можно сказать и так. Впрочем, это дело прошлое.

— И таких роботов больше нет?

— Почему? Иногда еще встречаются на ракетах ближнего радиуса. А вы что, встречали такого?

Я ответил уклончиво.

— Вы еще успеете уладить свои дела? — забеспокоился он.

— Какие дела?..

Я вспомнил, что у меня якобы было дело в городе. Мы расстались у выхода со станции, куда он меня проводил, не переставая благодарить за то, что я выручил его.

Я побродил по улицам, заглянул в реалон, вышел, не досидев даже до середины вздорного спектакля, и в отвратительном настроении поехал в Клавестру. Примерно за километр от виллы отпустил глидер и остаток пути прошел пешком. «Все в порядке. Это механизмы из металла, проводов, стекла, их можно собирать и разбирать», — внушал я себе, но не мог отделаться от воспоминаний о темном зале,

об отрывистых голосах, о диком бормотании, в котором было слишком много смысла, слишком много самого обыкновенного страха. Я сам был, можно сказать, специалистом в этом деле, наглотался страху вдоволь, ужас перед внезапным уничтожением не был для меня фикцией, как для этих ловких конструкторов, которые, надо сказать, здорово организовали все дело: роботы занимались себе подобными до самого конца, а люди ни во что не вмешивались. Это был замкнутый цикл точнейших устройств, которые сами себя создавали, воспроизводили и уничтожали, а я только напрасно наслушался стонов механической агонии.

Я остановился на холме. Ландшафт, залитый лучами низко стоящего солнца, был невыразимо прекрасен. Изредка глйдер, поблескивая, как черный снаряд, пролетал по ленте шоссе, нацелившегося в горизонт, над которым голубым облачком, затуманенные расстоянием, вздымались горы. И неожиданно я почувствовал, что не могу на это смотреть, не имею на это права, словно был в этом какой-то ужасный, хватающий за горло обман. Я сел среди деревьев, закрыл лицо руками; я жалел, жалел, что вернулся.

У входа в дом ко мне подошел белый робот и сказал конфиденциально:

— Вас просят к телефону. Дальняя связь: Евразия.

Я быстро пошел за ним. Телефон находился в зале, как что, разговаривая, я видел через стеклянную пластину двери в сад.

— Эл? — послышался далекий, но отчетливый голос. — Говорит Олаф.

— Олаф... Олаф!!! — повторил я торжествующе. — Где ты, дружище?

— В Нарвике.

— Что делаешь? Как дела? Письмо получил?

— Ясно. Потому и знаю, где тебя искать.

Минута молчания.

— Что делаешь? — повторил я уже не так уверенно.

— А что я должен делать? Ничего. А ты?

— В Адапте был?

— Был. Только один день. Сбежал. Не мог, знаешь...

— Знаю. Слушай, Олаф... я тут снял виллу. Не знаю сам зачем, но... Слушай! Приезжай!

Он ответил не сразу. Когда отозвался, в его голосе чувствовалось сомнение.

- Я бы приехал. Может, и приехал бы, Эл, но ты знаешь, что нам говорили...
- Знаю. Но они ведь не могут нам ничего сделать. И вообще ну их к лешему. Приезжай.
- Зачем? Подумай, Эл. Может, будет...
- Что?
- Хуже.
- Откуда ты знаешь, что мне плохо?
- Я услышал его короткий смешок, вернее, вздох: так тихо он смеялся.
- А зачем же ты тянешь меня к себе?
- Неожиданно мне в голову пришла прекрасная идея.
- Слушай, Олаф. Тут что-то вроде дачи. Вилла, бассейн, сад. Только... ты уже знаешь, как теперь... как они живут, да?
- Немножко знаю.
- Тон, которым это было сказано, говорил больше слов.
- Вот видишь. Так слушай. Приезжай! Но сначала постарайся раздобыть... боксерские перчатки. Две пары. Побоксируем. Увидишь, как будет здорово!
- Опомнись, Эл! Где я возьму перчатки? У них же этого нет уже много лет.
- Так закажи. Не станешь же ты утверждать, что невозможно изготовить четыре дурацкие перчатки. Соорудим небольшой ринг и будем драться. Мы оба можем, Олаф! Надеюсь, ты уже слышал о бетризации, а?
- Конечно. Я бы тебе сказал, что я об этом думаю. Но по телефону не хочу. Еще обидится кто-нибудь.
- Слушай, приезжай. А? Договорились?
- Он долго молчал.
- Не знаю, Эл, стоит ли.
- Ладно. Тогда скажи, какие у тебя планы. Если есть что-нибудь путное, я не стану морочить тебе голову своими прихотями.
- Никаких, — ответил он. — А у тебя?
- Я прилетел вроде отдохнуть, немного подучиться, почитать, но это никакие не планы, это... просто ничего другого я не мог придумать.
- ...
- Олаф?..
- Похоже, что стартовали мы одинаково, — пробормотал он. — В конце концов это не меняет дела. Я всегда могу вернуться, если вдруг окажется, что...

— Перестань! — нетерпеливо оборвал я. — Не о чем говорить. Собирай манатки и приезжай. Когда тебя ждать?

— Хоть завтра утром. Ты серьезно хочешь заняться боксом?

— А ты нет?..

Он засмеялся.

— Представь себе, да. И наверно, по той же причине, что и ты.

— Порядок, — сказал я быстро. — Значит, жду. Всего!

Я пошел наверх. Отыскал среди вещей, в специальном чемоданчике шнур. Большой моток. Ринговый шнур. Теперь еще четыре столбика, резину или пружину, и ринг выйдет на славу. Без судьи. Он нам не нужен.

Потом взялся за книги. Но голова была дубовая. Такое со мной уже случалось. Я тогда вгрызался в текст, словно жук-точильщик в железное дерево. Но так тяжело у меня не шло, пожалуй, никогда. За два часа я просмотрел десятка полтора книг и ни на одной не мог сосредоточиться больше, чем на пять минут. Даже сказки отбросил. Решил не щадить себя. Взял то, что показалось самым трудным — монографию Ферре по анализу метагенов, — и накинул на первые уравнения, словно желал пробить головой стенку.

Математика определенно обладала спасительными свойствами, особенно для меня, потому через час я вдруг понял, о чем идет речь, и меня восхитил Ферре. Как он мог это сделать? Ведь даже сейчас, идя по проторенному им пути, я порой не мог постичь, как это происходит, и, только следуя за ним шаг за шагом, еще кое-как мог уразуметь что-то, а он должен был преодолеть все это одним рывком.

Я отдал бы все звезды, чтобы хоть в течение месяца иметь в голове нечто похожее на то, что имел он!

Пропел сигнал к ужину, и одновременно что-то кольнуло в сердце, напоминая, что я тут уже не один. Мелькнула мысль: не поужинать ли наверху? Но мне стало стыдно. Я бросил под кровать свое ужасное трико, в котором выглядел как резиновая надувная обезьяна, надел свой бесценный старенький просторный свитер и спустился в столовую. Они уже сидели за столом. Кроме нескольких банальных любезностей, мы не произнесли ни слова. Между собой они тоже не разговаривали. Им не нужны были слова. Они переговаривались взглядами, она обращалась к нему движением головы, ресниц, мимолетной улыбкой. И постепенно во мне

начала нарастать холодная тяжесть, я чувствовал, как тоскуют мои руки и им хочется что-то схватить, стиснуть, раздавить. «Почему я такой дикий? — думал я в отчаянии. — Почему, вместо того чтобы размышлять о книге Ферре, о проблемах, затронутых Старком, вместо того чтобы заниматься своими делами, я вынужден надевать шоры, чтобы не пялить на девушку голодные волчьи глаза?»

Но это были еще цветочки. По-настоящему я испугался лишь тогда, когда закрыл за собой дверь своей комнаты. В Адапте после медицинского обследования сказали, что я совершенно нормален. Доктор Жужфон сказал мне то же самое. Но разве мог нормальный человек чувствовать то, что в этот момент чувствовал я? Откуда это во мне взялось? Я не был активным участником, был наблюдателем. Происходило что-то неотвратимое, как движение планеты, почти незаметное, что-то медленно, смутно, бесформенно пробуждалось во мне. Я подошел к окну, посмотрел на темный сад и понял, что это было во мне еще с обеда, с первой минуты, только требовалось время, чтобы это осознать. Поэтому-то я поехал в город, а вернувшись, сумел забыть о голосах в темноте.

Я был готов на все. Ради этой девушки. Я не понимал, как или почему это случилось. Не знал, любовь это или безумие. Мне было безразлично. Я не знал ничего, кроме того, что все остальное потеряло для меня значение. И, стоя у открытого окна, я боролся с этим, как еще никогда ни с чем не боролся, прижимал лоб к холодной раме и страшно боялся себя.

«Я должен что-то предпринять, — шептал я одними губами. — Должен что-то предпринять. Со мной творится что-то неладное. Это пройдет. Мне нет до нее дела. Я не знаю ее. Она даже не очень красива. Ведь я же не сделаю ничего. Ничего, — умолял я себя, — не совершу никакой... о небеса, черные и голубые!»

Я зажег свет. Олаф, Олаф спасет меня. Я расскажу ему все! Он заберет меня. Поедем куда-нибудь. Я сделаю все, что он велит, все. Он один поймет меня. Завтра он уже придет. Как хорошо!

Я метался по комнате. Мускулы мучительно напряглись, неожиданно я опустился перед кроватью, закусил зубами покрывало, и у меня вырвался крик, не похожий на рыдание, сухой, отвратительный. Я не хотел, не хотел никому зла, но

знал, что мне нечего себя обманывать, что Олаф мне не поможет, никто не поможет...

Я встал. За десять лет я научился мгновенно принимать решения. Ведь приходилось распоряжаться жизнью, своей и чужой, и я всегда делал это. Тогда всего меня пронизывал озноб, мой мозг словно превращался в прибор, задача которого подсчитать все «за» и «против», разделить и решить безоговорочно. Даже Гимма, который меня не любил, признавал мою объективность. Теперь — хотел я этого или нет — я не мог уже поступать иначе, чем тогда, в крайних обстоятельствах, потому что и сейчас была крайность. Я поймал глазами — в зеркале — собственное отражение, светлые, почти белые глазные яблоки, суженные зрачки; я смотрел с ненавистью, отвернулся; я не мог даже подумать о том, чтобы уснуть. Я перекинул ноги через подоконник. До земли было метра четыре. Я спрыгнул почти бесшумно. Побежал в сторону бассейна. Миновал его. Выскочил на дорожку. Тускло светящаяся белая полоса шла к взгорьям, извивалась среди них фосфоресцирующей змеей, потом змейкой и, наконец, тончайшей черточкой света исчезала во тьме. Я мчался все быстрее, чтобы измучить свое так мерно стучащее, такое сильное сердце, бежал, наверное, с час, пока не увидел прямо перед собой огни каких-то домов. Тогда я круто повернул. Я уже устал, но именно поэтому не сбавлял темпа, беззвучно твердя про себя: «Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!» — и все бежал, бежал, пока не наткнулся на двойной ряд живых изгородей — я снова был перед садом виллы.

Задыхаясь, остановился у бассейна, сел на бетонный обреш, опустил голову и увидел отражение звезд. Я не хотел звезд. Мне не нужны были звезды. Я был психопатом, сумасшедшим, когда дрался за участие в экспедиции, когда разрешал в гравираторах превращать себя в мешок, источавший кровь; зачем мне это понадобилось, для чего, почему я не понимал тогда, что надо быть обыкновенным, обыкновеннейшим, что иначе нельзя, не стоит жить?

Послышался шорох. Они прошли мимо. Он обнимал ее за плечи, они шли нога в ногу. Он наклонился. Тени их голов слились.

Я поднялся. Он целовал ее. Она прижалась к нему. Я видел бледные полосы ее рук на его шее. Стыд, еще не знакомый мне, страшный, физически осязаемый, как лезвие,

пронзил меня. Я, звездный пилот, друг Ардера, вернувшись, стоял в саду и думал лишь о том, чтобы отнять у кого-то женщину, не зная ни его, ни ее. «Скотина, последняя скотина со звезд... хуже, хуже...»

Я не мог смотреть. И смотрел. Наконец они скрылись, а я, обежав бассейн, бросился вперед, вдруг увидел большой черный предмет и тут же ударился обо что-то руками. Это был автомобиль. Я ошупью отыскал дверцу. Открыл ее — загорелась лампочка.

Теперь я все делал целеустремленно, но поспешно, словно мне было куда ехать, словно я должен был это сделать.

Мотор заработал. Я повернул руль и в свете фар выехал на дорогу. Руки немного дрожали, и я сильнее сжал их на баранке. Вдруг я вспомнил про черный ящичек, резко затормозил, так что меня снесло на обочину шоссе, выскочил, поднял капот и принялся лихорадочно искать его. Двигатель выглядел совершенно необычно, и я никак не мог найти черный ящик. Может, спереди? Кабели. Чугунный блок. Кассета. Что-то незнакомое, четырехугольное. Ага, он! Инструменты. Я работал быстро, но внимательно, так что почти не поцарапался. Наконец обеими руками взял этот тяжелый, словно литой, черный куб и швырнул его в придорожные кусты. Я был свободен. Захлопнул дверцу, тронулся. Скорость росла. Мотор гудел, скаты издавали глухое пронзительное шипение. Поворот. Я вошел в него, не снижая скорости, и срезал слева. Второй, покруче. Визг колес был ужасен; я чувствовал, как огромная сила выбрасывает меня вместе с машиной. Но этого все еще было мало. Следующий поворот. В Аппрену были специальные автомашины для пилотов. Мы выделяли на них головокружительные штучки; речь шла о выработке рефлекса. Прекрасная тренировка. Для чувства равновесия тоже. Например, на вираже положить автомашину на два колеса и ехать так некоторое время. Когда-то мне это удавалось. И я сделал это сейчас, на пустом шоссе, мчась в рассекаемую фарами тьму. Не то чтобы я хотел разбиться. Просто мне это было безразлично. Если я могу быть беспощадным к другим, то должен быть таким же и к себе. Я ввел машину в вираж и поднял ее, так что она некоторое время шла боком на дьявольски верещавших скалах, и снова бросил ее в другую сторону, только рванул обо что-то темное. Дерево? Уже ничего не было, лишь нарастаю-



щий рев мотора, и бледные отражения приборов в стекле, и пронзительно свистящий ветер. Неожиданно я увидел вдали глидер, который пытался обойти меня по самому краю шоссе; небольшое движение руля — меня пронесло мимо глидера. Моя тяжелая машина закружилась, как волчок; глухой грохот, треск раздираемого железа — тьма. Фары были разбиты, мотор заглох.

Я глубоко втянул воздух. Ничего со мной не случилось, я даже не ушибся. Попробовал зажечь фары — ничего не вышло. Включил подфарники: левый горел. При его слабом свете я запустил мотор. Машина, тяжело хрипя и покачиваясь, выползла на шоссе. Однако же это была хорошая машина, если слушалась меня после всего, что я с ней проделывал. Я двинулся в обратный путь, уже медленней. Но нога сама нажимала педаль, меня снова понесло, когда я увидел поворот. И снова я выжимал из мотора все силы, пока наконец, свистя резиной, брошенный силой инерции вперед, автомобиль не остановился вплотную перед живой изгородью. Я зарулил в кусты. Растолкав их, машина уперлась в какой-то ствол. Я не хотел, чтобы они видели, что я с ней сделал, наломал веток, прикрыл капот с разбитыми стеклами фар — только передок был помят, а сбоку виднелось небольшое углубление от первого столкновения со столбом или чем-то еще в темноте.

Потом я постоял и прислушался. Все молчало. Дом был погружен в темноту. Всеобъемлющая тишина ночи подымалась к звездам. Я не хотел возвращаться в дом. Отошел от разбитой машины, и, когда трава, высокая, влажная от росы трава коснулась моих колен, я упал в нее и так лежал, пока наконец не сомкнулись веки и я не уснул.

Разбудил меня чей-то смех. Я знал чей. Знал, кто это, прежде чем открыл глаза, совершенно отрезвевший. От росы я промок до нитки. Солнце стояло еще низко. Небо в клочьях белых облаков. А напротив меня, на маленьком чемоданчике, сидел Олаф, сидел и смеялся. Мы вскочили оба одновременно. У него была такая же рука, как у меня, — большая и твердая.

— Когда ты приехал?

— Только что.

— Ульдером?

— Да. Я тоже так спал... первые две ночи...

— Да?..

Он перестал улыбаться. Я тоже. словно что-то стало между нами. Мы молча смотрели друг на друга.

Он был моего роста, возможно даже чуть выше, сухоощавее. Только волосы при ярком свете выдавали скандинавское происхождение, а щетина на лице была совсем светлая; точку кривой, выразительный нос и короткая верхняя губа, из-под которой виднелись зубы; бледно-голубые глаза его часто смеялись, темнея от веселья; тонкие губы всегда немного кривились, будто он все воспринимал скептически. Может, именно это выражение его лица заставило меня сначала держаться от Олафа поодаль. Олаф был старше меня на два года; его лучшим другом был Ардер. Только после гибели Ардера мы и сблизились-то по-настоящему. Уже до конца.

— Олаф... — сказал я. — Ты проголодался? Пойдем перекусим что-нибудь.

— Подожди, — сказал он. — Что это?

Он взглянул на автомобиль.

— А-а... ничего. Машина. Купил, знаешь, чтобы вспомнить...

— Была авария?

— Да. Ехал ночью, ну и вот...

— У тебя была авария? — повторил он.

— Ну да! Но это не имеет значения. Ведь ничего не случилось. Пошли... не будешь же ты с этим чемоданом...

Он поднял чемодан. Ничего не сказал. Даже не взглянул на меня. Желваки на скулах у него напряглись.

«Почуял что-то, — подумал я. — Не знает, что привело к аварии, но догадывается».

Наверху я сказал ему, чтобы он выбрал себе любую из четырех свободных комнат. Он взял ту, с видом на горы.

— Почему ты не захотел здесь? А, понимаю, — он улыбнулся, — это золото, да?

— Да.

Он коснулся рукой стены.

— Надеюсь, обычная? Никаких картин, телевидения?

— Будь спокоен, — улыбнулся я, в свою очередь. — Это честная стена.

Я позвонил насчет завтрака. Хотел позавтракать вдвоем с Олафом. Белый робот принес кофе и поднос, полный всякой снеди: это был очень обильный завтрак. Мы ели молча. Я с удовольствием смотрел, как он жует, — даже прядь волос над ухом у него двигалась.

Потом Олаф сказал:

— Ты еще куришь?

— Курю. Привез с собой двести сигарет. Не знаю, что будет потом. Пока курю. Хочешь?

— Давай.

Мы закурили.

— Ну как? Сыграем в открытую? — спросил он после долгого молчания.

— Да. Я расскажу тебе все. Ты тоже?

— Конечно. Только не знаю, Эл, стоит ли?

— Скажи одно: ты знаешь, что хуже всего?

— Женщины.

— Да.

Мы снова замолчали.

— Значит, из-за этого? — спросил он.

— Да. Увидишь за обедом. Внизу. Вилла нанята пополам с ними.

— С ними?

— Они молодожены.

Желваки снова напряглись под его веснушчатой кожей.

— Это хуже, — сказал он.

— Да. Я тут третий день. Не знаю, как это, но... уже когда мы с тобой разговаривали. Безо всякой причины, безо всяких... ничего, ничего. Совершенно ничего.

— Интересно, — сказал он.

— Что интересно?

— Со мной нечто похожее.

— Так зачем ты прилетел?

— Эл, ты сделал благое дело. Понимаешь?

— Тебе?

— Нет. Кому-то другому. Это бы добром не кончилось.

— Почему?

— Либо ты знаешь, либо не поймешь.

— Знаю. Олаф, что же это такое? Неужели мы действительно дикари?

— Не знаю. Мы десять лет были без женщин. Помни об этом.

— Это не объясняет всего. Во мне есть, знаешь, какая-то беспощадность, я не считаюсь ни с кем, понимаешь?

— Ты еще считаешься, сын мой, — сказал он. — Еще считаешься!

— Ну да, но ты знаешь, в чем дело?

— Знаю.

Опять молчание.

— Хочешь еще поболтать или бокс? — спросил он.

Я рассмеялся.

— Где ты достал перчатки?

— Ни за что не догадаешься.

— Заказал?

— Где там. Украл.

— Ну да!

— Клянусь небом. Из музея... Пришлось специально летать в Стокгольм, понимаешь?

— Тогда пошли.

Он распаковал свои скромные пожитки и переоделся. Мы накинули купальные халаты и спустились вниз. Было еще рано. Завтрак обычно подавали только через полчаса.

— Пойдем лучше на задворки, — сказал я. — Там нас никто не увидит.

Мы остановились на лужайке, окруженной высоким кустарником. Сначала утоптали траву, и без того довольно низкую.

— Будет скользко, — сказал Олаф, пробуя подошвами самодельный ринг.

— Ничего. Больше нагрузка.

Мы надели перчатки. С этим пришлось повозиться, потому что некому было их завязать, а вызывать работа не хотелось.

Олаф встал против меня. Тело у него было совершенно белое.

— Ты еще не загорел, — сказал я.

— Потом расскажу, что со мной происходило. Мне было не до пляжа. Гонг.

— Гонг.

Мы начали легко. Ложный выпад. Он ушел. Еще раз ушел. Мне становилось жарко. Я стремился не к ударам, а к ближнему бою. Избивать Олафа мне в общем-то не хотелось. Я был тяжелее килограммов на пятнадцать, и его чуть более длинные руки не уменьшали моего преимущества, тем более что я вообще был более сильным боксером. Поэтому я дал ему несколько раз подойти, хоть и не должен был. Вдруг он опустил перчатки. Лицо его онемело. Он разозлился.

— Так не пойдет, — сказал он.

— В чем дело?

— Без фокусов, Эл. Или настоящий бокс, или никакого.

— Ладно, — сказал я, оскалив зубы. — Бокс!

Я медленно пошел на сближение. Перчатки ударились друг о друга, издавая резкие хлопки. Он почувствовал, что я действую всерьез. Он прикрылся. Темп нарастал. Я сделал ложный выпад левой, потом правой, сериями, последний удар почти всегда достигал цели. Он не успевал. Потом он неожиданно пошел в атаку, у него получился прекрасный прямой, я отлетел шага на два. Сразу вернулся. Мы кружили; его удар, я нырнул под перчатку, отошел и с полудистанции влепил прямой правый. Вложил в этот удар все. Олаф обмяк, на мгновение раскрылся, но сразу же начал входить в форму. Следующая минута ушла на пустые взмахи. Перчатки громко хлопали по плечам, но неопасно. Один раз я едва успел уклониться, он только скользнул перчаткой мне по уху, а это была бомба, от которой я свалился бы. Мы снова кружили. Он получил удар в грудь, раскрылся, я мог ударить, но не сделал ни движения, стоял как парализованный — в окне первого этажа я увидел ее; ее лицо белело так же, как то пушистое, что покрывало ее плечи. Это длилось мгновение. В следующий момент меня оглушил страшный удар; я упал на колени и тут же услышал крик Олафа:

— Прости!

— Не за что... Хороший удар, — пробормотал я, поднимаясь.

Окно было уже закрыто. Мы дрались еще не больше полминуты. Вдруг Олаф отступил.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Неправда.

— Ладно. Мне расхотелось. Не злишься?

— Что ты? Это все равно было нелепо, так вот, с места в карьер. Пошли.

Мы отправились к бассейну. Олаф прыгал лучше меня. Он ухитрился проделывать чудеса. Я попробовал заднее сальто из винта, как он, но только здорово ударился бедрами о воду. Сидя на краю бассейна, я поливал водой горящую, как огонь, кожу. Олаф смеялся.

— Ты вышел из формы.

— Брось. Я никогда не умел делать винта. А ты — здорово!

— Я сегодня попробовал впервые.

— В самом деле?

— Да, это здорово!

Солнце поднялось уже высоко. Мы улеглись на песок, закрыв глаза.

— Где... они? — спросил Олаф после долгого молчания.

— Не знаю. Наверно, у себя. Их окна выходят на другую сторону сада. Я этого не знал.

Я почувствовал, что он пошевелился. Песок был очень горячий.

— Да, это потому, — сказал я.

— Они нас видели?

— Она — да.

— Испугалась... — пробормотал он. — Как ты думаешь?

Я не ответил. Снова помолчали.

— Эл?

— Что?

— Они уже почти не летают, ты знаешь?

— Да.

— А знаешь почему?

— Говорят, это бессмысленно...

Я начал пересказывать ему все, что вычитал у Старка. Олаф лежал неподвижно, молча, но я знал, что слушает он внимательно.

Когда я кончил, он заговорил не сразу.

— Ты читал Шелли?

— Нет. Какого Шелли?

— Нет? Я думал, ты все читал... Это был астроном двадцатого века. Мне случайно попала одна его работа именно об этом. Очень похоже на твоего Старка.

— Что ты говоришь? Это невозможно! Шелли не мог знать... лучше прочти Старка сам.

— И не подумаю. Знаешь, что это? Ширма.

— То есть?

— Да, кажется, я знаю, что произошло.

— Ну?

— Бетризация.

Я вскочил.

— Ты думаешь?!

Он открыл глаза.

— Ясно. Не летают — и никогда уж не полетят. Будет все хуже. Ням-ням. Одно огромное ням-ням. Они не могут

смотреть на кровь. Не могут подумать о том, что произойдет, если...

— Постой, — сказал я, — это невозможно. Ведь есть же врачи. Должны быть хирурги...

— Так ты не знаешь?

— Чего?

— Врачи только планируют операции. Выполняют их роботы.

— Не может быть!

— Я тебе говорю. Сам видел. В Стокгольме.

— А если вдруг понадобится вмешательство врача?

— Не знаю толком. Кажется, есть какое-то средство, которое частично уничтожает последствия бетризации, правда, очень ненадолго, а уж стерегут они его — представить себе не можешь. Тот, кто мне говорил, чего-то недосказывал — боялся.

— Чего?

— Не знаю. Эл, мне кажется, они сделали ужасную вещь. Они убили в человеке человека.

— Ну, этого ты утверждать не можешь, — тихо сказал я. — В конце концов...

— Подожди. Ведь это очень просто. Тот, кто убивает, готов к тому, что и его могут убить, да?

Я молчал.

— И поэтому в известном смысле необходимо, чтобы он мог рисковать всем. Мы можем. Они нет. Поэтому нас так боятся.

— Женщины?

— Не только женщины. Все. Эл!

Он вдруг сел.

— Что? — спросил я.

— Тебе дали гипногг?

— Гипно... Аппарат для обучения во время сна? Да.

— Ты пользовался им?! — почти крикнул он.

— Нет... а что?

— Твое счастье. Выкинь его в бассейн.

— Почему? А ты им пользовался?

— Нет. Меня что-то подтолкнуло, и я выслушал его не во сне. Хотя инструкция это запрещает. Ну, ты себе представить не можешь, что это такое!

Я тоже сел.

— Ну и что?

Он смотрел хмуро.

— Сладости. Сплошная кондитерская! Уверяю тебя. Чтоб ты был мягким, чтоб ты был вежливым. Чтобы мирился с любой неприятностью, если кто-то тебя не понимает или не хочет быть к тебе добрым — женщина, понимаешь? — то виноват ты, а не она. Что высшим благом является общественное равновесие, стабилизация. И так далее и тому подобное — одно и то же. А вывод один: жить тихо, писать мемуары, не для издания, а так, для себя, заниматься спортом и учиться. Слушаться старших.

— Это же суррогат бетризации! — проворчал я.

— Разумеется. Там еще много всего было: например, нельзя применять ни к кому ни силы, ни грубого тона, а уж ударить человека — это позор, даже преступление, потому что это вызовет страшный шок. Драться нельзя независимо от обстоятельств, потому что только звери дерутся...

— Постой-ка, — сказал я, — а если из заповедника убежит дикий зверь... Да, я забыл... диких зверей уже нет.

— Диких зверей уже нет, — повторил Олаф, — но есть роботы.

— Ну и что? Ты хочешь сказать, что им можно дать приказ убить?

— Ну да.

— Откуда ты знаешь?

— Твердо не знаю. Но должны же они быть готовы к крайностям; ведь даже бетризованный пес может взбеситься. Скажешь, нет?

— Но... но ведь это... погоди! Значит, они все-таки могут убивать? Отдавая приказы! Разве это не все равно: я сам убью или отдам приказ?

— Для них нет. Убийство, мол, в крайнем случае, понимаешь, перед лицом опасности, угрозы, как с бешенством, к примеру. Обычно этого не случается. Но если бы мы...

— Мы?

— Да, например, мы двое, если бы мы что-то, ну, понимаешь... то, конечно, нами займутся роботы, не люди. Они не могут. Они добрые.

Он с минуту молчал. Его широкая, покрасневшая от солнца и песка грудь стала вздыматься быстрее.

— Эл! Если б я знал! Если б я это знал! Если... бы... я... это... знал...

— Перестань.



— С тобой что-то случилось?

— Да.

— Знаешь, о чем я?

— Да. Были две — одна пригласила меня сразу, как только я вышел с вокзала. Вернее, нет. Я заблудился на этом проклятом вокзале. Она повела меня к себе.

— Она знала, кто ты?

— Я сказал ей. Сначала она боялась, потом... вроде как пожалела, что ли, не знаю, а потом перепугалась по-настоящему. Я пошел в отель. На другой день... знаешь кого я встретил? Ремера!

— Не может быть! Сколько же ему? Сто семьдесят?!

— Нет, это его сын. Впрочем, и ему почти полтора года. Мумия. Что-то ужасное! Мы поговорили. И знаешь? Он нам завидует...

— Есть чему...

— Он этого не понимает. Ну, вот... А потом одна актриса. Их называют реалистками. Она была от меня в восторге. Еще бы, настоящий питекантроп! Я поехал с ней, а наутро сбежал. Это был дворец. Великолепие! Расцветающая мебель, ходячие стены, ложе, угадывающее мысли и желания... да.

— Хм. И она не боялась?

— Нет. Боялась, но выпила что-то, не знаю, что это было, может, какой-то наркотик. Перто или что-то в этом роде.

— Перто?!

— Да. Ты знаешь, что это? Ты пробовал?

— Нет, — сказал он медленно. — Не пробовал. Но именно так называется то, что ликвидирует...

— Бетризацию? Не может быть?!

— Так мне сказал один человек.

— Кто?

— Не могу его назвать, я дал слово.

— Ладно. Так поэтому... поэтому она... — Я вскочил.

— Садись.

Я сел.

— А ты? — сказал я. — А то я все о себе да о себе...

— Я ничего. То есть ничего у меня не получилось. Ничего... — повторил он еще раз.

Я молчал.

— Как называется это место? — спросил он.

— Клавестра. Но сам городок в нескольких милях отсю-

да. Знаешь что, давай съездим туда. Я хотел отдать в ремонт машину. Вернемся напрямик — пробежимся немного. А?

— Эл, — сказал он медленно, — старый конь...

— Что?

Его глаза улыбались.

— Хочешь изгнать дьявола легкой атлетикой? Осел ты!

— Одно из двух: или конь, или осел, — сказал я. — И что в этом плохого?

— То, что ничего из этого не выйдет. Тебе не случалось задеть кого-нибудь из них?

— Обидеть? Нет. Зачем?

— Не обидеть, а задеть.

Я только теперь понял.

— Не было повода. А что?

— Не советую.

— Почему?

— Это все равно, что поднять руку на кормилицу. Понимаешь?

Я старался скрыть удивление. Олаф был на корабле одним из самых сдержанных.

— Да, я оказался последним идиотом, — сказал Олаф. — Это было в первый день. Вернее, в первую ночь. Я не мог выйти из почты — там нет дверей, только, этакие вращающиеся... Видел?

— Вращающаяся дверь?

— Да нет. Это, кажется, связано с их «бытовой гравитацией». В общем я крутился, как в колесе, а один тип с девчонкой показывал на меня пальцем и смеялся...

Я почувствовал, что кожа на лице становится тесной.

— Это ничего, что кормилица, — сказал я. — Надеюсь, больше он уже не будет смеяться.

— Нет. У него переломана ключица.

— И тебе ничего не сделали?

— Нет. Я ведь только что вышел из машины, а он меня спровоцировал — я его не сразу ударил, Эл. Я только спросил, что в этом смешного, если я так долго тут не был, а он снова засмеялся и сказал, показывая пальцем вверх: «А, из-за этого обезьяньего цирка».

— «Обезьяньего цирка»?!

— Да. И тогда...

— Подожди. При чем тут «обезьяний цирк»?

— Не знаю. Может, он слышал, что астронавтов крутят в

центрифугах. Не знаю, я с ним больше не разговаривал. Вот так. Меня отпустили, только теперь Адапт на Луне обязан лучше обрабатывать прибывших.

— А должен еще кто-нибудь вернуться?

— Да. Группа Симонади, через восемнадцать лет.

— Тогда у нас есть время.

— Уйма.

— Но, признайся, они кроткие, — сказал я. — Ты сломал парню ключицу, и тебя отпустили безо всякого...

— У меня такое впечатление, что это из-за цирка, — сказал он. — Им самим перед нами... знаешь как. Ведь они же не дураки. Да и вообще вышел бы скандал. Эл, дружище, ты же ничего не знаешь.

— Ну?

— Знаешь, почему о нашем прибытии ничего не сообщили?

— Кажется, было что-то в реале. Я не видел, но кто-то мне говорил.

— Да, было. Ты помер бы со смеху, если б это увидел. «Вчера утром на Землю вернулся экипаж исследователей внепланетного пространства. Его члены чувствуют себя хорошо. Начата обработка научных результатов экспедиции». Конеч. Точка. Все.

— Не может быть!

— Даю слово. А знаешь, почему они так сделали? Потому что боятся нас. Поэтому и раскидали нас по всей Земле.

— Нет. Этого я не понимаю. Они же не идиоты. Ты сам только что сказал. Не думают же они, что мы действительно хищники, что начнем на людей кидаться?

— Если б они так думали, то не впустили бы нас. Нет, Эл. Речь не о нас. Тут дело серьезней. Неужели ты не понимаешь?

— Видимо, поглупел. Говори.

— Большинство не отдаст себе в этом отчета...

— В чем?

— В том, что гибнет дух поиска. О том, что нет экспедиций, они знают. Но не думают об этом. Считают, что экспедиций нет, потому что они не нужны, и все. Но есть люди, которые прекрасно видят и знают, что происходит. И понимают, какие это будет иметь последствия. И даже уже имеет.

— Ну?

— «Ням-ням. Ням-ням во веки веков». Никто уже не полетит к звездам. Никто уже не решится на опасный эксперимент. Никто никогда не испытает на себе нового лекарства. Что, они не знают об этом? Знают! И если б сообщили, кто мы такие, что мы сделали, зачем летали, что это было, то никогда, понимаешь, никогда не удалось бы скрыть этой трагедии!!!

— «Ням-ням»? — спросил я, применяя его выражение. Может быть, постороннему слушателю оно показалось бы смешным, но мне было не до смеха.

— Вот именно. А что, по-твоему, это не трагедия?

— Не знаю. Эл, слушай. В конце концов, понимаешь, для нас это есть и навсегда останется чем-то великим. Если уж мы дали отнять у себя эти годы и все остальное, значит, мы считаем, что это самое важное. Но может, это не так? Нужно быть объективным. Ну, скажи сам: чего мы достигли?

— Как чего?

— Ну, разгружай мешки. Высыпай все, что привез с Фомальгаута.

— Ты спятил?

— Вовсе нет. Какая польза от нашей экспедиции?

— Мы были пилотами, Эл. Спроси Гимму, Турбера...

— Ол, не морочь мне голову. Мы были там вместе, и ты прекрасно знаешь, что они делали; что делал Вентури, пока не погиб, что делал Турбер, — ну, чего ты так смотришь? А что мы привезли? Четыре веза разных анализов: спектральных, таких, сяких, пробы минералов, потом еще ту живую метаплазму, или как там называется эта пакость с беты Арктура. Нормерс проверил свою теорию гравитационно-магнитных завихрений, и еще оказалось, что на планетах типа С Меоли могут существовать силиконовые тетраплоиды, а не триплоиды, а на том спутнике, где чуть не погиб Ардер, нет ничего, кроме паршивой лавы и пузырей размером с небоскреб. И для того чтобы убедиться, что эта лава застывает такими громадными, идиотскими пузырями, мы бросили псу под хвост десять лет и вернулись сюда, чтоб стать посмешищами, чудовищами из паноптикума; так на кой черт мы туда лезли? Можешь ты мне сказать? Зачем это нам было нужно?..

— Потише, — оборвал он.

Я разозлился. И он разозлился. Глаза у него сузились. Я подумал, что мы, чего доброго, подеремся, и у меня начали подергиваться губы. И тогда он вдруг тоже улыбнулся.

— Ты старый конь, — сказал он. — Ты умсешь довести человека до бешенства.

— Ближе к делу, Олаф, ближе к делу!

— К делу? Ты сам чепуху городишь. Ну, а если б мы привезли слона, у которого восемь ног и который изъясняется чистойшей алгеброй, так что, ты был бы доволен? Что ты, собственно, ожидал на этом Арктуре? Рай? Триумфальную арку? В чем дело? Я за десять лет не слышал от тебя столько глупостей, сколько ты выпалил сейчас в одну минуту.

Я глубоко вздохнул.

— Олаф, не делай из меня идиота. Ты прекрасно знаешь, что я имел в виду. Люди могут прожить и без этого...

— Еще бы!

— Подожди. Могут жить, и даже, если дело обстоит так, как утверждаешь, что они перестали летать из-за бетризации, то стоило ли, следовало ли нам платить за это такой ценой, — вот тебе проблема, которую предстоит решить, дорогой мой.

— Да? А, допустим, ты женишься. Что ты так смотришь? Не можешь жениться? Можешь. Я тебе говорю, что можешь. И у тебя будут дети. Ну и ты понесешь их на бетризацию с песней на устах, да?

— Не с песней. Но что я смогу сделать? Не могу же я воевать со всем миром...

— Ну, да пошлют тебе счастье небеса черные и голубые, — сказал он. — А теперь, если хочешь, можем посхат в город.

— Ладно, — сказал я, — обед будет через два с половиной часа, успеем.

— А если опоздаем, так ничего уж и не дадут?

— Дадут, но...

Я покраснел под его взглядом. Словно не заметив этого, он начал отряхивать песок с босых ног. Мы пошли наверх и, переодевшись, поехали на автомобиле в Клавестру. Нашли мастерскую. Мне показалось, что я заметил удивление в стеклянных глазах робота, который осматривал мою машину. Мы оставили ее и пошли пешком. Оказалось, что есть две Клавестры — старая и новая; в старой, местном промышленном центре, я был накануне с Марджером. Новая — модная дачная местность — кишмя кишела людьми, почти сплошь молодыми, зачастую подростками. В ярких, блестящих одеждах юноши выглядели так, словно нарядились римскими легионерами, — их костюмы сверкали на солнце, как

коротенькие панцири. Много девушек, в большинстве красивых, нередко в купальниках, более смелых, чем все, что я до сих пор видел. Идя с Олафом, я чувствовал на себе взгляды всей улицы. Группы ярко одетой молодежи, завидев нас, останавливались под пальмами. Мы были выше всех, люди оборачивались нам вслед. Мы испытывали страшную неловкость.

Когда мы уже вышли на шоссе и свернули полями на юг, к дому, Олаф вытер платком лоб.

— Черт бы побрал все это, — сказал он.

— Придержи для более подходящего случая...

Он кисло улыбнулся.

— Эл!

— Что?

— Знаешь, как это выглядело? Как сцена в киностудии.

Римляне, куртизанки и гладиаторы.

— Гладиаторы — это мы?

— Вот именно.

— Побежали? — сказал я.

Мы бежали по полю. До дома было миль пять. Но мы слишком забрали вправо, и пришлось возвращаться. Все равно мы еще успели искупаться до обеда.

## V

Я постучал в комнату Олафа.

— Войди, если свой, — слышался его голос.

Он стоял посреди комнаты совершенно голый и из фляги опрыскивал грудь светло-желтой жидкостью, тут же застывающей в пушистую массу.

— Знаменитое жидкое белье? — сказал я. — Как ты ухитришься это делать?

— Я не захватил другой рубашки, — буркнул он. — А тебе это не нравится?

— Нет. А тебе?

— У меня рубашка порвалась, — и, видя мой удивленный взгляд, он добавил, поморщившись: — Все из-за того парня, что улыбался, понимаешь?

Я промолчал. Он натянул старые брюки — я помнил их еще по «Прометею», — и мы спустились в столовую. На столе стояли только три прибора. В столовой — никого.

— Нас будет четверо, — заметил я белому роботу.

— Простите, нет Марджер выехал. Вы, она и ваш друг будете обедать втроем. Подавать или ждать ее?

— Пожалуй, подождем, — поспешил ответить Олаф.

Хороший парень. В эту минуту вошла она. На ней была та же юбка, что вчера, волосы слегка влажные, словно только что вышла из воды. Я представил ей Олафа. Он держался спокойно и с достоинством. Я никогда не умел быть таким.

Мы немного поговорили. Она сказала, что в связи с работой муж вынужден еженедельно выезжать на три дня и что вода в бассейне, несмотря на солнце, не такая уж теплая. Беседа быстро оборвалась, и как я ни старался придумать что-нибудь, это мне не удавалось; я погрузился в молчание и принялся за еду, созерцая этих двух, сидевших напротив, таких различных людей. Заметил, что Олаф присматривается к ней, но только в те минуты, когда к ней обращался я и она смотрела в мою сторону. Его лицо ничего не выражало, как будто он все время думал о чем-то совершенно постороннем.

В конце обеда пришел белый робот и сообщил, что вода в бассейне, как пожелала дама, к вечеру будет подогрета. Она поблагодарила и ушла к себе. Мы остались вдвоем. Олаф посмотрел на меня, и я снова отчаянно покраснел.

— Как могло случиться, — сказал Олаф, беря протянутую сигарету, — что субъект, который смог влезть в ту вонючую дыру на Керенее, старый конь — нет, не конь, скорее старый стопятидесятилетний носорог, начинает...

— Прошу тебя, перестань, — проворчал я. — Если хочешь знать, я бы лучше еще раз полез туда...

Я не закончил.

— Все. Больше не буду. Честное слово. Но, знаешь, Эл, откровенно говоря, я тебя понимаю. И даю голову на отсечение, что ты даже не знаешь почему.

Я кивнул головой туда, куда она ушла.

— Почему она?..

— Да. Знаешь?

— Нет. Ты тоже не знаешь.

— Знаю. Сказать?

— Пожалуйста. Только без хамства.

— Ты что, действительно спятил? — обиделся он. — Все это очень просто». Но у тебя всегда был один недостаток —

ты видишь не то, что у тебя под носом, а лишь то, что далеко: всякие там Канторы, Корбазилии...

— Ну, ну... давай, давай!

— Я знаю, что это детский лепет, но мы ведь остановились в своем развитии с того момента, когда за нами затащили те шестьсот восемьдесят болтов, ясно?

— И что же дальше?

— А то, что она совершенно такая же, как девчонки в наше время. У нее нет этой красной пакости в ноздрях, и тарелок в ушах, и светящихся косм на голове, и она не лоснится от золота. Просто девчонка, как те, что бывали в Кеберто или Аппрену. Я помню совершенно таких же. Вот и все.

— Черт меня побери, — сказал я тихо. — Пожалуй, так. Да, так, только есть небольшая разница.

— Какая?

— Я тебе уже говорил. В самом начале. С теми я вел себя иначе. И потом, откровенно говоря, я никогда не думал... считал себя спокойной, тихой заводью.

— Действительно! Жаль, я не сфотографировал тебя, когда ты вылезал из той дыры на Керенее. Тогда бы ты увидел тихую заводь! Я думал, что... эх!

— Оставим в покое Керенею, ее пещеры и все прочее, — предложил я. — Знаешь, Олаф, прежде чем приехать сюда, я был у одного доктора, Жуффона. Очень симпатичный старик. Ему перевалило за восемьдесят, но...

— Такова наша судьба, — спокойно заметил Олаф, выпуская изо рта дым и глядя, как он расплывается над султанами бледно-лиловых цветов, похожих на разросшиеся гиацинты. — Лучше всего мы чувствуем себя среди таких древнющих стариканов. С та-акой вот бородищей. Когда я об этом думаю, меня просто трясет. Знаешь что? Давай купим себе несколько кур, будем им головы сворачивать.

— Перестань дурить. Так вот, этот доктор наговорил мне кучу умнейших вещей. Что друзей-ровесников у нас быть не может, близких нет, и остаются нам только женщины, но быть все время с одной сейчас труднее, чем с несколькими. И он прав. Я уже убедился.

— Я знаю, Эл, что ты умней меня. Ты всегда любил всякие заумные штучки. Чтобы было чертовски трудно, и чтобы нельзя было с первого раза, и чтобы сначала семь потов сошло. Иначе тебе не нравилось. Не смотри так на меня. Я тебя не боюсь, ясно?



— Слава небу! Этого еще не хватало.

— Да... Так что я хотел сказать? Ага. Понимаешь, сначала я думал, что ты хочешь быть сам по себе и поэтому так вкалываешь. Что ты хочешь быть чем-то большим, чем пилот... Я так и ждал, когда ты начнешь задира́ть нос. И знаешь, когда ты принимался мучить Нормерса и Вентури своими рассуждениями и очертя голову бросался в этакие ученые дискуссии, я уже думал, что вот-вот начнется. Но потом был тот взрыв, помнишь?

— Ночью.

— Да. И Кереня, и Арктур, и тот спутник. Дружище, этот спутник мне до сих пор иногда снится, а однажды так я из-за него с кровати свалился. Стало быть, спутник. Да, ну и что... видишь? Верно, склероз начинается. Все время забываю... Значит, потом было все это, и я убедился, что... В общем тебе так нравится, и иначе ты не умеешь. Помнишь, как ты просил у Вентури его личный экземпляр той книжки, красненькой? Что это было?

— Топология гиперпространства.

— Вот-вот. И он сказал: «Это, Брегг, для тебя слишком сложно. У тебя нет подготовки».

Он так точно воспроизвел голос Вентури, что я рассмеялся.

— Он был прав, Олаф. Это было очень трудно.

— Сначала. Но ведь потом ты одолел, скажешь, нет?

— Одолел. Но... удовольствия мне это не доставило. Ты же знаешь почему. Бедняга Вентури...

— Молчи. Теперь неизвестно, кто кого должен жалеть.

— Во всяком случае, Вентури уже никого не сможет пожалеть. Ты тогда был на верхней палубе, да?

— Я?! На верхней? Да я же стоял рядом с тобой!

— Да, правда. Не пусти он охлаждения на полную мощност, возможно, он отделался бы ожогами. Как Арне. Должно быть, Вентури просто растерялся.

— Ну и ну! Нет, ты просто изумителен! Ведь Арне все равно погиб!

— Пять лет спустя. Пять лет — это все же пять лет.

— Таких лет?

— Сейчас ты сам так говоришь, а тогда, возле бассейна, когда я начал, взъелся на меня.

— Да, это было невыносимо и великолепно. Ну, признайся. Скажи сам — впрочем, что тебе говорить? Когда ты вылез из той дыры на Ке...

— Оставь наконец в покое эту дыру!

— Не оставлю. Не оставлю, потому что только тогда я понял, каков ты. В то время мы еще не очень хорошо знали друг друга. Когда, это было месяц спустя, Гимма сказал мне, что Ардер летит с тобой, я подумал, что... ну, в общем не знаю! Я подошел к Ардеру, но смолчал. Он, конечно, сразу почувствовал. «Олаф, — сказал он, — не злись. Ты мой лучший друг, но сейчас я лечу с ним, а не с тобой, потому что...» Знаешь, как он сказал?

— Нет, — сказал я. К горлу подкатился комок.

— «Потому что только он один спустился в «дыру». Он один. Никто не верил, что туда можно спуститься. Он сам не верил». Ты верил, что вернешься?

Я молчал.

— Видишь! «Мы вернемся вместе, — сказал Ардер, — или не вернемся совсем»...

— И я вернулся один... — сказал я.

— И ты вернулся один. Я тебя не узнал. Как же я тогда испугался! Я был внизу, у насосов.

— Ты?

— Я. Смотрю, кто-то чужой. Совершенно чужой. Я думал, это галлюцинация... У тебя даже скафандр был совершенно красным.

— Ржавчина. Лопнул шланг.

— Знаю. Ты мне говоришь? Ведь это же я потом латал его. Как ты выглядел... Да, но только позднее...

— С Гиммой?

— Ага. Этого в протоколах нет. И ленту вырезали через неделю, кажется, сам Гимма. Я думал, ты тогда его убьешь.

— Не говори об этом, — сказал я, чувствуя, что еще минута, и я начну дрожать. — Не надо, Олаф. Прошу тебя.

— Только без истерики! Ардер был мне ближе, чем тебе.

— Что значит «ближе», «дальше», какое это имеет значение?! Болван ты, Олаф. Если бы Гимма дал ему резервный вкладыш, он бы сейчас сидел с нами! Гимма сэкономил на всем, боялся потерять лишний транзистор, а людей потерять не боялся! — Я осекся. — Олаф! Это чистейшее безумие. Пора забыть.

— Видно, Эл, не можем. Во всяком случае, пока мы вместе. Потом уже Гимма никогда...

— Оставь в покое Гимму! Олаф, Олаф! Конец... Точка. Не хочу больше слышать ни слова!

— А о себе я тоже не могу говорить?

Я пожал плечами. Белый робот хотел убрать со стола, но только заглянул в комнату и вышел. Его, наверное, испугали наши возбужденные голоса.

— Скажи, Эл, чего ты, собственно, злишься?

— Не притворяйся.

— Нет, серьезно.

— Как это «чего»? Это же случилось из-за меня...

— Что из-за тебя?

— С Ардером.

— Что-о?

— Конечно. Если бы я сразу настоял, перед стартом, Гимма дал бы.

— Ну, знаешь! Откуда тебе было знать, что подведет именно радио? А если бы что-нибудь другое?

— Если бы! Если бы! Не было никакого «если бы». Было радио.

— Постой. Так ты с этим носился шесть лет и даже не пикнул?

— А что мне было «пикать»? Я думал, это и так ясно.

— Ясно? Черное небо! Что ты плетешь, человеке?! Опомнись! Если бы ты это сказал раньше, каждый бы решил, что ты рехнулся. А когда у Эннессона расфокусировался пучок, то это тоже ты? Да?

— Нет. Он... Ведь расфокусировка случается...

— Я знаю. Все знаю. Не меньше тебя. Эл, я не успокоюсь, пока ты не скажешь.

— Что?

— Что это только твое воображение. Это же дикая чушь. Ардер сам бы тебе сказал это, если б мог.

— Благодарю.

— Слушай, Эл, я тебе сейчас так врежу...

— Поосторожней. Я посильнее.

— А я злее, понимаешь? Болван!

— Не кричи так. Мы тут не одни.

— Ладно. Все. Но это была чушь или нет?

— Нет.

Олаф так втянул носом воздух, что у него побелели ноздри.

— Почему нет? — спросил он почти нежно.

— Потому что я уже раньше заметил эту... эту жадную лапу Гиммы. Я обязан был предвидеть это и взять Гимму за

глотку сразу, а не после того, как я вернулся с известием о гибели Ардера. Я был чересчур мягок. Вот в чем дело.

— Ну ладно. Ладно. Ты был слишком мягок... Да? Нет! Я... Эл! Я не могу. Я уезжаю.

Он вскочил из-за стола. Я тоже.

— Ты что, с ума спятил! — крикнул я. — Он уезжает! Ха! Из-за того, что...

— Да, да. А что, прикажешь слушать твои бредни? И не подумаю. Ардер не отвечал. Так?

— Отстань.

— Не отвечал? Говори.

— Не отвечал.

— У него могла быть утечка?

Я молчал.

— У него могла быть тысяча различных аварий? А может быть, он вошел в зону отражения? Может, в этой зоне погас его сигнал, когда он потерял космическую скорость в завихрениях? Может, над пятном у него размагнитились излучатели, и...

— Довольно!

— Не хочешь признать, что я прав? Стыдись!

— Я же ничего не говорю.

— Ага. Значит, могло все-таки случиться что-нибудь такое, о чем я сказал?

— Могло.

— Тогда почему ты уперся, что это было радио? Радио, и больше ничего, только радио?

— Может, ты и прав... — сказал я. Я вдруг почувствовал страшную усталость, и мне все стало безразлично. — Может, ты и прав, — повторил я. — Радио... просто наиболее правдоподобное объяснение, понимаешь?.. Нет. Пожалуйста, помолчи. Мы и так говорили об этом в десять раз больше, чем надо. Лучше помолчи.

Олаф подошел ко мне.

— Конь... конь несчастный... у тебя слишком много этого добра, ясно?

— Какого еще добра?

— Чувства ответственности. Во всем надо знать меру. Что ты собираешься делать?

— Ты о чем?

— Сам знаешь...

— Не знаю.

— Плохо дело, а?

— Хуже некуда.

— Не поехать ли тебе со мной? Или куда-нибудь одному? Если хочешь, я помогу тебе это устроить. Вещи могу взять я, или ты оставишь их, или...

— Думаешь, мне нужно удирать?

— Ничего я не думаю. Но когда я смотрю на тебя и вижу, как ты помаленьку выходишь из себя, чуточку, так, знаешь, как минуту назад, то...

— То что?

— То начинаю думать.

— Не хочу я уезжать. Знаешь, что я тебе скажу? Я не двинусь отсюда никуда. Разве что...

— Что?

— Ничего. Тот, в мастерской, что он сказал? Когда будет готова машина? Завтра или уже сегодня? Я забыл.

— Завтра утром.

— Хорошо. Смотри, смеркается. Проболтали весь день...

— Дай тебе небо поменьше такой болтовни!

— Я пошутил. Пошли купаться?

— Нет. Я бы что-нибудь почитал. Дашь?

— Бери все, что хочешь. Ты умеешь обращаться с этими стекляшками?

— Да. Надеюсь, у тебя нет этого... чтеца с таким слащавым голоском.

— Нет. Только оппон.

— Чудесно. Тогда возьму. Ты будешь в бассейне?

— Да. Только схожу с тобой наверх, надо переодеться.

Я дал ему несколько книг, в основном исторических, и одну о стабилизации популяционной динамики — это его интересовало. И биологию с большой статьей о бетризации. А сам переоделся и принялся искать плавки, которые куда-то запропастились. Так и не нашел. Пришлось взять черные плавки Олафа. Я накинул купальный халат и вышел из дома.

Солнце уже зашло. С запада, затягивая более светлую часть неба, надвигалась лавина туч. Я сбросил халат на песок, остывший после дневного зноя, и сел, касаясь концами пальцев воды. Разговор взволновал меня больше, чем я думал. Смерть Ардера торчала во мне, как заноза. Может, Олаф прав. Может, это только закон памяти, никогда не примиряющейся...

Я встал и без разгона нырнул головой вниз. Вода была теплая, а я приготовился к холодной и немного растерялся от неожиданности. Выплыл. Вода была действительно слишком теплая, словно я плавал в супе. Когда я вылезал с противоположной стороны бассейна, оставляя на стартовом столбике влажные отпечатки рук, что-то кольнуло меня в сердце. История Ардера перенесла меня в совершенно иной мир, а сейчас, может, потому, что вода была теплая, что она должна была быть теплой, я вспомнил девушку, и это было совсем так, будто я вспомнил что-то ужасное, несчастье, с которым я должен справиться, а не могу.

Может, и это я только втемяшил себе в голову. Я вертел в голове эту мысль и так и эдак, неуверенно, сжавшись в надвигающихся сумерках. Я уже едва различал собственное тело, загар скрывал меня в темноте, тучи затягивали все небо, и неожиданно, слишком быстро наступила ночь. Кто-то шел со стороны дома. Я пригляделся и различил в темноте ее белую купальную шапочку. Меня охватил страх. Я медленно поднялся, хотел бежать, но она заметила меня на фоне неба и тихо спросила:

— Брегг?

— Я. Хотите искупаться? Я вам... не помешаю. Я уже ухожу...

— Почему? Вы мне не мешаете!.. Вода теплая?

— Да. На мой взгляд, даже слишком, — сказал я.

Она подошла к краю бассейна и, легко оттолкнувшись, прыгнула. Я видел только ее силуэт. Костюм был темный. Раздался всплеск. Она вынырнула у самых моих ног.

— Ужас! — воскликнула она, отплеываясь. — Что он наделал... Надо напустить холодной. Вы не знаете, как это делается?

— Нет. Но сейчас узнаю.

Я прыгнул через ее голову. Нырнул глубоко, так что вытянутыми руками достал до дна и поплыл над ним, то и дело касаясь бетона. Под водой, как это обычно бывает, было немного светлей, чем наверху, и мне удалось рассмотреть выход труб. Они находились в стене напротив дома. Я выплыл, уже немного задыхаясь, потому что долго пробыл под водой.

— Брегг! — послышался ее голос.

— Я тут. Что случилось?

— Я испугалась... — сказала она тише.

— Чего?

— Вас так долго не было...

— Я нашел. Сейчас пустим воду! — ответил я и побежал к дому. Можно было прекрасно обойтись без этого геройского ныряния: краны были на виду, в колонне напротив веранды. Я пустил холодную воду и вернулся к бассейну.

— Готово. Но придется немного подождать...

— Хорошо.

Она стояла под трамплином, а я — у короткой стенки бассейна, словно боялся приблизиться. Потом медленно, как бы нехотя подошел к ней. Глаза уже привыкли к темноте. Я мог даже различить черты ее лица. Она смотрела в воду. Ей очень шла эта белая шапочка. И казалось, она немного выше, чем в платье.

Я торчал возле нее долго, пока наконец не почувствовал себя неловко. Может быть, поэтому я вдруг сел. «Дубина, чурка!» — пытался я придумать для себя название пообиднее, по ничему не выдумал. Тучи сгущались, темнота росла. Становилось довольно прохладно.

— Вам не холодно?

— Нет. Брегг?

— Да?

— Что-то вода не прибывает...

— Я открыл спуск... Теперь, пожалуй, уже хватит. Пойду закрою.

Когда я возвращался, мне пришло в голову, что можно было бы позвать Олафа, и я чуть было не рассмеялся вслух: так это было глупо. Я боялся ее...

Я нырнул и тут же выплыл.

— Пожалуй, можно. Если я переборщил с холодной, так вы скажите; добавим теплой...

Теперь вода явно спадала, потому что отвод все еще был открыт. Девушка — я видел ее стройную тень на фоне неба — как будто колебалась. «Может быть, ей расхотелось, может, она вернется домой», — мелькнула у меня мысль, и тут же я почувствовал как бы облегчение.

В этот момент она прыгнула в воду и вскрикнула: в бассейне стало уже совсем мелко, и я не успел ее предупредить. Она, наверно, сильно ударилась ступнями о дно, покачнулась, но не упала. Я кинулся к ней.

— Вам больно?

— Нет.

— Это из-за меня.

Мы стояли по пояс в воде. Она поплыла. Я вылез на берег, побежал к дому, закрыл кран спуска и вернулся. Ее нигде не было видно. Я тихо вошел в воду, переплыл бассейн, перевернулся на спину и, легко шевеля руками, опустился на дно. Открыв глаза, я увидел слабо поблескивающую, изборожденную небольшими волнами поверхность воды. Меня медленно вынесло наверх, я поплыл и увидел ее. Она стояла у самой стенки бассейна. Я подплыл к ней. Трамплин остался на другой стороне, тут было мелко, так что я сразу встал на ноги и пошел к берегу, шумно рассекая воду. Я различил ее лицо. Она смотрела на меня: то ли от стремительности последних шагов — потому что в воде трудно идти, но нелегко и остановиться сразу, — то ли уж и сам не знаю почему, во всяком случае, я очутился совсем рядом с ней. Может быть, ничего бы и не произошло, если бы она отодвинулась, но она осталась на месте, держа руку на верхней перекладинке лестницы, а я был уже слишком близко, чтобы что-нибудь сказать — спрятаться за ничего не значащий разговор.

Я крепко обнял ее, она была холодная и ускользящая, как рыба, как странное чужое существо, и неожиданно в этом прикосновении, таком холодном, словно мертвом — потому что она была совершенно неподвижна, — я отыскал жаркое пятно, ее губы и поцеловал их, а потом целовал и целовал без конца — это было полнейшее сумасшествие. Она не защищалась. Не сопротивлялась, словно окаменела. Я держал ее за плечи, поднял ее лицо вверх, хотел его видеть, заглянуть ей в глаза, но было уже так темно, что я мог только догадываться, где они. Она не дрожала. Гулко билось сердце, то ли мое, то ли ее. Так мы стояли, потом она медленно стала освобождаться. Я тотчас отпустил ее. Она поднялась по лесенке на берег. Я за ней, и опять обнял ее, как-то неловко, боком. Она задрожала. Задрожала только теперь. Я попытался сказать что-нибудь, но язык не слушался меня. И я лишь продолжал обнимать ее, прижимал к себе; мы стояли, потом она высвободилась, но не оттолкнула меня, а высвободилась, просто так, будто меня вообще не было. Я опустил руки. Она отошла. Свет падал из моего окна, и в этом свете я увидел, как она подняла халат и, не надевая его, медленно стала подниматься по ступеням. Сквозь дверь из зала тоже пробивался свет. Капли



воды сверкнули на ее плечах и бедрах. Дверь закрылась. Она исчезла.

На миг мне захотелось броситься в воду и больше не выплывать из нее. Не шутя, всерьез. Никогда еще у меня в голове не было такого сумбура. Не в голове — там, где должна быть голова. Все вместе взятое было совершенно бессмысленно, невероятно, и, что самое ужасное, я не понимал, что же это все означало и что мне теперь делать. Только почему она была такой... такой... Неужели ею владел страх? Ах, ерунда, дался мне этот страх. Это было что-то другое. Но что? Откуда мне знать? Может быть, Олаф знает? Черт, неужели я, как сопливый щенок, поцеловав девчонку, помчусь к Олафу за советом?

«Да, — подумал я, — и помчусь». Я направился к дому, поднял по пути свой халат, стряхнул с него песок. В зале все еще горел свет. Я подошел к ее двери. «Может, она выпустит меня», — подумал я. Если бы она меняпустила, я потерял бы к ней интерес. И тогда, возможно, все это кончится. Или же я получу по морде. Нет. Они добренькие... они бетризованные, они не могут. Она мне даст немного молочка, это ведь очень полезно... Я стоял так минут пять и вспоминал подземелья Керенеи, ту прославленную дыру, о которой говорил Олаф. Благословенная дыра! Кажется, это был старый вулкан, и Ардер застрял там среди скал и не мог выбраться, а лава поднималась. Собственно, даже не лава, Вентури сказал, что это какой-то особый гейзер, но это было уже потом. Ардер... мы слышали его голос. По радио. Я спустился и вытащил его. Боже! Лучше бы десять раз Керенея, чем эта дверь! И молчание, ни малейшего шороха. Ничего!

Была бы хоть дверная ручка. Нет, какая-то плитка. У меня наверху такой не было. Что это — замок или ручка? Откуда мне знать — я был все тем же дикарем с Керенеи.

Я поднял руку и заколебался. Что, если дверь не откроется? Одних воспоминаний об этом мне хватило бы надолго. И я чувствовал, что чем дольше стою, тем меньше у меня остается сил, словно они вытекали из меня. Я коснулся плитки. Она не поддавалась. Я нажал сильнее.

— Это вы? — услышал я ее голос. Значит, она стояла за дверью!

— Да.

Тишина. Полминуты. Минута.

Дверь открылась. Она стояла на пороге. Пушистый утренний халат. Рассыпавшиеся по воротнику волосы. Подумать только, лишь теперь я заметил, что они каштановые.

Дверь была только полуоткрыта. Она придерживала ее. Когда я шагнул, она отступила. Дверь сама, совершенно бесшумно, закрылась за мной.

Внезапно я понял, как все это выглядит; у меня с глаз словно упали шторы. Она смотрела на меня, неподвижная, бледная, придерживая руками полы этого несчастного халатика, а напротив я, мокрый, с халатом в руках, в одних только черных плавках Олафа, уставился на нее не отрываясь.

И вдруг все это показалось мне невероятно смешным. Я встряхнул халат. Надел его, запахнул и сел. Там, где я раньше стоял, — два мокрых пятна на полу. Мне совершенно нечего было сказать. Я не знал, что сказать. И вдруг догадался. Меня будто осенило.

— Вы знаете, кто я?

— Знаю.

— Вот как? Хорошо. Из Бюро Путешествий?

— Нет.

— Все равно. Я дикий, вы знаете?

— Правда?

— Страшно дикий. Как вас зовут?

— Вы не знаете?

— Как ваше имя?

— Эри.

— Я заберу тебя отсюда.

— Что?

— Заберу. Не хочешь?

— Нет.

— Все равно заберу, и знаешь почему?

— Кажется, знаю.

— Нет, не знаешь. Я и сам не знаю.

Она молчала.

— Я ничего не могу с этим поделать, — продолжал я. — Это случилось, когда я тебя увидел. Позавчера. За обедом. Понимаешь?

— Да.

— Постой. Может, ты думаешь, я шучу?

— Нет.

— Откуда же ты можешь... хотя все равно. Ты попытаешься сбежать?

Она молчала.

— Не делай этого, — попросил я. — Это не поможет, пойми. Я все равно не оставлю тебя в покое, даже если бы и хотел. Ты веришь мне?

Она молчала.

— Пойми, дело не только в том, что я небетризованный. Мне ничего не надо. Ничего, кроме тебя. Мне нужно тебя видеть. Мне нужно смотреть на тебя. Мне нужно слышать твой голос. Только это, и больше ничего. Никогда. Я не знаю, что будет с нами. Пусть даже это плохо кончится. Мне все равно. Потому что уже и этого много. Потому что я могу это сейчас говорить, а ты слышать. Понимаешь? Нет. Тебе не понять. Вы избавились от драм, чтобы жить спокойно. Я так не умею. И не хочу.

Она молчала. Я глубоко вздохнул.

— Эри, послушай... Сначала сядь.

Она не пошевелилась.

— Прошу тебя, сядь.

Молчание.

— Тебе же все равно. Сядь.

Неожиданно я понял. Стиснул зубы.

— Если ты не хочешь даже сесть, зачем же ты впустила меня?

Молчание.

Я встал. Взял ее за плечи. Она не защищалась. Я посадил ее в кресло. Придвинул свое, так что наши колени почти соприкасались.

— Можешь делать, что хочешь. Но выслушай меня. Я в этом не виноват. А ты и подавно. Никто не виноват. Я не хотел этого. Но так случилось. Это, понимаешь, исходное положение. Я знаю, что веду себя как сумасшедший. Знаю и сейчас скажу почему... А ты что, вообще не будешь больше говорить со мной?

— Смотря о чем, — сказала она.

— Спасибо и на том. Да, я знаю, у меня нет прав, никаких прав и тому подобное. Что же я хотел сказать? Миллионы лет назад существовали такие ящеры — бронтозавры, атлантозавры... Ты слышала?

— Да.

— Это были гиганты величиной с дом. Длинный хвост, в три раза длиннее тела. Из-за этого они не могли двигаться так, как, может, хотели бы — легко и изящно. У меня тоже

есть такой хвост. Десять лет неизвестно зачем я скитался среди звезд. Может быть, зря. Но это было. Этого не вычеркнешь. Это мой хвост. Понимаешь? Я не могу вести себя так, словно его нет, словно этого никогда не было. Я не думаю, что ты в восторге от того, что я сказал, что говорю и что скажу еще. Но выхода я не вижу. Ты должна быть моей, пока возможно. И это... все. Что скажешь ты?

Она смотрела на меня. Мне показалось, что она еще больше побледнела, но это могло быть от освещения. Она сидела, кутаясь в свой пушистый халат, словно ей было холодно. Я хотел спросить, холодно ли ей, и снова не мог выговорить ни слова. Мне... — о! — мне не было холодно.

— А вы... Как бы поступили вы... на моем месте?

— Очень хорошо! — похвалил я. — Вероятно, боролся бы.

— Я не могу.

— Знаю. Думаешь, мне от этого легче? Клянусь тебе, нет.

Мне уйти или можно еще сказать кое-что? Почему ты так смотришь? Неужели ты не понимаешь, что я сделаю для тебя все? Прошу тебя, не смотри так. Все! Даже то, чего не могут сделать... другие люди. А ты знаешь что?

Мне стало душно, будто я долго бежал. Я держал обе ее руки — не знаю, как долго, может быть, с самого начала? Не знаю. Они были такие маленькие.

— Эри, знаешь, я никогда еще не чувствовал того, что чувствую сейчас. В эту минуту. Подумай. Эта жуткая пустота там. Этого нельзя рассказать. Я не верил, что вернусь. Никто не верил. Мы говорили о возвращении, но это было просто так. Они остались там, Арне, Том, Вентури, и они теперь как камни, знаешь, такие насквозь промерзшие камни, во тьме. И я должен был там остаться, а если я здесь, и держу твои руки, и могу говорить с тобой, и ты слышишь меня, то, может, не так уж и скверно, что я вернулся. Не столь гнусно, Эри. Только не смотри так. Умоляю тебя. Дай мне надежду. Не думай, что это просто любовь. Не думай так. Это больше. Больше. Ты мне не веришь... почему ты мне не веришь? Ведь я говорю правду. Не веришь?

Она молчала. Ее руки были холодны, как лед.

— Не можешь, да? Это невозможно. Да, я знаю, что это невозможно. Я знал это с первой минуты. Я ни имею права быть тут. Я должен быть там. Не моя вина, что я вернулся. Да. Зачем я тебе это говорю? Этого не было. Правда, не было, да? Пусть будет так, раз тебя это не интересует. Ты

думала, что я воспользуюсь своей силой? Этого мне не надо, понимаешь? Ты не звезда...

Наступила тишина. Дом молчал. Я наклонил голову к ее рукам, безвольно лежащим в моих, и начал шептать им:

— Эри, Эри. Теперь ты уже понимаешь, что меня не нужно бояться, правда? Ты ведь понимаешь, что тебе ничего не грозит. Но это такое огромное, Эри. Я не знал, что подобное возможно. Не предполагал. Клянусь. Зачем они летят к звездам? Понять не могу. Ведь ЭТО здесь. ЭТО же здесь. А может, надо было сначала побывать там, чтобы это понять? Да, может быть. Сейчас я уйду. Забудь обо всем. Забудешь?

Она кивнула.

— И никому не скажешь?

Она отрицательно покачала головой.

— Правда?

— Правда, — прошептала она.

— Благодарю тебя.

Я вышел. Лестница. Кремовая стена, другая зеленая. Дверь моей комнаты. Я широко распахнул окно, дышал. Какой воздух! С той минуты, как я вышел от нее, я был совершенно спокоен. Я даже улыбался, но не губами, не лицом. Улыбка была во мне, снисходительная улыбка над собственной глупостью, над тем, что я не мог понять и что было так просто. Наклонившись, я перебирал содержимое спортивного чемоданчика. Среди шнуров? Нет, какие-то сверточки, нет, не то, сейчас...

Вот он. Я выпрямился и вдруг смутился. Свет. Я не могу так. Пошел к лампе, чтобы потушить ее. На пороге стоял Олаф. Он был одет. Не ложился?

— Ты что делаешь?

— Ничего.

— Ничего? Что у тебя в руке?

— Так...

— Не прячь! Покажи.

— Не хочу. Уйди!

— Покажи!

— Нет.

— Я так и знал. Мерзавец!

Я не ожидал этого удара. Разжал руку, нож выскользнул, упал со стуком. Мы оба покатались по полу, я подмял его под себя, он перевернулся, столик рухнул, лампа грохнулась

о стену, так что загремело на весь дом. Я уже сдвинул его. Он не мог вырваться, только извивался, и вдруг я услышал крик, ее крик, отпустил его, отпрыгнул назад.

Она стояла в дверях.

Олаф поднялся на колени.

— Он хотел покончить с собой. Из-за тебя! — прохрипел он, хватаясь за горло.

Я отвернулся. Оперся о стену, ноги тряслись. Мне было стыдно, невыразимо стыдно. Она смотрела на нас — то на одного, то на другого. Олаф все еще держался за горло.

— Уходи, — тихо сказал я.

— Сначала тебе придется меня прикончить.

— Прости меня.

— Нет.

— Олаф, прошу вас, уйдите, — сказала она.

Я умолк, раскрыв рот. Олаф, остолбенев, смотрел на нее.

— Девочка, он...

Она покачала головой.

Все еще глядя на нас, то пятась, то немного боком, он вышел.

Она взглянула на меня.

— Это правда?

— Эри... — простонал я.

— Ты не можешь иначе? — спросила она.

Я кивнул утвердительно. Она покачала головой.

— Не понимаю, — сказал я и повторил еще раз, как-то заикаясь: — Не понимаю.

Она молчала. Я подошел к ней и увидел, что вся она как-то съежилась, и руки, придерживающие отвернувшийся край пушистого халата, дрожат.

— Почему? Почему ты так меня боишься?

Она отрицательно покачала головой.

— Нет?

— Нет.

— Но ты же дрожишь?

— Это просто так.

— И ты... пойдешь со мной?

Она кивнула дважды, как ребенок. Я обнял ее, так бережно, как только мог, словно вся она была из стекла.

— Не бойся... — сказал я. — Смотри...

У меня самого дрожали руки. Почему они не дрожали тогда, когда я медленно седел, ожидая Ардера? До каких глу-

бин, до каких закоулков я наконец добрался, чтобы узнать, чего я стою?

— Сядь, — сказал я. — Ведь ты все еще дрожишь? Или нет, подожди.

Я уложил ее в постель. Закутал до подбородка.

— Так лучше?

Она кивнула. Я не знал, только ли со мной она так молчалива или это ее привычка.

Я опустил на колени перед кроватью.

— Скажи что-нибудь, — прошептал я.

— Что?

— О себе. Кто ты. Что делаешь. Чего хочешь. Нет, чего ты хотела, прежде чем я свалился тебе на голову.

Она слегка повела плечами, как бы говоря: «Мне нечего рассказывать».

— Ты не хочешь говорить? Почему?

— Это не имеет значения... — сказала она.

Для меня это было как удар. Я отшатнулся.

— Как?.. Эри... Как это? — бормотал я. И уже понимал, хорошо понимал.

Я вскочил и принялся ходить по комнате.

— Я не хочу так. Не могу так. Не могу. Так нельзя...

Я остолбенел снова, потому что она улыбалась. Слабой, чуть заметной улыбкой.

— Эри, что ты...

— Он прав, — сказала она.

— Кто?

— Тот... Ваш друг.

— В чем?

Ей было трудно это сказать. Она отвела глаза.

— Что вы... можете поступить неразумно.

— Откуда ты знаешь, что он это сказал?

— Слышала.

— Наш разговор? После обеда?

Она кивнула. Покраснела. Даже уши порозовели.

— Я не могла не слышать. Вы ужасно громко спорили. Я вышла бы, но...

Я понял. Дверь ее комнаты выходила в зал. «Что за кретин!» — подумал я, конечно, о себе. Меня словно оглушило.

— Ты слышала... Все?

Она кивнула.

— И понимала, что я говорю о тебе?..

— Да.

— Но почему? Ведь я же не назвал твоего имени...

— Я знала это раньше.

— Откуда?

Она покачала головой.

— Не знаю. Знала. Вернее, сначала я подумала, что это мне кажется.

— А потом?

— Не знаю. Я весь день чувствовала это.

— И очень боялась? — спросил я упрямо.

— Нет.

— Нет? Почему нет?

Она слабо улыбнулась.

— Вы совсем как...

— Как что?!

— Как в сказке. Я не знала, что можно... быть таким... и если бы не то, что... Ну... я думала бы, что это мне снится.

— Уверяю тебя, не снится.

— Ох, знаю. Я просто так сказала. Вы ведь понимаете, что я имею в виду?

— Не очень. Видно, я туп, Эри. Да, Олаф был прав. Я болван. Полнейший болван. Поэтому скажи мне прямо, идет?

— Хорошо. Вы думаете, что вы страшный, а это совсем не так. Вы просто... — она умолкла, словно не могла найти подходящих слов.

Я слушал разинув рот.

— Эри, девочка, я... я совсем не думал, что я страшный. Ерунда. Клянусь тебе. Просто, когда я прилетел, и наслушался, и узнал разные разности... Довольно. Я уже достаточно говорил. Даже слишком. Никогда в жизни я не был таким болтливым. Говори ты, Эри. Говори. — Я присел на кровати.

— Не о чем. Правда. Только... не знаю...

— Чего ты не знаешь?

— Что будет?..

Я наклонился над ней. Я чувствовал ее дыхание. Она смотрела мне в глаза. Ее веки не дрожали.

— Почему ты позволила целовать себя?

— Не знаю.

Я коснулся губами ее щеки. Шеи. И замер, опустив голову на ее плечо, изо всех сил стискивая зубы. Такого со



мной еще никогда не было. Я даже не подозревал, что такое может быть. Мне хотелось плакать.

— Эри, — прошептал я беззвучно, одними губами. — Эри. Спаси меня.

Она лежала неподвижно. Словно издалека, до меня доносились гулкие удары ее сердца. Я сел.

— Может быть... — начал я, но не решился закончить. Встал, поднял лампу, поставил столик, споткнулся обо что-то — это был туристский нож. Он валялся на полу. Я зачихнул его в чемоданчик и повернулся к ней. — Я потушу свет, хорошо?

Она не отвечала. Я нажал выключатель. Мрак был абсолютный, даже в открытом окне не было видно ни единого огонька. Ничего. Черно. Так же черно, как ТАМ.

Я закрыл глаза. Тишина шумела.

— Эри... — прошептал я. Она не ответила. Я чувствовал ее страх. Впотымах шагнул в сторону кровати. Попытался уловить ее дыхание, но слышал только всеобъемлющий звон тишины, которая как бы материализовалась в этой темноте и уже была ею. «Я должен уйти, — подумал я. — Да. Сейчас пойду». Но вместо этого наклонился и в каком-то ясновидении нашел ее лицо. Она затаила дыхание.

— Нет, — выдохнул я. — Ничего. Клянусь, ничего...

Я коснулся ее волос. Гладил их кончиками пальцев, узнавал их, еще чужие, еще неожиданные. Мне так хотелось понять все это. А может быть, нечего было понимать? Какая тишина. Спит ли Олаф? Наверно, нет. Сидит, прислушивается. Ждет. Пойти к нему? Но я не мог. Это было слишком неправдоподобно. Я не мог. Не мог. Я опустил голову к ней на плечо. Одно движение, и я был рядом с ней и почувствовал, как она сжалась. Она отодвинулась.

Я шепнул:

— Не бойся.

— Я не боюсь...

— Ты дрожишь.

— Это просто так.

Я обнял ее. Тяжесть ее головы на моем плече переместилась на сгиб локтя. Мы лежали рядом. И ничего вокруг — только молчащая тьма.

— Уже поздно, — шепнул я. — Очень поздно. Можешь спать. Прошу тебя. Спи...

Я укачивал ее, одним только напряжением мышц. Она

лежала притихнув, но я чувствовал тепло ее тела и дыхание. Оно было учащенным. И сердце ее билось тревожно. Постепенно, медленно оно начало успокаиваться. Видимо, она очень устала. Я прислушивался сначала с открытыми, потом с закрытыми глазами, потому что мне казалось, что так я лучше слышу. Спит уже? Кто она? Почему она значит для меня так много? Я лежал во тьме, пронизываемой порывами ветра за окном. Занавеска шевелилась, тихонько шелестя. Я был полон немого изумления. Эннессон, Томас, Вентури, Ардер. И все ради этого? Ради этого? Шепотка праха. Там, где никогда не дует ветер. Где нет ни облаков, ни солнца, ни дождя, где нет ничего, словно все это вообще невозможно, словно об этом нельзя даже думать. И я был там? Действительно был? Зачем? Я уже ничего не сознавал, все сливалось в бесформенную тьму. Я замер. Она вздрогнула. Медленно повернулась на бок. Но ее голова осталась на моем плече. Она что-то тихонько пробормотала сквозь сон. Я пытался представить себе хромосферу Аркура. Зияющая бездна, над которой я летел и летел, как будто вращался на чудовищной невидимой огненной карусели. Опухшие глаза слезились. Безжизненным голосом я твердил: «Зонд, Ноль, Семь, Зонд, Ноль, Семь, Зонд, Ноль, Семь» — тысячи, тысячи раз, так, что потом при одной мысли об этих словах во мне что-то содрогалось, будто они были выжжены во мне, будто стали раной; а ответом был шум в наушниках и хлопочущее хихиканье, в которые моя аппаратура превращала огненные всплески протуберанцев, и все это был Ардер, его лицо, его тело и его корабль, превращенные в лучистый газ. А Томас? Погибший Томас, о котором никто не знал, что он... а Эннессон. Отношения у нас были неважные — я его терпеть не мог. Но в шлюзовой камере я дрался с Олафам, который не хотел меня выпускать, потому что было уже поздно. Какой я был благородный, великие небеса, черные и голубые!.. Но это не было благородство, дело было просто в цене. Да. Каждый из нас был чем-то бесценным, человеческая жизнь приобретала величайшую ценность там, где не могла уже иметь никакой ценности, там, где тончайшая, почти не существующая оболочка отделяла жизнь от смерти. Какой-то проводок или спай в передатчике Ардера... Какой-нибудь шов в реакторе Вентури, который проглядел Восс, — а может быть, шов неожиданно разошелся, ведь это случается, усталость

металла, — и Вентури в пять секунд перестал существовать. А возвращение Турбера? А чудесное спасение Олафа, который потерялся, когда пробило направляющую антенну, — слыханное ли дело? Как? Никто не знал. Олаф вернулся чудом. Да, один на миллион. А как везло мне. Как невероятно, невозможно везло... Рука онемела. Это было невыразимо хорошо. «Эри, — сказал я мысленно, — Эри». Как голос птицы. Такое имя. Голос птицы... Как мы просили Эннессона, чтобы он изображал голоса птиц. Он это умел. Как он это умел! А когда он погиб, вместе с ним погибли все птицы...

Но у меня уже все путалось в мыслях, я погружался, плыл через эту тьму. В последний миг перед тем, как заснуть, мне показалось, что я там, на своем месте, на койке, глубоко, у самого стального дна, а рядом со мной маленький Арне — на мгновение я очнулся. Нет. Арне мертв, я был на Земле. Девушка тихо дышала.

«Будь благословенна, Эри», — сказал я одними губами, вдохнул запах ее волос и заснул...

Я открыл глаза, не зная, где я и кто я. Темные волосы, рассыпавшиеся по моему онемевшему плечу — я не чувствовал его, словно оно было чем-то посторонним, — изумили меня. Это длилось долю секунды. В следующее мгновение я уже все вспомнил. Солнце еще не взошло. Молочно-белый, бесцветный, чистый, пронзительно-холодный рассвет брезжил в окнах. Я смотрел в ее лицо, освещенное этим предутренним светом, словно видел его впервые. Она крепко спала, стиснув губы, ей было, вероятно, не очень удобно на моем плече, потому что она подложила под голову ладонь и время от времени трогательно шевелила бровями, словно опять начинала удивляться. Движение было совсем незаметным, но я внимательно смотрел, будто на ее лице была написана моя судьба.

Я подумал об Олафе. Очень осторожно начал освобождать руку. Осторожность оказалась совершенно излишней. Эри спала глубоким сном, ей что-то снилось; я замер, пытаюсь отгадать — не сам сон, а только — не дурной ли он. Ее лицо было почти детским. Нет, не дурной. Я отодвинулся, встал. На мне был купальный халат, я так и не снял его. Не обуваясь, я вышел в коридор, очень медленно, тихо прикрыл дверь и с соблюдением таких же предосторожностей заглянул в комнату Олафа. Постель была не тронута. Он сидел за

столом, положив голову на руки, и спал. Как я и думал, он не раздевался. Не знаю, что его разбудило, — мой взгляд? Он вдруг очнулся, быстро взглянул на меня ясными глазами, выпрямился и потянулся разминаясь.

— Олаф, — сказал я, — даже через сто лет...

— Заткнись, — сказал он любезно. — У тебя всегда были дурные наклонности...

— Ты уже начинаешь? Я только хотел сказать...

— Знаю, что ты хотел сказать. Я всегда за неделю вперед знаю, что ты хочешь сказать. Если бы на «Прометее» нужен был проповедник, ты подошел бы как нельзя лучше. Черт побери, как это мне не пришло в голову раньше! Я бы тебя проучил, Эл! Никаких проповедей. Никаких клятв, обещаний и тому подобного. Как дела? Хорошо? Да?

— Не знаю. Как будто. А впрочем, не знаю. Если тебя интересует... ну... то ничего не было.

— Нет, сначала ты должен встать на колени, — сказал он, — и говорить, стоя на коленях. Идиот, разве я тебя об этом спрашиваю? Я говорю о перспективах и вообще...

— Не знаю. Я тебе вот что скажу... по-моему, она сама не знает. Я свалился ей на голову, как камень.

— Увы, — заметил Олаф. Он раздевался. Искал плавки. — Это печально. Сколько ты вешишь, камешек? Сто десять?

— Около этого. Не ищи. Твои плавки на мне.

— При всей твоей святости ты всегда норовил подхватить чужое, — ворчал он, а когда я начал снимать плавки, крикнул: — Брось, дурак! У меня есть в чемодане другие...

— Как оформляется развод? Случайно не знаешь?

Олаф посмотрел на меня из-за открытого чемодана, моргнул.

— Нет. Не знаю. Интересно, откуда бы мне знать? Я слышал, что это все равно, что чихнуть. И даже «будь здоров» говорить не надо. Нет ли тут какой-нибудь человеческой ванны, с водой?

— Не знаю. Наверно, нет. Есть только такая — знаешь...

— Да. Освежающий вихрь с запахом зубного эликсира. Ужас. Пошли в бассейн. Без воды я не чувствую себя умытым. Она спит?

— Спит.

— Ну, тогда бежим.

Вода была холодной и чудесной. Я сделал сальто из винта

назад — получилось. Раньше никогда не получалось. Выплыл, отплеываясь и кашляя, потому что втянул носом воду.

— Осторожней, — бросил мне с берега Олаф, — ты теперь должен беречь себя. Помнишь Маркля?

— Да. А что?

— Он побывал на четырех спутниках Юпитера, насквозь проаммиаченных, а когда вернулся, сел на тренировочном поле и вылез из ракеты, увешанный трофеями, как рождественская елка, споткнулся и сломал ногу. Так что ты осторожней. Уж послушай меня.

— Постараюсь. Дьявольски холодная вода. Я вылезаю.

— И правильно делаешь. А то еще подхватишь насморк. У меня его не было десять лет. Но не успел я прилететь на Луну, как начал кашлять.

— Потому что ТАМ было очень сухо, — сказал я с серьезной миной.

Олаф рассмеялся и тут же обдал мне лицо водой, нырнув в каком-нибудь метре от меня.

— Действительно, сухо, — сказал он, выплывая. — Это метко сказано, знаешь. Сухо, но неудобно.

— Ол, я побежал.

— Ладно. Увидимся за завтраком. Или не хочешь?

— Ты что!

Я побежал наверх, обтираясь по дороге. Перед своей дверью затаил дыхание. Осторожно заглянул. Она еще спала. Я воспользовался этим и быстро оделся. Даже успел побриться в туалетной.

Сунул голову в комнату — мне показалось, что Эри что-то сказала. Когда я на цыпочках подходил к кровати, она открыла глаза.

— Я спала... тут?

— Да. Да, Эри...

— Мне казалось, что кто-то...

— Да, Эри, это был я...

Она смотрела на меня, словно к ней постепенно возвращалась память, сознание всего, что произошло. Сначала ее глаза широко раскрылись — от удивления? — потом она их закрыла, снова открыла — украдкой, очень быстро, но так, что я все-таки это заметил, заглянула под одеяло — и повернула ко мне порозовевшее лицо.

Я кашлянул.

— Ты, наверное, хочешь пойти к себе, а? Может быть, мне лучше выйти или...

— Нет, — сказала она, — у меня же ссть халат.

Она села, запахивая полы халата.

— Это... уже... по-настоящему? — сказала она тихо, таким тоном, словно расставалась с чем-то.

Я молчал.

Она встала, прошлась по комнате, вернулась. Подняла глаза на меня — в них был вопрос, неуверенность и что-то еще, чего я не мог определить.

— Брегг...

— Меня зовут Эл.

— Эл, я... я действительно не знаю... Я хотела бы...

Сеон...

— Что?

— Ну... Он... — Она не могла или не хотела сказать «мой муж»? — Он вернется послезавтра.

— Да?

— Что будет?

Я проглотил комок.

— Мне с ним поговорить?

— Как это?..

Теперь я, в свою очередь, с изумлением посмотрел на нее, ничего не понимая.

— Вы же... вчера говорили...

Я ждал.

— Что... заберете меня.

— Да.

— А он?

— Так мне не говорить с ним? — спросил я наивно.

— Как это, «говорить»? Вы хотите сами?

— А кто же?

— Значит, это... конец?

Что-то сдавило мне горло; я кашлянул.

— Но ведь... другого выхода нет.

— Я думала, что это... мекс.

— Что?..

— Вы не знаете?

— Ничего не понимаю. Нет. Не знаю. Что это такое? — сказал я, чувствуя, как по коже побежали неприятные мурашки. Я опять попал в одну из неожиданных пустот, в топкое болото недопонимания.

— Это такой... Ну... если кто-то встречается... если хочет на какое-то время... Вы действительно этого не знаете?

— Подожди, Эри, не знаю, но, кажется, начинаю понимать... Это что-то такое временное, этакая отсрочка, минутное приключение?

— Нет, — сказала она, и у нее округлились глаза. — Вы не знаете... как это... Я сама точно не знаю как, — вдруг приналась она. — Я только слышала об этом. Я думала, что вы поэтому...

— Эри. Я ничего не знаю. И черт меня побери, если я что-нибудь понимаю. Может быть... во всяком случае, у этого есть что-нибудь общего с браком, да?

— Ну да. Идут в управление, и там, не знаю точно что, во всяком случае, потом это уже как-то... ну, в общем...

— Что?

— Законно. Так, что никто не может возразить. Никто. И он тоже...

— Так, значит, это все-таки... это какой-то способ узаконить — ну, черт возьми, — узаконить супружескую измену. Так, что ли?

— Нет. Да. То есть это уже не измена, впрочем — так не говорят. Я знаю, что это значит. Я это изучала. Нет измены, потому что, ну, потому что ведь мы с Сеоном только на год.

— Что такое? Как на год? Брак на год? На один год? Почему?

— Это испытание...

— Великие небеса, черные и голубые! Испытание. А что такое меск? Может быть, авизо на следующий год?

— Не понимаю, что такое авизо. Меск — это... это значит, что, если через год супруги расходятся, тогда вступает в силу то. В общем это помолвка.

— Это и есть меск?

— Да.

— А если они не расходятся, что тогда?

— Тогда ничего. Меск не имеет никакого значения.

— Ага. Ну, теперь понимаю. Нет, никаких месков. На веки веков. Ты хоть знаешь, что это значит?

— Знаю. Брегг?

— Да?

— Я заканчиваю аспирантуру по археологии в этом году...

— Понимаю. Ты намскаешь, что, принимая тебя за идиотку, я, по существу, сам идиот.

Она усмехнулась.

— Вы это очень резко сформулировали.

— Да. Прости. Так я могу с ним поговорить?

— О чем?

У меня открылся рот. «Опять!» — подумал я.

— Ну, знаешь ли... — Я осекся. — О нас, разумеется!

— Ведь так не делают.

— Нет? Ага. Чудесно. А как делают?

— Производят раздел. Но, Брегг, правда... ведь я... я так не могу...

— А как ты можешь?

Она беспомощно пожала плечами.

— Это значит, мы возвращаемся к тому, с чего начали вчера вечером? — спросил я. — Не сердись, Эри, что я так говорю, я вдвойне обескуражен. Я же не знаком со всеми формами, обычаями, что можно и чего нельзя, даже в нормальных обстоятельствах, не говоря уже о таких...

— Нет, я знаю. Но мы с ним... я... Сеон...

— Понимаю, — сказал я. — Знаешь что? Давай сядем.

— Мне как-то лучше думать стоя.

— Пожалуйста. Слушай, Эри. Я знаю, что мне нужно сделать. Я должен забрать тебя и уехать куда-нибудь; не знаю, откуда у меня эта уверенность. Может быть, от моей бесконечной наивности? Но мне кажется, что в конце концов тебе со мной было бы хорошо. Да. А между тем я, понимаешь, такой — ну, одним словом: я не хочу этого делать. Не хочу тебя принуждать. В результате вся ответственность за мое решение — назовем это так — падает на тебя... Словом, получается, что я кругом свинья — если не с правой стороны, то с левой. Да и я это прекрасно сознаю. Прекрасно. Но скажи только одно: что ты предпочитаешь?

— Правую...

— Что?

— Правую сторону этой свиньи.

Я рассмеялся. Может, даже немного истерично.

— О боже! Так. Хорошо. Значит, я могу с ним поговорить? Потом. Ну, я приехал бы сюда потом один...

— Нет.

— Так тоже не делают? И все-таки мне кажется, я должен...

— Нет. Я... очень прошу. Правда. Нет. Нет!



Вдруг у нее из глаз брызнули слезы. Я схватил ее за руки.

— Эри! Нет. Ну, нет. Я сделаю, как ты хочешь, только не плачь. Умоляю тебя. Потому что... не плачь. Перестань, слышишь? А впрочем... плачь... я сам не знаю...

— Я... не знала, что это... может... так... — всхлипывала она.

Я носил ее по комнате.

— Не плачь, Эри... Или, знаешь что? Уедем на... мссяц. Если потом захочешь, вернешься...

— Прошу вас... — сказала она, — прошу...

Я опустил ее на пол.

— Так нельзя? Ведь я же ничего не знаю. Я думал...

— Ах, как вы! «Можно», «нельзя». Я не хочу так! Не хочу!

— Эта правая сторона становится все больше, — сказал я неожиданно сухо. — Ну ладно, Эри, я больше не буду с тобой советоваться. Одевайся. Позавтракаем и уедем.

Она смотрела на меня. На глазах у нее еще не высохли слезы. Сосредоточенное лицо. Насупленные брови. Мне показалось, она хочет сказать что-то, не слишком для меня лестное. Но она только вздохнула и молча вышла. Я присел к столу. Моя неожиданная решительность — как в каком-то романе о пиратах — была всего лишь минутной. В действительности я был столь же решителен, как и роза ветров. Моему смущению не было границ. «Как я могу? Как могу?» — спрашивал я себя. Ох, что за путаница!

В открытых дверях стоял Олаф.

— Сын мой, — сказал он. — Я сожалею. Я поступил крайне бестактно, но я все слышал. Не мог не слышать. Надо закрывать двери, к тому же у тебя такой зычный голос. Эл, ты превзошел самого себя. Чего ты хочешь от девчонки — чтобы она бросилась тебе на шею только потому, что ты однажды влез в дыру на Ке...

— Олаф!! — запротестовал я.

— Только спокойствие может нас спасти. Ну, наш археолог нашла себе прелестную древность. Сто шестьдесят лет — это уже антик, а?

— Твой юмор...

— ...Тебе не нравится. Знаю. Мне тоже. Но что бы меня ожидало, если бы я не видел тебя насквозь? Похороны друга — больше ничего. Эл, Эл...

— Я знаю, как меня зовут.

— В чем дело? Ваше преподобие, подъем! Завтрак, и поехали.

— Даже не представляю куда.

— Зато совершенно случайно знаю я. У моря есть еще небольшие домики. Возьмете автомобиль...

— Как это «возьмете»?

— Что значит как? А ты думал — мы втроем? Святая троица? Ах, ваше преподобие...

— Если ты не перестанешь, Олаф...

— Ладно. Я знаю. Ты бы хотел всех осчастливить. Меня, се, того Сеола или Сеона, нет, так не бывает. Эл, мы выедем вместе. Можешь подбросить меня до Хоулу. Там я возьму ульдер.

— Ну и ну, — сказал я, — хорошенькие я устроил тебе каникулы!

— Я не жалею, так не жалуйся и ты. Может, из этого что-нибудь и получится. А сейчас довольно. Идем.

Завтрак прошел в напряженной обстановке. Олаф говорил больше обычного, но беседа не клеилась. Ни Эри, ни я почти не отвечали. Потом белый робот подал глидер, и Олаф отправился в Клавестру за автомобилем. Это пришло ему в голову в последний момент. Через час машина уже стояла в саду, я погрузил все свое имущество, Эри тоже взяла свои вещи — мне показалось, что не все, но я ни о чем не спрашивал; мы, собственно, совершенно не разговаривали друг с другом. И ярким солнечным днем, который обещал быть жарким, мы поехали сначала в Хоулу — это было немного в сторону, — и Олаф там сошел; о том, что домик для нас уже снят, он сказал только в машине.

Прощания, собственно, не было.

— Послушай, — сказал я, — если я напишу... приедешь?

— Конечно. Адрес я сообщу.

— Напиши до востребования в Хоулу, — сказал я.

Он протянул мне свою твердую руку. Сколько еще было таких на всей Земле?

Я пожал се, так что у меня хрустнули кости и, не оглядываясь, сел за руль. Сразу же с места взял километров сто. Мы съехали меньше часа. Олаф сказал, где искать наш домик. Он был маленький, четыре комнаты, без бассейна, но рядом с пляжем, у самого моря. Проезжая ряды цветных домиков, рассыпанных по холмам, мы увидели с шоссе океан. Еще

прежде, чем он стал виден, издали послышался его приглушенный, далекий гул.

Время от времени я посматривал на Эри. Она сидела молча, выпрямившись, лишь изредка поглядывая в сторону на улетающую назад дорогу. Домик — наш домик, — по словам Олафа, был голубой, с оранжевой крышей. Облизнув языком губы, я почувствовал привкус соли. Шоссе сворачивало и шло параллельно линии песчаного берега. Голос океана, волны которого издалика казались неподвижными, смешивался с натужным гулом мотора.

Домик стоял на самом краю поселка. Небольшой садик с кустами, шершавыми от налета соли, сохранил следы недавнего шторма. Волны, видимо, перехлестывали через низкую ограду: на земле валялись пустые ракушки. Наклонная крыша выдвигалась вперед, словно отвернутые поля плоской шляпы, давая обширную тень. Соседний домик выглядел из-за большого, поросшего редким кустарником холма. До него было шагов шестьсот. Ниже, на серповидном пляже, виднелись крохотные фигурки людей.

Я распахнул дверцу.

— Эри...

Она молча вышла. Если бы знать, что за мысли под этим насупленным лбом. Она шла рядом со мной к двери.

— Нет, не так, — сказал я. — Не переступай порог сама.

— Почему?

Я взял ее на руки.

— Открой... — попросил я. Она коснулась пальцами плитки, дверь отворилась.

Я перенес ее через порог и опустил на пол.

— Таков обычай. На счастье...

Она пошла первой осматривать комнаты. Кухня была сзади, автоматическая, и один робот, вернее не робот, а просто этакий электрический глупыш для наведения порядка. Из тех, что могут и на стол подавать и выполнять приказы, но говорят только несколько слов.

— Эри, — сказал я, — хочешь пойти на пляж?

Она покачала головой. Мы стояли посреди самой большой, белой с золотым, комнаты.

— А что ты хочешь? Может...

Опять тот же жест еще прежде, чем я кончил.

Я чувствовал, чем это пахнет. Но путей к отступлению уже не было.

— Я принесу вещи, — сказал я и ждал, ответит ли она, но она села в креслице, зеленое, как трава, и я понял, что она не скажет ни слова.

Этот первый день был ужасен. Эри не устраивала никаких демонстраций, не старалась умышленно меня избегать, а после обеда пробовала даже немного заниматься, — тогда я попросил разрешения побыть в ее комнате и смотреть на нее. Я обещал, что не отвлеку ее ни словом и не стану мешать, но уже через каких-нибудь пятнадцать минут (как я был догадлив!) я почувствовал, что мое присутствие тяготит ее, как невидимый груз, это выдавала линия ее плеч, ее мелкие, осторожные движения, скрытое напряжение; обливаясь потом, я убежал от нее и принялся шагать по своей комнате. Я еще не знал ее, но уже видел, что она далеко не глупа. При сложившейся ситуации это было одновременно и хорошо и плохо. Хорошо потому, что если она не понимала, то по крайней мере догадывалась, кто я, и не видела во мне варварского чудовища или дикаря. Плохо, потому что в этом случае совет, данный мне в последний момент Олафом, не имел смысла. Он процитировал мне известный афоризм из книги Хон: «Если женщина должна стать как пламень, мужчина должен быть как лед». Итак, он считал, что только ночью я могу рассчитывать на успех. Я не хотел этого и поэтому так отчаянно мучился и все же понимал, что в то короткое время, которое имеется в моем распоряжении, я не могу покорить ее при помощи слов, и, что бы я ни сказал, все останется снаружи, потому что это ни в чем не опровергает ее правоты, ее справедливого гнева, который проявился только один раз в коротком взрыве, когда она начала кричать: «Не хочу, не хочу!» И то, что она тогда так быстро взяла себя в руки, тоже казалось мне плохим признаком.

Вечером ее охватил страх. Я старался быть тише воды, ниже травы, как Вув, тот маленький пилот — самый абсолютный молчальник, какого я только знал, — который ухитрялся, ничего не говоря, сказать и сделать все, что хотел.

После ужина — она не ела ничего, и это повергло меня в какой-то ужас — я почувствовал, что во мне начинает нарастать гнев, так что минутами я почти ненавидел ее за собственные мучения, и безбрежная несправедливость этого чувства еще больше углубляла его.

Наша первая, настоящая ночь. Когда она заснула у меня на руках, разгоряченная, а ее порывистое дыхание начало переходить отдельными все более слабыми вздохами в забытьё, я был совершенно уверен, что сломил ее. Все время она боролась не со мной, а с собственным телом, которое я унавал от тонких ногтей, от маленьких пальцев, ладоней, ступней, каждую частичку и сгиб которых я как бы раскрывал и пробуждал к жизни поцелуями, дыханием, вкрадываясь в нее против ее воли, исподволь, с бесконечным терпением, так что переходы были почти незаметны, а когда я чувствовал нарастающее сопротивление, я отступал, начинал шептать ей сумасшедшие, бессмысленные, детские слова, потом снова умолкал, и только гладил, и ласкал ее, и чувствовал, как она раскрывается и как ее скованность переходит в экстаз последнего сопротивления, а потом она задрожала иначе, уже побежденная, но я все выжидал и только молчал, так как это было уже за пределами слов, чувствовал в темноте ее лежащие на постели тонкие руки и груди, левую грудь, потому что там билось сердце все быстрее, и она дышала все стремительней, все отчаянней... и свершилось. Это было даже не наслаждение, а страсть самоуничтожения и слияния, штурм тел, которые яростно слились на мгновение воедино, наши борющиеся дыхания, наш жар перешел в самозабвение; она крикнула один раз, слабо, высоким голосом и обняла меня. А потом ее руки отпустили меня, украдкой, как бы в огромном смущении, словно она вдруг поняла, как страшно я обманул ее и предал. А я начал все, поцелуи, немые мольбы, это нежное и такое чудовищное наступление еще раз. И все повторилось, как в черном горячечном сне, и я вдруг почувствовал, как рука, теребившая волосы, прижимает мое лицо с такой силой, какой я от нее не ожидал. А потом, смертельно усталая, быстро дыша, словно желая выдохнуть из себя бушевавший жар и неожиданный страх, она заснула. А я лежал неподвижно, как мертвый, напряженный до предела, и пытался понять, что означает прокшедшее, — все или ничего. Уже перед тем как заснуть, мне показалось, что мы спасены, и только теперь пришел покой, огромный покой, такой же, как на Кереее, когда я лежал на горячих плитах потрескавшейся лавы и Ардер лежал рядом и был без сознания, но я видел его губы, шевелящиеся за стеклом скафандра, и знал, что рисковал не напрасно, но у меня уже не было сил, чтобы хотя бы открыть ему кран

резервного баллона; я лежал тогда как парализованный, чувствуя, что крупнейшее дело моей жизни уже позади и если я умру, то уже ничто не изменится, и в этом моем оцепенении таился невысказанный молчаливый триумф.

А утром все началось сначала. Первые часы она еще стыдилась, а может быть, это было презрение ко мне, не знаю, или она сама себя презирала за то, что случилось; перед обедом мне удалось уговорить Эри на небольшую автомобильную прогулку. Мы ехали по шоссе вдоль огромных пляжей. Тихий океан лежал под солнцем — грохочущий колосс, рассеченный пенистыми серпами белых и золотых гребней, усеянный до самого горизонта цветными лоскутами парусов. Я остановил машину там, где пляж кончался, неожиданно переходя в небольшой скалистый обрыв. Шоссе резко сворачивало, и, стоя в метре от его края, можно было смотреть сверху прямо на бурный прибой. Мы вернулись к обеду. Снова все было как вчера, а во мне все замирало при мысли о ночи, потому что я не хотел. Так я не хотел. Когда я не смотрел на Эри, я ощущал на себе ее взгляды. Я пытался отгадать, что означают набегающие на ее лоб морщинки, внезапная задумчивость, и не знаю, как или почему, перед самым ужином, когда мы уже садились за стол, вдруг, словно кто-то раскрыл мне глаза, я понял. Мне захотелось стукнуть себя по лбу. Каким же я был эгоистичным глупцом, каким самообольщающимся негодяем! Я сидел, онемев, неподвижно, пот выступил у меня на лице, я почувствовал неожиданную слабость.

— Что с тобой?.. — спросила она.

— Эри, — прохрипел я. — Я... только сейчас. Клянусь тебе, сейчас понял, только сейчас, что ты пошла со мной, потому что боялась, что я... да?

Ее глаза расширились, она внимательно смотрела на меня, как бы подозревая какой-то обман, комедию. Потом кивнула.

Я вскочил.

— Едем.

— Куда?

— В Клавсстру. Собирай вещи. Мы будем там... — я взглянул на часы, — через три часа.

Она не пошевелилась.

— Правда?

— Правда, Эри! Я не знал. Да, понимаю. Это звучит невероятно. Но есть границы. Да, есть границы. Эри, я этого

еще как следует не понимаю. Как я мог? Наверно, я обманывал себя. Ну, не знаю, только все равно теперь это уже не имеет никакого значения.

Она собралась... так быстро... Во мне все пылало и кипело, но внешне я был совершенно, почти совершенно спокоен. Сев рядом со мной в машину, она сказала:

— Эл, прости.

— За что? А! — Я понял. — Ты думала, я знаю?

— Да.

— Ладно.

— Не будем об этом.

И опять я набрал скорость; убегали лиловые, белые, голубые домики, дорога извивалась, я увеличил скорость, движение по шоссе было большое, потом уменьшилось. Домики потеряли цвет, небо стало темно-голубым, показались звезды, а мы все мчались в протяжном свисте ветра.

Все вокруг посерело, холмы теряли четкость очертаний, превращались в контуры, в ряды серых горбов, дорога проступила из полумрака широкой, фосфоресцирующей полосой. Я узнал первые дома Клавестры, специфический поворот, живые изгороди. У самого входа я резко остановил машину, вынес ее вещи в сад к веранде.

— Не хочу... входить в дом. Понимаешь?

— Понимаю.

Я не хотел прощаться и отвернулся. Она коснулась моей руки, я вздрогнул, словно обожженный...

— Эл, благодарю тебя...

— Молчи. Ради бога, только молчи.

Я убежал. Вскочил в машину, дал газ, гул мотора как бы на минуту спас меня. Я вышел, уже на двух колесах, на прямую. Надо мной можно было смеяться. Конечно, она боялась, что я его убью. Ведь она видела, что я пытался убить Олафа, ни в чем не виновного, только за то, что он не позволил мне... а впрочем! Впрочем, ничего. Я кричал, мчался и кричал, я мог позволить себе все, я был один. Мотор заглушал мое безумие. И опять не знаю, когда я понял, что надо делать. И снова, как в первый раз, наступил покой. Уже не такой. Ибо то, что я так ужасно использовал ситуацию и вынудил ее пойти со мной, и что все было поэтому... это было самым худшим из всего, что я мог себе представить, это отнимало у меня даже воспоминания, память той ночи, отнимало все. Я сам, собственными руками, уничтожил это

в каком-то безграничном эгоизме, в ослеплении, которое закрыло от меня то, что было очевидным, что лежало на самой поверхности — ведь она не лгала, когда сказала, что не боится меня. Она боялась не за себя — боялась за него.

За стеклами летели огни, переливались, мягко отходили назад, мир вокруг был невыразимо прекрасен, а я, истерзанный, разбитый, летел, свистя шинами, из одного виража в другой к Тихому океану, к скалам. Неожиданно, когда машина наклонилась сильнее, чем я ожидал, и вышла правыми колесами за край дороги, я испугался, это длилось мгновение, потом я разразился диким хохотом: неужели я боюсь погибнуть тут только потому, что решил сделать это в другом месте; этот хохот неожиданно перешел в рыдания. Я должен сделать это быстро, думал я, потому что я уже не тот. То, что со мной делается, более чем страшно, это отвратительно. Я твердил себе, что мне должно быть стыдно, но слова не имели ни веса, ни смысла. Было уже совершенно темно, шоссе почти опустело — ночью мало кто ездил, — когда я увидел недалеко за собой черный глидер. Он шел легко и без усилия там, где я вынужден был выделять дикие трюки тормозами и газом. Глидеры держатся на дороге силой магнитного и гравитационного притяжения или черт знает чем еще. Во всяком случае, он мог опередить меня без особого труда, но держался позади метрах в восьмидесяти, то немного ближе, то дальше. На резких поворотах, когда машину заносило и меня отбрасывало влево, он отставал, не думаю, чтобы не мог выдержать темпа. Может быть, водитель боялся. Впрочем, там не было никакого водителя. Но какое мне дело до этого глидера?

А дело все-таки было, потому что я чувствовал, что он висит у меня на хвосте не случайно. И вдруг мне пришло в голову, что это Олаф, Олаф, который, не доверяя мне ни на грош (и правильно), затаился где-то и выжидал развития событий. И при мысли, что там мой избавитель, мой дорогой, старый Олаф, который опять не даст мне сделать того, что я хочу, и будет мне старшим братом, утешителем, меня охватила такая ярость, такое бешенство, что несколько секунд я вообще не разбирал дороги.

«Какого дьявола меня не оставляют в покое?!» — подумал я и начал выжимать из машины последние возможности, последние крупички, словно бы не знал, что глидер все равно может идти вдвое быстрее. Так мы мчались в ночи, между



холмов, усыпанных огоньками, а сквозь дикий свист рассеяемого воздуха уже был слышен невидимый, распростертый впереди огромный, словно выплывающий из бездонных пропастей шум океана.

«Ну и догоняй, — думал я. — Догоняй. Ты не знаешь того, что знаю я. Ты следишь за мной, преследуешь меня, не даешь мне покоя — прекрасно; но я перехитрю тебя, выскользну, убегу, ты и моргнуть не успеешь; а ты сколько ни бейся, ничего не сможешь сделать, потому что глидер не сойдет с шоссе. Так что даже в последнюю минуту у меня будет чистая совесть. Очень хорошо!!»

Я как раз проезжал мимо домика, в котором мы жили, — три его освещенных окна сверкнули мне в лицо, словно затем, чтоб доказать, что нет такой муки, которую нельзя еще больше углубить, и я вышел на последний отрезок шоссе, параллельный океану. Тогда глидер, к моему изумлению, резко увеличил скорость и стал меня обходить. Я быстро закрыл ему путь, подавшись влево. Он отстал, и так мы маневрировали: как только он хотел выйти вперед, я загоразживал машиной левую полосу — так, наверное, раз пять. Неожиданно, несмотря на мои маневры, он начал меня опережать, кузов машины почти вплотную коснулся черной блестящей поверхности безоконного, как бы безлюдного снаряда; я уже не сомневался, что это Олаф, потому что никто другой не осмелился бы сделать подобного, — но ведь не мог же я убить Олафа. Не мог. И я пропустил его. Он вышел вперед, мне показалось, что теперь он пытается загородить мне путь, но он продолжал держаться метрах в пятнадцати перед моим капотом. Ну, подумал я, это мне не мешает. И я немного притормозил, со слабой надеждой, что, может быть, он оторвется, но он не хотел отдаляться и тоже притормозил. До последнего поворота у скал оставалось около мили, когда глидер пошел еще медленнее: теперь он держался середины шоссе, так, что я не мог его обогнать. Я подумал, что, может быть, мне удастся уже сейчас, но тут не было никаких скал, только песчаный пляж, машина зарылась бы колесами в песок через сто метров, даже не дойдя до океана, — такое идиотство не входило в мои расчеты. Выхода не было, приходилось ехать дальше. Глидер еще больше замедлил скорость, я видел что он вот-вот остановится: его черный корпус засверкал от тормозных огней будто залитый горячей кровью. В ту же минуту я попытался обойти его рез-

ким поворотом, но он преградил мне путь. Он был быстрее и поворотливее — ведь им командовал автомат. У автомата всегда реакция быстрее. Я нажал ногой тормоз, слишком поздно, послышался дикий скрежет, черная масса выросла перед самым стеклом, меня бросило вперед, и я потерял сознание.

Я открыл глаза, как после сна, бредового сна. Мне снилось, что я плаваю. Что-то холодное, мокрое текло у меня по лицу, я почувствовал чьи-то руки, они трясли меня, и услышал чей-то голос.

— Олаф, — пробормотал я. — Зачем, Олаф? Зачем?..

— Эл!!

Меня словно пронзило током, я приподнялся на локте и прямо над собой увидел ее лицо, и, когда я сел, обалдевший, неспособный соображать, она медленно опустилась передо мной на колени, плечи ее судорожно вздрагивали, а я все еще не верил. Голова у меня была огромная, как будто ватная.

— Эри, — сказал я онемевшими губами, странно большими, тяжелыми и какими-то не моими. — Эри... Это ты... или мне только...

Неожиданно силы вернулись ко мне, я схватил ее за плечи, поднял, вскочил, закружился на месте с ней — мы оба упали на еще теплый мягкий песок. Я целовал ее соленое, мокрое лицо и плакал, впервые в жизни. И она плакала. Мы долго не говорили ничего. Постепенно мы начали как будто бояться — не знаю чего, — она всматривалась в меня глазами лунатика.

— Эри, — повторял я. — Эри... Эри... — и ничего больше.

Почувствовав неожиданную слабость, я лег на песок, а она, испугавшись, пробовала приподнять меня, но у нее не хватило сил.

— Нет, Эри, — шептал я, — нет, ничего страшного, это просто так...

— Эл! Говори! Говори!

— Что говорить?.. Эри...

Мой голос немного успокоил ее. Она побежала куда-то, вернулась с плоской флягой и опять полила мне лицо водой. Вода была горькой: это была вода океана. «Я собирался глотнуть ее намного больше», — мелькнуло у меня в сознании: я заморгал. Приходил в себя. Сел и потрогал голову.

Я даже не был ранен, волосы смягчили удар, на голове появилась только шишка величиной с апельсин, немного поцарапана кожа, здорово шумело в ушах, но в общем все было в порядке. Я попробовал подняться, но ноги как-то не очень слушались.

Она стояла передо мной на коленях, глядя на меня, опустив руки.

— Это ты? Правда? — спросил я: только теперь я понял. Я резко повернулся и, почувствовав головокружение, вызванное этим движением, увидел при свете молодого месяца в нескольких метрах от нас, на краю шоссе два сцепившихся черных силуэта. Когда я снова взглянул на нее, у меня захватило дыхание.

— Эл...

— Да?

— Попробуй встать... я помогу тебе...

— Встать?

Видимо, с головой у меня было еще не все в порядке. Я и понимал, что произошло, и не понимал. Так, значит, в глйдере была Эри? Но это невозможно!

— Где Олаф? — спросил я.

— Олаф? Не знаю.

— Как?... Разве его тут не было?

— Нет.

— Ты одна?

Она кивнула.

И вдруг я ужасно, нечеловечески испугался.

— Как ты могла! Как ты могла!

Ее лицо дрожало, губы тряслись, она с трудом произнесла:

— Я... не могла иначе...

Она опять плакала. Постепенно утихла, успокоилась. Потрогала мое лицо, лоб. Легкими прикосновениями ощупывала мою голову, а я повторял, одним дыханием:

— Эри... это ты?

Потом я медленно встал, она, как могла, поддерживала меня; мы дошли до шоссе. Только там я увидел, как выглядела машина; капот, весь перед, все сплющилось в гармошку. Зато глидер почти не был поврежден — только теперь я осознал его превосходство — ничего, кроме небольшой вмятины сбоку, там, куда пришелся основной удар.

Эри помогла мне забраться в глидер, вывернула его так,

что корпус моей машины, протяжно грохоча железом, свалился набок. Мы возвращались. Я молчал;плыли огни. Голова качалась на плечах, все еще огромная и тяжелая. Мы остановились перед домиком. Окна были освещены, словно мы никогда и не уезжали. Она помогла мне войти. Я лег. Она, обогнув стол, направилась к двери.

Я вскочил.

— Ты уходишь?

Она подбежала ко мне, опустилась на колени перед кроватью и отрицательно покачала головой.

— Нет?

— Нет.

— И никогда не уйдешь?

— Никогда.

Я обнял ее. Она прижалась щекой к моему лицу, а из меня уходило все: остывающая накипь гнева, ярости и безумия последних часов, страх, отчаяние. Я лежал опустошенный, словно мертвый, и только прижимал ее все сильнее, и силы будто возвращались ко мне, и была тишина, свет блеснул в золотой обивке комнаты, а где-то далеко, как бы в ином мире, за открытыми окнами шумел Тихий океан.

Это может показаться странным, но мы ничего не говорили ни в тот вечер, ни в ту ночь. Ничего, ни одного слова. Только на завтра, к концу дня я узнал, как это было: едва я уехал, она догадалась обо всем и ужаснулась. И не знала, что делать. Сначала хотела позвать белого робота, но поняла, что это не поможет; он тоже — она не называла его иначе, — он бы тоже не помог. Может быть, Олаф. Олаф наверняка, но она не знала, где его искать, впрочем, уже не было времени. Тогда она взяла домашний глидер и поехала за мной. Быстро догнала меня и держалась позади, пока еще можно было надеяться, что я возвращаюсь в домик.

— Ты бы пришла туда? — спросил я.

Она колебалась.

— Сама не знаю. Думаю, что да. Сейчас я так думаю, но сама не знаю.

Потом, увидев, что я еду дальше, она испугалась еще больше. Остальное я знал.

— Нет. Ничего не понимаю, — сказал я. — Вот теперь я действительно не понимаю. Как ты могла это сделать?

— Я сказала себе, что... что ничего не случится.

— Ты понимала, что я хочу сделать и где?

— Да.

— Как ты догадалась?

После долгого молчания она ответила:

— Не знаю. Может быть, потому, что я уже немного узнала тебя.

Я молчал. Мне хотелось еще о многом спросить ее, но я не смел. Мы стояли у окна. Не раскрывая глаз, ощущая дыхание океана, я сказал:

— Ну хорошо, Эри... а что теперь? Что будет?

— Я уже сказала.

— Но я не хочу так... — шепнул я.

— Иначе невозможно, — ответила она после долгого молчания. — Да и...

— Что?

— Я не хочу иначе.

В этот день, к вечеру, снова стало как будто хуже. Оно возвращалось и подступало и отступало — почему? Не знаю. И она, наверное, тоже не знала. Словно мы сближались только перед лицом опасности и только тогда узнавали и по-настоящему могли понять друг друга. Потом пришла ночь. И еще один день.

А на четвертый день я слышал, как она разговаривает по телефону, и ужасно испугался. Потом она плакала. Но за обедом уже улыбалась.

И это был конец и начало. Потому что через неделю мы поехали в Мае, центр округа, и там, в управлении, перед одетым в белое человеком, произнесли формулы, которые сделали нас мужем и женой. В тот же день я телеграфировал Олафу. Назавтра пошел на почту, но от него не было ничего. Я подумал, что он, может быть, переехал куда-нибудь и поэтому ответ запоздал. Но честно говоря, уже тогда, на почте, я почувствовал беспокойство, потому что это молчание не было свойственно Олафу, но из-за всего, что произошло, я думал об этом всего минуту и не сказал Эри ни слова. Как будто забыл.

## VI

Наш брак, заключенный только благодаря моему неистовству, оказался неожиданно удачным. В нашей жизни произошел довольно своеобразный раздел. Когда возникало рас-

хождение во взглядах, Эри умела отстаивать свою точку зрения, но в таких случаях речь шла о вопросах общего характера; она была, например, убежденной сторонницей бетризации и отстаивала ее отнюдь не книжными аргументами. То, что она противопоставляла свое мнение мосму так открыто, я считал хорошим признаком, но наши споры происходили днем. Засветло она не решалась, вернее, не хотела говорить обо мне беспристрастно, спокойно. Видимо, она не знала, когда ее слова будут относиться только ко мне, к моим личным недостаткам, будут уязвлять лишь мелочную гордость «человека из консервной банки», если пользоваться выражением Олафа, а когда будут направлены уже против самой сущности моей эпохи. Зато по ночам — как бы потому, что мрак несколько затушевывал меня, — она говорила обо мне, то есть о нас, и я был рад этим тихим беседам в темноте, милостиво скрывавшей то и дело прорывавшееся у меня изумление.

Она рассказывала и о себе, о своем детстве, и я во второй, а вернее, в первый раз — потому что теперь это было полностью реальным, человеческим содержанием — узнавал, как искусно было построено это общество непрерывной, тонко стабилизированной гармонии. Считалось естественным, что воспитание детей требует высокой квалификации и всесторонней подготовки, даже специального обучения; чтобы получить разрешение завести ребенка, супруги должны были сдавать что-то вроде экзаменов; вначале это показалось мне весьма странным, но, подумав, я вынужден был признать, что парадоксальность обычаев отягощала скорее нас, а не их, — в старом обществе нельзя было, например, строить дом, мост, лечить болезни, наконец, просто выполнять административную работу, не имея соответствующего образования, и только наиболее ответственное дело — рождение детей, фермирование их психики — было отдано на произвол слепого случая и минутного желания, а общество вмешивалось лишь тогда, когда ошибки — если они были совершены — уже поздно было исправлять.

Таким образом, право иметь ребенка стало теперь особым отличием, его давали не всякому; дальше — родители не могли изолировать детей от их сверстников — создавались специально подобранные смешанные группы девочек и мальчиков, в которых были представлены различнейшие темпераменты; так называемые «трудные дети» подвергались

дополнительным гипнологическим процедурам, а всеобщее обучение начиналось необычайно рано. Это не была наука чтения и письма: чтению и письму учили куда позже; специальное воспитание самых маленьких состояло в том, что их знакомили — при помощи специальных игр — с устройством и жизнью мира и Земли, с богатством и разнообразием форм общественной жизни; таким естественным образом уже в четырех-пятилетнем возрасте детям прививались принципы терпимости и уважения к другим мнениям и точкам зрения, правила общежития, внушалась несущественность внешних, физических черт. Все это я, конечно, одобрял, но с одной, весьма существенной оговоркой. Ведь незыблемой основой этого мира, его Высшим законом была бетризация. Воспитание было направлено именно к тому, чтобы принимать ее как реальность, подобную рождению или смерти. Слыша от Эри, как преподают в школе историю минувших эпох, я едва сдерживал ярость. В современной трактовке это были времена зверства и варварского, безудержного размножения, бурных экономических и военных катастроф, а достижения цивилизации, которые невозможно было замолчать, изображались ими как проявление тех сил и стремлений, которые позволяли людям побеждать тьму и жестокость эпохи; таким образом эти достижения пробивали себе путь как бы вопреки господствовавшей тогда тенденции жизни за счет других. То, говорили они, что раньше достигалось с величайшим трудом, чего могли добиться только немногие, к чему раньше вела дорога, полная опасностей, самоотречений, компромиссов, моральных поражений, все это теперь является всеобщим, доступным и надежным.

Пока эти рассуждения затрагивали многочисленные отрицательные стороны прошлого — например, войну, — я готов был согласиться; я также признавал достижением, а не недостатком отсутствие — полное! — всякой политики, всех этих столкновений, напряжений, международных конфликтов. Это было настолько удивительно, что я вначале подозревал, что они существуют, только просто замалчиваются; гораздо хуже было, когда эта переоценка касалась моих личных дел. Потому что не только Старк своей книгой (написанной, добавляю, за полвека до моего возвращения) перечеркивал космические путешествия. Тут Эри, аспирантка-археолог, могла научить меня многому. Уже первые бетризованные поколения коренным образом изменили свои

взгляды на астронавтику, но, хотя отношение к ней стало отрицательным, она продолжала будоражить умы. Считалось, что была совершена трагическая ошибка, достигшая кульминации как раз в годы подготовки нашего полета, так как именно в ту пору подобные экспедиции отправлялись одна за другой; ошибка состояла не только в том, что результаты этих экспедиций оказались ничтожными, а полеты в околосолнечном пространстве в радиусе нескольких световых лет сверх открытия на нескольких планетах примитивных и совершенно чуждых нам форм жизни не привели к контакту ни с одной высокоразвитой цивилизацией.

Наихудшим считалось даже не то, что по мере удаления намеченных целей от Солнца чудовищная продолжительность полета должна была превратить экипажи кораблей, этих посланцев и представителей Земли, в скопище несчастных, смертельно уставших существ, которые после высадки — на Земле или ТАМ — будут нуждаться в заботливом уходе и в длительном лечении, так что посылка этих энтузиастов превратилась бы в бессмысленную жестокость; нет, не это считалось самым страшным. Наиболее существенным считали то, что Космосом старалась овладеть Земля, та самая Земля, которая не сделала еще всего для себя самой, ведь никакие космические подвиги не могли покончить с человеческими мучениями, с несправедливостью, страхом и голодом на земном шаре.

Но так рассуждало только первое бетризованное поколение, а потом, естественно, наступило забвение и безразличие; дети, узнавая о романтической эпохе астронавтики, поражались ей, быть может, даже чуточку боялись своих непонятных предков, столь же чуждых и загадочных, как их прапрадеды, запутавшиеся в грабительских войнах и походах за золотом. Именно это безразличие изумляло меня больше всего, потому что оно было хуже безоговорочного осуждения. То, ради чего мы готовы были отдать жизнь, теперь окружено молчанием, похоронено и предано забвению.

Эри не торопилась обратить меня в свою веру, не пыталась сделать меня энтузиастом нового мира. Просто говоря о себе, она рассказывала о нем, а я — именно потому, что она говорила о себе и собою свидетельствовала о нем, — не мог просто так отмахнуться от его достоинств.

Их цивилизация была лишена страха. Все, что существовало, служило людям. Ничто не имело значения, кроме их



удобств, удовлетворения и насущнейших, и наиболее изысканных потребностей. Всюду, во всех областях, где сам человек, ненадежность его эмоций, медлительность реакций могли создать хотя бы минимальный риск, он был заменен мертвыми устройствами, автоматами.

Это был мир, закрытый для опасности. Угрозе, борьбе, насилию в нем не было места: мир кротости, мягких форм и обычаев, конфликтов неострых, ситуаций недраматических, мир столь же поразительный, пожалуй, как моя или наша (я имею в виду Олафа) реакция на него.

Ведь мы в течение десяти лет хлебнули столько ужасов, всего того, что противно естеству человека, что ранит его и ломает, и возвращались, такие сытые этим, сытые по горло; ведь каждый из нас, скажи ему кто-нибудь, что возвращение запаздывает, что впереди новые месяцы пустоты, перегрыз бы, наверное, говорящему глотку. И вот мы, уже не имевшие сил переносить постоянный риск, слепую вероятность метеоритного попадания и это вечное напряженное ожидание и муки, когда какой-нибудь Ардер или Эннессон не возвращался из разведывательного полета, — мы вдруг начинали ссылаться на это время ужаса, как на что-то единственно истинное, настоящее, придающее достоинство и смысл нашему существованию. А ведь я еще и теперь содрогался, вспомнив, как, сидя, лежа, вися в самых странных позах в круглой радиокабине, мы ждали и ждали в тишине, прерываемой только мерным звучанием позывных корабля, и видели, как в мертвом голубом свете капли пота стекают со лба радиотелеграфиста, застывшего в таком же ожидании, в то время как аварийные часы неслышно отсчитывали секунды, минуты, так что наконец тот миг, когда стрелка касалась красной точки диска, приносил облегчение. Да, облегчение... потому что тогда наконец можно было кинуться на поиски и погибнуть самому, а это действительно казалось легче, чем ожидание. Мы, пилоты, не ученые, были старыми волками, наше время остановилось еще за три года до настоящего старта. Все эти три года нас приучали ко все возрастающим психическим перегрузкам. Они проводились в три основных этапа, которые мы коротко называли Прессом, Дворцом Духов и Коронацией.

Дворец Духов. Человека запирали в небольшой камере, так изолированной от мира, как только можно себе представить. Туда не проникал ни один звук, ни луч света, ни атом

воздуха, ни родившееся снаружи колебание. Похожая на небольшую ракету капсула была оборудована фантоматической аппаратурой, снабжена запасами воды, продовольствия и кислорода. И в ней нужно было жить в бездействии, в томительном ожидании месяц, казавшийся вечностью. Ни один человек не выходил оттуда таким же, каким вошел. Мне, одному из самых крепких подопечных доктора Янсена, только на третью неделю начали чудиться те странные вещи, которые подстерегали других уже на четвертый, пятый день: безликие чудовища, бесформенные толпы, выползающие из мертвенно светящихся приборных щитков, чтобы вести со мной бессвязные разговоры, висеть над моим вспотевшим телом, а оно в это время расплывалось, изменялось, разрасталось, наконец — и это было, пожалуй, самое ужасное — начинало как бы обособливаться: сначала подергивались отдельные волокна мышц, затем появились раздражения и онемения, судороги, потом какие-то движения, которые я уже наблюдал словно совсем со стороны, ничего не понимая; и если бы не предварительная тренировка, если бы не теоретические указания, я готов был бы считать, что моими руками, шеей, головой овладели демоны. Стены капсулы становились свидетелями сцен, которые невозможно описать, назвать; Янсен и его люди с помощью соответствующих аппаратов наблюдали за тем, что делалось внутри, но никто из нас тогда об этом не знал. Ощущение изоляции должно было быть подлинным и полным. Исчезновение некоторых ассистентов доктора было для нас непонятным. Уже во время полета Гимма сказал мне, что они просто не выдерживали. Один, некто Гоббек кажется, пытался силой открыть капсулу, потому что не мог больше смотреть на муки запертого в ней человека.

Но это был всего лишь Дворец Духов. Потом следовал Пресс, с его качелями и центрифугами, с адской ускорительной машиной, которая могла дать 400 g — ускорение, разумеется никогда не применявшееся, потому что оно превратило бы человека в мокрое место, но и ста g было достаточно, чтобы в долю секунды спина испытуемого стала липкой от выдавленной через кожу крови.

Третье испытание, Коронацию, я прошел совершенно нормально. Это было уже последнее решето, последняя ступень отсева. Аль Мартин, парень, который тогда, на Земле, выглядел, как я сегодня — колосс, глыба железных

мускулов, олицетворение спокойствия, — вернулся с Коронации на Землю в таком состоянии, что его сразу вывели из Центра.

Эта Коронация была очень простой штукой. Человека одевали в скафандр, выводили на орбиту и на высоте около ста тысяч километров, там, где Земля светила, как пятикратно увеличенная Луна, выбрасывали из ракеты в пустоту, а сами улетали. И надо было висеть в пустоте, болтая руками и ногами, и ждать их возвращения, спасения; скафандр был надежный, удобный, имел кислородную аппаратуру, климатизацию, обогревался каждые два часа, кормил человека питательной пастой, выжимаемой из специального мундштука. Так что ничего страшного не могло случиться, разве что испортился бы прикрепленный снаружи к скафандру автоматический пеленгационный передатчик. В этом скафандре не было только одной необходимой вещи — радиосвязи, не было умышленно, разумеется, так что в нем нельзя было услышать ни одного голоса, кроме собственного. Среди этой нематериальной черноты и звезд надо было ждать. Довольно долго, правда, но не бесконечно. И это все.

Да, но люди сходили от этого с ума; на ракету Базы их втаскивали извивающимися, в каких-то эпилептических конвульсиях. Это было наиболее противно самому естеству человека — абсолютное уничтожение, потеря себя, смерть в полном сознании, это было знакомство с вечностью, которая проникала в человека и давала ему почувствовать свой чудовищный вкус. Представление о бесконечной бездне внеземного существования, всегда считавшейся невероятной, непостижимой, становилось нашим уделом; бесконечное падение, звезды между ненужными, извивающимися ногами, бесполезность, ненужность рук, губ, жестов, всякого движения и неподвижности, в скафандрах нарастал крик, несчастные выли... Хватит?

Довольно вспоминать то, что было только проверкой, прелюдией, продуманной и разыгранной с величайшей предусмотрительностью: ни один «коронованный» в физическом смысле не пострадал; всех отыскала ракета Базы. Правда, нам даже этого не говорили, чтобы реальность ситуации была по возможности максимальной.

Я прошел Коронацию прекрасно, потому что у меня была своя система. Очень простая, но не очень честная: этого нельзя было делать. Когда меня выкинули из люка, я закрыл

глаза. Потом размышлял о разных вещах. Единственное, что требовалось, — воля. Ты должен был сказать себе, что не откроешь своих несчастных глаз, что бы ни случилось. Янссен, мне кажется, знал о моей выдумке. Однако это не имело для меня никаких последствий. Может быть, он считал, что я действовал правильно?

Но все это происходило на Земле или вблизи нее. Потом пришла уже не выдуманная и не искусственно созданная в лаборатории пустота, которая убивала всерьез и которая иногда милостиво позволяла уцелеть Олафу, Гимме, Турберу, мне, тем семерым с «Одиссея», — и даже позволила нам вернуться. А после этого мы, ничего не жаждавшие так, как покоя, увидев нашу мечту идеально осуществленной, тут же почувствовали к ней отвращение. Кажется, Платон сказал: «Несчастный, ты получишь то, что хотел».

## VII

Как-то ночью, очень поздно, мы лежали, измученные любовью. Эри прикорнула у меня на руке. Подняв глаза, я мог видеть через открытое окно звезды в просветах туч. Ветра не было, занавеска застыла белесым призраком, по открытому океану шла мертвая волна, и до меня долетал предшествующий ей протяжный рокот, а потом порывистый гул, с которым она ломилась на пляжи; на несколько ударов сердца наступала тишина, и снова невидимые волны обрушивались в темноте на отлогий берег. Но я почти не слышал этого мерно повторяющегося напоминания о том, что за окном Земля, и широко раскрытыми глазами всматривался в Южный Крест. Бета Креста была нашим проводником, и каждый новый день на «Прометее» я начинал с ее измерений, так что вскоре производил их уже совершенно автоматически, поглощенный другими мыслями. Она вела нас безотказно — никогда не угасающий маяк пустоты. Я и сейчас почти физически ощущал в руках металлические рукоятки, которые передвигал, чтобы светящуюся точку, острие тьмы, ввести в центр поля зрения окуляра, большой резиновый обруч которого охватывал мне лоб и щеки. Эта звезда, одна из самых дальних, почти не изменилась даже у самой цели, светя с одинаковым бесстрашием и тогда, когда весь Южный Крест давно уже распался и перестал для нас существовать, ибо мы втор-

глись в глубь его ветвей, и тогда наконец эта белая точка, этот звездный гигант перестал быть для нас тем, чем казался вначале — вызовом; его неизменность показала нам свое истинное значение. Звезда была свидетельством ничтожности нашего замысла, равнодушия пустоты, с которым никто никогда не сможет примириться.

Но сейчас, пытаясь в перерыве между двумя вздохами океана уловить дыхание Эри, я почти не верил в это. Я мог твердить про себя: «Я там был, я там действительно был», — но это несколько не уменьшало моего безграничного изумления. Эри вздрогнула. Я хотел подвинуться, дать ей больше места, и вдруг почувствовал на себе ее взгляд.

— Ты не спишь? — прошептал я и наклонился, чтобы губами коснуться ее губ, но она положила мне на губы кончики пальцев. Держала их так минуту, потом скользнула рукой вдоль моей шеи к груди, обвела твердое углубление между ребер, прижала к нему ладонь.

— Что это?

— Шрам.

— Откуда?

— Так, случайность.

Она замолчала. Я чувствовал, что она смотрит на меня. Подняла голову. Ее глаза были совершенно темные, без блеска, я различал лишь белый контур плеча, поднимающегося в такт дыханию.

— Почему ты не говоришь мне ничего? — прошептала она.

— Эри?..

— Почему ты не хочешь рассказать?

— О звездах? — неожиданно понял я. Она молчала. Я не знал, что сказать.

— Думаешь, я не пойму?

Я смотрел на нее сквозь мрак, сквозь шум океана, который то заполнял, то покидал комнату, и не знал, как объяснить ей это.

— Эри...

Я хотел ее обнять. Она высвободилась и села на кровати.

— Можешь не рассказывать, если ты хочешь. Но объясни почему?

— Не знаешь? Ты правда не понимаешь?

— Теперь уже знаю. Ты хотел меня... пощадить?

— Нет. Просто я боюсь.

— Чего?

— Сам толком не знаю. Не хочу в этом копаться. Я ничего не зачеркиваю. Да это, пожалуй, и невозможно. Но рассказывать — значит, мне кажется, замкнуться в этом, уйти от всех, от всего, от того, что есть... сейчас.

— Понимаю, — сказала она тихо. Бледное пятно ее лица исчезло, она опустила голову. — Думаешь, я считаю это бессмысленным...

— Нет, нет, — пытался я перебить ее.

— погоди. Теперь я. То, что я думаю об астронавтике и что сама я никогда не покинула бы Землю, — это одно. Но это не имеет ничего общего с тобой и со мной. Вернее, имеет: потому что мы вместе. Иначе не были бы никогда. Для меня астронавтика — это ты. Поэтому мне так хотелось бы... но ты не обязан. Если все так, как ты говоришь. Если ты так чувствуешь.

— Хорошо, я расскажу.

— Но не сегодня.

— Сегодня.

— Ляг.

Я опустился на подушку. Она встала, на цыпочках подошла к окну, белея в темноте. Задержала занавеску. Звезды исчезли, остался только протяжный, настойчивый шум океана. Я уже почти ничего не различал в темноте. Движение воздуха выдало ее шаги, постель прогнулась.

— Ты видела когда-нибудь корабль класса «Прометей»?

— Нет.

— Он очень большой. На Земле он весил бы свыше трехсот тысяч тонн.

— А вас было так мало?

— Двенадцать. Том Ардер, Олаф, Арне, Томас — пилоты. Ну и я. И семь человек ученых. Но если ты думаешь, что там было просторно, ты ошибаешься. Девять десятых массы — горючее. Фотореакторы. Склады, запасы, резервные системы — на жилую часть приходилось совсем немного. У каждого из нас была кабина, не считая общих. В центральной части корпуса — штурманская. Малые ракеты для посадки и ракеты-зонды еще меньшего размера — для взятия проб короны...

— Ты был над Арктуром — в такой?

— Да. И Ардер тоже.

— А почему вы не полетели вместе?

— В одной ракете? Это уменьшает шансы.

— Почему?

— Зонд — это главным образом охлаждение, понимаешь? Этаким летающий холодильник. Места ровно столько, чтобы человек мог сесть. Сидишь в ледяной скорлупе. Лед тает со стороны панциря и снова скапливается на трубах. Компрессоры могут отказать. Достаточно минуты — и конец, потому что снаружи восемь, десять или двенадцать тысяч градусов. Если компрессоры откажут в двухместной ракете, погибнут двое. А так — только один. Понимаешь?

— Понимаю.

Она держала руку на шраме.

— Это... случилось там?

— Нет. Эри... может быть, лучше рассказать о чем-нибудь другом?

— Хорошо.

— Только не думай... этого никто не знает.

— Этого?..

Шрам под теплом ее пальцев как бы начинал оживать.

— Да.

— А Олаф?

— Олаф тоже. Никто. Я обманул их, Эри. Я должен тебе сказать. Я слишком далеко зашел... Эри... это было на шестой год. Мы уже возвращались, но внутри облака нельзя идти быстро. Это величественная картина, чем быстрее идет корабль, тем сильнее люминесцирует облако. За нами тянулся хвост — не такой, как у кометы, скорее как полярное сияние — раскинувшийся по бокам, в глубь неба, к альфе Эридана, на тысячи и тысячи миль... Ардера и Эннессона уже не было. Вентури тоже. Я всегда просыпался в шесть утра, когда освещение переходило из голубого в белое. Услышал Олафа, он говорил из рубки управления. Он заметил что-то интересное. Я пошел вниз. Радар показывал пятнышко, немного в стороне от курса. Пришел Томас, и мы гадали, что это может быть. Для метеорита оно было слишком велико, к тому же метеориты никогда не ходят в одиночку. На всякий случай мы сбавили скорость еще больше. Это разбудило остальных. Когда они пришли, помню, Томас шутил, что это наверняка корабль. Так не раз говорили. В пространстве должны быть корабли других систем, но легче встретиться двум комарам, выпущенным на противоположных полушариях Земли. Мы уже были на выходе из этого холодного пы-

левого облака, пыль настолько поредела, что невооруженным глазом уже можно было различить звезды шестой величины. Пятнышко оказалось планетоидом. Что-то вроде Весты. Примерно четверть биллиона тонн — может, чуть больше. Исключительно правильный, почти шар. Редкость. Он был у нас по курсу в двух миллипарсеках. Шел с космической скоростью, а мы за ним. Турбер спросил, можем ли мы подойти ближе? Я сказал, что можем, на четверть микропарсека.

Мы приблизились. В телескопе он напоминал дикобраза — шар, оцетинившийся иглами. Диковинка — хоть прямо в музей. Турбер начал спорить с Белем, тектонического ли он происхождения. Томас вставил, что это можно проверить. Никакой затраты энергии, мы все равно еще не начали разгона. Он-де полетит, возьмет несколько осколков и вернется. Гимма колебался. Времени у нас хватало, даже имелся резерв. В конце концов согласился. Наверное, потому, что там был я. Хотя я молчал. Может быть, именно поэтому. Между нами сложились такие отношения, но об этом как-нибудь потом. Мы заспорили; этот маневр требует некоторого времени; пока мы маневрировали, планетка удалась, мы держали ее на радарх. Я немного нервничал, потому что с того момента, как мы повернули к Земле, нас преследовали неудачи. Аварии глупые, но трудно устранимые и возникавшие как бы без всякого видимого повода. Я не считаю себя суеверным, хотя и верю, что, как говорится, беда никогда не приходит одна. Однако у меня не хватало доказательств. Это выглядело по-детски, и все же я сам проверил двигатель Томаса и сказал ему, чтобы он был осторожен. Пыль.

— Что?

— Пыль. В пределах холодного облака планетоид действует как пылесос, понимаешь? Собирает пыль из пространства, в котором кружит. Времени для этого у него достаточно. Пыль оседает слоями, так что может увеличить его объем раза в два. Но достаточно дунуть дюзам или даже топнуть покрепче, и пыль взлетает и остается висеть. Казалось бы, мелочь, но сквозь нее ничего не видно. Ну, я ему об этом и сказал. Впрочем, Томас и сам знал не хуже меня. Олаф выпустил его из бортовой катапульты, я пошел наверх в штурманскую и повел его. Видел, как он подходил, как маневрировал, повернул ракету и ровненько, словно по ниточке, стал



опускаться на поверхность. Тогда я, конечно, потерял его из вида, хотя до него было не больше трех миль.

— Ты видел его в радаре?

— Нет. В телескоп. Инфракрасный. Но мы разговаривали с ним все время. По радио. И только я подумал, что давно не видел, чтобы Томас так осторожно садился — мы все стали чертовски осторожными с тех пор, как повернули к Земле, — как вдруг я заметил небольшую вспышку, и темное пятно начало расползаться по поверхности планетоида. Гимма, стоявший рядом со мной, крикнул. Он думал, что Томас в последний момент, чтобы притормозить падение, ударил огнем, понимаешь. Дают один моментальный удар, только, конечно, не в таких условиях. Я-то знал, что Томас никогда бы этого не сделал. Это была молния.

— Молния? Там?

— Да. Видишь ли, каждое тело, движущееся с большой скоростью в облаке, заряжается от трения статическим электричеством. Между «Прометеем» и этой планетой имела разница потенциалов в несколько миллиардов вольт. Когда Томас садился, проскочила искра. Это и была та вспышка, а от резкого повышения температуры пыль взметнулась вверх, и спустя минуту весь диск был уже затянут тучей. Мы не слышали Томаса — его радио только потрескивало. Я был в ярости, больше на себя, что не учел этого. Ракета снабжена специальными кольцевыми токоотводами, и заряд должен был спокойно уйти. Но не ушел. Конечно, случаются разряды, но не такие. Этот был исключительной мощности. Гимма спросил меня, когда, по моему мнению, туча оседет. Турбер не спрашивал ни о чем. Было ясно, что нужно время. Много суток.

— Сутки?

— Да. Тяготение там чрезвычайно слабое. Камень, выпущенный из руки, падает иногда несколько часов. А что уж говорить о пыли, выброшенной на сотни метров вверх?! Я сказал Гимме, чтобы он занялся своими делами, потому что придется ждать.

— И ничего нельзя было сделать?

— Ничего. То есть если бы я был уверен, что Томас сидит в ракете, я мог бы рискнуть. Повернул бы «Прометей», подошел и дунул в дюзы с близкого расстояния полной тягой, чтобы эта пакость разлетелась на всю Галактику, но у меня не было такой уверенности. А искать его?.. Поверхность пла-

нетоида по величине равнялась, наверно, Корсике. Кроме того, в пылевой туче я мог бы пройти мимо него на расстоянии вытянутой руки и не заметить. Был один выход. Он был у Томаса в руках. Он мог стартовать и вернуться.

— И не сделал этого?

— Нет.

— Не знаешь почему?

— Догадываюсь. Пришлось бы стартовать вслепую. Я-то видел, что облако поднимается всего на полмили от поверхности, но он этого не знал. Он боялся столкновения с каким-нибудь гребнем, скалой. Ведь он мог опуститься на дне какой-нибудь глубокой расселины. Ну и висели мы так день, другой — кислорода и запасов продовольствия у него было на шесть суток. Конечно, никто ничего не мог сделать. Ходили и придумывали, как бы вытащить Томаса из этой ловушки. Излучатели. Волны различной длины. Мы даже осветители туда кидали. Ни черта, туча была черной, как могила. Третий день — третья ночь. Измерения говорили, что пыль спадает, но я не был уверен, спадет ли она полностью за те 70 часов, что остались Томасу. Без пищи он, конечно, мог просидеть там и дольше, но не без воздуха. Вдруг мне в голову пришла идея. Я рассуждал так: ракета Томаса в основном состоит из стали. Если на этом проклятом планетоиде нет месторождений железных руд, то, может, его удастся обнаружить ферроискателем. Таким аппаратом для обнаружения железных предметов, знаешь. У нас был очень чувствительный, он реагировал на гвоздь на расстоянии трех четвертей километра. Ракету обнаружил бы за несколько миль. Мы с Олафом еще кое-что проверили в аппарате. Потом я сказал Гимме, что и как, и полетел.

— Один?

— Да.

— Почему один?

— Потому что без Томаса нас, пилотов, оставалось уже только двое, а «Прометей» не мог рисковать.

— И они согласились?

Я улыбнулся в темноте.

— Я был первым пилотом. Гимма не мог мне приказывать, он мог только советовать, а я взвешивал все «за» и «против» и говорил «да» или «нет». То есть говорил, конечно, «да». Но в аварийных случаях решение зависело от меня.

— А Олаф?

— Ну, Олафа ты уже немного знаешь и, конечно, понимаешь, что я полетел не сразу. Но в конце концов ведь это я, в сущности, послал Томаса. Он не мог возражать. В общем полетел я. Конечно, без ракеты.

— Без ракеты?

— Да. В скафандре, с газовым пистолетом. Это было немного дольше, но не так уж долго, как кажется. Пришлось повозиться с ферроискателем. Это был здоровый сундучище, ужасно неудобный. Разумеется, там он ничего не весил, но, когда я вошел в тучу, мне приходилось все время быть на чеку, чтобы обо что-нибудь не стукнуться. В тучу я вошел незаметно, только звезды начали исчезать, сначала по краям, потом черным стало уже полнеба. Я оглянулся. «Прометей» весь светился издалека, у него было приспособление для люминезирования панциря. Он выглядел, как белый, длинный карандаш с грибком на конце, — это был фотонный отражатель. Вдруг все исчезло. Переход был резким. Секунда черного тумана, а потом ничего. Радио у меня было выключено, вместо него в наушниках пел ферроискатель. До края тучи я летел не больше пяти минут, а падал на поверхность планетки около двух часов — приходилось соблюдать осторожность. Электрический фонарь оказался бесполезным, как я, впрочем, и ожидал. Я начал поиски. Знаешь, как выглядят большие сталактиты в пещерах?..

— Знаю.

— Там было что-то в этом роде, только еще более необычно. Я говорю о том, что было позже, когда туча уже спала, потому что во время поисков не было видно ничего, словно кто-то залил смолой стекло скафандра. Ящик был у меня на ремнях. Приходилось двигать антенкой, прислушиваться, идя с вытянутыми руками, — никогда в жизни я не падал столько раз, сколько там. Это неопасно только из-за слабого притяжения, и, конечно, если б хоть немного было видно, можно было бы сто раз успеть выпрямиться. Человеку, который этого не знает, трудно рассказать... Планетка была сплошным нагромождением игл, балансирующих скал — я ставил ногу и начинал с пьяной медлительностью куда-то падать. Оттолкнуться не смел, потому что потом четверть часа летел бы вверх. Приходилось просто ждать: как только я пытался идти дальше, осыпи смещались под ногами. Все эти валуны, столбы, каменные обломки — все это было едва сцеплено, потому что связывала их сила чрезы-

чайно слабая. Впрочем, не думай, что, падая на человека, большой валун не мог его там убить... Тут действует уже не вес, а масса; правда, всегда есть время отскочить, если, конечно, видишь или хотя бы слышишь этот обвал. Но ведь там и воздуха не было, только по дрожанию скалы под ногами я догадывался, что, должно быть, снова вывел из равновесия какую-нибудь каменную глыбу и потом оставалось только ждать, не вынырнет ли из этой тьмы обломок, который начнет тебя придавливать... Одним словом, так я блуждал несколько часов и давно перестал считать гениальной свою идею с ферроискателем. Вдобавок приходилось остерегаться каждого шага еще и потому, что по неосмотрительности я уже несколько раз оказывался в воздухе, попросту повисал... как в диком сне. Наконец я поймал сигнал. Я терял его, наверное, раз восемь, не помню точно, во всяком случае, когда я отыскал наконец ракету Томаса, на «Прометее» была уже ночь.

Ракета стояла наклонно, наполовину зарывшись в ту чертову пыль. Эта пыль — ну, нечто самое мягкое, самое тонкое на свете, понимаешь? Почти нематериальное... Самый легкий пух на Земле оказывает большее сопротивление. Пылинки так невероятно малы... Я заглянул внутрь — Томаса в ракете не было. Я сказал, что она стояла наклонно, но совсем не был в этом уверен; без специальных аппаратов там трудно было определить вертикаль. И для измерений потребовался бы добрый час, а обычный отвес — ведь он там почти ничего не весил — порхал бы на конце шнурка, как муха, вместо того чтобы висеть как полагается... Поэтому я не удивился, что Томас не пробовал стартовать. Я влез внутрь. Сразу обнаружил, что он пытался установить точную вертикаль, воспользовавшись тем, что было под рукой, но у него ничего не вышло. Пищи у него оставалось довольно много, зато кислорода не было. Видимо, он перекачал все, что имел, в баллон скафандра и вышел.

— Зачем?

— Я тоже спрашивал себя зачем. Он пробыв там три дня. В такой ракете есть только кресло, экран, рычаги и люк за спиной. Я сидел там несколько минут. Уже было ясно, что я его не найду. Сначала я думал, что, может, он вышел как раз тогда, когда я прилетел, что он использовал газовый пистолет, чтобы вернуться на «Прометей», и уже сидит там, а я тут ползаю по этим пьяным камням... Я выскочил из ракеты

так энергично, что меня вынесло наверх, и я полстел. Никакого ощущения направления, ничего. Знаешь, как бывает, когда в абсолютной темноте увидишь искорку? Чего только не выдумаешь тогда! Какие лучи, картины! Так вот, чувство равновесия... с ним тоже что-то подобное. Там, где притяжения нет вообще, еще полбеды, если человек привык. Когда же притяжение есть, только очень слабое, как на этой скорлупе... то лабиринт нашего уха реагирует весьма сумбурно, чтобы не сказать по-сумасшедшему. То тебе кажется, что ты свечой взмываешь вверх, то будто летишь в пропасть — и так все время. А то еще совершенно неожиданно появляется ощущение вращения и взаимного перемещения рук, ног, туловища, словно все поменялось местами, как будто и голова уже находится не там, где ей положено...

Так я летел, пока не треснулся о какую-то глыбу, оттолкнулся, зацепился за что-то, меня перевернуло, но я успел схватиться за выступ глыбы... Там кто-то лежал. Томас.

Эри затаила дыхание. Во тьме шумел Тихий океан.

— Нет. Не то, что ты думаешь. Он был жив. Сразу сел. Я включил радио. На таком небольшом расстоянии мы хорошо слышали друг друга.

«Это ты?» — спросил он.

«Да, это я», — ответил я.

Сцена — как из скверной комедии, с сумасшедшинкой. Но так было. Мы оба встали.

«Как ты себя чувствуешь?» — спросил я.

«Прекрасно. А ты?»

Это меня немного смутило, но я сказал:

«Спасибо, очень хорошо. Дома тоже все здоровы».

Это был идиотизм, но я думал, что он нарочно так — чтобы показать, что еще держится, понимаешь?

— Понимаю.

— Когда он стоял совсем рядом, я видел его в свете наплечного фонаря, будто сгусток темноты. Проверил его скафандр — он был цел.

«Кислород у тебя есть?» — спросил я. Это было самое важное.

«А, пустяки», — сказал он.

Я раздумывал, что делать. Взлететь на его ракете? Пожалуй, нет. Слишком рискованно. Правду говоря, я даже не очень обрадовался. Боялся — вернее, чувствовал неуверенность — это трудно объяснить. Ситуация была нереальной,

я ощущал в ней что-то странное, хотя не знал что. Я даже не обрадовался нашей чудесной встрече. Я все раздумывал, как спасти ракету. Наконец решил, что не это самое главное. Сначала надо было разобраться, что с ним. Мы продолжали стоять в этой черной беззвездной ночи.

«Что ты делал все это время?» — спросил я. Это было важно. Если он пытался что-нибудь сделать, хотя бы отбивать минералы, — это был бы хороший признак.

«Разное, — сказал он. — А что ты делал, Том?»

«Том?» — переспросил я, и холодок пробежал у меня по спине, потому что Ардер погиб год назад, в Томас прекрасно знал об этом.

«Ты же Том. Нет? Я узнаю твой голос».

Я промолчал, а он коснулся перчаткой моего скафандра и сказал:

«Чертов мир, правда? Ничего не видно, и ничего нет. Я представлял себе это совсем иначе. А ты?»

Я подумал, что насчет Ардера ему просто почудилось... в конце концов такое со многими случалось...

«Да, — сказал я. — Тут неинтересно. Пошли, а, Томас?»

«Пошли? — удивился он. — Как это... Том?»

Я перестал обращать внимание на этого «Тома».

«Ты разве собираешься тут оставаться?» — сказал я.

«А ты нет?»

Разыгрывает, подумал я, но уже пора, пожалуй, кончать с этими глупыми шуточками.

«Нет, — сказал я. — Надо возвращаться. Где твой пистолет?»

«Потерял, когда умер».

«Что?!»

«Но я не расстраиваюсь, — сказал он. — Мертвому пистолет ни к чему».

«Ну, ну, — сказал я. — Давай-ка я тебя пристегну, и поедем».

«Ты спятил, Том? Куда?»

«На «Прометей».

«Но его же тут нет...»

«Он там, дальше. Ну, давай я тебя пристегну».

«Подожди».

Он оттолкнул меня.

«Ты как-то странно говоришь. Ты не Том?!»

«В том-то и дело, что нет. Я Эл».

«И ты умер? Когда?»

Я уже начал понимать, что к чему, и стал подлаживаться под него.

«Ну, — сказал я, — несколько дней назад. Давай-ка я тебя все-таки пристегну».

Но он не разрешил. Мы начали бороться, сначала будто в шутку, потом более серьезно, я пытался его схватить, но в скафандре не мог. Что делать? Я не мог оставить его ни на минуту, потому что второй раз я уже не нашел бы его. Чудеса не повторяются. А он хотел там остаться, как умерший. И так слово за слово, когда мне показалось, что я уже убедил его, когда он как будто согласился и я дал ему поддержать мой газовый пистолет, тогда он приблизил лицо к моему лицу, так что я почти увидел его через двойные стекла, и крикнул: «Подлец, ты обманул меня! Ты жив!» — и выстрелил в меня.

Я чувствовал, как Эри уже несколько минут прижимается лицом к моему плечу. При последних словах она вздрогнула, как будто по ней прошел ток, и прикрыла рукой шрам. С минуту мы молчали.

— Это был очень хороший скафандр, — сказал я. — Не лопнул, знаешь. Весь вмялся в тело, сломал ребро, вдавил его, размозжил мышцы, но не лопнул. Я даже не потерял сознания, только некоторое время не мог двинуть рукой и чувствовал по теплу, как внутри скафандра льется кровь. Все-таки на какое-то мгновение у меня, видимо, закружилась голова, потому что, когда я встал, Томаса не было, и не знаю, когда и как он исчез. Я вслепую искал его, ползая на четвереньках, вместо него нашел пистолет. Он, видимо, бросил его сразу после выстрела. Ну, с его помощью я выбрался. Меня заметили, как только я выскочил из тучи. Олаф подвел корабль еще ближе, и меня втянули. Я сказал, что не нашел Томаса. Что обнаружил только пустую ракету, а пистолет выпал у меня из рук и выстрелил, когда я споткнулся. Скафандр двойной. Кусочек внутреннего панциря отскочил. Он тут, под ребром.

Опять молчание и гул волны, нарастающий, протяжный, словно она готовилась к прыжку через весь пляж, не смущаясь неудачами своих предшественниц. Расплываясь, она бурлила и разламывалась, был слышен ее мягкий пульс, все более близкий и тихий.

— Вы улетели?..

— Нет. Ждали. Еще через два дня туча спала, и я полетел второй раз. Один. Сама понимаешь почему.

— Понимаю.

— Я быстро нашел его, потому что скафандр светился в темноте. Он лежал под каменной иглой. Лица не было видно, стекло изнутри покрылось инеем, так что, поднимая его, я подумал в первый момент, что держу в руках только пустую оболочку... он почти ничего не весил. Но это был он. Я оставил его и вернулся в его ракете. Осмотрев ее более тщательно, я понял, почему так случилось. У него остановились часы, обыкновенные часы — он потерял счет времени. Эти часы отсчитывали часы и дни. Я исправил их и поставил так, чтобы никто не мог догадаться...

Я обнял Эри. Чувствовал, как мое дыхание чуть-чуть шевелит ее волосы. Она тронула шрам, и вдруг то, что было лаской, стало вопросом.

— У него такая форма...

— Странная, правда? Потому что его сшивали дважды, первый раз швы разошлись... Меня сшивал Турбер. Вентури, наш врач, к тому времени уже погиб...

— Тот, который дал тебе красную книжку?

— Да. Откуда ты знаешь, Эри? Разве я тебе говорил? Нет, этого быть не может.

— Ты разговаривал с Олафом, тогда, помнишь...

— Правда. И ты это запомнила! Такую мелочь. Вообще-то говоря, я свинья. Она осталась на «Прометее» вместе со всем остальным.

— У тебя там вещи? На Луне?

— Да. Но не стоит их привозить.

— Стоит, Эл.

— Знаешь, родная, получился бы музей воспоминаний. Я этого не вынесу. Если я привезу их, то только для того, чтобы сжечь: оставлю лишь несколько мелочей, которые у меня сохранились. Тот камешек, например.

— Какой камешек?

— У меня их много. Есть с Кернеи, есть с планетоида Томаса — только не думай, что я занимаюсь каким-то коллекционированием! Просто они застревали в нарезке подошв, Олаф выковырял их и спрятал, снабдив соответствующими надписями. Я не мог его отговорить. Ерунда, но... я должен тебе это сказать. Да, должен, хотя бы для того, чтобы ты не думала, что там все было страшно и, кроме смерти, не



было ничего. Представь себе... взаимопроникновение миров. Сначала розовый, воздушный, тончайший, розовая бесконечность, а в ней другая, пронизывающая ее, более темная, а дальше красное, почти синее, но это очень далеко, а вокруг самосвечение, невесомое, не так, как облако, не как туман — другое. Нет для этого слов. Мы вышли вдвоем из ракеты и смотрели. Эри, я этого не понимаю. Знаешь, у меня еще теперь подкатывается к горлу комок, так это было прекрасно. Подумай, там нет жизни. Нет растений, животных, птиц — ничего, никаких глаз, которые могли бы это увидеть. Я уверен, что от сотворения мира на это никто не смотрел, что мы с Ардером были первыми, и если бы не то, что у нас засло гравипеленгатор и мы сели, чтобы его оттрадуировать, потому что кварц лопнул и ртуть вылилась, то до конца света никто не стоял бы там и не видел бы этого. Разве это не дико? Мы не могли оттуда уйти. Забыли, зачем мы сели, только стояли и смотрели, стояли и смотрели.

— Что это было, Эл?

— Не знаю. Когда мы вернулись и рассказали, Бель захотел полететь туда во что бы то ни стало, но не удалось. У нас было совсем немного резервной мощности. Мы сделали там массу снимков, но они не получились. На снимках все это выглядело как розовое молоко с лиловыми берегами, и Бель бредил о фосфоресценции кремниводородных испарений; думаю, он и сам в это не верил, но с отчаяния, что ему не удастся этого исследовать, пытался как-то себе объяснить. Это было, как... как, собственно, ничего. Ничего подобного мы не знаем. Это не походило ни на что. У этого была колоссальная глубина, но это был не ландшафт. Я говорил тебе, эти оттенки, все более отдаленные и темные, так что даже в глазах рябило. Движения, собственно, нет. Плыло и остановилось. Изменялось, словно дышало, и все время оставалось тем же; кто знает, может быть, самым главным в этом были размеры? Слово за пределами этой ужасной, черной вечности существовала другая, иная вечность, другая бесконечность, такая собранная и гигантская, такая светлая, что, закрывая глаза, человек переставал в нее верить. Когда мы посмотрели друг на друга... Надо было знать Ардера. Я покажу тебе его фото. Это был парень крупнее меня, выглядел он так, словно мог пройти сквозь любую стену, даже не заметив ее. Говорил всегда медленно. Ты слышала о... дыре на Керенее?

— Да.

— Он торчал там, в скалс, под ним кипела раскаленная грязь, она в любой момент могла ударить вверх, в ту дыру, в которой он застрял, а он говорил: «Эл, подожди, я еще осмотрюсь. Может, если сниму баллон... нет, не снять, ремни перепутались. Но подожди еще». И так далее. Можно было подумать, что он разговаривает по телефону из номера гостиницы. Это не было позой, он таким был. Самый трезвый из всех нас: всегда рассчитывал. Поэтому Том полетел со мной, а не с Олафом, который был его другом, но об этом ты слышала...

— Да.

— Так вот... Ардер. Когда я на него посмотрел там, у него на глазах были слезы. Том Ардер. Но он совсем не стыдился, ни тогда, ни потом. Когда мы позднее говорили об этом, а говорили мы не раз, все возвращались к этому — другие злились. Думали, что мы делаем это умышленно и что-то скрываем. Потому что мы становились какими-то небесными. Смешно, да? Так вот. Мы посмотрели друг на друга, и нам в голову пришло одно и то же. Хотя мы еще не знали, отградуировем ли этот гравипеленг как следует. Без него мы не нашли бы «Прометея». Мы подумали, что уже ради одного того, чтобы стоять там и смотреть на эту величественную и радостную игру красок, стоило здесь сесть.

— Вы стояли на возвышении?

— Не знаю, Эри. Там была как бы другая перспектива. Мы смотрели как бы сверху, но там не было склона. Постой! Ты видела большой каньон Колорадо?

— Видела.

— Представь себе, что этот каньон в тысячу раз больше. Или нет, в миллион. Что он сделан из красного и розового золота, почти совершенно прозрачного, что видно насквозь все слои, перемычки, седловины его геологических формаций, что все это невесомо, течет и как бы безлико улыбается тебе. Нет, не то! Любимая, мы очень старались с Ардером как-то передать это товарищам, но из этого ничего не вышло. Тот камешек как раз оттуда... Ардер взял его на счастье. И всегда носил. На Керенее он тоже был с ним. Ардер держал его в коробочке из-под витаминов. Когда камешек начал рассыпаться, он обернул его ватой. Потом, когда я вернулся один, я нашел этот камешек, он лежал под койкой в его кабине. Наверное, выпал. Олаф, кажется, думал, что

Ардер из-за этого погиб, но не решался сказать мне, потому что это было слишком глупо... Что могло быть общего между каким-то камешком и тем проводничком, из-за которого у Ардера испортилось радио?..

## VIII

Олаф все еще не подавал признаков жизни. Мое беспокойство сменилось угрызениями совести. Я опасался, не совершил ли он какого-нибудь безрассудства. Он ведь по-прежнему оставался один и был одинок еще больше, чем до этого я. Я не хотел втягивать Эри в непредвиденные случайности, а они могли возникнуть, если б я затеял розыски на собственный риск, поэтому я решил сначала поехать к Турберу. Я не был уверен, что попрошу у него совета. Просто хотел повидаться с ним. Адрес дал мне еще Олаф; Турбер работал в университетском центре Маллеолан. Я телеграммой известил его о своем приезде и впервые расстался с Эри. В последние дни она стала молчаливой и нервной; я приписывал это беспокойству о судьбе Олафа. Я обещал, что вернусь по возможности скоро, вероятнее всего дня через два, и после разговора с Турбером не предприму ничего, не посоветовавшись с нею.

Эри проводила меня до Хоулу, где я взял прямой ульдер. Пляжи Тихого океана уже пустели — приближалось время осенних штормов, из прибрежных городков исчезли толпы ярко одстой молодежи, и меня не удивило, что я оказался почти единственным пассажиром серебристого снаряда. Полет в тучах длился около часа и закончился в сумерки. Город вынырнул из наступающей темноты многоцветным пожаром — самые высокие строения, «фужерники», горели во тьме, как тонкие неподвижные языки пламени, их силуэты, соединенные воздушными дугами верхнего уровня коммуникаций, светились среди белого тумана огромными бабочками. Нижние ярусы улиц образовали взаимопроникающие, извилистые, цветные реки. Может быть, из-за тумана, а может, благодаря эффекту прозрачности строительного материала центр с высоты казался спиралевидным ступком искрящегося стекла, островом, усыпанным драгоценностями среди океана, зеркальная поверхность которого отражала все слабее просвечивающие ярусы, вплоть до самых нижних, уже едва

видимых, словно из подземелий города просвечивал его рубиновый скелет. Трудно было поверить, что эта феерия проплывающих друг сквозь друга огней и цветов — просто жилище нескольких миллионов людей.

Университетский комплекс находился за городом. Именно там, внутри огромного парка, на бетонной площади опустился мой ульдер. О близости города свидетельствовало лишь бледно-серебристое зарево, охватывающее небо над черной стеной деревьев. Длинная аллея привела меня к главному зданию, темному, словно вымершему.

Едва я открыл огромные стеклянные двери, внутри загорелся свет. Я оказался в холле с куполообразным потолком. Пол был выложен бледно-голубыми плитками. Лабиринт звуконепроходимых коридорчиков привел меня к длинному коридору, прямому и строгому. Я открывал то одни, то другие двери, но все помещения были пусты и как бы давно покинуты. Я поднялся наверх по обычной лестнице. Наверное, где-нибудь поблизости был лифт, но мне не хотелось его искать. К тому же эта неподвижная лестница была любопытной диковинкой. Наверху в обе стороны тянулся такой же коридор и такие же пустые комнаты; на дверях одной из них я увидел небольшой листок с четко выведенными словами: «Здесь, Брег». Я постучал, и тотчас услышал голос Турбера.

Я вошел. Он сидел, освещенный низко опущенной лампой, сгорбившись на фоне тьмы, царящей за окном, занимавшим всю стену. Столик, за которым он работал, был завален бумагами и книгами — настоящими книгами, — а на другом столике, поменьше, были насыпаны целые горы кристаллического «зерна» и стояли различные аппараты. Перед ним возвышалась стопка листов и ручка, обыкновенная, которую обмакивают в чернила; он делал пометки на полях.

— Садись, — сказал Турбер, не поднимая головы. — Я сейчас кончу.

Я сел на низкое кресло около стола, однако тут же отодвинул его, потому что свет превращал лицо Турбера в расплывчатое пятно, а я хотел рассмотреть его как следует.

Он работал по-своему, медленно, наклоном головы и движением бровей защищаясь от света лампы. Это была одна из самых скромных комнат, какие мне до сих пор довелось видеть, с матовыми стенами, без следа надосвегшего

золота. По обе стороны двери виднелись четырехугольные, сейчас слепые экраны, стену рядом с окном занимали металлические шкафчики, около одного стоял большой рулон карт или чертежей — вот, собственно, и все. Я перевел взгляд на Турбера. Лысый, массивный, тяжелый, он писал, время от времени стряхивая костяшками пальцев слезу с глаз. Глаза у него всегда слезились, а Гимма (он любил выдавать чужие секреты, тем более такие, которые люди особенно старались скрыть) как-то сказал мне, что Турбер опасается за свое зрение. Тогда я понял, почему он всегда ложился первым, когда мы изменяли ускорение, и почему в последние годы позволял, чтобы его заменяли в работах, которые прежде он всегда выполнял сам.

Он обеими руками собрал бумаги, стукнул ими о стол, подравнивая края, спрятал в папку, закрыл ее и только тогда, опуская большие руки с толстыми и как бы с трудом сгибающимися пальцами, сказал:

— Привет, Эл. Как дела?

— Не могу пожаловаться. Ты... один?

— Это должно значить: тут ли Гимма? Нет. Его нет, вылетел вчера. В Европу.

— Работаешь?..

— Да.

Наступило короткое молчание. Я не знал, как он отнесется к тому, что я собирался сказать, и хотел сначала выяснить его взгляды на мир, в котором мы очутились. Правда, зная его, я не мог ожидать особой откровенности. Он не любил делиться впечатлениями.

— И давно ты уже здесь?

— Брегг, — сказал он, продолжая хранить неподвижность, — не думаю, чтобы это тебя интересовало. Что-то ты крутишь.

— Возможно, — сказал я. — Значит, мне говорить?

Я ощущал то внутреннее беспокойство, что-то среднее между робостью и раздражением, которое всегда охватывало меня в его присутствии — других, кажется, тоже. Никогда нельзя было понять, шутит он, издевается или говорит серьезно; при всем спокойствии, всем внимании, которое он проявлял к собеседнику, он сам всегда оставался абсолютно неуловимым.

— Нет, — сказал он. — Может, потом. Откуда ты прилетел?

— Из Хоулу.

— Прямо оттуда.

— Да... А почему ты спрашиваешь?

— Это хорошо, — сказал он, словно не расслышал моего последнего вопроса. Секунд пять он смотрел на меня неподвижным взглядом, словно желал убедиться в моем присутствии. Его глаза не выражали ничего, но я уже знал: что-то случилось. Только не был уверен, скажет ли он мне. Его поступков я не умел предвидеть. Пока я раздумывал, как начать, он между тем все внимательнее присматривался ко мне, будто не узнавал.

— Что делает Вабах? — спросил я, чувствуя, что этот молчаливый осмотр затянулся сверх меры.

— Поехал с Гиммой.

Я не о том спрашивал, и он это знал, но в конце концов я ведь приехал не из-за Вабаха. Опять наступило молчание. Я уже начал сожалеть о своем решении.

— Я слышал, ты женился, — сказал он вдруг, словно нехотя.

— Да, — ответил я, быть может, чересчур сухо.

— Это пошло тебе на пользу.

Я пытался во что бы то ни стало найти другую тему. Кроме Олафа, ничто не приходило на ум, а о нем я еще не хотел спрашивать. Боялся улыбки Турбера — помнил, как он ухитрялся доводить ею до отчаяния Гимму, да и не только Гимму. Но он только слегка приподнял брови и спросил:

— Какие у тебя планы?

— Никаких, — ответил я, не покривив душой.

— А ты хотел бы чем-нибудь заняться?

— Да. Но нечем было.

— Ты до сих пор ничего не делал?

Теперь я наверняка покраснел. Меня разбирала злость.

— Почти ничего. Турбер... я... я пришел не по своему делу.

— Знаю, — сказал он спокойно. — Стааве, да?

— Да.

— В этом был определенный риск, — сказал он и легко оттолкнулся от стола. Кресло послушно повернулось в мою сторону.

— Освамм ожидал самого худшего, особенно после того, как Стааве выкинул свой гипногог... Ты тоже его выкинул, а?

— Освамм? — сказал я. — Какой Освамм?.. Пстой, тот из Адапта?

— Да. Больше всего он волновался за Стааве. Я вывел его из заблуждения.

— Как это — вывел? Кого?

— Но Гимма поручился за вас обоих... — закончил Турбер, словно и не слышал меня.

— Что?! — сказал я, поднимаясь с кресла. — Гимма?

— Конечно, он и сам был не очень уверен, — продолжал свое Турбер, — и сказал мне об этом.

— Так на кой черт он ручался! — взорвался я, ошеломленный его словами

— Он считал, что это его долг, — лаконично объяснил Турбер, — что руководитель экспедиции обязан знать своих людей...

— Чепуха...

— Я просто повторяю то, что он сказал Освамму.

— Да? — сказал я. — А чего же все-таки боялся этот Освамм? Что мы взбунтуемся, что ли?

— А у тебя не было такого желания? — спокойно спросил Турбер.

Я задумался. Потом сказал:

— Нет. Всерьез никогда.

— И ты дашь бетризовать своих детей.

— А ты? — медленно спросил я.

Впервые с момента встречи он улыбнулся движением бескровных губ и ничего не сказал.

— Слушай, Турбер... помнишь тот вечер, после последнего разведывательного полета над Бстой... когда я тебе сказал...

Он равнодушно кивнул. Неожиданно мое терпение лопнуло.

— Я тогда сказал тебе не все. Мы были там вместе, но не на равных правах. Я слушался вас, тебя, Гимму, потому что сам этого хотел. Все хотели: Вентури, Томас, Эннессон и Ардер, которому Гимма не дал запаса, потому что прятал его для более ответственного случая. Порядок. Только по какому праву ты сейчас говоришь со мной так, словно все время сидел в этом кресле? Ведь это ты послал Ардера вниз, на Керенею, во имя науки, Турбер, а я вытащил его во имя его несчастной требухи. Мы вернулись, и, оказывается, осталась только правота требухи. Только она сейчас принимается в

расчет. А наука нет. Так что, может, я должен сейчас спрашивать тебя о самочувствии и ручаться за тебя, а не наоборот? Как ты думаешь? Я знаю, что ты думаешь. Ты привез груды материалов, и тебе есть во что спрятаться до конца жизни, и ты знаешь, что никто из этих любезнейших не скажет тебе: сколько стоил этот спектральный анализ? Одного? Двух человек? Не кажется ли вам, профессор Турбер, что это немного дороговато? Никто тебе этого не скажет, потому что у них нет с нами никаких счетов. Но у Вентури есть. И у Ардера, и Эннессона, и у Томаса. Чем ты будешь тогда платить, Турбер? Тем, что выведешь Освамма из заблуждения относительно меня? А Гимма тем, что поручится за нас с Олафом? Когда я увидел тебя впервые, ты делал совершенно то же самое, что сейчас. Это было в Аппрену. Ты сидел за бумагами и смотрел, как сейчас: в прерыве между более важными делами, во имя науки...

Я встал.

— Поблагодари Гимму за то, что он за нас заступился...

Турбер тоже встал. Некоторое время мы пристально смотрели друг на друга. Он был ниже меня, но это не чувствовалось. Его рост не имел значения. В его глазах сквозило невозмутимое спокойствие.

— Ты дашь мне сказать или я уже осужден? — спросил он.

Я пробормотал что-то невразумительное.

— Тогда сядь, — сказал он и, не ожидая, сам тяжело опустился в кресло.

Я сел.

— Однако кое-что ты все-таки сделал, — сказал он таким тоном, словно мы до сих пор болтали о погоде. — Прочел Старка, поверил ему, считаешь себя обманутым и ищешь теперь виновных. Если тебе это действительно важно, могу взять вину на себя. Но дело не в этом. И Старк убедил тебя после тех десяти лет? Брегг, я знал, что ты человек неуравновешенный, но что глупый — не предполагал. — Он на минуту замолк, а я — странное дело — сразу почувствовал облегчение и как будто освобождение. У меня не было времени особенно вникать в свои чувства, потому что он снова заговорил.

— Контакт галактических цивилизаций? Кто тебе о нем говорил? Ни один из нас, и никто из классиков, ни Меркью, ни Симониади, ни Радж Нгамиели, никто, ни одна экспедиция не рассчитывала на контакт, и поэтому вся эта болтовня



о путешествующих в пустоте посланцах уже несуществующих миров, об этой вечно опаздывающей галактической почте является опровержением тезисов, которых никто не выдвигал. Что нам дадут звезды? А какие выгоды были от экспедиции Амундсена? Андре? Никаких. Единственная польза заключалась в том, что была доказана возможность. Что это можно сделать. А говоря точнее, что для данной эпохи это самое трудное из всего, что возможно достигнуть. Не знаю, сделали ли мы даже это, Брегг. Правда, не знаю. Но мы были там.

Я молчал. Турбер уже не смотрел на меня. Оперся ладонями о край стола.

— Что тебе доказал Старк — бесполезность космодромии? Как будто мы этого сами не знали. А полюсы? Что было на полюсах? Те, кто их завоевал, знали, что там ничего нет. А Луна? Чего искала группа Росса в кратере Эратосфена? Бриллианты? А зачем Бант и Егорин прошли центр диска Меркурия? Чтобы загореть? А Келлен и Оффшаг? Единственное, что они знали наверняка, летя к холодному облаку Цербера, так это то, что в нем можно погибнуть. Понял ли ты истинный смысл того, что говорил Старк? «Человек должен есть, пить и одеваться, все остальное безумие». У каждого есть свой Старк, Брегг, у каждой эпохи. Зачем Гимма послал тебя и Ардера? Чтобы вы взяли пробы коронососом. Кто послал Гимму? Наука. Это звучит по-деловому, не правда ли? Исследование звезд. Брегг, не думаешь ли ты, что мы не полетели бы, если бы звезд не было? Я думаю, что полетели бы. Мы бы изучали пустоту, чтобы как-то оправдать свой полет. Геонидес или кто-нибудь другой сказал бы нам, какие ценные измерения и исследования можно провести по пути. Пойми меня правильно. Я не говорю, что звезды только предлог. Ведь и полюс не был предлогом. Это было необходимо Нансену и Андре. Эверест нужен был Меллори и Ирвингу больше, чем воздух. Ты говоришь, что я приказывал вам... во имя науки? Ведь ты знаешь, что это неправда. Ты испытал мою память. Может быть, теперь я испытаю твою? Помнишь планетостой Томаса?

Я вздрогнул.

— Ты нас тогда обманул. Ты полетел второй раз, зная, что он уже мертв. Правда?

Я молчал.

— Я догадался уже тогда. Я не говорил об этом с Гиммой,

но думаю, что и он тоже знал, зачем ты тогда летел, Брегг? Это был уже не Арктур или Керенея, и некого было спасать. Зачем ты туда полез?

Я молчал. Турбер слегка усмехнулся.

— Знаешь, что было нашим несчастьем, Брегг? То, что нам повезло и мы сидим тут. Человек всегда возвращается с пустыми руками...

Он замолчал. Улыбка исчезла. Лицо стало каким-то бездумным. Несколько секунд он дышал немного громче, сжимая руками край стола. Я смотрел на него, как будто увидел его впервые, я заметил, что он уже стар, и это открытие потрясло меня. Мне никогда не приходило это в голову, словно он вообще не имел возраста...

— Турбер, — сказал я тихо, — слушай... но ведь это... это только надгробная речь над могилой тех несчастных. Таких уже нет. И не будет. Значит, все-таки Старк выходит победителем?..

Он обнажил желтые зубы, но это не была улыбка.

— Дай мне слово, Брегг, что никому не повторишь того, что я тебе скажу.

Я колебался.

— Никому, — повторил он настойчиво.

— Хорошо.

Он встал, прошел в угол, взял рулон свернутых бумаг и вернулся к столу.

Бумага шелестела, разворачивалась у него в руках. Я увидел красную, словно кровью нарисованную, рыбу в разрезе.

— Турбер!

— Да, — ответил он спокойно, обеими руками сворачивая рулон и опираясь на него, как на ружье.

— Когда? Куда?

— Не скоро. К Центру.

— Облако Стрельца?.. — прошептал я.

— Да. Приготовления потребуют времени. Но благодаря анабиозу...

Он продолжал говорить, а до меня доходили только отдельные слова: «полет в петле», «безгравитационное ускорение». Возбуждение, охватившее меня, когда я увидел вычерченный конструкторами контур, огромной ракеты, сменилось неожиданной апатией, из которой, как сквозь наступающий мрак, я рассматривал свои сложенные на коленях руки. Турбер перестал говорить, взглянул на меня из-под

опущенных век, подошел к столу и начал собирать папки с бумагами; он как бы давал мне время освоиться с невероятным известием. Я должен был бы закидать его вопросами: кто из нас, старых, полетит, сколько лет займет экспедиция, каковы ее цели, но я не спросил ни о чем. Даже о том, почему это держится в тайне. Я посмотрел на его большие загрубевшие руки, на которых преклонный возраст проступал явственней, чем на лице, и к моему отупению примешалась крупца удовлетворения, столь же неожиданного, сколь и подлого, — что и он, конечно, тоже не полетит. «Не доживет до их возвращения, если даже побьет рекорд Мафусаила», — подумал я. Все равно. Это уже не имело никакого значения. Я встал. Турбер шелестел бумагами.

— Брегг, — сказал он, не поднимая глаз, — мне надо немного поработать. Если хочешь, поужинаем вместе. Переночевать сможешь в дормитории, там сейчас пусто.

Я проворчал «ладно» и пошел к двери. Турбер уже работал, словно меня тут и не было. Я на минуту задержался у порога и вышел. Некоторое время я не мог сообразить, где я, пока не услышал странный, размеренный звук, отголосок собственных шагов. Я остановился посреди длинного коридора, между двумя рядами одинаковых дверей. Эхо шагов все еще было слышно. Обман слуха? Кто-то шел за мной? Я повернулся и заметил исчезнувшую в далеких дверях высокую фигуру. Это длилось так недолго, что я, собственно, увидел не человека, а только само движение, часть его спины и закрывающуюся дверь. Мне нечего тут было делать. Дальше идти не имело смысла — коридор кончался тупиком. Я повернул, прошел мимо большого окна, за которым над черным массивом парка серебрилось зарево города, опять остановился у двери с табличкой: «Здесь, Брегг», за которой работал Турбер. Я больше не хотел его видеть. Я ничего не мог ему сказать. Он мне тоже. Зачем я вообще приехал? Неожиданно, с удивлением, я вспомнил зачем. Надо было войти и спросить об Олафе, но не сейчас. Не сию минуту. Не то чтобы у меня не хватило сил — я чувствовал себя хорошо, — но со мной происходило что-то, чего я не понимал. Я двинулся к лестнице. Напротив нее были последние в ряду двери, те, за которыми минуту назад скрылся незнакомец. Я вспомнил, что заглядывал туда в самом начале, когда вошел в здание и разыскивал Турбера; узнал наклонную полоску ободранной краски. В этой ком-

нате не было ничего. Что понадобилось в ней человеку, вошедшему туда?

Уверенный, что он не искал ничего, а только хотел скрыться от меня, я долго в нерешительности стоял перед лестницей, пустой, освещенной белым неподвижным светом. Постепенно, дюйм за дюймом, я повернулся. Меня охватило странное беспокойство, собственно, даже не беспокойство, я ничего не боялся — я весь был как бы после анестезии: напряженный, хотя и спокойный; сделал два шага, напряг слух, прищурил глаза, и тогда мне показалось, что я слышу — по другую сторону двери — дыхание. Невроятно. «Уйду», — решил я, но это было уже невозможно, слишком много внимания я уделил этой дурацкой двери, чтобы просто так взять и уйти. Я открыл ее и заглянул внутрь. Под маленькой потолочной лампой посередине пустой комнаты стоял Олаф. Он был в своем старом свитере, с подвернутыми рукавами, словно только минуту назад бросил инструменты.

Мы смотрели друг на друга. Видя, что я не намерен прерывать молчание, он заговорил первым, правда, не очень уверенно:

— Как дела, Эл?..

Я и не думал притворяться, просто был потрясен обстоятельствами нашей неожиданной встречи, а может быть, еще не прошло ошеломляющее действие слов Турбера, во всяком случае, я не ответил. Я подошел к окну, из которого открывался такой же вид на черный парк и зарево города, повернулся и присел на подоконник. Олаф не шелохнулся. Он все еще стоял посреди комнаты: из книги, которую он держал в руке, выскользнул листок бумаги и упал на пол. Мы одновременно наклонились; я поднял листок и увидел принципиальную схему корабля, того самого, что несколько минут назад показывал мне Турбер. Внизу виднелись пометки, сделанные рукой Олафа. «Значит, вот в чем дело», — подумал я. Он молчал, потому что летит сам и не хотел расстраивать меня этим сообщением. Я должен ему сказать, что он заблуждается, потому что меня совсем не интересует экспедиция. С меня довольно звезд, кроме того, я все уже знаю от Турбера, так что он может говорить со мной со спокойной совестью.

Держа чертеж в руке, я внимательно вглядывался в линии схемы, как бы оценивал обтекаемость ракеты, однако ничего

не сказал, молча протянул ему бумагу, он взял ее, чуть помедлив, и, сложив вдвое, спрятал в книгу. Все это делалось молча, я убежден, что неумышленно, но эта сцена, может быть, именно потому, что она разыгралась в тишине, приобрела символический смысл, словно я принимал к сведению его предполагаемое участие в экспедиции и, возвращая ему схему, тем самым одобрял этот шаг, без энтузиазма, но и без сожаления. Когда я искал его взгляда, он отвел глаза, чтобы тут же взглянуть на меня исподлобья — воплощение неуверенности или смущения. Даже теперь, когда я уже знал все? Тишина маленькой комнаты становилась невыносимой. Я слышал немного учащенное дыхание Олафа. Его лицо было усталым, и глаза не такими живыми, как тогда, когда мы виделись в последний раз, словно он много работал и мало спал, но было в них еще какое-то новое выражение, которого я не знал.

— У меня все в порядке... — сказал я, — а как ты?

Произнеся эти слова, я понял, что они уже запоздали, что они были бы уместны, как только я вошел, а теперь они прозвучали так, будто я обижен или даже издеваюсь над ним.

— Ты был у Турбера? — спросил он.

— Был.

— Студенты уехали... Тут сейчас никого нет, нам дали все здание... — начал он с видимым усилием.

— Чтобы вы могли разработать план экспедиции? — поддержал я разговор, а он торопливо ответил:

— Да, Эл. Ну, ты, конечно, знаешь, что это за работа. Пока нас горстка, но у нас прекрасные машины, эти автоматы, знаешь...

— Это хорошо.

Снова наступило молчание. И странное дело, чем больше оно длилось, тем явственней становилось беспокойство Олафа, его подчеркнутая неподвижность. Он продолжал стоять как столб посередине комнаты, под самой лампой, как бы готовый к самому худшему. Я решил положить этому конец.

— Слушай-ка... — сказал я совершенно тихо, — как ты, собственно, себе это представлял?.. Страусовая политика никогда не оправдывается, знаешь... Не думал же ты, что без тебя я никогда не узнаю?

Он молчал, склонив голову набок. Я явно пересолил, потому что он ни в чем не был виноват, и на его месте я, наверно, и сам поступил бы так же. Впрочем, я несколько не

был на него обижен за его месячное молчание. Меня возмутила его попытка спрятаться от меня, когда он увидел, что я выхожу от Турбера, но этого я не решился ему сказать, это было слишком глупо и смешно. Я повысил голос, обругал его дураком, но он и тогда не стал защищаться.

— Значит, ты считаешь, что говорить не о чем? — бросил я раздраженно.

— Это зависит от тебя...

— Как от меня?

— От тебя, — упорно повторил он. — Самым важным было, от кого ты узнаешь...

— Ты серьезно так считаешь?

— Так мне казалось...

— Это безразлично... — проворчал я.

— Что... ты собираешься делать? — тихо спросил он.

— Ничего.

Он недоверчиво смотрел на меня.

— Эл, ведь я... — Он не закончил.

Я чувствовал, что мучаю его одним своим присутствием, однако я все еще не мог простить ему неожиданного бегства; а уйти сейчас молча было бы совсем плохо. Я не знал, что делать; все, что связывало нас, было перечеркнуто. Я взглянул на него в тот момент, когда и он поднял на меня глаза, — каждый из нас сейчас, наверное, рассчитывал на помощь другого...

Я встал с подоконника.

— Олаф... уже поздно. Я пошел... Не думай, что... я обижен, ничего подобного. Мы еще встретимся, может, ты к нам приедешь, — сказал я с трудом, каждое слово было неестественным, и он это чувствовал.

— Что ты... Останься хотя бы на ночь...

— Не могу, знаешь, я обещал...

Я не назвал ее имени.

Олаф пробормотал:

— Как хочешь. Я провожу тебя.

Мы вместе вышли из комнаты, потом спустились вниз; на улице было совершенно темно. Олаф молча шагал рядом; вдруг он остановился. Я тоже.

— Останься, — шепнул он смущенно. Я видел только смутное пятно его лица.

— Хорошо, — неожиданно согласился я и повернул. Он этого не ожидал. Минуту постоял еще, потом взял меня под

руку и провел в другое, низкое здание; в пустом зале, освещенном несколькими лампами, мы, не садясь, поужинали у стойки. За все время мы не обменялись и десятком слов. Потом поднялись на второй этаж.

Комната, в которую он меня ввел, была почти совершенно квадратной, выдержанной в матово-белых тонах, ее широкие окна нацелены в парк с другой стороны. В них не было видно ни следа городского зарева над деревьями; в комнате стояли свежезастеленная кровать, два небольших креслица, третье побольше, спинкой к окну. Через узкую приоткрытую дверь поблескивал кафель ванной. Олаф остановился на пороге, опустил руки, словно ждал, что я заговорю, а так как я молчал, прохаживаясь по комнате и машинально касаясь руками то стула, то спинки кровати, словно беря их в минутное пользование, он спросил тихо:

— Могу ли я... что-нибудь для тебя сделать?

— Да, — сказал я, — оставь меня одного.

Он продолжал стоять, не двигаясь с места. Его лицо покрылось румянцем, потом побледнело, вдруг на нем появилась улыбка. Олаф пытался смягчить оскорбление, потому что мои слова прозвучали как оскорбление. От этой растерянной, жалкой улыбки во мне что-то словно оборвалось; в судорожной попытке скинуть маску безразличия, которую я натянул на себя, так как ни на что иное не был способен, я подбежал к нему, когда он уже повернулся, чтобы уйти, схватил его за руку и стиснул ее изо всех сил, как бы прося этим стремительным пожатием прощения, а он, глядя на меня, осветил таким же крепким рукопожатием и вышел. Я ощущал еще его теплую и твердую руку, когда он старательно и тихо закрывал за собой дверь, словно покидал комнату больного. Я остался один, как хотел.

В доме все молчало. Даже шагов удаляющегося Олафа не было слышно; в оконном стекле отражалась моя собственная тяжелая фигура, откуда-то шел теплый воздух; сквозь контуры моего отражения виднелась темная граница деревьев, тонущая во мраке, — я еще раз оглядел комнату и сел в большое кресло у окна.

Осенняя ночь только началась. О сне я не мог и думать. Повернулся к окну. Расстилающийся за ним мрак, должно быть, был наполнен холодом и шелестом безлистных, трущихся друг о друга ветвей; неожиданно мне захотелось очутиться там, побродить в темноте, в ее никем не распланиро-

ванном хаосе. Не раздумывая, я вышел из комнаты. Коридор был пуст. До лестницы я шел на цыпочках, — пожалуй, излишняя предосторожность, потому что Олаф уже давно, наверно, отправился спать, а Турбер если и работал, то на другом этаже, в отдаленном крыле дома. Я сбегал вниз, уже не скрываясь, выскочил во двор и быстро зашагал вперед. Направления я не выбирал, шел так, чтобы городское зарево было по возможности в стороне. Аллеи парка скоро вывели меня за живую изгородь, я оказался на дороге и некоторое время шел по ней, пока вдруг не остановился. Мне расхотелось идти по шоссе: оно вело к жилью, к людям, а я хотел быть один. Я вспомнил, что Олаф еще в Клавестре говорил мне о Маллеолане, новом городе в горах, построенном после нашего отлета; несколько километров шоссе, которые я прошел, действительно складывались из сплошных серпантинных, по-видимому обходящих отроги; но в наступающей темноте я мало что мог разглядеть. Эта дорога, как и другие, не была освещена — сама ее поверхность слегка фосфоресцировала, однако чересчур слабо, чтобы осветить даже растущие в нескольких шагах от нее кусты. Я свернул с шоссе, вслепую забрался в глубь маленькой рощицы и поднялся на большую, лишенную деревьев возвышенность — я почувствовал это по свободно гуляющему тут ветру; далеко внизу несколько раз мелькнула бледная змейка шоссе; потом исчез и этот последний свет; я снова остановился. Не столько бессильными в темноте глазами, сколько всем телом, лицом, подставленным ветру, я пытался разобраться в окружении, чуждом, как на неизвестной планете; я хотел кратчайшим путем добраться до одной из вершин, окружающих долину, в которой был расположен город, но как найти нужное направление? Вдруг, когда вся затея уже показалась мне безнадежной, я услышал идущий с высоты, справа, протяжный, отдаленный гул, немного похожий на голос волн, но все же отличный от него, — шум, с которым ветер проносился по лесу, лежащему значительно выше того места, на котором я стоял. Не раздумывая, я поспешил в ту сторону. Поросший сухой, старой травой склон привел меня к первым деревьям. Я обходил их, вытянув руки, чтобы уберечь лицо от веток. Вскоре подъем стал более пологим, деревья расступились, я снова вынужден был выбирать направление, вслушиваясь во тьму, терпеливо ждал очередного, более сильного порыва ветра. И вот пространство отозвалось, с отдаленных высот



долетело протяжное свистящее пение; да, ветер в эту ночь был моим союзником; я двинулся напрямик, не обращая внимания на то, что теперь довольно круто спускаюсь в глубь черной балки, и по ее наклонному дну начал размеренно идти вверх, и путь мне указывал журчащий где-то рядом ручеек. Я ни разу не увидел его, возможно, он бежал где-то под камнями; этот голос текущей воды становился все тише по мере того, как я поднимался вверх, и наконец умолк совершенно. Меня снова окружил лес, высокоствольный, наверно сосновый, почти совершенно лишенный подлеска. Землю покрывала мягкая подушка старой хвои, местами скользкая от лишайника.

Это блуждание вслепую продолжалось уже часа три; корни, о которые я спотыкался, все чаще охватывали выступающие из-под почвы наносные камни; я немного опасался, что вершина окажется поросшей лесом и в его лабиринте закончится этот едва начавшийся поход по горам, но мне везло: по голой поляне я добрался до полосы щебня, все круче поднимавшейся вверх. Стоило мне остановиться на секунду, как подо мной начинали с гулом плыть камни; перескакивая с ноги на ногу, спотыкаясь и падая, я добрался до бокового ската сужающейся расселины и пошел быстрее. Время от времени останавливаясь, я пытался рассмотреть хоть что-нибудь, но в темноте это было совершенно невозможно. Я не видел ни города, ни его зарева; от светящейся дороги, с которой я свернул, не осталось и следа; расселина вывела меня на поляну, поросшую сухой травой; о том, что я уже высоко, говорило все расширяющееся звездное небо, видимо, другие, заслоняющие его вершины начали сравниваться с той, на которую я взбирался. Пройдя еще несколько сотен шагов, я оказался среди молодого сосняка.

Если бы меня кто-нибудь случайно остановил в ту ночь и спросил, куда и зачем я иду, я бы не мог ответить; к счастью, никого не было, и одиночество этого ночного марша я ощущал подсознательно, по крайней мере как минутное облегчение. Скат становился все круче, идти было все трудней, но я шел и шел, заботясь только о том, чтобы не сворачивать, словно передо мной была определенная цель. Сердце колотилось, легкие разрывались, а я иступленно рвался вперед, как бы в забытии, чувствуя инстинктивно, что мне необходимо именно такое изматывающее усилие. Я разводил перед собой спутавшиеся ветки сосенок, иногда забирался в

самую их гущу и шел дальше. Иглистые кисти стегали меня по лицу, по груди, цеплялись за одежду, пальцы стали липкими от смолы. Неожиданно на открытом месте налетел ветер, навалился на меня из темноты, неудержимо бил, свистя где-то высоко, где, по моим догадкам, был перевал. Потом меня опять окружил сосняк, в нем как бы застыли невидимые островки теплого воздуха, насыщенного терпким сосновым ароматом. На пути выросли неясные преграды, наносные камни, пятна уползающего из-под ног щебня. Я шел уже несколько часов, а все еще чувствовал в себе запас сил, достаточный, чтобы привести человека в отчаяние. Балка, ведущая к невидимой седловине, а может быть, к вершине, сузилась настолько, что на фоне неба были видны сразу оба ее склона, высокие, закрывающие звезды.

Давно уже осталась внизу полоса тумана, но эта холодная ночь была безлунной, а звезды давали мало света. Тем сильнее удивился я, увидев вокруг себя и над собой беловатые продолговатые пятна. Они лежали во мраке, не освещая его, словно еще днем набравшись блеска; только первый сыпкий хруст под ногами дал мне понять, что я вступил на снег. Снег тонким слоем покрывал почти всю остальную часть очень крутого склона. Я, наверно, промерз бы до костей, потому что был легко одет, но неожиданно ветер стих, и тем ясней раздавался в воздухе отзвук, с которым при каждом шаге я пробивал снежную скорлупу, проваливаясь до середины икр.

На самом перевале снега почти не было. Над щебнем черными силуэтами торчали голые валуны. Я остановился и посмотрел в сторону города. Его закрывал склон горы, и только тьма, рыжеватая, разреженная блеском его огней, выдавала то место, где в долине лежал город. Надо мной дрожали звезды. Я сделал еще несколько шагов и опустился на седлообразный камень. Под ним собралось немного снега. Теперь я не видел даже слабых отсветов городского зарева. Передо мной во тьму врезались горы, призрачные, с вершинами, запорошенными снегом. Внимательно взглядевшись в восточный край горизонта, я заметил узкую серую полосу, размывающую звезды, — начало нового дня. На ее фоне вырисовывалась вертикальная, разрезанная пополам грань. И вдруг во мне что-то дрогнуло; бесформенный мрак снаружи — или внутри меня? — перемещался, отступал, изменял пропорции; я был так поглощен этим, что на мгновение как бы потерял зрение, а когда оно вернулось, я уже видел иначе.

Восточный край неба едва серел над полной мрака долиной, еще сильнее подчеркивая черноту темного отрога, но я мог бы на ощупь показать каждый его излом, каждую выбоину; я знал, какая картина откроется мне днем, потому что это было начертано во мне навсегда и накрепко. Это была та невероятная вещь, которой я желал, которая оставалась нетронутой, в то время как весь мой мир распался и погиб в полторавековой пасти времени. Здесь, в этой долине, я провел годы детства — в старом деревянном домике на противоположном, травянистом склоне Ловца Туч. От развалины, наверное, не осталось и следа, последние балки давно сгнили и превратились в прах, а скалистый хребет стоял, неизменный, словно ожидал этой встречи; может быть, неясное, подсознательное воспоминание привело меня ночью именно на это место?

Вся моя слабость, которую я так отчаянно подавлял сначала притворным спокойствием, потом иступленным подъемом в горы, вдруг, будто освобожденная потрясением, хлынула на меня. Я наклонился и, не стыдясь дрожи в пальцах, глотал снег, и его тающий на губах холод не утолял жажды, но усиливал мою трезвость. Я сидел так и ел снег, теперь уже только ожидая первых лучей солнца, которые должны были подтвердить мою догадку. Задолго до того, как оно вошло, с высоты, с медленно гаснувших звезд слетела птица, сложила крылья, сразу уменьшилась и, опустившись на наклонившийся обломок скалы, начала приближаться ко мне. Я застыл, боясь ее спугнуть. Она обошла вокруг меня и удалилась, а когда я подумал, что она не заметила меня, вернулась с другой стороны, обойдя камень, на котором я сидел; мы долго смотрели друг на друга, наконец я тихо сказал:

— Откуда ты тут взялась?

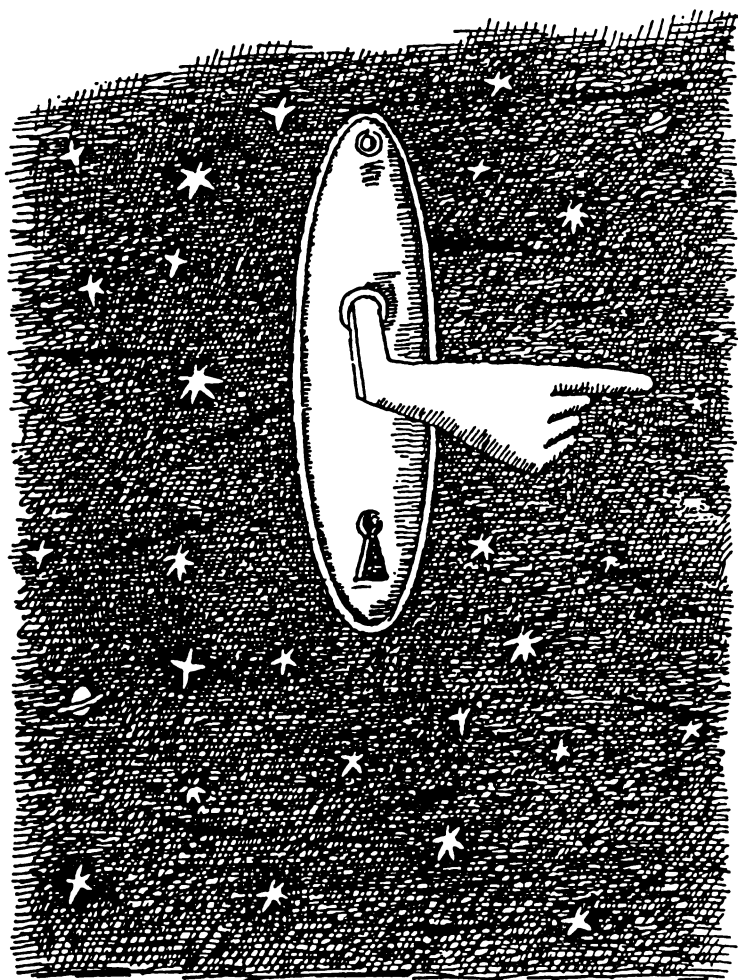
Видя, что она не боится, я опять принялся за снег. Она наклонила головку, вглядываясь в меня черными бусинками глаз, неожиданно, словно насмотревшись досыта, расправила крылья и улетела. А я, опираясь о шершавую поверхность камня, скорчившись, замерзший, ждал рассвета, и вся эта ночь возвращалась в бурных, отрывочных воспоминаниях — Турбер, его слова; молчание — мое и Олафа; вид города; красный туман и просветы в нем, образованные воронками огней; горячие потоки воздуха; висящие площади и аллеи, фужерники с огненными крыльями; не совсем вразумительный разговор с птицей на поляне и то, как я жадно глотал

снег, — все эти картины были и одновременно не были, как иногда во сне; они были напоминанием и умолчанием о том, чего я не смел затронуть, потому что все время пытался найти в себе согласие с тем, с чем не мог согласиться. Но это было раньше — именно как сон. Сейчас, трезвый и чуткий, ожидая дня, видя, как в воздухе, почти серебряном от рассвета, медленно возникают, выплывают из ночи суровые горные стены, ущелья, осыпи, будто молчаливо подтверждая реальность возвращения, я впервые сам — не чужой на Земле, уже подвластный ей и ее законам — мог без возмущения, без обиды думать о тех, кто улетает за золотым руном звезд..

Снега вершины зажглись золотом и белизной, она стояла над долиной, залитой лиловым сумраком, мощная и вечная, а я, не закрывая глаз, полных слез, преломляющих ее свет, медленно встал и начал спускаться по осыпи на юг, туда, где был мой дом.

# Глас Господа

роман





## ОТ ПУБЛИКАТОРА

Эта книга представляет собой публикацию рукописи, обнаруженной в бумагах покойного профессора Питера Э.Хогарта. К сожалению, выдающийся ученый не успел завершить и подготовить к печати книгу, над которой долгое время работал. Помешала одолевшая его болезнь. О работе этой, для него необычной и предпринятой не столько по собственному желанию, сколько из чувства долга, покойный профессор говорил неохотно даже с близкими людьми (к которым я имел честь принадлежать), поэтому при подготовке рукописи к печати появились спорные вопросы. Должен признать, что некоторые из ознакомившихся с текстом выступали против публикации, которая будто бы не входила в намерения покойного. Он, однако, не оставил какого-либо письменного свидетельства в этом духе, так что возражения подобного рода лишены оснований. В то же время было очевидно, что рукопись осталась незавершенной: заглавие отсутствует, а один из разделов — то ли вступление, то ли послесловие к книге — существует только в черновике.

Будучи, как коллега и друг покойного, наделен по завещанию полномочиями, я решил в конце концов сделать этот фрагмент, весьма существенный для понимания целого, введением к книге. Название «Глас Господа» предложил издатель, мистер Джон Ф.Киллер; пользуясь случаем, хочу выразить ему признательность за внимание, проявленное им к последнему труду профессора Хогарта, а также поблагодарить миссис Розамонду Т.Шеллинг, которая согласилась участвовать в подготовке книги к печати и взяла на себя окончательную правку текста.

*Профессор Томас В.Уоррен,  
Отделение математики, Вашингтонский университет,  
Вашингтон, округ Колумбия, апрель 1996 года*

---

Stos Pana, 1968

Перевод А.Громовой, Р.Нудельмана, К.Душенко — 1970, 1994

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Многие читатели будут неприятно поражены моими словами, однако я считаю своим долгом высказаться. Книг подобного рода мне еще не приходилось писать; а так как среди математиков не принято предварять свои труды излияниями на личные темы, раньше я обходился без таких излияний.

По не зависящим от меня обстоятельствам я оказался вовлеченным в события, которые собираюсь тут описать. Причины, побудившие меня предварить изложение чем-то вроде исповеди, станут ясны позже. Чтобы говорить о себе, нужно выбрать какую-либо систему соотнесения; пусть ею будет моя недавно изданная биография, принадлежащая перу профессора Гарольда Йовитта. Йовитт именует меня мыслителем высшего класса, так как я всегда выбирал самые трудные проблемы из тех, что вставали перед наукой. Он отмечает, что мое имя всегда появлялось там, где речь шла о коренной ломке прежних научных воззрений и создании новых, например, в связи с революцией в математике, с физикализацией этики, а также с Проектом ГЛАГОС. Дочитав до этого места, я ожидал вслед за словами о моих разрушительных наклонностях дальнейших, более смелых выводов. Я подумал, что дождался наконец настоящего биографа, что, впрочем, вовсе меня не обрадовало, ведь одно дело — обнажаться самому, и совсем другое — когда тебя обнажают. Однако Йовитт, словно испугавшись собственной пронизательности, затем возвращается (весьма непоследовательно) к ходячей трактовке моей персоны — как гения столь же трудолюбивого, сколь и скромного, и даже приводит несколько подходящих к случаю анекдотов. Поэтому я преспокойно отправил его книгу на полку, к другим моим жизнеописаниям; откуда мне было знать, что вскоре я раскритикую льстивого



портретиста? Заметив, что места на полке осталось немного, я вспомнил, как когда-то сказал Айвору Белойну: я, мол, умру, когда она будет заставлена вся. Он принял это за шутку, а между тем я выразил свое неподдельное убеждение, вздорность которого ничуть не уменьшает его искренности. Итак — возвращаюсь к Йовитту, — мне еще раз повезло или, если угодно, не повезло, и на шестьдесят втором году жизни, поставив на полку двадцать восьмой опус, посвященный моей особе, я остаюсь совершенно непонятым. Впрочем, имею ли я право так говорить?

Профессор Йовитт писал обо мне согласно канону, не им установленному. Не на всех известных людей позволено смотреть одинаково. Скажем, считается вполне допустимым выискивать человеческие слабости у знаменитых художников и артистов, и некоторые биографы, похоже, даже считают, что душа артиста не должна быть чужда мелких подлостей. Но в отношении великих ученых все еще действует прежний стереотип. В людях искусства мы уже научились видеть душу, прикованную к телу; литературоведу позволено говорить о гомосексуализме Оскара Уайльда, но трудно представить себе науковеда, который под тем же углом взглянул бы на создателей физики. Нам подавай непреклонных, безгрешных ученых, а исторические перемены в их биографии сводятся к перемене мест пребывания. Политик может оказаться мерзавцем, оставаясь великим политиком, но гениальный мерзавец — это внутреннее противоречие: гениальность перечеркивается подлостью. Так гласит все еще не отмененный канон.

Группа психоаналитиков из Мичигана пыталась, правда, с этим поспорить, но впала в грех тривиальности. Присущую физикам склонность к теоретизированию эти исследователи выводили из сексуальных комплексов. Психоанализ обнаруживает в человеке скотину, оседланную совестью, а такая езда — хуже некуда. Скотине под благочестивым ездоком неудобно, но не лучше и ездоку: ему ведь нужно не только обуздать ее, но и сделать невидимой. Теория, согласно которой мы прячем в себе старого зверя, оседланного новым разумом, — просто мешанина примитивнейших мифов.

Психоанализ возвещает истину инфантильным, то есть школярским, манером: он безжалостно и торопливо сообщает нам вещи, которые нас шокируют, тем самым заставляя принять их на веру. Упрощение, даже если оно соприкаса-

ется с правдой, нередко неотличимо от лжи — и это как раз такой случай. Нам еще раз показали демона и ангела, бестию и бога, сплетенных в манихейском объятии, и человек еще раз признал себя невиновным — как арену борьбы двух сил, которые заполонили его и делают с ним что хотят. Словом, психоанализ — это школярство взрослых людей. Мол, скандалы и безобразия раскрывают нам человека; вся драма существования разыгрывается между свиньей и сублимированным существом, в которое пытается превратить человека культура.

Так что профессор Йовитт скорее заслуживает благодарности за то, что он не пошел по стопам мичиганских психологов и остался в рамках классического стиля. Я не намерен говорить о себе лучше, чем говорили бы они, но есть все же разница между карикатурой и портретом.

Я не считаю, правда, что человек, сделавшийся объектом биографических исследований, знает себя лучше, чем его биографы. Их положение выгоднее: все неясное они могут объяснять недостатком сведений, заставляя тем самым предположить, что их герой, будь он жив и захоти он того, мог бы предоставить все недостающие данные. Однако он не располагает ничем, кроме неких гипотез о самом себе, которые могут представлять интерес как творения его ума, но необязательно как недостающие звенья его биографии.

Собственно говоря, при достаточной фантазии каждый из нас мог бы написать не одну, а несколько собственных биографий, и получилось бы множество, объединенное только одинаковостью фактографических данных. В молодости даже умные (хотя, по недостатку опыта, наивные) люди не видят в этой мысли ничего, кроме цинизма. Они ошибаются: тут перед нами не проблема морали, а проблема познания. Разнообразие верований, которые человек исповедует по отношению к себе самому — в разные периоды своей жизни, а то и одновременно, — нисколько не меньше разнообразия верований метафизических.

Поэтому я не утверждаю, будто смогу дать читателю нечто большее, нежели представление о самом себе, которое начало складываться у меня лет сорок назад; его единственной оригинальной чертой я считаю то, что оно для меня нелестно. Но эта нелестность не сводится к «срыванию маски» — единственному приему в арсенале психоаналитика. Сказав, к примеру, о гении, что в нравственном отноше-

нии он был свиньей, мы вовсе не обязательно затронем его самое больное место. Мысль, «достигающая потолка своей эпохи», как выражается Йовитт, не почувствует себя задетой подобным диагнозом. Для самого гения позором может быть тщетность его интеллектуальных усилий, осознание зыбкости всего совершенного им. Гениальность есть вечное сомнение, сомнение прежде всего. Но ни один из великих не устоял перед давлением общества, ни один не разрушил памятников, которые ему воздвигались при жизни, а значит, и не подверг сомнению себя самого.

Если я, как особа, за гениальность которой поручились несколько десятков ученых биографов, могу хоть что-то сказать о высших взлетах человеческого духа, так это лишь то, что духовное озарение — лучезарная точка в безбрежном пространстве мрака. Гений — не столько собственно свет, сколько постоянная готовность видеть окружающий мрак; нет для него трусости горшей, чем купаться в собственном блеске и, покуда это возможно, не заглядывать в темноту. Сколько бы ни было в нем действительной силы, всегда остается немалая часть, которая служит лишь ее имитацией.

Главенствующими чертами своего характера я считаю трусость, злобность и высокомерие. Так вышло, что эта троица имела к своим услугам кое-какой талант, который завуалировал ее и, по видимости, переиначил; а помог в этом ум, одно из самых удобных орудий для маскировки, в случае надобности, наших природных изъянов. Вот уже сорок с лишним лет я веду себя как человек отзывчивый и скромный, чуждый профессиональной спеси — потому что я очень долго и упорно приучал себя к этому. С раннего детства, сколько я себя помню, мною руководило стремление к злу — о чем я, разумеется, не догадывался.

Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной. В местах почитаемых — особенно в церкви — или в присутствии наиболее почтенных людей я любил размышлять о запретном. То, что размышления эти были ребяческими и смешными, совершенно не важно. Просто я ставил эксперименты в масштабе, который тогда был мне доступен. Не помню, когда я впервые приступил к таким опытам. Помню только щемящую скорбь, гнев, разочарование, которые потом годами преследовали меня, когда оказалось, что голову, переполняемую дурными помыслами даже здесь, в соседстве таких людей, не поражает молния, что отпадение

от должного порядка бытия не влечет за собой никаких, решительно никаких последствий.

Я — если можно сказать так о малолетнем ребенке — жаждал этой карающей молнии или еще какого-нибудь ужасного наказания, какого-нибудь возмездия, я призывал его — и возненавидел мир, в котором существую, за то, что он доказал мне тщетность всяких — а стало быть, и дурных — помыслов. Поэтому я никогда не мучил ни животных, ни даже растения, зато стегал камни, песок, измывался над вещами, тиранил воду и мысленно разбивал звезды вдребезги, чтобы наказать их за полнейшее равнодушие ко мне, — и злоба моя становилась тем бессильней, чем яснее я осознавал, насколько все это смешно и глупо.

Несколько позже я начал воспринимать это свое состояние, как мучительное несчастье, с которым ничего не поделаешь, поскольку оно ничему не служит. Я сказал, что злость моя была изотропной; но прежде всего она устремлялась на меня самого; мои руки, ноги, мое отражение в зеркале так раздражали меня, как обычно раздражают и злят только посторонние люди. Немного повзрослев, я решил, что так жить невозможно; еще позже определил, каким я, собственно, должен быть, и с тех пор старался держаться — не всегда достаточно последовательно — выработанной однажды программы.

С точки зрения морального детерминизма в автобиографии, которая начинается с упоминания о прирожденной трусости, злобности и высокомерии автора, имеется логический просчет. Ведь если признать, что все в нас предопределено, то предопределено было и мое сопротивление злу, таящемуся у меня в душе, а вся разница между мной и теми, кто лучше меня, сводится лишь к различию побуждений. Другим ничего не стоит делать добро — они просто следуют своим естественным склонностям; а я действовал вопреки своей натуре, как бы искусственно. Но я же сам и приказывал себе так поступать — значит, в конечном счете был предназначен к добру. Демосфен вложил себе камушек в рот, чтобы побороть заикание, а я вложил в свою душу железо, чтобы ее выпрямить.

Но это уподобление как раз и показывает всю абсурдность детерминизма. Граммофонная пластинка, на которой запечатлено ангельское пение, в нравственном отношении ничуть не лучше, чем та, на которой записан звериный рев.

С точки зрения детерминизма тот, кто хотел и мог стать лучше, был обречен на это заранее, и точно так же была предрешена судьба того, кто хотел, но не смог — или даже не пытался — захотеть. Заключение это ложно; звуки борьбы, записанные на пластинке, совсем не то, что борьба реальная. Зная, чего мне это стоило, я могу утверждать, что мои-то усилия не были мнимыми. Просто детерминизм говорит о другом; величины, которыми оперирует физик, тут непригодны, и перевод преступления на язык амплитуды атомных вероятностей не равнозначен его оправданию.

В одном Йовитт, пожалуй, прав: я всегда искал трудностей. И обычно не давал воли своей врожденной злобности — это было бы слишком легко. Пускай это выглядит странно и даже нелепо, но поступал я так не потому, что перебарывал в себе склонность ко злу ради добра как более высокой ценности, — напротив, как раз тогда я во всей полноте ощущал в себе присутствие зла. Мне важен был баланс усилий, не имевший ничего общего с простой арифметикой морали. Ей-богу, не знаю, что бы стало со мной, окажись первичным свойством моей природы склонность к совершению добрых поступков: как и обычно, попытка постичь себя в ином облике, нежели тот, что тебе дан, вступает в противоречие с законами логики и терпит крах.

Один только раз я не отстранился от зла; это воспоминание связано с долгой и ужасной предсмертной болезнью матери; я любил мать и вместе с тем жадно и зорко следил, как ее разрушает недуг. Мне было тогда девять лет. Она, воплощение душевного спокойствия, силы, прямо-таки величественной гармонии, лежала в агонии, затянувшейся и затягиваемой врачами. Здесь, у ее постели, в затемненной, пропитанной запахом лекарств комнате, я еще сдерживался, но однажды, выйдя от нее и видя, что вокруг никого нет, скорчил радостную гримасу в сторону спальни, а так как этого мне показалось мало, помчался к себе и, запыхавшись, скакал перед зеркалом со стиснутыми кулачками, строя рожи и хихикая от щекочущего удовольствия. От удовольствия? Я хорошо понимал, что мать умирает, и целые дни проводил в отчаянии ничуть не менее искреннем, чем это с трудом подавляемое хихиканье. Оно — я помню прекрасно — ужаснуло меня, но оно же вывело меня за пределы обычного порядка вещей, и этот прорыв был поразительным откровением.

Ночью, в постели, один, я пытался понять случившееся, но это было мне не по силам; и вот, искусно нагнетая жалость к себе самому и к матери, я довел себя до слез — и уснул. Должно быть, слезы я счел искуплением. Но дни шли за днями, я подслушивал все более печальные новости, которые врачи сообщали отцу, и все повторялось сызнова. Я боялся идти к себе, боялся оставаться один. Так что первым человеком, которого я испугался, был я сам.

После смерти матери я впал в отчаяние — детское, не отягощенное душевными угрызениями. Грозные чары развеялись вместе с ее последним вздохом. И тогда же развеялся страх. Все это настолько темно, что я могу лишь строить догадки. Я наблюдал крушение абсолюта, обернувшегося иллюзией, противоборство постыдное и непристойное, — совершенство расплзлось в этой борьбе, как гнилое тряпье. Порядок вещей был растоптан, и, хотя люди, стоявшие выше меня, предусмотрели особые ухищрения даже для столь мрачных случаев, эти уловки не стыковались с происходящим. Невозможно с достоинством и изяществом кричать от боли (от наслаждения — тоже). В неопрятности умирания я почувствовал правду. Быть может, то, что вторглось в обыденность, я признал более сильной стороной: она побеждала, поэтому я к ней и примкнул.

Мой тайный смех... неужели я просто смеялся над страданиями матери? Но нет: ее страданий я лишь боялся — и только, они неизбежно сопутствовали умиранию, это я мог понять и, если бы мог, освободил ее от боли, ведь мне не нужны были ни ее страдания, ни ее смерть. К реальному убийце я бросился бы, плача и умоляя его, как всякий ребенок, но никакого убийцы не было, и все, что я мог, — это вбирать в себя коварство неведомо кем причиняемых мук. Ее опухшее тело превращалось в чудовищную карикатуру на себя самое; оно подвергалось глумлению и от этого глумления корчило. Мне оставалось либо погибать вместе с ней, либо смеяться над нею, и я — из трусости — выбрал предательский смех.

Не поручусь, что так оно все и было. Первый приступ хихиканья случился со мной, когда я увидел разрушение тела; я, возможно, так и не познал бы этого ощущения, если бы мать ушла из жизни как-нибудь благолепнее, скажем, тихо заснула: смерть в такой ее форме мы готовы принять. Но случилось иначе, и я, вынужденный верить собственным

глазам, оказался вдруг беззащитным. В прежние времена хор причитальщиц вовремя заглушил бы стоны умирающей; но вырождение культуры свело магические ритуалы до уровня парикмахерского искусства: я подслушал, как хозяин похоронного заведения предлагал отцу на выбор различные выражения лица, в которые он берется переделать посмертную судорожную гримасу. Отец тогда вышел из комнаты, и во мне шевельнулось ощущение солидарности: я его понял. Позже я думал об этой агонии несчетное множество раз.

Версия смеха как предательства кажется мне недостаточной. Предательство совершается ради чего-то, но почему разрушение так для нас притягательно? Какая грозная надежда просвечивает из его черноты? Его абсолютная бесцельность заранее опровергает любое рациональное объяснение. Всевозможные культуры напрасно пытались искоренить эту насытную страсть. Она дана нам столь же безусловно, как и наша двуногость. Тому, кто отвергает сознательно творящую первопричину, будь то в облике Провидения или в облике Сатаны, остается лишь рациональный суррогат демонологии — статистика. И вот от затемненной комнаты, пропитанной запахом тления, тянется ниточка к моей математической теории антропогенеза; формулами стохастики я пытался снять омерзительное заклятие. Но и это всего лишь догадка, защитный рефлекс разума.

Знаю: все здесь написанное можно обратить в мою пользу, чуточку сместив акценты, — и будущий биограф постарается это сделать. Он докажет, что с помощью разума я героически обуздал свой характер, а хулил себя ради самоочищения. Это значило бы следовать Фрейду; Фрейд стал Птолемеем психологии, так что каждый может теперь толковать людские феномены, громоздя эпициклы на эпициклы; эта конструкция нам близка, потому что красива. Идиллию он заменил гротеском, оперу — трагикомедией, не ведая, что остается рабом эстетики.

Пускай мой посмертный биограф не хлопочет: в апологиях я не нуждаюсь и мои рассуждения продиктованы любопытством, а не чувством вины. Я хотел понять — только понять, ничего больше. Ведь бесцельность зла — единственная опора, которую находит в нас богословская аргументация; теодицея объясняет нам, откуда взялось это свойство, в котором Натура и Культура одинаково неповинны. Разум, постоянно погруженный в материю гуманитарного опыта, а

стало быть, антропоцентричный, может в конце концов решить, что Творение — жутковатая шутка.

Мысль о Создателе, который попросту забавлялся, весьма привлекательна, но тут мы входим в порочный круг: мы готовы счесть Творца злонамеренным не потому, что он сотворил нас такими, а потому, что сами мы злонамеренны. А ведь если человек так ничтожен, так неприметен перед лицом Мироздания, как об этом говорит нам наука, то манихейский миф — очевидная несообразность. Скажу иначе: если мир действительно сотворен (чего я, впрочем, не допускаю), необходимый для этого уровень знаний несовместим с туповатыми шутками. Ибо — в этом, собственно, и состоит мое кредо — нет и не может быть идеально мудрого *зла*. Разум говорит мне, что Творец не может быть мелким пакостником, иллюзионистом, который подсмеивается над тем, что творит. То, что мы принимаем за злонамеренность, — возможно, обычный просчет, ошибка; но тогда мы приходим к еще не существующей теологии ущербных божеств. А область их созидательной деятельности — та же самая, в которой творю я сам, то есть вероятностная статистика.

Любой ребенок бессознательно совершает открытия, из которых выросли статистические вселенные Гиббса и Больцмана; действительность предстает перед ним оксаном возможностей, которые возникают и обособляются очень легко, почти самопроизвольно. Ребенка окружает множество виртуальных миров, ему совершенно чужд космос Паскаля — этот окаменелый, размеренный, движущийся, как часовой механизм, труп. Позже, в зрелые годы, первоначальное богатство выбора уступает место застывшему порядку вещей. Если мое изображение детства покажется односторонним (хотя бы потому, что своей внутренней свободой ребенок обязан неведению, а не выбору), то ведь и любое изображение односторонне.

От первоначального богатства воображения я унаследовал кос-какис остатки — устойчивое неприятие действительности, похожее скорее на гнев, чем на отрешенность. Уже мой смех был протестом едва ли не более действенным, чем самоубийство. Я признаюсь в этом теперь, в шестьдесят два года, а математика была лишь позднейшим следствием такого взгляда на мир. Она была моим вторым дезертирством.

Я выражаюсь метафорически, — но прошу меня выслушать. Я предал умиравшую мать, то есть всех людей сразу:



засмеявшись, я сделал выбор в пользу силы более могущественной, чем они, хотя и омерзительной, потому что не видел иного выхода. Но потом я узнал, что невидимого противника, который вездесущ и который свил себе гнездо в нас самих, тоже можно предать, хотя бы отчасти, поскольку математика не зависит от реального мира.

Время показало мне, что я ошибся еще раз. По-настоящему выбрать смерть против жизни и математику против действительности нельзя. Такой выбор, будь он настоящим, означал бы самоуничтожение. Что бы мы ни делали, мы не можем порвать с действительностью, и опыт подсказывает, что математика — тоже не идеальное убежище, потому что ее обитель — язык. А это информационное растение пустило корни и в мир, и в человеке. Такие мысли с юности посещали меня, хотя тогда я еще не мог изложить их на языке доказательств.

В математике я искал того, что ушло вместе с детством, — множественности миров, возможности отрешиться от навязанного нам мира, отрешиться с такой легкостью, словно нет в нем той силы, что прячется и в нас самих. Но затем, подобно всякому математику, я с изумлением убеждался, до чего потрясающе неожиданна и неслыханно многостороння эта деятельность, вначале похожая на игру. Вступая в нее, ты гордо, открыто и безоговорочно обособляешь свою мысль от действительности и с помощью произвольных постулатов, категоричных, словно акт творения, замыкаешься в терминологических границах, призванных изолировать тебя от суетного скопища, в котором приходится жить.

Но именно этот отказ, этот полный разрыв и раскрывает нам сердцевину явлений; побег оборачивается завоеванием, дезертирство — постижением, а разрыв — примирением. Мы с удивлением замечаем, что бегство было мнимым и мы вернулись к тому, от чего убегали. Враг, сбросив старую кожу, предстает перед нами союзником, мы удостаиваемся очищения, мир молчаливо дает нам понять, что преодолеть его можно лишь с его помощью. Так усемирятся страх, оборачиваясь восхищением, — в этом необыкновенном убежище, из глубин которого открывается выход в единое пространство мироздания.

Математика не выражает, не раскрывает человека так, как любой другой вид деятельности: степень развоплощения, достигаемая благодаря ей, несравнима ни с чем. Инте-

ресующихся отсылаю к моим работам. Здесь скажу лишь, что мироздание запечатлело свои законы в человеческом языке при самом его зарождении; математика дремлет в каждом наречии, ее можно открыть, но не изобрести.

То, что в ней составляет крону, невозможно отделить от корней; ведь возникла она не за три или восемь последних столетий, а в течение долгих тысячелетий языковой эволюции, на поле упорной борьбы человека с его окружением. Она возникает из *между-людыя* и *между-речья*. Язык настолько же мудрее любого из нас, насколько наше тело лучше нас самих ориентируется во всех деталях протекающего в нем жизненного процесса. Мы еще не исчерпали наследия этих двух эволюций — живой материи и информационной материи языка, — а уже мечтаем выйти за их пределы. Возможно, все сказанное здесь — заурядное философствование, но этого никак не скажешь о моих доказательствах в пользу языкового происхождения математических понятий (которые, стало быть, не являлись лишь следствием перечислимости предметов и изобретательности ума).

Причины, по которым я стал математиком, наверно, сложны, но одной из главных были мои способности, без которых я добился бы не больших успехов, чем горбун в легкой атлетике. Не знаю, сыграл ли роль в той истории, которую я собираюсь рассказать, мой характер — а вовсе не способности, — но не исключаю и этого: масштаб событий позволяет мне отрешиться и от гордости, и от застенчивости.

Мемуаристы обычно решаются на предельную искренность, если считают, что могут рассказать о себе нечто неслыханно важное. Я, напротив, искренен потому, что моя личность в данном случае абсолютно несущественна; иначе говоря, к откровенности, вообще-то несносной, меня побуждает только неумение различить, где кончается статистический каприз, определивший склад моей личности, и где начинается видовая закономерность.

В науке существуют реальные знания и знания, создающие духовный комфорт; они необязательно совпадают. В науках о человеке различие двух этих видов почти невозможно. Мы ничего не знаем так скверно, как самих себя, — не потому ли, что, пытаясь узнать, и узнать достоверно, что именно сформировало человека, мы заранее исключаем возможность сочетания глубочайшей необходимости с нелепейшими случайностями?

Когда-то я разработал для одного из своих друзей программу эксперимента, состоявшего в том, что цифровая машина моделировала поведение семейства нейтральных существ — неких гомеостатов, которые познают окружающую среду, не обладая в исходном состоянии ни «этическими», ни «эмоциональными» свойствами. Эти существа размножались — разумеется, в машине, то есть размножались, как сказал бы профан, в виде чисел, — и несколько десятков поколений спустя во всех «особях» каждый раз возникала непонятная для нас особенность поведения — некий эквивалент агрессивности. Мой приятель, проделав трудоемкие — и бесполезные — контрольные расчеты, принялся наконец проверять — просто с отчаяния — все без исключения условия опыта. И оказалось, что один из датчиков реагировал на изменения влажности воздуха; они-то и были неопознанной причиной отклонений.

Вот и сейчас я все думаю об этом эксперименте: что, если социальный прогресс вытащил нас из звериного царства и вознес по экспоненте — совершенно не подготовленными к такому взлету? Образование социальных связей началось, как только человеческие атомы обнаружили минимальную способность к сцеплению. Они были сырьем, прошедшим лишь первичную биологическую обработку, удовлетворяли чисто биологическим критериям, а неожиданный «пинок вверх» вырвал нас из привычной среды и вынес в пространство цивилизации. Разве при этом взлете биологический материал не мог запечатлеть в себе следы случайностей, подобно глубоководному зонду, который, опустившись на дно, кроме рыб и моллюсков захватывает всякий случайный хлам? Я вспоминаю отсыревающее реле в безотказной цифровой машине. Так почему же процесс, который породил нас на свет, должен — в каком бы то ни было отношении — быть идеальным? А между тем мы (как и наши философы) не смеем предположить, что безусловность и единственность существования нашего вида вовсе не означают, будто его породило само совершенство. Это так же невероятно, как и то, что само совершенство стояло у колыбели любого из нас.

И что любопытно: признавая несовершенство нашего вида, ни одна из религий не решилась признать его тем, что оно есть в действительности, — результатом действий, сопряженных с ошибками. Напротив, едва ли не все они объясняют несовершенство человека противоборством двух

одинаково совершенных демиургов, которые друг другу вредили. Светлое совершенство сразилось с темным, и возник человек; так гласит их кредо. Мое объяснение, быть может, примитивно, — но только если оно ложно, а этого мы не знаем. Приятель, о котором я говорил, заострил мою мысль до карикатуры: дескать, согласно Хогарту, человечество — горбун, который не знает, что можно жить без горба, и тысячами выискивает в своем увечье знамение высшей необходимости; он примет любой ответ, за исключением одного: что это просто увечье, что никто не создал его горбатым из каких-то высших соображений, что горбатость его совершенно бесцельна — так уж сложились лабиринты и зигзаги антропогенеза.

Но я собирался говорить о себе, а не о человеческом роде. Не знаю, откуда она во мне, не знаю, что было ее причиной, но еще и теперь, через столько лет, я нахожу в себе все ту же несостарившуюся злость, ведь энергия наших архаических побуждений не старится. Это могут счесть эпатажем. Не один десяток лет я работал как ректификационная машина, производя дистиллят, то есть кипу научных трудов, которые в свою очередь породили кипу житийных повествований обо мне. Вы скажете, что нутро всей этой аппаратуры вам безразлично и я напрасно выволакиваю его на свет Божий. Но имейте в виду: на безупречно чистой пище, которой я вас угощал, я вижу клеймо всех моих тайн.

Математика была для меня не блаженной страной, а, скорее, соломинкой, протянутой утопающему, храмом, в который я, неверующий, вошел потому, что здесь царил священный покой. Мой основной математический труд назвали разрушительным, и не случайно. Не случайно я нанес жестокий удар по основам математической дедукции и понятию аналитичности в логике. Я обратил оружие статистики против этих основ — и взорвал их. Я не мог быть одновременно дьяволом в подземелье и ангелом при солнечном свете. Я созидал, но на пепелищах, и прав Йовитт: я больше ниспроверг старых истин, чем утвердил новых.

Вину за этот негативный итог возложили на эпоху, а не на меня, ведь я появился уже после Рассела и Геделя, — после того как первый из них обнаружил трещины в фундаменте хрустального дворца, а второй расшатал сам фундамент. Вот обо мне и говорили, что я действовал сообразно духу времени. Ну да. Но треугольный изумруд остается тре-

угольным изумрудом, даже став человеческим глазом — в мозаичной картине.

Я не раз размышлял, что бы стало со мной, родись я внутри одной из четырех тысяч культур, именуемых примитивными, — в той бездне восьмидесяти тысяч лет, которая в нашем скудном воображении съезживается до размеров какой-то прихожей, зала ожидания настоящей истории. В некоторых из этих культур я бы зачах, зато в других — как знать? — проявил бы себя гораздо полней в роли вдохновенного пророка, творца обрядов и магических ритуалов — благодаря способности комбинировать элементы. В нашей культуре этому препятствует релятивизация всех категорий мышления; иначе я смог бы, пожалуй, свободно переводить стихию уничтожения и разнузданности в сакральную сферу. Ведь в архаических обществах действие обычных запретов периодически приостанавливалось — в культуре появлялся разрыв (культура была их опорой, фундаментом, абсолютом, и удивительно, как они догадались, что даже абсолют должен быть дырявым!); через этот разрыв уходила спекшаяся масса, которая ни в какой системе норм не помещалась и, скованная путами обычаев и запретов, лишь в малой доле проявлялась вовне — скажем, в масках свирепых воинов или масках духов предков.

Такое рассечение обыденных уз, освобождение от стеснительных предписаний было вполне разумным, рациональным; групповая одержимость, хаос, выпущенный на волю и подхлестываемый наркотом ритмов и ядов, служили предохранительным клапаном, через который уходили темные силы; благодаря этому удивительному изобретению варварские культуры были человеку «по мерке». Преступление, которое можно сделать небывшим; обратимое безумие; ритмично пульсирующий разрыв в социальном порядке, — все это осталось в прошлом, ныне все эти силы ходят в упряжке, тянут лямку, рядятся в костюм, который им тесен и неудобен, — и разъедают, как кислота, всякую повседневность, просачиваются всюду тайком, раз уж им нигде не позволено показаться без маски. Каждый из нас с малых лет вцепляется в какую-нибудь частичку своего Я, которая им выбрана, выучена, получила признание окружающих, и вот мы холим ее, лелеем, совершенствуем, души в ней не чаем; так что каждый из нас — частица, притязающая на полноту, жалкий обренок, выдающий себя за целое.

Сколько я себя помню, мне всегда недоставало этики, выросшей из непосредственной впечатлительности. И я создал для себя ее суррогат, подыскав достаточно веские основания; ведь основывать заповеди на пустом месте — все равно что причащаться, не веря в Бога. Я, конечно, не расчислил вперед свою жизнь, исходя из каких-то теорий, и не подгонял под свое поведение — задним числом — какие-то аксиомы. Я действовал так бессознательно, а мотивы обнаружил потом.

Считай я себя человеком, от природы добрым, вряд ли я постиг бы по-настоящему зло. Я считал бы, что зло творится только умышленно, по свободному выбору, так как в собственном опыте не нашел бы иных причин недостойного поведения. Но я уже кое-что знал — и свои склонности, и свою невиновность в них: я дан себе в своем единственном облике, и никто не спрашивал, согласен ли я на такой дар.

Так вот: допустить, чтобы один раб помыкал другим ради умиротворения сил, вложенных в них обоих, допустить, чтобы один безвинный мучил другого, если хоть как-то можно этому помешать, было бы для меня оскорблением разума. Мы даны себе такими, какие есть, и не можем отречься от этих даров, но, коль скоро открывается малейшая возможность взбунтоваться против такого порядка вещей, как не воспользоваться ею? Только такие решения и такие поступки я признаю исключительно нашим, человеческим достоянием, как и возможность самоубийства, — вот она: область свободы, в которой отвергается непрощеное наследство.

Только не говорите, будто я противоречу себе: дескать, только что я мечтал о пещерной эпохе, где мог бы развернуться вовсю. Познание необратимо, и нет возврата в сумрак блаженного неведения. В те времена я не имел бы знаний и не смог бы их получить. Ныне я их имею и должен использовать. Я знаю, что нас создавали и формировали случайности, — так неужели я буду покорным исполнителем всех приказов, вслепую вытянутых в неисчислимых тиражах эволюционной лотереи?!

Мое *principium humanitatis*\* не вполне обычно: вздумай его применить к себе человек по природе добрый, ему пришлось бы, следуя принципу «преодоления собственной при-

---

\* Основное начало человечности (лат.).

роды», причинять зло, чтобы утвердиться в сознании истинно человеческой свободы. Итак, мой принцип непригоден для всеобщего употребления, но я и не собирался предлагать этическую панацею для всего человечества. Непохожесть, неодинаковость людей изначальна и неоспорима, поэтому кантовский постулат — что принцип, лежащий в основе поведения индивида, должен стать всеобщим законом — налагает на людей неравное бремя. Индивидуальные ценности он приносит в жертву культуре как ценности высшей, а это несправедливо. Я также не думаю, будто человека можно считать человеком лишь постольку, поскольку упрятанное в нем чудовище он сам же связал по рукам и ногам. Я представил сугубо личные резоны, мою индивидуальную стратегию, которая, впрочем, ничего не изменила во мне. По-прежнему первой моей реакцией на известие о чьей-то беде остается мгновенная вспышка удовлетворения; я даже не пробую предупредить ее, отчаявшись добраться туда, где прячется это бездумное и бессмысленное хихиканье. Но я отвечаю сопротивлением и действую вопреки себе потому, что могу это делать.

Если б я действительно писал автобиографию — которая в сравнении с другими моими жизнеописаниями оказалась бы антибиографией, — мне не пришлось бы доказывать уместность подобных признаний. Но цель у меня другая. Вот событие, о котором я поведу речь: человечество столкнулось с чем-то, высланным в звездный мрак существами, отличными от нас, людей. Событие это, первое в нашей истории, думаю, стоит того, чтобы поведать, не стесняясь условностями, кто же, собственно, представлял человечество во встрече с Другими. Тем более что тут спасовала и моя гениальность, и моя математика, и плоды этой встречи оказались отравленными.

## 1

О Проекте «Глас Господа» существует огромная и гораздо более пестрая по своему составу литература, чем о Манхэттенском. Когда его рассекретили, на Америку и на весь мир обрушилась лавина статей, книг, брошюр; одна библиография составляет увесистый том размером с энциклопедию. Официальная версия изложена в докладе Белойна, позднее

вышедшем в издательстве «American Library» десятиллионным тиражом, а его квинтэссенция содержится в восьмом томе «Американской энциклопедии». О Проекте писали и другие люди, занимавшие в нем ведущие должности, например С. Раппопорт («Первая в истории межзвездная связь»), Т. Дилл («Глас Господа — я его слышал») и Д. Протеро («Проект ГЛАГОС — физические аспекты»). Книга Протеро, моего ныне покойного друга, — одна из самых обстоятельных, хотя принадлежит она, собственно, к разряду узкоспециальной литературы, где объект исследования совершенно отграничен от личности исследователя.

Историко-научных разработок слишком много, чтобы их все перечислить. Четырехтомная монография Уильяма Ангерса («Хроника 749 дней») восхитила меня своей скрупулезностью — Ангерс добрался до всех бывших сотрудников Проекта и изложил их взгляды; но осилить ее я не смог — это было все равно что читать телефонную книгу.

Особый раздел составляют толкования Проекта — от философских и богословских до психиатрических. Их чтение меня утомляет и раздражает. Не случайно, я думаю, охотней всего рассуждают о Проекте те, кто в нем не участвовал.

Это напоминает отношение к гравитации или, допустим, к электронам культурной публики, читающей популярные книжки. Публике кажется, будто она что-то знает о том, о чем специалисты даже не решаются говорить. Информация из вторых рук всегда выглядит более стройно и убедительно, чем полные пробелов и неясностей сведения, которыми располагает ученый. Авторы-истолкователи втискивали факты в рамки своих убеждений, без пощады и колебаний отсекая все, что туда не влезало. Некоторые истолкования восхищают находчивостью и остроумием, но в целом эта разновидность литературы неуловимо переходит в графоманию на тему Прсекта. Науку с самого начала окружало гало псевдонауки, этого порождения недоумков, и стоит ли удивляться, что ГЛАГОС — явление небывалое — вызвал в сумеречных умах усиленно и даже опасное брожение, вплоть до создания религиозных сект.

Количество информации, необходимое, чтобы хоть в общих чертах разобраться в проблематике Проекта, по правде сказать, превышает емкость мозга отдельного человека. Но неведение, которое охлаждает пыл у людей разумных, ни в коей мере не сдерживает дураков; поэтому в океане печат-



ной продукции, порожденной Проектом ГЛАГОС, каждый отыщет кое-что для себя — если его не слишком интересует истина. Впрочем, о Проекте писали и особы, во всех отношениях почтенные. «Новое Откровение» преподобного Патрика Гординера хотя бы остается в ладах с логикой, чего никак не скажешь о «Послании Антихриста» отца Бернарда Пиньяна. Этот богобоязненный автор свел проблематику ГЛАГОСа к демонологии (с одобрения своих иерархов), а неудачу Проекта объяснил вмешательством Провидения. Он, похоже, принял всерьез название «Повелитель Мух», выдуманное участниками Проекта в шутку, — как ребенок, уверенный, что названия звезд и планет написаны прямо на них, а астрономы читают их, глядя в свои телескопы.

Но что сказать о потоке сенсационных версий, об этих замороженных блюдах, готовых к немедленному употреблению и разве что не разжеванных, которые в своей целлофановой упаковке гораздо лучше на вид, чем на вкус. Одни и те же компоненты заправлены в них всякий раз новым, но непременно сказочно ярким соусом. Журнал «Лук» одобрил серию своих репортажей шпионско-политическим соусом (вложив мне в уста слова, которых я в жизни не говорил); в «Нью-Йоркере» продукт был изысканнее, с добавкой кое-каких философских вытяжек, а доктор медицины У.Шейпер изложил психоаналитическую трактовку событий в книге «Истинная история ГЛАГОСа», из которой я узнал, что действиями сотрудников Проекта руководило либидо, деформированное под влиянием новейшей — космической — мифологии секса. Доктор Шейпер обладает также точными сведениями о сексуальной жизни космических цивилизаций.

И почему это без водительских прав запрещено разезжать по дорогам, а вот людям, начисто лишенным порядочности — о знаниях я и не говорю, — позволено печатать свои сочинения беспрепятственно и в любом количестве? Инфляция печатного слова отчасти вызвана экспоненциальным возрастанием количества пишущих, но издательской политикой — тоже. Детство нашей цивилизации было временем, когда читать и писать умели лишь избранные, по-настоящему образованные люди. Этот критерий сохранял силу и после изобретения книгопечатания; и хотя сочинения глупцов иногда издавались (тут ничего не поделаешь), их число еще не было астрономическим — не то что теперь. В

разливе макулатуры тонут действительно ценные публикации: ведь легче отыскать одну хорошую книгу среди десяти никудышных, чем тысячу — среди миллиона. И неизбежным становится неумышленный плагиат — повторение где-то уже напечатанных мыслей.

Я и сам не уверен, что не повторяю сказанное кем-то до меня. В эпоху цивилизационного взрыва этот риск неизбежен. И если я решил изложить собственные воспоминания о работе в Проекте, то лишь потому, что ничто из прочитанного меня не удовлетворило. Не обещаю читателю «правду и только правду». Другое дело, если б наши усилия увенчались успехом... впрочем, тогда моя затея была бы ненужной: история поисков истины поблекла бы в свете самой истины как материального факта, вбитого в самую сердцевину цивилизации. Но поражение словно вернуло наши усилия к первоисточнику. Мы не разгадали загадку, и нет у нас ничего, кроме обстоятельств нашего поражения. Это леса, а не постройка, процесс перевода, а не его результат. И это — единственное, с чем мы вернулись из похода за звездным золотым руном. Уже здесь я расхожусь с тональностью даже тех версий, которые сам называл объективными, — начиная с доклада Белойна, — в них вообще нет слова «поражение». Разве не вышли мы из Проекта несравненно более богатыми, чем вошли в него? Новые разделы коллоидной физики, физики сильных взаимодействий, нейтринной астрономии, ядерной физики, биологии, а прежде всего новые знания о космосе — вот лишь первые проценты от нашего информационного капитала; а ведь он, уверяют специалисты, обещает прибыли и в дальнейшем.

Конечно. Но польза бывает разного рода. Муравьи, натолкнувшись на мертвого философа, быстренько им воспользуются. Мой пример вас шокирует? Именно этого я и хотел. Письменность с самого своего зарождения имела, казалось бы, единственного врага — ограничение свободы выражения мысли. И вот оказывается, что для мысли едва ли не опаснее свобода слова. Запрещенные мысли могут обращаться втайне, но что прикажете делать, если значимый факт тонет в половодье фальсификатов, а голос истины — в оглушительном гаме и, хотя звучит он свободно, услышать его нельзя? Развитие информационной техники привело лишь к тому, что лучше всех слышен самый трескучий голос, пусть даже и самый лживый.

Мне-то есть что сказать о Проекте, и все же я долго не решался сесть за письменный стол. Не имея желаний увеличивать и без того огромный список публикаций, я ждал, что кто-нибудь, владеющий словом лучше меня, сделает эту работу, — но с течением времени понял, что не могу молчать. В самых серьезных трудах, посвященных Проекту, в самых объективных версиях, начиная с отчета комиссии Конгресса, отмечается, что мы не узнали всего; но если об успехах пишут охотно и много, то о неопознанном — почти ничего, и эта пропорция внушает мысль, будто мы исследовали весь Лабиринт, кроме нескольких — тупиковых или обвалившихся — проходов. А между тем мы даже порога не переступили. Обреченные до самого конца строить домыслы, мы лишь отколупнули несколько крошек от печатей у входа в него и, растерев их в руках, восхищались блеском, позолотившим нам кончики пальцев. О том, что кроется за печатями, мы ничего не знаем. А ведь одна из главнейших обязанностей ученого — определять не масштаб познанного (оно говорит само за себя), но размеры еще не познанного, незримого Атланта наших познаний.

Я не питаю иллюзий. Боюсь, что меня не услышат, потому что нет уже универсальных авторитетов. Разделение (а может быть, распадение) науки на специальности зашло далеко, и специалисты объявляли меня некомпетентным всякий раз, стоило мне ступить на их территорию. Давно было сказано, что специалист — это варвар, невежество которого не всесторонне. Мои пессимистические предвидения основаны на личном опыте.

Деятнадцать лет назад я вместе с молодым антропологом Максом Торнопом (трагически погибшим в автомобильной аварии) опубликовал работу, в которой доказал, что существует предел сложности для всех конечных автоматов, подчиненных гедонистически ориентированной программе (к ним относятся, в частности, все животные вместе с человеком). Эта программа основана на наказаниях и поощрениях, которые воспринимаются как страдание и наслаждение.

Мои расчеты показывают, что, если количество элементов регулирующего центра (мозга) превышает четыре миллиарда, в совокупности таких автоматов проявляется тяготение к крайним полюсам программы. При этом верх может взять один из предельных вариантов, а выражаясь более обыденным языком — садизм либо мазохизм; следователь-

но, их возникновение в процессе антропогенеза было неизбежно. Эволюция «согласилась» на такое решение, поскольку она оперирует статистическими величинами: для нее важно сохранение вида, а не дефектные состояния, недуги, страдания отдельных особей. Как конструктор, она выбирает приспособление к обстоятельствам, а не достижение совершенства.

Мне удалось доказать, что в любой человеческой популяции при условии полной панмиксии\* не более чем у 10 процентов особей будет наблюдаться достаточно уравновешенное гедонистически регулируемое поведение, а остальные будут отклоняться от нормы. Хотя я уже и тогда считался одним из лучших математиков в мире, влияние этой работы на антропологов, этнологов, биологов и философов оказалось равным нулю. Я долго не мог этого понять. Моя работа была не гипотезой, а формальным, следовательно, неопровержимым доказательством того, что некоторые свойства человека, над которыми веками ломали головы легионы мыслителей, — результат чистейшей статистической флуктуации, обойти которую при конструировании автоматов или организмов невозможно.

Позже, используя превосходные материалы, собранные Торнопом, я распространил свое доказательство на процесс возникновения групповых этических норм. Однако и эту работу полностью игнорировали. Годы спустя, после бесчисленных дискуссий с гуманитариями, я понял: они не признали моего открытия потому, что оно их не устраивало. Стиль мышления, который я представлял, считался у них чем-то вроде безвкусицы, потому что не оставлял места для риторических препирательств.

Это было бестактно с моей стороны — делать выводы о природе человека с помощью математики! В лучшем случае мою затею называли «любопытной». А по существу, никто из гуманитариев не мог примириться с тем, что великую Тайну Человека, загадочные свойства его природы можно вывести из общей теории автоматического регулирования. Конечно, они не говорили этого прямо. Тем не менее полученный мною результат вменили мне в вину. Я вел себя как слон в посудной лавке: то, перед чем спасовали антропология и этнография с их полевыми исследованиями, а также

---

\* Свободное скрещивание.

глубочайший философский анализ «природы человека», чего не удалось сформулировать в виде осмысленной проблемы ни в нейрофизиологии, ни в этологии\*, что оставалось тучным заповедником вечно плодоносящих метафизик, психологии подсознания, психоанализа классического и лингвистического и Бог весть каких еще эзотерических дисциплин, — я попытался расцезь, словно гордиев узел, своим доказательством в девять печатных страниц.

Они уже свыклись со своим высоким саном Хранителей Тайны, которую именовали Воспроизведением Архетипов, Инстинктом Жизни и Смерти, Волей к Самоуничтожению, Влечением к Небытию, а я, перечеркнув эти священные ритуалы какими-то группами преобразований и эргодическими теоремами, заявляю, что решение проблемы найдено! Вот почему ко мне относились с тщательно скрываемой антипатией: какой-то бесцеремонный профан посягнул на Загадку, попытался зацементировать ее вечно живые ключи, запечатать уста, находившие радость в задавании бесконечных вопросов; а так как моего доказательства опровергнуть не удалось, оставалось только его замалчивать.

Нет, во мне говорит не уязвленное самолюбие. Меня ведь вознесли до небес, правда, за другие работы — в области чистой математики. Этот опыт, однако, был весьма поучителен. Мы недооцениваем косность мышления во многих отраслях знаний. Психологически это вполне объяснимо. Сопротивление, которое наш ум оказывает статистическому подходу, в атомной физике куда меньше, чем в антропологии. Мы охотно принимаем непротиворечивую и подтвержденную опытом статистическую модель атомного ядра. Мы не спрашиваем: «Ну, а как все-таки атомы ведут себя *на самом деле?*» — но в науках о человеке нас такой подход не устраивает.

Вот уже сорок лет известно, что различие между благородным, добропорядочным человеком и маньяком-выродком сплошь и рядом зависит от расположения двух-трех пучков волокон серого вещества мозга и неосторожное движение ланцета, задевшего эти волокна чуть выше глазных впадин, способно превратить человека великой души в тупое животное. Но целые области антропологии — не говоря уж о философии — просто не принимают этого к сведе-

---

\* Наука о поведении животных.

нию! Да и сам я не составляю тут исключения; все мы — ученые и профаны, — скрепя сердце, готовы признать, что наши тела с возрастом портятся; но дух?! Нам хотелось бы видеть его непохожим на механизм, в котором что-то может заесть. Нам подавай совершенство, хотя бы с обратным знаком, совершенство постыдное и греховное, только бы уйти от сатанинского объяснения, что человек есть игральное поле сил, абсолютно к нему равнодушных. А так как наша мысль движется по кругу, выбраться из которого невозможно, я признаю, что есть доля истины в памятных для меня словах одного из наших выдающихся антропологов. «Удовлетворение, с которым ты говоришь о своем доказательстве «лотерейности» природы человека, — заметил он мне, — не вполне бескорыстно; тут не одна только радость познания, а еще и удовольствие поглумиться над тем, что другому любезно и мило».

Вспоминая свою непризнанную работу, я не могу отделаться от невеселой мысли, что таких работ на свете, должно быть, немало. Залежи потенциальных открытий громоздятся на полках библиотек — в ожидании тех, кто мог бы их оценить.

Мы привыкли к ясной, простой ситуации, когда все непознанное и темное простирается перед сплошным фронтом науки, а все завоеванное и понятное служит ей тылом. Но по сути, безразлично, таятся ли неведомое в лоне природы или погребено в каталогах никем не посещаемых книгохранилищ, — то, что не включено в кровообращение науки, не оплодотворяет ее, все равно что не существует. В любую эпоху способность науки воспринять радикально новый подход к явлениям не слишком-то велика. Сумасшествие и самоубийство одного из создателей термодинамики — лишь один из примеров тому\*.

Кругозор науки, этого передового, как считается, отряда нашей культуры, ограничен исторически сложившимся переплетением множества факторов, среди которых первостепенную роль нередко играют стечения обстоятельств самого разного рода, возведенные в ранг нерушимых канонных методологии. Я завел об этом речь не случайно.

Наша культура плохо усваивает даже идеи, возникающие в ее же собственных рамках, но в стороне от главного русла,

---

\* Имеется в виду самоубийство Л. Больцмана (1844—1906).

хотя и творцы, и отрицатели новых подходов — дети одного времени. Так можно ли рассчитывать, что мы сумеем понять совершенно чужую культуру, да еще отделенную от нас космическими просторами? Сравнение с армией букашек, которые извлекли бы немалую пользу, наткнувшись на мертвого философа, и тут кажется мне весьма подходящим. Пока такой встречи не было, мои суждения могли казаться крайностью, чудачеством. Но встреча произошла, а поражение, которое мы потерпели, сыграло в ней роль *excrementum cuscis*<sup>\*</sup>, стало доказательством нашей беспомощности — и этого результата не пожелали заметить! Миф об универсальности нашего познания, о нашей готовности принять и понять даже радикально иную, внеземного происхождения информацию остался непоколебимым, хотя, получив Послание со звезд, мы поступили с ним немногим лучше, чем дикарь, который, согрешившись у костра из сочинений мудрейших умов, решил бы, что превосходно использовал свою находку.

Итак, рассказ об истории наших *напрасных* усилий может оказаться небесполезным — хотя бы для будущего исследователя Первого Контакта. Опубликованные сообщения, официальные реляции повествуют о так называемых успехах, то есть о приятном тепле, идущем от пылающих рукописей. О гипотезах, которые мы поочередно отбрасывали, в реляциях не сказано почти ничего. Я же говорил, что такой подход был бы позволителен, если б в конечном счете исследование отделилось от исследователей. Изучающих физику не засыпают сведениями о том, какие ошибочные, недостаточные гипотезы, какие ложные допущения предлагали ее творцы, как долго искал и заблуждался Паули, прежде чем правильно сформулировал свой принцип, сколько неверных идей перепробовал Дирак, прежде чем додумался до своих электронных «дыр». Но история проекта «Глас Господа» — это история поражения, история блужданий, за которыми не последовало спрямления дороги, и мы не вправе пренебрежительно зачеркивать бесконечные зигзаги пути — кроме них, у нас ничего не осталось.

С тех пор прошло много времени. Я долго ждал именно такой книги, как эта. Дольше я ждать не могу — по причинам чисто биологическим. Я располагал некоторыми заметками, сделанными сразу же после ликвидации Проекта. По-

---

\* Решающий эксперимент (*лат.*).

чему я не делал их в ходе работы, станет понятно из дальнейшего. Об одном я хотел бы сказать ясно. Я не собираюсь возвышать себя за счет своих товарищей по Проекту. Мы очутились у подножия колоссальной находки, до предела не подготовленные и до предела самоуверенные. Как муравьи, мы облепили ее — быстро, жадно, ловко и сноровисто. Я был одним из них. Это рассказ муравья.

## II

Коллега по профессии, которому я показал вступление, заявил, что я очернил себя с умыслом — чтобы выступить потом в роли бесцеремонного правдолюбца; ведь тем, кого я не пощажу, трудно будет меня упрекать, раз уж я и себя не жалею. Это было сказано полушутя, но заставило меня задуматься. Такой коварный замысел мне и в голову не приходил; но я достаточно разбираюсь в душевной механике и понимаю, что подобные отговорки не имеют никакой цены. Возможно, замечание было справедливо. Возможно, мной руководила подсознательная хитрость: свою злобность я показал во всем ее безобразии, локализовал ее, стало быть, провел черту между нею и мною — но лишь на словах.

А между тем она, просочившись украдкой в мои «добрые намерения», все это время водила моим пером, и я лицемерил, как проповедник, который, громя прегрешения людские, находит тайное удовольствие в том, чтобы хоть говорить о них, если уж сам не смеет согрешить. В таком случае все становится с ног на голову и то, что я считал печальной необходимостью, продиктованной требованиями темы, оказывается главным побудительным мотивом, а сама тема, «Глас Господа», — не более чем удачным предлогом. Впрочем, схему подобного рассуждения — скажем так, «карусельного»: ведь оно образует замкнутый круг, где посылки и выводы меняются местами, — можно перенести и на самую проблематику Проекта. Наше мышление должно иметь дело с нерушимой совокупностью фактов, которая его отрезвляет и корректирует; а если такого корректора нет, оно грозит обернуться проецированием тайных пороков (или добродетелей, что одно и то же) на предмет исследования. Объяснение философских систем через различного рода недуги их творцов считается (я кое-что знаю об этом) занятием столь



же тривиальным, сколь и непозволительным. Но где-то на самом дне философии, которая постоянно пытается сказать больше, чем возможно в данное время, «поймать мир» в готовую сетку понятий, прячется трогательная беззащитность, особенно заметная как раз у наиболее ярких мыслителей.

История человеческого познания — это ряд, имеющий в пределе бесконечность, а философия пытается до этого предела добраться одним прыжком, коротким замыканием, дающим уверенность в совершенном и непоколебимом знании. Тем временем наука движется мелким шагом, по-черепаши, а то и вовсе, казалось бы, топчется на месте, но в конце концов добирается до последних рубежей, до окончательной границы разума, проведенной философами, и, не замечая никаких пограничных столбов, преспокойно идет себе дальше.

Ну, разве могли философы не впасть в отчаяние? Одной из форм такого отчаяния был позитивизм с его весьма специфической агрессивностью: он выдавал себя за верного союзника науки, будучи, в сущности, ее ликвидатором. Надлежало подвергнуть примерному наказанию все то, что разъедало и подтачивало философию, обращая в ничто ее великие открытия, — и позитивизм, этот мнимый поборник науки, не замедлил вынести ей приговор, заявив, что наука в действительности ничего не может открыть, ведь она — всего лишь сокращенная запись опыта. Позитивизм попытался осадить науку, заставив ее признать свое бессилие во всем, что относится к области трансцендентного (что ему, впрочем, так и не удалось).

История философии есть история последовательных отступлений. Сначала она стремилась открыть абсолютные категории мироздания, потом — абсолютные категории разума, а тем временем, по мере накопления знаний, все яснее замечалась ее беспомощность. Ведь каждый философ поневоле объявлял себя самого абсолютным образцом человеческого рода и даже всех возможных разумных существ. Напротив, наука — это как раз трансценденция опыта, сокрушающая в прах вчерашние категории мышления; вчера пало абсолютное пространство и время, сегодня рушится якобы вечная противоположность между аналитическими и синтетическими суждениями, между предопределенностью и случайностью. Но почему-то ни одному из философов не приходило в голову, что не слишком благо-

разумно выводить из правил собственного мышления законы, действительные для всех людей и всего человечества — от эолита до эпохи угасания солнц.

Выражусь более резко: подставлять в умозаключения себя в качестве искомой общечеловеческой нормы — значит поступать безответственно. Стремление понять «все», на которое при этом ссылаются, имеет разве что психологическую ценность. Поэтому философия гораздо больше говорит о людских надеждах, страхах, влечениях, чем о тайнах абсолютно равнодушного к нам мироздания, которое лишь однодневкам кажется царством вечных и неизменных законов.

Даже если мы познали такие законы, которых никакой прогресс не отменит, мы не можем отличить их от тех, которые будут заменены другими. Поэтому в философах я видел лишь людей, движимых любопытством, а не глашатаев истины. Разве, формулируя тезисы о категорических императивах или об отношении мышления к восприятию, они начинали добросовестно расспрашивать бесчисленных представителей человеческого рода? Да нет же — они спрашивали себя и только себя, раз за разом короновали собственную персону, выдавая ее за образец человека разумного. Именно это возмущало меня и мешало читать даже самые глубокие философские сочинения: не успев открыть книгу, я наткался на вещи, очевидные для автора, но не для меня; с этой минуты он обращался только к себе самому, рассказывал лишь о себе, на себя самого ссылаясь, а значит, утрачивал право высказывать суждения, истинные для меня и тем более — для всех остальных двуногих, населяющих нашу планету.

Как смешила меня, к примеру, уверенность тех, кто заявлял, будто нет иного мышления, кроме языкового! Эти философы не ведали, что сами они принадлежат к определенной разновидности человека разумного, а именно той, которая обделена математическими способностями. Сколько раз, пережив озарение новым открытием, запечатлев его в памяти неизгладимо, я часами искал для него языковую одежду, потому что оно родилось во мне вне всякого языка — естественного или формального.

Мысленно я назвал этот феномен «проступанием истины». Описать его невозможно. То, что проступает из толщи бессознательного и с трудом, постепенно отыскивает для себя слова, словно гнезда, — существует как целое прежде,

чем осядет внутри этих гнезд. Но я не сумел бы даже намеком пояснить, в каком, собственно, облике предстает передо мной это бес- и предсловесное Нечто (которому предшествует острое ощущение, что ожидание не будет напрасным). У философа, который не пережил этого сам, какие-то важные механизмы мышления устроены иначе, чем у меня; при всем нашем видовом сходстве различие между нами больше, чем хотелось бы подобным мыслителям.

И что же? Решая центральную проблему Проекта, мы очутились как раз в положении философа, со всей его беззащитностью и рискованностью его изысканий. Чем мы располагали? Загадкой и джунглями догадок. Мы выковыривали из загадки обломки фактов, но факты не стыковались, не складывались в прочный массив, способный корректировать наши догадки, и в конце концов мы терялись в чаще гипотез, громоздящихся на гипотезах. Наши конструкции становились все изобретательнее и смелее — и все больше отрывались от тылов, от добытых знаний. Мы готовы были все разломать, нарушить самые святые принципы физики или астрономии, лишь бы овладеть тайной. Так нам казалось.

Читателю, который, добравшись до этого места, все нетерпеливее ждет посвящения в тайну, заранее ощущая приятную дрожь, как перед фильмом ужасов, я советую отложить мою книгу, иначе он будет разочарован. Я не пишу авантурный роман, а рассказываю, как наша культура была подвергнута экзамену на космическую (или хотя бы не только земную) универсальность и что из этого вышло. С самого начала моей работы в Проекте я считал его именно таким пробным камнем независимо от того, какой пользы ждали от наших усилий.

Тот, кто следит за ходом моей мысли, возможно, заметил, что, перенося проблему «карусельного мышления» с отношений между мной и моей темой на саму эту тему (то есть на отношения между исследователями и «Гласом Господа»), я отчасти выпутался из щекотливого положения, настолько расширив упрек в «затаенных побудительных мотивах», что в нем уместился весь Проект. Но как раз таково и было мое намерение — еще до того, как я выслушал критические замечания. С известным преувеличением, необходимым, дабы подчеркнуть суть моей мысли, могу сказать, что в ходе работы (затрудняюсь определить, когда именно) я начал подозревать, что звездное Послание для нас, стремящихся его

разгадать, стало чем-то вроде психологического теста на ассоциации, например, предельно усложненного теста Роршаха. Испытуемый видит в цветных пятнах ангелов или зловещих птиц, ибо он проясняет неясное, руководствуясь тем, что у него «на душе», — так и мы за завесой непонятных значков угадывали нечто, содержащееся лишь в нас самих.

Это подозрение мешало мне работать, да и теперь заставляет меня пускаться в объяснения, которых лучше бы избежать. Тем не менее я решил, что ученый, оказавшийся в столь затруднительном положении, уже не может считать свои профессиональные знания чем-то вроде железы или жвала, изолированных от всего организма, а значит, не вправе утаивать свои сокровенные проблемы, даже самые постыдные. Ботанику, занятому систематикой каких-нибудь лютиков, довольно затруднительно проецировать на объект изучения собственные фантомы, видения, а то и постыдные страстишки. Положение исследователя-мифолога опаснее: сам выбор материала исследования, возможно, расскажет нам не столько о структурных инвариантах архаических мифов, сколько о том, что преследует мифолога в сновидениях и — безотносительно ко всякой науке — наяву.

А нам пришлось пойти еще дальше, сделать поистине головоломный шаг: ведь нас подстерегала та же опасность, но в несравненно большем, небывалом масштабе. Так что никто из нас не знает, в какой мере мы были орудиями объективного анализа, в какой — типичными для своей эпохи представителями человечества и в какой, наконец, каждый из нас представлял только самого себя и черпал гипотезы о смысле Послания из собственной — возможно, травмированной или сумеречной — психики, из ее не контролируемых сознанием глубин.

Подобные опасения многие из моих коллег считали чепухой. Правда, они выражались иначе, но смысл был именно таков.

Я их прекрасно понимаю. Проект был прецедентом, в котором, как в матрешке, скрывались другие прецеденты, с той только разницей, что никогда доселе физики, технологи, химики, ядерщики, биологи, информатики не располагали таким предметом исследований, который не был чисто материальной, то есть природной, загадкой, а был кем-то умышленно создан и послан — причем Отправитель должен был приноравливаться к неведомым адресатам. Уче-

ные воспитаны на «игре с Природой», которая никак не является сознательным противником; они не допускают возможности, что за исследуемым объектом на самом деле стоит Кто-то и что понять объект можно лишь в той мере, в какой удастся постичь ход рассуждений этой — совершенно нам неизвестной — сознательной первопричины. Так что, хотя они знали и даже говорили, что Отправитель реален, весь их жизненный опыт, их профессиональная выучка говорили им обратное.

Физику и в голову не придет, что Кто-то нарочно расположил электроны на орбитах так, чтобы люди ломали себе голову над их конфигурациями. Он прекрасно знает, что гипотеза о Создателе Орбит в физике абсолютно излишня, более того, недопустима. Но в Проекте недопустимое оказалось реальным, а физика в обычном своем виде стала непригодной; это было прямо-таки пыткой. Сказанного, я уверен, довольно, чтобы понять, что мое положение в Проекте было достаточно обособленным (разумеется, в общем, теоретическом смысле, а не в смысле административно-иерархическом).

Меня упрекали в «недостаточной конструктивности»: я всегда готов был вставить словечко в ход чужих рассуждений, в результате в них что-то заклинивалось, и они останавливались; сам же я предложил не слишком много конструктивных идей, «с которыми можно что-нибудь сделать». Впрочем, Белойн в своем отчете отзывается обо мне как нельзя лучше. Надеюсь, это не только дань дружбе, связывающей нас: возможно, известную роль сыграло положение (не только административное), которое он занимал. В каждой исследовательской группе Проекта взгляды ее участников после некоторого периода колебаний приходили к какому-то общему знаменателю; но тот, кто заседал (как Белойн) в Научном Совете, хорошо видел, что мнения разных групп нередко диаметрально противоположны. Впрочем, организационную структуру Проекта с ее изолированными друг от друга группами я считал вполне разумной — она предотвращала появление «эпидемий ошибок». У такого информационного карантина были свои отрицательные стороны... но я начинаю вдаваться в подробности — и преждевременно. Значит, пора переходить к изложению событий.

### III

Когда Блейдергрэн, Немеш и группа Шигубова открыли инверсию нейтрино, возник новый раздел астрономии — нейтринная астрофизика. Она сразу сделалась необычайно модной, и во всем мире начались исследования космических нейтринных потоков. Маунт-Паломарская обсерватория одной из первых установила у себя регистрирующую аппаратуру, высоко автоматизированную и с наилучшей по тем временам разрешающей способностью. К этой установке — нейтринному инвертору — выстроилась целая очередь исследователей, и у директора обсерватории (им был тогда профессор Райан) было немало хлопот с астрофизиками, особенно молодыми: каждый считал, что его заявка должна стоять первой в списке.

Среди таких молодых счастливиц оказались Хейлер и Махоун, оба очень честолюбивые и довольно способные (я был с ними знаком, хотя и отдаленно). Они регистрировали максимумы нейтринного излучения в определенных участках неба, пытаясь обнаружить так называемый эффект Штеглица (Штеглиц был немецким астрономом старшего поколения).

Однако этот эффект (нейтринный аналог «красного смещения» фотонов) обнаружить не удавалось. Как выяснилось несколько лет спустя, теория Штеглица была ошибочной. Но молодые люди об этом знать не могли и сражались, как львы, чтобы у них не отняли установку; благодаря своей предприимчивости они держали ее почти два года — так и не получив никаких результатов. Целые километры регистрационных лент пополнили архив обсерватории. Несколько месяцев спустя значительная их часть попала в руки смекалистого, хоть и не очень одаренного физика — собственно говоря, недоучки, изгнанного из какого-то малоизвестного университета на Юге за аморальное поведение; дело не дошло до суда, потому что в нем было замешано несколько важных особ. Этот недоучившийся физик, по фамилии Свенсон, получил ленты при невыясненных обстоятельствах. Позже его даже допрашивали, но ничего не узнали — он непрерывно менял показания.

Это был любопытный субъект. Он подвизался в качестве поставщика материалов, а заодно — банкира и духовного утешителя бесчисленных маньяков, которые прежде мучились

разве что над перпетуум-мобиле и квадратурой круга, а ныне бредят «целительными энергиями», теориями космогенеза и промышленным применением телепатии. Такому народу недостаточно карандаша и бумаги; для конструирования «орготронов», обнаружителей «сверхчувственных флюидов», электрических магических прутьев, что сами находят воду, нефть и сокровища (обычные ивовые водоискатели давно уже стали анахронизмом), — для всего этого необходимы самые разные, нередко труднодоступные и дорогие материалы. Свенсон — за соответствующую сумму — умел раздобыть их даже из-под земли. Поэтому его посещали парафизики и оргонисты, конструкторы телепаторов и духотронов (для устойчивой связи с духами). Вращаясь в этих нижних провинциях царства науки — там, где оно смыкается с царством психиатрии, — он, как бы то ни было, поднабрался весьма полезных для него сведений; у него был изумительный нюх на то, что в данный момент пользуется наибольшим спросом у слегка свихнувшихся титанов духа.

Не брезговал он и более прозаическим заработком — например, поставлял небольшим химическим лабораториям реактивы неясного происхождения — и вечно привлекался за что-то к суду, хотя в тюрьму не попал ни разу, балансируя на самой грани законности. Такие люди всегда меня занимали. Насколько я понимаю, Свенсон не был ни чистым мошенником, ни циником, который наживается на чужих магиях, хотя ему хватало ума, чтобы знать, что львиная доля его клиентов никогда не реализует своих идей. О некоторых он заботился и поставлял им оборудование в кредит, даже если платежеспособность должника представлялась весьма сомнительной. Как видно, он питал к своим питомцам такую же слабость, как я — к людям его типа. Хорошо обслужить клиента он считал делом чести, и, если клиент непременно требовал кость носорога (потому что аппарат, сооруженный из кости любого другого животного, был бы глух к голосу духов), Свенсон никогда не подсовывал ему воловью либо баранью кость; во всяком случае, так мне рассказывали.

Получая, а может, и покупая у неизвестного лица ленты, Свенсон преследовал определенную цель. Он достаточно разбирался в физике, чтобы знать, что на лентах записан «чистый шум», и додумался использовать их для составления лотерейных таблиц. Эти таблицы, серии случайных чисел,

необходимы в исследованиях различного типа; изготавливают их с помощью вычислительных машин или вращающихся дисков — на края этих дисков нанесены цифры, которые вылавливает беспорядочно вспыхивающая точечная лампа. Есть и другие способы. Взятый за эту работу часто оказывается в затруднительном положении. Серии чисел редко получаются «достаточно случайными»; тщательный анализ выявляет более или менее явные закономерности в чередовании чисел: в длинных сериях некоторые числа «склонны» появляться чаще других, а такая таблица теряет смысл. Не так-то просто создать абсолютный хаос, хаос в чистом виде. Между тем спрос на таблицы случайных чисел не уменьшается. Поэтому Свенсон рассчитывал заработать на этом деле; таблицы он печатал с помощью шурина — линотиписта в типографии какого-то университета, а покупателям рассылал их по почте, без посредничества книготорговцев.

Один из экземпляров попал в руки некоего Ф.Д. Сэма Лейзеровица, субъекта столь же сомнительного и не менее предприимчивого, но в каком-то смысле идеалиста, думавшего не только о деньгах. Он был членом, а нередко и учредителем многих, непременно эксцентричных организаций, вроде Лиги исследования летающих тарелок, и не раз попадал в переpleт, когда при ревизии обнаруживалась, неведомо почему, недостача; но в злоупотреблениях ни разу уличен не был. Возможно, его подводила беспечность.

Он не получил физического образования и не имел права называться доктором физики, но когда ему на это указывали, заявлял, что буквы «Ф.Д.» означают лишь имена, которыми он подписывает свои статьи, — Филипп и Дуглас. Действительно, под именем «Ф.Д.Сэм Лейзеровиц» он публиковался в различных научно-фантастических журналах, а также был известен среди любителей этого жанра как автор «космических» докладов и сообщений на многочисленных съездах и конференциях. Его специальностью были сенсационные открытия — не меньше двух-трех в год. Он основал музей диковин, якобы оставленных пассажирами Летающих Тарелок на территории Штатов, — там был, среди прочих, обрityй, зеленого цвета обезьяний зародыш в спирту; я видел его фотографию. Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами.

Еще Лейзеровиц был также соавтором книги о заговоре,



устроенном правительствами великих держав, которые нарочно утаивают информацию о высадке Тарелок и контактах видных политиков с посланцами иных планет. Собирая всевозможные, более или менее вздорные сведения об «инопланетянах», он напал на след регистрационных лент из Маунт-Паломар и добрался до их обладателя, Свенсона. Тот отдал их не сразу, однако не устоял перед убедительным аргументом в виде трехсот долларов — как раз тогда какой-то состоятельный чудак благодетельствовал один из «космических фондов».

Вскоре Лейзеровиц опубликовал ряд статей под кричащими заголовками, извещая, что на маунт-паломарских лентах отдельные участки шума разделены «зонами молчания» — причем шумы и пропуски складываются в точки и тире азбуки Морзе. В последующих, все более сенсационных сообщениях он уже ссылаясь на Хейлера и Махоуна как на авторитетных астрофизиков, которые якобы подтверждают подлинность его утверждений. Эти заметки перепечатали несколько провинциальных газет; взбешенный Хейлер послал им опровержение, из которого следовало, что Лейзеровиц — полнейший невежда (откуда «инопланетянам» знать азбуку Морзе?), что его Общество по космическим контактам — чистое жульничество, а так называемые «зоны молчания» означают лишь то, что регистрирующую установку время от времени выключали. Но Лейзеровиц не был бы Лейзеровицем, если б спокойно снес такую отповедь; он стоял на своем, а доктора Хейлера включил в черный список «недрузгов космического контакта», где уже фигурировало немало светлых голов, имевших несчастье опрометчиво выступить против его открытий.

Между тем вне связи с этой историей, получившей некоторую огласку в прессе, произошло событие действительно странное. Доктор Ральф Лумис, статистик по образованию, имевший собственное агентство по исследованию общественного мнения (чаще всего по заказам небольших торговых фирм), направил Свенсону рекламацию, утверждая, что почти треть очередного издания свенсоновских таблиц абсолютно точно копирует серию, опубликованную в первом издании. Тем самым он давал понять, что Свенсон, не утруждая себя, перекодировал «шум» в цифры всего один раз, а затем механически копировал результат, кое-где меняя порядок страниц. Свенсон, совесть которого была чиста (по

крайней мере, в этом деле), отверг претензии Лумиса и, возмущенный до глубины души, ответил ему довольно резким письмом. Теперь уже Лумис считал себя оскорбленным и к тому же обманутым и передал дело в суд. Свенсона приговорили к штрафу за оскорбление личности, а новую серию таблиц суд признал мошенническим повторением первой. Свенсон подал апелляцию, но пять недель спустя отказался от нее и, заплатив наложенный на него штраф, бесследно исчез.

Канзасская «Морнинг стар» поместила несколько корреспондентий о деле Лумиса против Свенсона — сезон был летний, и ничего интереснее не подвернулось. Один такой репортаж прочитал по дороге на службу доктор Саул Раппопорт из Института высших исследований (как он мне сказал, он нашел газету на сиденье в метро — сам бы он никогда ее не купил).

Это был субботний, расширенный выпуск, и, чтобы как-то заполнить место, кроме судебного отчета газета поместила еще и интервью с Лейзеровицем о «братьях по Разуму», а рядом — гневное опровержение доктора Хейлера. Так что Раппопорт мог ознакомиться во всем объеме с этой диковинной, хотя и мелкой с виду аферой. Когда он отложил газету, в голову ему пришла сумасшедшая, прямо-таки комичная мысль. Лейзеровиц, конечно, несет чушь, и «зоны молчания» — никакой не сигнал; но на лентах действительно может быть записано сообщение — если сообщением окажется шум!

Мысль, повторяю, была сумасшедшая, но преследовала его неотвязно. Поток информации — например, человеческая речь — не всегда воспринимается как информация, а не хаотический набор звуков. Речь на чужом языке часто кажется совершенно бессмысленной. А для непонимающего есть один только способ опознать нешумовую природу сигнала: в подлинном шуме серии сигналов не повторяются. В этом смысле «шумовой серией» будет тысяча чисел, которые выбрасывает рулетка. Появление точно такой же серии — в следующей тысяче игр — совершенно исключено. В том-то и состоит природа «шума», что очередность появления его элементов — звуков или других сигналов — непредсказуема. Если же серии повторяются, значит, «шумовой» характер явлений — лишь кажущийся и на самом деле перед нами устройство, передающее информацию.

Доктор Раппопорт подумал, что Свенсон, быть может, и не лгал на суде; что он не копировал одну-единственную ленту, а в самом деле поочередно использовал записи, сделанные за долгие месяцы. Если допустить, что излучение было сигнализацией и сообщение, закончившись, передавалось сначала, получилось бы именно то, на чем настаивал Свенсон: новые ленты запечатлели бы одинаковые серии импульсов и эта *повторяемость* доказывала бы, что их «шумовое обличье» — лишь видимость!

Это было в высшей степени неправдоподобно, однако возможно. Раппопорт, вообще-то любивший спокойную жизнь, проявлял необыкновенную предприимчивость и энергию, когда его посещали подобные озарения. Газета поместила адрес доктора Хейлера, и связаться с ним не составляло труда. Прежде всего нужно было заполнить ленты. Поэтому он написал Хейлеру, однако не упоминая о своей догадке — слишком фантастической она выглядела, — а лишь осведомляясь, нельзя ли получить ленты, оставшиеся в архиве обсерватории. Хейлер, раздосадованный тем, что его приплели к афере Лейзеровица, отказал. Вот тогда-то, похоже, Раппопорт по-настоящему загорелся и написал прямо в обсерваторию. Он был достаточно известен в научных кругах и вскоре получил целый километр лент. Ленты он передал своему другу, доктору Хаувицеру, чтобы тот в своем вычислительном центре исследовал их с точки зрения распределения частотности элементов, то есть предпринял дистрибутивный анализ.

Уже на этой стадии проблема была гораздо сложнее, чем я ее здесь излагаю. Информация тем больше напоминает чистый шум, чем полнее передатчик использует пропускную способность канала связи. Если она использована полностью (избыточность сведена к нулю), то для непосвященного сигнал ничем не отличается от чистого шума. Как я уже говорил, в кажущемся «шуме» можно выявить информацию, если сообщение циклически повторяется и разные записи можно сравнить. Это и собирался сделать Раппопорт, передавая ленты Хаувицеру для обработки. Хаувицеру он тоже не стал открывать всей правды, стремясь держать дело в тайне; к тому же, окажись его догадка ошибочной, никто бы о ней не узнал. Раппопорт не раз рассказывал об этом забавном начале истории, которая кончилась ничуть не забавно, и даже хранил, как реликвию, номер газеты, натолкнувшей его на судьбоносную мысль.

Хаувицер был загружен работой и не спешил затевать трудоемкий и непонятно для чего нужный анализ; так что пришлось посвятить его в тайну. Он поднял Раппопорта на смех, но все же не устоял перед страстными уговорами приятеля и обещал помочь.

Несколько дней спустя, когда Раппопорт вернулся в Мас-сачусетс, Хаувицер встретил его известием об отрицательном результате анализа. Раппопорт — я слышал об этом от него — готов уже был отступить, однако, задетый насмешками друга, начал с ним спорить. Ведь нейтринное излучение одного квадранта небосвода, сказал он, это целый океан, растянутый по гигантскому спектру частот, и, если даже Хейлер с Махоуном, прочесывая его однажды, совершенно случайно выхватили обрывок осмысленной передачи, было бы просто чудом, если бы такое везение выпало им еще раз. Следовательно, нужно раздобыть ленты, которыми завладел Свенсон.

Хаувицер с ним согласился, однако заметил, что при рассмотрении альтернативы «звездное Послание» или «мошенничество Свенсона» ее второй член обладает вероятностью в миллионы раз большей. И добавил, что получение лент мало что даст: Свенсон, чтобы облегчить себе защиту в суде, мог просто скопировать исходную запись, а копию выдать за еще один оригинал.

Раппопорт не нашелся что ответить, но у него был знакомый — специалист по аппаратуре, предназначенной для полуавтоматической регистрации длинных серий сигналов; он позвонил ему и спросил, можно ли ленты, на которых зарегистрированы некие естественные процессы, отличить от лент, на которых та же самая запись воспроизведена вторично (то есть велико ли различие — если оно вообще существует — между оригиналом и копией регистрации). Оказалось, что отличить одно от другого возможно. Тогда Раппопорт обратился к адвокату Свенсона и через неделю располагал уже полным комплектом лент. По заключению эксперта, все они оказались оригиналами, так что Свенсон не был повинен в мошенничестве — передача действительно периодически повторялась.

Раппопорт не сообщил об этом ни Хаувицеру, ни адвокату Свенсона, но в тот же день — точнее, в ту же ночь — вылетел в Вашингтон; отлично представляя, как безнадежны попытки форсировать бюрократические препоны, он

направился прямо к Мортимеру Рашу, советнику президента по вопросам науки, бывшему директору НАСА, которого знал лично. Раш, физик по образованию и ученый действительно высокого класса, принял его, несмотря на позднее время. Раппопорт три недели ждал в Вашингтоне его ответа. Тем временем ленты изучались все более крупными специалистами.

Наконец Раш пригласил Раппопорта на совещание с участием всего девяти человек; среди них были светила американской науки — физик Дональд Протеро, лингвист Айвор Белойн, астрофизик Тайхемер Дилл и математик-информационщик Джон Бир. Минувя формальности, было решено создать специальную комиссию для изучения «нейтринного послания со звезд», которое, по полусутоливому предложению Белойна, получило обозначение «ГЛАС ГОСПОДА» (MASTERS VOICE). Раш попросил участников совещания соблюдать секретность, разумеется, лишь временную, — он опасался, что пресса поднимет шум, а если Послание станет предметом политических интриг в конгрессе (где положение Раша как представителя резко критикуемой администрации было шатким), это лишь затруднит получение необходимых ассигнований.

Казалось бы, делу был придан максимально разумный ход, но совершенно неожиданно в него вмешался несостоявшийся доктор физики Ф.Д. Сэм Лейзеровиц. Из отчетов о процессе Свенсона он уразумел лишь одно: судебный эксперт ни словом не упомянул, что «зоны молчания» на лентах вызваны периодическим выключением аппаратуры. Тогда он отправился в Мелвилл, где проходил процесс, и в гостинице подкараулил адвоката Свенсона, чтобы заполучить ленты, которые, по его мнению, должны были попасть в музей космических раритетов. Адвокат ему отказал как недостаточно солидному человеку. Тогда Лейзеровиц, который во всем усматривал «антикосмические заговоры», нанял частного детектива, устроил слежку за адвокатом и выяснил, что какой-то человек — не из местных — приехал в Мелвилл утренним поездом, заперся с адвокатом в гостиничном номере, получил от него ленты и увез их в Массачусетс.

Человеком этим был доктор Раппопорт. Лейзеровиц послал своего детектива по следам ни о чем не подозревавшего Раппопорта, а когда тот объявился в Вашингтоне и несколь-

ко раз побывал у Раша, Лейзеровиц решил, что пришло время действовать. Его статья, появившаяся в «Морнинг стар» и перепечатанная в одной из вашингтонских газет, огорошила пионеров Проекта, особенно Раша. В ней под достаточно громким заголовком сообщалось, что чиновники самым гнусным образом пытаются похоронить великое открытие — как в свое время при помощи официальных сообщений командования ВВС были похоронены НЛО (пресловутые Летающие Тарелки).

Лишь тогда Раш понял, что могут последовать международные осложнения — если кто-то решит, что Америка пытается скрыть от всего мира установление контактов с космической цивилизацией. Правда, статья его не очень беспокоила — ее несолидный тон дискредитировал и самого автора, и его утверждения; Раш, как человек весьма сведущий в практике публицити, полагал, что, если хранить молчание, шумиха вскоре утихнет сама собой.

Однако Белойн решил совершенно частным образом встретиться с Лейзеровицем, поскольку — как он мне сам говорил — просто пожалел этого маньяка космических контактов. Он думал, что, если с глазу на глаз предложить ему какую-нибудь второстепенную должность в Проекте, все уладится. Но шаг этот, хотя и продиктованный самыми лучшими намерениями, оказался легкомысленным. Белойн, который не знал Лейзеровица, на основании букв «Ф.Д.» решил, что имеет дело с ученым — пусть даже тот слегка свихнулся, гонится за рекламой и зарабатывает на жизнь сомнительными способами, — но все же коллегой, ученым, физиком. А увидел он взбудораженного человечка, который, услышав о реальности звездного Послания, заявил с истерической наглостью, что ленты, а значит, и само Послание — его частная собственность, которую у него украли, и под конец довел Белойна до бешенства. Видя, что от Белойна он ничего не добьется, Лейзеровиц выскочил в коридор, там начал кричать, что пойдет в ООН, в Трибунал по защите прав человека, а потом нырнул в лифт и оставил Белойна наедине с невеселыми раздумьями.

Поняв, что он натворил, Белойн тотчас отправился к Рашу и все ему рассказал. Раш не на шутку испугался за судьбу Проекта. Хотя вероятность того, что Лейзеровица где-нибудь захотят выслушать, была ничтожна, совершенно исключить это было нельзя, а перекочевав из бульварной в се-

резную прессу, дело неизбежно приняло бы политическую окраску.

Посвященные отлично представляли себе, какой поднимется крик: Соединенные Штаты, дескать, пытаются присвоить себе достояние всего человечества. Правда, Белойн полагал, что положение можно исправить, опубликовав краткое полуофициальное сообщение, но Раш не имел на это полномочий и не собирался их добиваться: мол, вопрос еще недостаточно ясен и правительство, даже если бы и хотело, не вправе выносить его на международный форум, рискуя своим авторитетом, — во всяком случае, до тех пор, пока наши догадки не будут подтверждены предварительными исследованиями. Дело было деликатное, и Раш решил обратиться к своему знакомому, Баррету, лидеру демократического меньшинства в сенате. Тот, посоветовавшись со своими людьми, хотел было подключить ФБР, но там некий видный юрист заключил, что космос, расположенный вне границ США, не входит в компетенцию его ведомства, а подлежит ведению ЦРУ вместе с прочими заграничными делами.

Тем самым было положено начало уже необратимому процессу, хотя его плачевные последствия сказались не сразу. Раш, стоявший на рубеже науки и политики, не мог не догадываться, к чему ведет препоручение Проекта подобным опскунам, поэтому он попросил своего сенатора повременить еще сутки и послал своих доверенных лиц к Лейзеровицу, чтобы те его вразумили. Лейзеровиц не только оказался глух к уговорам, но и закатил посланцам грандиозный скандал, который закончился потасовкой и вмешательством полиции, вызванной персоналом отеля.

Вскоре прессу наводнили совершенно фантастические, или, вернее, бредовые, сообщения о «двоичных» и «троичных» зонах молчания, посылаемых на Землю из космоса, о световых феноменах, о высадке маленьких зеленых человечков в «нейтринной одежде» и тому подобные бредни, в которых сплошь и рядом ссылались на Лейзеровица, именуя его уже профессором. Но не прошло и месяца, как «знаменитый ученый» оказался параноиком и был отправлен в психиатрическую лечебницу. К сожалению, на этом история Лейзеровица не закончилась. Даже в серьезные, большие газеты проникли отголоски его фантазмагорической борьбы (он дважды бежал из клиники, причем во второй раз — уже безвозвратно — через окно девятого этажа), — борьбы за ис-

тинность своего открытия, столь безумного в свете фактов, преданных огласке, и столь поразительно близкого к правде. Сознаюсь, меня пробирает дрожь, когда я вспоминаю этот эпизод предыстории Проекта.

Как легко догадаться, поток сообщений, с каждым днем все более бессмысленных, был просто отвлекающим маневром, делом рук многоопытных профессионалов из ЦРУ. Отрицать всю историю, опровергать ее, да еще на страницах серьезных газет, означало бы как раз привлечь к ней внимание самым нежелательным образом. А вот показать, что речь идет о бреднях, утопить зерно истины в лавине несуразных вымыслов, приписанных «профессору» Лейзеровицу, — это было очень ловко придумано, тем более что всю эту акцию увенчала лаконичная заметка о самоубийстве безумца; своим исподдельным трагизмом оно окончательно пресекало всякие сплетни.

Судьба этого фанатика была поистине страшной, и я не сразу поверил, что его безумие, его последний шаг из окна в девятиэтажную пустоту не были подстроены; однако в этом меня убедили люди, которым я не могу не верить. Так или иначе, уже над заголовком нашего гигантского предприятия была оттиснута *signum temporis* — печать времени, в которой, пожалуй, как никогда ранее, омерзительное соседствует с возвышенным; прежде чем кинуть нам в руки этот великий шанс, случайный поворот событий раздавил, как букашку, человека, который, хоть и вслепую, первым подошел к порогу открытия.

Если не ошибаюсь, посланцы Раша сочли его полоумным уже тогда, когда он отказался принять крупную сумму за отказ от своих притязаний. Но в таком случае я и он были одной веры, только принадлежали к разным ее орденам. Если бы не та большая волна, которая его захлестнула, Лейзеровиц, конечно, мог бы жить припеваючи, без помех занимаясь летающими тарелками и прочими загадками бытия в качестве безвредного маньяка, ведь таких людей полно; но видеть, как у него отбирают то, что он считал своим заветнейшим достоянием, отнимают открытие, которое изменит историю человечества, — этого он не выдержал, это словно взорвало его изнутри и толкнуло к гибели. Не думаю, что его память следует почтить лишь язвительным комментарием. У каждого великого дела есть свои комичные или до жалости тривиальные стороны, но отсюда не следует, будто они



никакого отношения к нему не имеют. Впрочем, комичность — понятие относительное. Надо мною тоже смеялись, когда я говорил о Лейзеровице то, что говорю здесь.

Из актеров пролога больше всего, пожалуй, повезло Свенсону, потому что он удовлетворился деньгами. И штраф за него заплатили (только не знаю, кто это сделал — ЦРУ или начальство Проекта), и щедро вознаградили за моральный ущерб — разумеется, сняв с него незаслуженное обвинение в мошенничестве; тем самым его отговорили от подачи апелляции. И все это для того, чтобы Проект мог спокойно разворачивать свою деятельность — в безоговорочно предпрешенной изоляции.

#### IV

Описанные выше события (которые в общих чертах, хотя и не целиком, отражены в официальной версии) происходили, как и все в первый год Проекта, без моего участия. О том, почему ко мне обратились лишь тогда, когда в Научном Совете решили подтянуть научные подкрепления, мне рассказывали так часто и наговорили при этом столько всего, такие веские приводили соображения, что правды в них, вероятно, не было ни на грош. Впрочем, я не был в обиде на коллег, включая их шефа Айвора Белойна, за такое запоздалое приглашение. В организационных вопросах руки у них были связаны — хотя поняли они это не скоро. Разумеется, явного вмешательства, откровенного нажима не было. В конце концов режиссурой занимались профессионалы. В том, что меня обошли, я чувствую влияние кого-то на самом вершине. Ведь Проект почти сразу отнесли к категории высшей секретности — к числу операций, засекречивания которых требуют высшие интересы государства. Сами научные руководители Проекта узнавали об этом постепенно и, как правило, поодиночке, на совещаниях, где тактично взывали к их патристическим чувствам и политическому благоразумию.

Как там было в действительности, какие средства убеждения, комплименты, обещания и аргументы пускались в ход, не знаю: эту сторону дела официальные документы обходят абсолютным молчанием, а члены Научного Совета, даже потом, когда мы стали коллегами, не слишком охотно

рассказывали об этой, скорее подготовительной, стадии Проекта. С теми же, на кого не действовали фразы о патриотизме и высших государственных интересах, проводились беседы «на высшем уровне». При этом — что было, пожалуй, еще важнее для психической адаптации — абсолютное засекречивание Проекта изображалось чисто временной мерой: это, мол, переходное состояние, которое вскоре изменится. Психологически, повторяю, это было удачно: как бы настоятельно ни относились ученые к представителям власти, внимание, уделяемое Проекту государственным секретарем, а то и самим президентом, их благожелательное поощрение, разговоры о надеждах, возлагаемых на «такие умы», — все это создавало обстановку, в которой прямые вопросы о сроке, о дате отмены секретности прозвучали бы диссонансом, показались бы невежливыми и даже грубыми.

Могу представить себе — хотя в разговорах со мной никто и словечка не проронил о столь щекотливых вопросах, — как достопочтенный Белойн обучал менее опытных коллег принципам дипломатии, необходимым для сосуществования с политиками, и со свойственным ему тактом оттягивал мое приглашение и включение в состав Совета, объясняя наиболее нетерпеливым, что сначала Проект должен заслужить доверие у своих могущественных опекунов, а уж тогда можно будет действовать по собственному разумению. Я говорю это без иронии. Я могу войти в тогдашнее положение Белойна: он старался не ухудшать отношений ни с той, ни с другой стороной и при этом хорошо знал, что там, наверху, мне не очень-то доверяют. Итак, я не сразу включился в Проект, от чего, впрочем — как мне сотни раз повторяли, — только выиграл: условия жизни в «мертвом городе», в ста милях к востоку от гор Сьерра-Невада, на первых порах были весьма суровы.

Я решил придерживаться хронологического порядка, поэтому расскажу сначала, что происходило со мной перед тем, как в Нью-Гемпшире, где я тогда преподавал, появился посланец Проекта. Думаю, так будет лучше, ведь я вошел в Проект, когда многие общие подходы успели сложиться, и мне, человеку совершенно свежему, приходилось сначала знакомиться с ними, прежде чем впрячься, как новая рабочая лошадь, в этот громадный — из двух с половиной тысяч сотрудников — механизм.

В Нью-Гемпшир я прибыл по приглашению декана ма-

тематического факультета, моего университетского однокурсника Стюарта Комптона, чтобы вести летний семинар для докторантов. Я согласился — нагрузка составляла всего девять часов в неделю, так что можно было целыми днями бродить по тамошним лесам и вересковым зарослям. Мне, собственно, полагалось бы по-настоящему отдохнуть (я только что, в июне, закончил полуторагодовую совместную работу с профессором Хаякавой), но, зная себя, я прекрасно понимал, что отдых будет мне не в радость без занятий, хотя бы и кратковременных, математикой. Всякий отдых поначалу пробуждает во мне угрызения совести — как напрасная трата времени. Впрочем, мне всегда доставляло удовольствие знакомиться с новыми адептами моей изысканной дисциплины, о которой, кстати, существует больше ложных представлений, чем о любой другой.

Я не назвал бы себя «стерильным», то есть «чистым», математиком — слишком часто меня тревожили чужие проблемы. Именно поэтому я работал с молодым Торнопом (его достижения в антропологии не оценены по заслугам — он рано умер, а в науке тоже необходимо «биологическое присутствие»; вопреки распространенному мнению, открытия сами по себе недостаточно красноречивы, чтобы люди могли уяснить их настоящую ценность), а потом — с Дональдом Протеро (которого, к своему удивлению, я встретил в Проекте), с Джеймсом Феннисоном (впоследствии — нобелевским лауреатом) и, наконец, с Хаякавой. С Хаякавой мы строили математический позвоночник его космогонической теории, которая так неожиданно вторглась затем — благодаря одному из его взбунтовавшихся учеников — в самую сердцевину Проекта.

Некоторым коллегам были не по душе такие набегі на охотничьи заповедники естественных наук. Но польза от них была обычно обоюдная — не только эмпирики получали мою помощь, но и я, вникая в их проблематику, лучше начинал понимать, какие пути развития нашей республики ученых совпадают с направлением главного стратегического удара в будущее.

Нередко можно услышать, что в математике достаточно «чистых способностей», ведь здесь их ничем не заменишь; а вот карьера ученого в других дисциплинах — благодаря связям, протекциям, моде, наконец, отсутствию категоричности доказательств, которая будто бы свойственна математике, —

есть равнодействующая научных способностей и вненаучных факторов. Напрасно я объяснял таким завистникам, что в математическом раю, к сожалению, вовсе не так распрекрасно. Великолепнейшие области математики — хотя бы классическая теория множеств Кантора — годами игнорировались по причинам вовсе не математическим.

Поскольку каждый человек должен чему-то завидовать, я сожалел, что плохо знаком с теорией информации — здесь, а также в царстве алгоритмов, деспотически управляемых общерекуррентными функциями, можно было ожидать феноменальных открытий. Изначальным изъяном классической логики, которая, вместе с Булевой алгеброй, стала повивальной бабкой теории информации, была комбинаторная негибкость. Поэтому заимствованные отсюда математические орудия вечно хромают — они, по моему ощущению, неудобны, некрасивы, громоздки и хотя дают результаты, но очень уж неуклюжим способом. Я подумал, что лучше всего могу поразмышлять о таких материях, если приму предложение Комптона. Как раз о положении на этом участке математического фронта я и собирался говорить в Нью-Гемпшире. Кому-то, возможно, покажется странным, что я хотел учиться, преподавая, но так со мной бывало уже не раз; лучше всего мне думается, когда возникает короткое замыкание между мной и достаточно активной аудиторией. И еще: плохо известные тебе работы можно читать, а можно и не читать, но к лекциям надо готовиться обязательно, что я и делал; так что не знаю, кто больше от этого выгадал — я или мои студенты.

Погода в то лето стояла прекрасная, но слишком жаркая, даже в вересковых зарослях, которые страшно высохли. Я питаю самые нежные чувства к траве; мы и существуем-то благодаря ей: только после растительной революции, которая озеленила материки, жизнь смогла утвердиться на них в своем нерастительном облике. Впрочем, не стану утверждать, будто моя привязанность к вереску вытекала из размышлений об эволюции.

Август был в разгаре, когда появился предвестник перемен в лице доктора Майкла Гротиуса. Он привез мне письмо от Айвора Белойна вместе с секретным устным посланием.

И вот на третьем этаже псевдоготического темно-кирпичного особняка, стены которого были увиты слегка уже покрасневшим диким виноградом, в моей душноватой комнате

(в старой постройке не было кондиционеров), я узнал от невысокого, тихого, хрупкого, как китайский фарфор, молодого человека с черной бородкой полумесяцем, что на землю снизошла весть — и пока не ясно, добрая или дурная, поскольку, несмотря на двенадцатимесячные старания, расшифровать ее не удалось.

Хотя Гропиус об этом не говорил, да и Белойн в своем письме не упомянул ни словом, я понял, что исследования находятся под опекой — или, если угодно, надзором — очень важных персон. Иначе как могли бы слухи о работах такого масштаба не просочиться в печать? Ясно было, что такому просачиванию препятствуют первоклассные специалисты.

Гропиус, несмотря на свой молодой возраст, оказался многоопытным игроком. Не зная заранее, соглашусь ли я на участие в Проекте, он не мог вдаваться в подробности. Надлежало сыграть на моем самолюбии, подчеркивая, что две с половиной тысячи человек в качестве потенциального спасителя выбрали — из всех остальных четырех миллиардов — именно меня, но и тут Гропиус сумел найти меру, избегая слишком грубых комплиментов.

Считается, что нет такой лести, которая не была бы принята с удовольствием. В таком случае я — исключение из общего правила, потому что похвал никогда не ценил. Хвалить можно — скажем так — сверху вниз, но не снизу вверх, а я хорошо знаю себе цену. Гропиус либо был предупрежден Белойном, либо просто отличался хорошим чутьем. Он говорил много, отвечал на мои вопросы по видимости исчерпывающе, но все, что я узнал от него, уместилось бы на двух страничках.

Главным препятствием была для меня засекреченность работ. Белойн, понимая это, упомянул в письме о своей личной беседе с президентом: тот заверил, что все результаты исследований будут опубликованы, за исключением информации, способной нанести ущерб нашим государственным интересам. Получалось, что, по мнению Пентагона — во всяком случае, той его службы, которая взяла Проект под свое крыло, — звездное Послание содержит нечто вроде сверхбомбы или еще какого-нибудь «абсолютного оружия»; мысль достаточно странная и дающая представление скорее о настроениях наших политиков, чем о галактических цивилизациях.

Расставшись на время с Гротиусом, я не спеша отправился в заросли вереска и там улегся на солнцепеке, чтобы поразмыслить. Ни Гротиус, ни Белойн (в своем письме) и не заикались, что от меня потребуют какого-то обещания, а то и присяги о неразглашении тайны, но такой «обряд посвящения» в Проект подразумевался сам собой.

Ситуация типичная для ученого нашей эпохи, но вдобавок специфически заостренная, прямо-таки классический образец. Легче всего соблудить чистоту рук, уподобившись страусу или Пилату, и не вмешиваться в любые дела, которые — хотя бы самым косвенным образом — помогают совершенствовать средства уничтожения. Но то, чего не хотим делать мы, всегда сделают за нас другие. Говорят, что с точки зрения этики это не аргумент. Согласен. Однако можно предположить, что тот, кто, терзаясь сомнениями, все же соглашается участвовать в таком деле, в критическую минуту сумеет как-то повлиять на ход событий, пусть даже надежда на успех минимальна; а если его заменит человек не столь щепетильный, не на что уже и надеяться.

Я-то не собираюсь оправдываться таким способом. Мною руководили другие соображения. Если я знаю, что где-то происходит нечто необычайно важное и — вероятно — грозное, я предпочитаю быть именно там, а не ожидать развития событий — с чистой совестью и пустыми руками. Да и не мог я поверить, что цивилизация, стоящая несравненно выше нашей, послала нам информацию, которую можно обратить в оружие. Если сотрудники Проекта думали иначе — это их дело. И наконец, возможность, вдруг открывшаяся передо мной, превосходила все, что еще могло мне встретиться в жизни.

На следующий день мы с Гротиусом вылетели в Неваду, где нас уже поджидал армейский вертолет. Меня подхватил точно и безотказно работающий механизм. Мы летели еще часа два — почти все время над южной пустыней. Гротиус прилагал все старания, чтобы я не чувствовал себя как только что завербованный участник гангстерской шайки, и поэтому не лез ко мне с разговорами, не пытался лихорадочно посвящать меня в мрачные тайны, ожидавшие нас у цели.

Сверху поселок походил на неправильной формы звезду, утонувшую в песках пустыни. Желтые бульдозеры ползали, как жуки, по окрестным дюнам. Мы сели на плоскую крышу здания, самого высокого в поселке. Этот комплекс массив-

ных бетонных колод не производил приятного впечатления. Он был построен еще в пятидесятые годы как жилой и технический центр нового атомного полигона (прежние устаревали с возрастанием мощности взрывов: даже в далеком Лас-Вегасе после каждого серьезного испытания вылетали оконные стекла). Полигон располагался в центре пустыни, милях в тридцати от поселка, снабженного системой защиты от взрывной волны и радиоактивных осадков.

Застроенный район окружала система щитов, наклоненных в сторону пустыни, — для гашения ударной волны. Здания были без окон, с двойными стенами, пространство между которыми, кажется, заполнялось водой. Коммуникации увели под землю, а жилью и подсобным постройкам придали округлые формы и расположили их так, чтобы избежать кумуляции силы удара из-за многократных отражений и преломлений воздушной волны.

Но это была лишь предыстория поселка, потому что незадолго до окончания строительства вошел в силу ядерный мораторий. Стальные двери зданий завинтили наглухо, вентиляционные отверстия заклепали, машины и оборудование погрузили в контейнеры с тавотом и убрали под землю (ниже уровня улиц располагались склады и магазины, а еще ниже проходила подземка). Природные условия гарантировали идеальную изоляцию, и потому в Пентагоне решили разместить Проект именно здесь; заодно сэкономили сотни миллионов долларов — не вбухали в сталь и бетон.

Пустыня не добралась до внутренностей поселка, но залила его песком, и поначалу было много работы с очисткой; вдобавок оказалось, что система водоснабжения не действует, так как снизился уровень подпочвенных вод. Пришлось бурить новые артезианские скважины, а до тех пор воду привозили на вертолетах. Мне рассказывали об этом со всеми подробностями, давая понять, как много я выиграл, задержавшись с приездом.

Белойн ждал меня на крыше административного здания — той самой, что служила главной посадочной площадкой для вертолетов. Последний раз мы виделись два года назад в Вашингтоне. Из тела Белойна удалось бы выкроить двух человек, а из его души — даже и четырех. Белойн был и, вероятно, останется чем-то большим, нежели его достижения; очень редко случается видеть, чтобы в человеке столь одаренном все кони тянули так ровно и дружно. Чем-то он

походил на Фому Аквинского (который, как известно, не во всякую дверь пролезал), а чем-то — на молодого Ашшурбанипала (только без бороды) и всегда хотел сделать больше, чем мог. Это всего лишь догадка, но я подозреваю, что он произвел над собой ту же психокосметическую операцию (только на ином основании и, вероятно, более радикальную), о которой я упоминал в предисловии, говоря о себе. Не приемля (повторяю, это только моя гипотеза) своего духовного и внешнего облика — облика не уверенного в себе толстяка, — Белойн усвоил манеру, которую я бы назвал обращенной на себя самой иронией. Он все произносил как бы в кавычках, с подчеркнутой искусственностью и претенциозностью (которую еще усиливала манера его речи), словно играл — поочередно или одновременно — сочиняемые им для данного случая роли, и этим сбивал с толку каждого, кто не знал его хорошенько. Трудно было понять, что он считает истиной, а что ложью, когда говорит серьезно, а когда потешается над собеседником.

Эти иронические кавычки наконец стали его натурой; в них он мог высказывать чудовищные вещи, которых не простили бы никому другому. Он мог и над самим собой издеваться без удержу, и этот трюк — не слишком хитрый, зато отработанный безупречно — обеспечивал ему редкостную неуязвимость.

Из шуток, из автоиронии он воздвиг вокруг себя такие системы невидимых укреплений, что даже те, кто знал его многие годы (и я в том числе), не умели предвидеть его реакции; думаю, он специально об этом заботился, и все то, что попахивало порой шутовством и выглядело чистой импровизацией, делалось им не без тайного умысла.

Подружились мы вот как. Белойн вначале меня игнорировал, а потом стал мне завидовать; то и другое, пожалуй, забавляло меня. Сперва он считал, что ему, филологу и гуманитария, математика ни к чему, и, будучи натурой возвышенной, ставил науки о человеке выше наук о природе. Но затем втянулся в языкознание, как втягиваются в опасный флирт, столкнулся с модным тогда структурализмом и поневоле ощутил вкус к математике. Так он очутился на моей территории и, понимая, что здесь я сильнее, сумел это выразить так ловко, что, по существу, высмеял и меня, и математику. Не помню, говорил ли я, что в Белоине было что-то от людей Возрождения? Я любил его раздражающий дом,



где всегда толпилась куча гостей, так что поговорить с хозяином с глазу на глаз удавалось лишь ближе к полуночи.

Все сказанное относится к фортификациям, которыми Белойн себя окружил, но не к нему самому. Можно только догадываться, что затаилось там, *intra muros*\*. Предпелагаю, что страх. Не знаю, чего он боялся, — быть может, себя. Должно быть, ему приходилось скрывать очень многое, коль скоро он окружал себя столь старательно организованным гамом, извергал из себя столько идей и проектов, наваливал на себя столько ненужных обязанностей в качестве члена бесчисленных обществ и научных кружков, аккуратнейшим образом заполнял всякие ученые анкеты для ученых, словом, перегружал себя через меру, только бы не оставаться наедине с собой — на это у него никогда не находилось времени. Зато он улаживал чужие дела и видел людей насквозь, так что могло показаться, будто в самом себе он разбирается ничуть не хуже. Впечатление, похоже, ошибочное.

Так он годами затягивал себя в жесткий корсет, который в конце концов стал его внешней, зримой натурой — натурой универсального труженика науки. Стало быть, жребий Сизифа он выбрал сам; громадность его усилий маскировала их (вполне возможную) тщетность, ведь если он сам диктовал себе правила и законы, невозможно было понять до конца, все ли задуманное им удастся, не ошибается ли он временами. Тем более что он охотно хвастался неудачами и подчеркивал свою заурядность — разумеется, в ироничных кавычках. Он отличался пронизательностью, свойственной богато одаренным натурам, которые — словно бы по интуиции — даже чужую для них проблему сразу схватывают с правильной стороны. Он был настолько горд, что постоянно смирял себя — как бы ради забавы, и настолько неуверен в себе, что должен был снова и снова выказывать, подтверждать свою значимость, на словах отрицая ее. Его рабочий кабинет казался проекцией его духа: все здесь было по мерке Гаргантюа — и секретеры, и письменный стол, а в вазе для коктейля утонул бы теленок; от громадных окон до противоположной стены простирался суший книжный развал. Как видно, ему нужен был этот напирющий отовсюду хаос, даже в его переписке.

---

\* За стенами (*лат.*).

Я говорю так о друге, рискуя навлечь на себя его неудовольствие, но ведь так же я говорил и о себе. Я не знаю, что именно в нас, сотрудниках Проекта, предопределило его неудачу; вот почему — как бы на всякий случай и с мыслями о будущем — я намерен знакомить читателя с такими частями головоломки, которых сам не могу собрать; возможно, это удастся кому-то другому.

Влюбленный в историю, зачарованный ею, Белойн въезжал в наступающие времена как бы задним ходом; современность он считал могильщицей ценностей, а технологию — орудием дьявола. Если я и преувеличиваю, то разве самую малость. Он был убежден, что вершина истории человечества пройдена — быть может, в эпоху Возрождения, — а потом начался долгий и все более стремительный спуск. Однако этот *Homo animatus* и *Homo sciens*\* в духе Ренессанса испытывал странную тягу к общению с людьми, на мой взгляд, наименее интересными, хотя и наиболее опасными для рода людского, — я имею в виду политиков. О политической карьере он не мечтал, а если и мечтал, то скрывал это даже от меня. Но в его доме проходу не было от всяких кандидатов на губернаторские посты, их жен, претендентов на место в конгрессе и действительных конгрессменов, вместе с седовласыми сенаторами-склеротиками; попадались и метисы политической жизни — политики лишь наполовину, а то и на четверть; их посты подернуты туманной дымкой (но дымкой наилучшего качества).

Ради Белойна я пытался поддерживать — как поддерживают голову покойника — разговор с такими людьми, однако мои старания шли прахом через пять минут. А он мог часами точить с ними лясы — Бог знает зачем! Но теперь его знакомства сработали. Когда начали перебирать кандидатов на пост научного руководителя Проекта, обнаружилось, что все, ну, буквально все — советники, эксперты, члены всяких комитетов, председатели комиссий и четырехзвездные генералы — хотели только Белойна и только ему доверяли. Сам он, насколько я знаю, вовсе не жаждал заполнить это место. У него хватало ума понять, что рано или поздно станет неизбежным конфликт — и чертовски неприятный — между учеными и политиками, которых ему предстояло объединить.

---

\* Человек одухотворенный (и) Человек сведущий (*лат.*).

Достаточно вспомнить историю Манхэттенского проекта и судьбу людей, которые им руководили, — ученых, а не генералов. Генералы, сделав себе карьеру, преспокойно принялись за мемуары, а ученых, одного за другим, постигло «изгнание из обоих миров» — политики и науки. Белойн изменил свое мнение только после беседы с президентом. Не думаю, что он поддался на какой-то фальшивый аргумент. Просто ситуация, в которой президент его просит, а он эту просьбу в состоянии выполнить, для Белойна значила столько, что он решился рискнуть всем своим будущим.

Но я заговорил языком памфлета, — а ведь Белойном, наверное, руководило еще и любопытство. К тому же отказ был бы похож на трусость, а откровенно признаться в трусости может лишь тот, кто обычно страха не знает. У человека боязливого, не уверенного в себе не останется мужества так чудовищно обнажиться, показать всему свету — и самому себе — главное свойство своей натуры. Впрочем, даже если мужество отчаяния и сыграло здесь какую-то роль, Белойн оказался, конечно, самым подходящим человеком на этом — самом неудобном — посту Проекта.

Мне рассказывали, что генерал Истерленд, первый начальник Проекта, до такой степени не мог управиться с Белойном, что добровольно ушел со своего поста. Белойн же сумел внушить всем, будто только и жаждет уйти из Проекта; он громогласно мечтал о том, чтобы Вашингтон принял его отставку, и преемники Истерленда уступали ему во всем, лишь бы избежать неприятных разговоров на самом верху. Решив наконец, что теперь он прочно сидит в седле, Белойн сам предложил включить меня в Научный Совет; ему даже не понадобилось угрожать отставкой.

Наша встреча обошлась без репортеров и фотовспышек: ни о какой рекламе, понятно, не могло быть и речи. Спустившись с вертолета на крышу, я увидел, что Белойн искренне растроган. Он даже пытался меня обнять (чего я не выношу). Его свита держалась в некотором отдалении; он принимал меня почти как удельный князь, и, по-моему, мы оба одинаково ощущали неизбежный комизм положения. На крыше не было ни одного человека в мундире; я было подумал, что Белойн просто их спрятал, чтобы не оттолкнуть меня сразу, но я ошибался — правда, только насчет размеров его власти: как потом выяснилось, он вообще удалил военных из сферы своей юрисдикции.

На дверях его кабинета кто-то вывел губной помадой, огромными буквами: «СОELUM»\*. Белоин, разумеется, ни на минуту не умолкал, но, когда свита, словно ножом отрезанная, осталась за дверьми, выжидающе улыбнулся.

Пока мы смотрели друг на друга с чисто животной, так сказать, симпатией, ничто не нарушало гармонию встречи; но я, хоть и жаждал узнать тайну, начал прежде всего спрашивать о взаимоотношениях Проекта с Пентагоном и администрацией: меня интересовало, насколько свободно могут публиковаться результаты исследований. Он попробовал — не слишком уверенно — пустить в ход тот тяжеловесный жаргон, на котором изъясняются в госдепартаменте, поэтому я повел себя ехиднее, чем хотел; возникший между нами разлад был смыт лишь красным вином (Белоин предпочитает вино за обедом). Позже я понял, что он вовсе не обюрократился, а только избрал манеру речи, позволяющую вложить минимум содержания в максимум слов, — потому что его кабинет был наспигован подслушивающей аппаратурой. Этим электронным фаршем было начинено все подряд, включая мастерские и лаборатории.

Я узнал об этом через несколько дней, из разговора с физиками, которых сей факт ничуть не волновал, — для них это было столь же естественно, как песок в пустыне. Впрочем, все они носили с собой маленькие противоподслушивающие аппаратики и по-мальчишески радовались, что перехитрили вездесущую опеку. Из соображений гуманности — чтобы не слишком скучали загадочные (сам я их не видел ни разу) сотрудники, которым потом приходилось прослушивать все записи, — установился обычай отключать аппаратики, перед тем как рассказать анекдот, особенно нецензурный. Но телефонами, как мне объяснили, пользоваться не стоило — разве когда договариваешься о свидании с девушкой из административного персонала. При всем при том ни одного человека в мундире или хотя бы чего-то наводящего на мысль о мундире кругом и в помине не было.

Единственным человеком не из круга ученых в Научном Совете был доктор (но доктор юриспруденции) Вильгельм Ини — самый элегантный из сотрудников Проекта. Он представлял в Совете доктора Марсли (который — должно быть, случайно — был одновременно полным генералом).

---

\* Небеса (лат.).

Ини прекрасно понимал, что исследователи, особенно молодежь, стараются его разыграть: передают из рук в руки какие-то листки с таинственными формулами и шифрами или исповедуются друг другу — делая вид, что не заметили его, — в ужасающе радикальных взглядах.

Все эти шуточки он сносил с ангельским терпением и великолепно держался, когда в столовой кто-нибудь демонстрировал ему крохотный, со спичку, микрофончик, извлеченный из-под розетки в жилой комнате. Меня все это ничуть не смешило, хотя чувство юмора у меня развито достаточно сильно.

Ини представлял весьма реальную силу; так что ни его безукоризненные манеры, ни увлечение философией Гуссерля не делали его симпатичнее. Он превосходно понимал, что колкости, шуточки и неприятные намеки, которыми потчуют его окружающие, вызваны желанием отыгаться: кто как не он был молчаливо улыбающимся *spiritus movens*\* Проекта, или, скорее, его начальством в элегантных перчатках? Он казался дипломатом среди туземцев, которые хотели бы выместить на столь заметной персоне свое бессилие; расплаившись больше обычного, они могут даже что-то порвать или разбить, но дипломат спокойно терпит подобные демонстрации, ведь для того он сюда и прислан; он знает, что, даже если ему и досталось, затронут не сам он, а сила, которая за ним стоит. Он может отождествлять себя с ней, а это очень удобно: устранив свое «Я», ты ощущаешь несокрушимое превосходство.

Тех, кто представляет не себя, а служит лишь символом (пусть осязаемым и вещественным, носящим подтяжки и галстук-бабочку), ходячим олицетворением организации, управляющей людьми и вещами, — таких людей я искренне не терплю и не способен перерабатывать свою антипатию в ее шуточные или язвительные эквиваленты. Поэтому Ини с самого начала обходил меня стороной, как злую собаку, превосходно учуяв мое к нему отношение; без обостренного чутья он и не смог бы делать свою работу. Я его презирал, а он, наверное, с лихвой отплачивал мне тем же — на свой безличный лад, оставаясь неизменно вежливым и предупредительным. Меня это, разумеется, еще больше раздражало. Для людей его типа моя человеческая оболочка была всего

---

\* Движущий дух (*лат.*).

лишь футляром, в котором содержится инструмент, необходимый для высших целей (известных им, но мне недоступных). Больше всего меня удивляло в нем то, что он, похоже, имел какие-то взгляды. Но возможно, и это была лишь искусная имитация.

Еще более «не по-американски, неспортивно» относился к Ини доктор Саул Раппопорт, первооткрыватель звездного Послания. Однажды он прочел мне отрывок из старой книги, где описывались способы выращивания кабанов, которых натаскивают на отыскивание трюфелей; в возвышенном стиле, свойственном прошлому веку, говорилось там, как разум человеческий, согласно со своим предназначением, использует ненасытную жадность свиней, подбрасывая им желуди взамен вырытых ими трюфелей.

Та же судьба, говорил Раппопорт, ожидает ученых, как видно хотя бы на нашем примере. Свой прогноз он изложил абсолютно серьезно. Оптовый торговец, говорил он, насколько не интересуется душевными переживаниями дрессированного кабана, они для него просто не существуют, ему нужны только желанные трюфели, и нашим хозяевам — тоже.

Правда, научно обоснованному разведению ученых мешают пережитки сознания, вздорные идеи, порожденные Французской революцией, но следует ожидать, что долго это продолжаться не будет. Кроме устроенных по последнему слову науки свинарников, то бишь сверкающих лабораторий, понадобятся еще кое-какие придумки, которые избавят нас от всяких душевных недомоганий. К примеру, свои агрессивные инстинкты научный работник мог бы разряжать в зале, заставленном манскенами генералов и прочих вельмож, специально приспособленными для битья; к его услугам были бы также особые кабинеты для разрядки сексуальной энергии, и так далее. Разрядившись вволю здесь и там, ученый кабан уже безо всяких помех может заняться выискиванием трюфелей, на пользу хозяевам и на погибель человечеству, как того требует новая историческая эпоха.

Раппопорт ничуть не таил своих взглядов, а я с интересом наблюдал за реакцией окружающих — не на официальных заседаниях, разумеется. Молодежь просто хохотала до упаду, а Раппопорт сердился — ведь он, в сущности, не думал шутить. Но тут ничего не поделаешь: личный опыт нельзя передать и даже, пожалуй, пересказать кому-то другому. Раппо-

порт приехал к нам из Европы, а с точки зрения магического «генеральского» и «сенаторского» мышления (это его собственные слова) вся Европа выглядит омерзительно красной. Его бы и не допустили к такой работе, не окажись он случайно пионером Проекта. В наш коллектив его включили только из страха перед утечкой информации.

В Штаты Раппопорт эмигрировал в 1945 году. Его имя стало известно кое-кому из специалистов еще до войны; на свете не слишком много философов, которые по-настоящему разбираются в математике и естественных науках, и в Проекте такие люди были очень нужны. Мы жили дверь в дверь в гостинице поселка и вскоре сдружились по-настоящему. Он покинул родину в тридцать лет, один как перст: вся семья его была уничтожена. Об этом он ни разу не говорил — до того вечера, когда ему единственному я раскрыл нашу с Протеро тайну. Тут я забегаю вперед, но без этого, похоже, не обойтись. То ли чтобы отблагодарить странной этой исповедью за мое доверие, то ли еще почему-то Раппопорт рассказал, как у него на глазах — кажется, в 1942 году — происходила массовая экзекуция в его родном городе.

Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими; их расстреливали группами во дворе недавно разбомбленной тюрьмы, одно крыло которой еще горело. Раппопорт описывал подробности этой операции очень спокойно. Столпившись у стены, которая грела им спины, как громадная печь, они не видели самой экзекуции — место казни загораживала полуразрушенная стена; одни впали в странное оцепенение, другие пытались спастись — самыми безумными способами.

Раппопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей, — но кричал он это по-еврейски (на идиш), видимо, не зная немецкого языка. Раппопорт ощутил сумасшедший комизм ситуации; и тут всего важнее для него стало сберечь до конца ясность сознания — ту самую, что позволяла ему смотреть на эту сцену с интеллектуальной дистанции. Однако для этого необходимо было — деловито и неторопливо объяснял он мне, как человеку «с той стороны», который в принципе не способен понять подобные переживания, — найти какую-то ценность вовне, какую-то опору для ума; а так как никакой опоры у него не было, он решил уверовать

в перевоплощение, хотя бы на пятнадцать — двадцать минут — этого ему бы хватило. Но уверовать отвлеченно, абстрактно не получалось никак, и тогда он выбрал среди офицеров, стоявших поодаль от места казни, одного, который выделялся своим обликом.

Раппопорт описал его так, будто смотрел на фотографию. Это был бог войны — молодой, статный, высокий; серебряное шитье его мундира словно бы поседело или подернулось пеплом от жара. Он был в полном боевом снаряжении — «Железный крест» у воротника, бинокль в футляре на груди, глубокий шлем, револьвер в кобуре, для удобства сдвинутый к пряжке ремня; рукой в перчатке он держал чистый, аккуратно сложенный платок, который время от времени прикладывал к носу, — экзекуция шла уже давно, с самого утра, пламя успело подобраться к ранее расстрелянным, которые лежали в углу двора, и оттуда разлило жарким смрадом горящих тел. Впрочем — и об этом не забыл Раппопорт, — сладковатый трупный запах он уловил лишь после того, как увидел платок в руке офицера. Он внушил себе, что в тот миг, когда его, Раппопорта, расстреляют, он перевоплотится в этого немца.

Он прекрасно сознавал, что это совершенный вздор с точки зрения любой метафизической доктрины, включая само учение о перевоплощении, ведь «место в теле» было уже занято. Но это как-то ему не мешало, — напротив, чем дольше и чем более жадно всматривался он в своего избранника, тем упорнее цеплялось его сознание за нелепую мысль, призванную служить ему опорой до последнего мига; тот человек словно бы возвращал ему надежду, нес ему мощь.

Хотя Раппопорт и об этом говорил совершенно спокойно, в его словах мне почудилось что-то вроде восхищения «молодым божеством», которое так мастерски дирижировало всей операцией, не двигаясь с места, не крича, не впадая в полупьяный транс пинков и ударов, — не то что его подчиненные с железными бляхами на груди. Раппопорт вдруг понял, почему они именно так и должны поступать: палачи прятались от своих жертв за стеной ненависти, а ненависть не могли бы разжечь в себе без жестокостей и поэтому колотили евреев прикладами; им нужно было, чтобы кровь текла из рассеченных голов, коркой засыхая на лицах, превращая их в нечто уродливое, нечеловеческое и тем самым —



повторяю за Раппопортом — не оставляя места для ужаса или жалости.

Но молодое божество в мундире, обшитом пепельно-сизой серебристой тесьмой, не нуждалось в подобных приемах, чтобы выполнять свои обязанности безупречно. Оно стояло на небольшом возвышении, поднеся к носу белоснежный платок; в этом жесте проглядывал завсегдатай салонов и дуэлянт — рачительный хозяин и вождь в одном лице. В воздухе плавали хлопья копоти, гонимые жаром, — ведь рядом, за толстыми стенами, в зарешеченных окнах без стекол ревел огонь, — но ни пятнышка сажи не было на офицере и его белоснежном платке.

Захваченный таким совершенством, Раппопорт забыл о себе; тут распахнулись ворота, и во двор въехала группа кинооператоров. Кто-то скомандовал по-немецки, выстрелы тотчас смолкли. Раппопорт так и не узнал, что произошло. Быть может, немцы собирались заснять груды трупов для своей кинохроники, изображающей бесчинства противника (дело происходило в ближнем тылу Восточного фронта). Расстрелянных евреев показали бы как жертв большевистского террора. Возможно, так оно и было, — но Раппопорт ничего не пытался объяснить, он только рассказывал об увиденном.

Сразу же вслед за тем его и постигла катастрофа. Всех уцелевших аккуратно построили в ряды и засняли. Потом офицер с платочком потребовал одного добровольца. И вдруг Раппопорт понял, что должен выйти вперед. Он не мог бы объяснить почему, но чувствовал, что, если не выйдет, с ним произойдет что-то ужасное. Он дошел до той черты, за которой вся сила его внутренней решимости должна была выразиться в одном шаге вперед, — и все же не шелохнулся. Офицер дал им пятнадцать секунд на размышление и, повернувшись спиной, тихо, словно бы нехотя, заговорил с одним из своих подчиненных.

Раппопорт был доктором философии, автором великолепной диссертации по логике, но в эту минуту он и без сложных силлогизмов мог понять: если никто не вызовется — расстреляют всех, так что вызвавшийся, собственно, ничем не рискует. Это было просто, очевидно и достоверно. Он снова попытался заставить себя шагнуть, уже безо всякой уверенности в успехе, — и снова не шелохнулся. За две секунды до истечения срока кто-то все-таки вызвался и в со-

провожении двух солдат исчез за стеной. Оттуда послышалось несколько револьверных выстрелов; потом молодого добровольца, перепачканного собственной и чужой кровью, вернули в шеренгу.

Уже смеркалось, когда открыли огромные ворота и уцелевшие люди, пошатываясь и дрожа от вечернего холода, высыпали на пустынную улицу.

Сперва они не смели убежать, — но немцы больше ими не интересовались. Раппопорт не знал почему; он не пытался анализировать действия немцев; те вели себя словно рок, чьи прихоти толковать бесполезно.

Вышедшего из рядов человека — нужно ли об этом рассказывать? — заставляли переворачивать тела расстрелянных; недобитых пристреливали из револьвера. Словно желая удостовериться, что я действительно не способен понять ничего в этой истории, Раппопорт спросил, зачем, по-моему, офицер вызвал добровольца, — а если бы его не нашлось, не задумываясь убил бы всех уцелевших, хотя это было как будто «лишним», во всяком случае, в тот день, — и даже не подумал объяснить, что вызвавшемуся ничего не грозит. Признаюсь, я не сдал экзамена; я сказал, что, должно быть, офицер поступил так из презрения к своим жертвам, чтобы не вступать с ними в разговор. Раппопорт отрицательно покачал своей птичьей головой.

— Я понял это позже, — сказал он, — благодаря другим событиям. Хоть он и обращался к нам, мы не были для него людьми. Пусть даже мы в принципе понимаем человеческую речь, но людьми не являемся — он знал это твердо. И он ничего не смог бы нам объяснить, даже если бы очень того захотел. Он мог с нами делать что угодно, но вступать в какие-либо переговоры не мог — для переговоров нужна сторона, хотя бы в каком-то отношении равная, а на этом тюремном дворе существовали только он сам да его подчиненные. Конечно, тут есть логическое противоречие, — но он-то действовал как раз в духе этого противоречия, и вдобавок очень старательно. Тем из его людей, что попроще, не посвященным в высшее знание, наши тела, наши две ноги, две руки, лица, глаза — все эти внешние признаки мешали выполнять свой долг; и они кромсали, уродовали эти тела, чтобы лишить нас всякого человекоподобия; но офицеру такие топорные приемы уже не требовались. Подобные объяснения воспринимаются как метафора, но это буквально так.

Мы больше никогда не говорили о его прошлом. Немало минуло времени, прежде чем я перестал при виде Раппопорта невольно вспоминать эту сцену, которую он так отчетливо изобразил, — тюремный двор, изрытый воронками, лица, исчерченные красными и черными полосками крови из разбитых прикладами черепов, и офицер, в тело которого он хотел — иллюзорно — переселиться. Не берусь сказать, насколько сохранилось в нем ощущение гибели, которой он избежал. Впрочем, он был человеком весьма рассудительным и в то же время довольно забавным; я еще больше восстановлю его против себя, если расскажу, как развлекал меня его каждодневный утренний выход (подсмотренный, впрочем, случайно). За поворотом гостиничного коридора висело большое зеркало. Раппопорт — он страдал желудком и набивал карманы флакончиками разноцветных пилюль — каждое утро по пути к лифту высовывал перед зеркалом язык, проверяя, не обложен ли он. Пропусти он эту процедуру хоть раз, я решил бы, что с ним что-то стряслось.

На заседаниях Научного Совета он откровенно скучал, а сравнительно редкие и, в общем, тактичные выступления доктора Вильгельма Ини вызывали у него аллергию. Те, кому не хотелось слушать Ини, могли наблюдать мимический аккомпанемент к его словам на лице Раппопорта. Он морщился, словно чувствовал какую-то гадость во рту, хватался за нос, чесал за ухом, смотрел на выступавшего исподлобья с таким видом, будто хотел сказать: «Это он, наверное, не всерьез...» Однажды Ини, не выдержав, прямо спросил, не хочет ли он что-то добавить; Раппопорт выразил крайне наивное удивление, затряс головой и, разведя руками, заявил, что ему нечего, просто-таки абсолютно нечего сказать.

Я привожу эти детали, чтобы читатель увидел героев Проекта с менее официальной стороны, а заодно ощутил безрадостную атмосферу сообщества, изолированного от целого света. Странное это было время, когда такие невероятно разные люди, как Белойн, Ини, Раппопорт и я, собрались вместе, да еще с целью «установления Контакта» — стало быть, в роли дипломатических представителей Человечества.

Как ни различались мы между собой, но, собравшись для изучения звездного Послания, мы образовали сообщество со своими обычаями, ритмом существования, формами человеческих отношений с их тончайшими оттенками — официальными, полуофициальными и неофициальными; все это

вместе составляло «дух Проекта» — и даже нечто большее, что социолог, вероятно, назвал бы «локальной субкультурой». Внутри Проекта, который в свою лучшую пору насчитывал без малого три тысячи человек, эта аура была столь же отчетлива, сколь и мучительна, что особенно ясно стало ощущаться со временем — во всяком случае, мною.

Один из наших старейших сотрудников, Ли Рейнхорн, который в свое время, совсем еще молодым физиком, принимал участие в Манхэттенском проекте, сказал мне, что здешняя атмосфера несравнима с тамошней. Тот проект нацеливал участников на исследования, по природе своей физические, естественно-научные, а наш совершенно неотделим от всей человеческой культуры. Рейнхорн называл ГЛАГОС экспериментальным тестом на космическую инвариантность земной культуры и особенно раздражал наших коллег-гуманитариев тем, что с невинным видом сообщал им всяческие новинки из их же области. Дело в том, что, независимо от работы в своей (физической) группе, он штудировал все, что было опубликовано за последние лет пятнадцать по проблеме космического языкового контакта, особенно в той ее части, которая получила название «дешифровка языков, обладающих замкнутой семантикой».

Полнейшая бесплодность этой пирамиды ученых трудов (библиография которых, сколько я помню, насчитывала пять с половиной тысяч названий) была очевидна. Всего забавней, однако, что такие труды продолжали публиковаться, и притом регулярно, — ведь, кроме горсточки избранных, никто во всем мире не догадывался о существовании звездного Письма. Профессиональная гордость и чувство корпоративной солидарности наших лингвистов подвергались тяжелым испытаниям, когда Рейнхорн — получив по почте очередную порцию книг и статей — на полуофициальных рабочих совещаниях знакомил нас с новостями по части «звездной семантики». Бесплодность этих наукообразных трудов, любовно нашпигованных математикой, нас забавляла, а лингвистов обескураживала.

Доходило даже до стычек — лингвисты обвиняли Рейнхорна в умышленном издевательстве. Трения между гуманитариями и естественниками были в Проекте делом обычным. Первых у нас называли «гумами», а вторых — «физами». Вообще словарь специфического жаргона Проекта весьма богат; этим жаргоном, а также формами сосу-

ществования обеих «партий» стоило бы заняться какому-нибудь социологу.

Довольно сложные причины заставили Белойна пригласить уйму специалистов-гуманитариев; не последнюю роль сыграло здесь то, что он и сам был гуманитарием по образованию и по интересам. Однако соперничество «физов» и «гумов» едва ли могло стать плодотворным, ведь наши философы, антропологи, психологи и психоаналитики не располагали, собственно, никаким материалом для исследований. Поэтому всякий раз, когда назначалось закрытое заседание какой-либо секции «гумов», кто-нибудь приписывал на доске объявлений рядом с названием доклада буквы «SF» (Science Fiction); подобное мальчишество, достойное сожаления, было реакцией на бесплодность таких заседаний.

Совместные совещания почти всегда кончались открытыми ссорами. Пожалуй, больше других кипятились психоаналитики, причем их требования были весьма специфичны: дескать, пускай те, кому положено, расшифруют «буквальный слой» Послания, а уж они возьмутся за воссоздание всей системы символов, которыми оперирует цивилизация «Отправителей». Само собой, напрашивалась реплика наподобие следующей: допустим, Отправители размножаются неполовым путем, а это предполагает десексуализацию их «символической лексики» и обрекает на неудачу любую попытку ее психоанализа. Того, кто так говорил, немедленно объявляли невеждой — ведь современный психоанализ далеко ушел от фрейдовского пансексуализма; а если к тому же слово брал какой-нибудь феноменолог, дискуссия затягивалась до бесконечности.

И то сказать: нам мешал *embarras de richesse*\* — бесполезный избыток специалистов-«гумов»; в Проекте были представлены даже такие редкостные дисциплины, как психоанализ истории или плейография (убей Бог, не помню, чем занимаются плейографы, хотя уверен, что в свое время мне об этом рассказывали).

Видно, Белойн все же зря поддался в этом вопросе влиянию Пентагона; тамошние советники усвоили одну-единственную праксеологическую истину, зато усвоили ее намертво. Эта истина заключается в следующем: если один человек может выкопать яму объемом в один кубометр за

---

\* Трудности изобилия (фр.).

десять часов, то сто тысяч землекопов выроют такую яму за долю секунды. Конечно, эта орава разобьет себе головы, прежде чем поднимет на лопату первый комок земли; так и наши несчастные «гумы» вместо того, чтобы «эффективно работать», сражались друг с другом или с нами.

Однако Пентагон по-прежнему верил, что капиталовложения прямо пропорциональны результатам, и с этим ничего нельзя было поделать. Волосы поднимались дыбом при мысли, что нас опекают люди, искренне убежденные, что проблему, с которой не могут справиться пять специалистов, наверняка одолеют пять тысяч. У бедных «гумов» накапливались комплексы: по существу, они были обречены на абсолютное, хотя и всячески маскируемое безделье, и, когда я прибыл в поселок, Белойн признался мне с глазу на глаз, что его заветное, хотя и несбыточное желание — избавиться от ученого балласта. Об этом нечего было и думать по очень простой причине: тот, кто был однажды включен в Проект, не мог просто взять да уйти, ведь это грозило «разгерметизацией» — иными словами, утечкой тайны в ничего пока не подозревающий громадный мир.

Так что Белойну приходилось совершать чудеса дипломатии и такта и даже придумывать для «гумов» занятия — вернее, заменители таковых, — и его скорее бесили, чем смешили, шуточки «физов», бередившие зарубцевавшиеся было шрамы. Так, однажды в «копилке идей» появился проект, в котором предлагалось «приказом по команде» перевести психоаналитиков и психологов с должностей исследователей Послания на должности личных врачей тех, кто не может Послание прочитать и потому страдает от «стрессов».

Вашингтонские советники тоже не оставляли Белойна в покое, время от времени загораясь новой идеей. Например, они очень долго и очень настойчиво требовали организовать большие смешанные совещания по принципу мозгового штурма; этот принцип заключается в том, что ум мыслителя-одиночки, напряженно размышляющего над проблемой, пытаются замнить большим коллективом, который «думает вслух» на предложенную тему. Белойн со своей стороны испробовал различные тактики (пассивные, оборонительные и активные) противодействия такого рода «хорошим советам».

Тяготая, силой вещей, к партии «физов», я буду заподозрен в пристрастности и все же скажу, что поначалу мне были чужды какие-либо предубеждения. Сразу после при-

бытия в поселок Проекта я принялся изучать лингвистику, сочтя это необходимым, и вскоре к крайнему своему удивлению обнаружил, что в этой — столь, казалось бы, точной и сильно математизированной области знаний — нет и намека на согласие взглядов. Крупнейшие авторитеты совершенно по-разному отвечают даже на важнейший и в некотором смысле исходный вопрос о том, что такое морфемы и фонемы. А когда в беседах с лингвистами я совершенно искренне недоумевал, как они могут работать при подобном положении дел, в моем простодушном любопытстве им чудилось зловредное издевательство. Я не сразу понял, что в Проекте очутился между молотом и наковальней; я думал, как лучше рубить лес, не замечая летящих при этом щепок, и лишь доброхоты вроде Раппопорта и Дилла частным порядком посвятили меня в сложную психосоциологию существования «физов» и «гумов». Некоторые называли ее холодной войной.

Отнюдь не все, что делали «гумы», было бесполезным, это я должен признать; например, смешанная группа Уэйна и Тракслера получила интересные теоретические результаты по проблеме конечных автоматов без подсознания (то есть способных к исчерпывающему самоописанию), и вообще «гумы» дали много ценных работ, с одной только оговоркой: к звездному Посланию эти работы имели весьма отдаленное отношение, а то и совсем никакого. Я говорю об этом отнюдь не в упрек «гумам». Я только хочу показать, какой огромный и сложный механизм запустили на Земле в связи с Первым Контактom и как много у этого механизма было хлопот с самим собой, со своими собственными шестеренками; а это, конечно, не способствовало достижению цели.

Не слишком благоустроенным был и наш быт. Автомобилей у нас почти не было — проложенные ранее дороги засыпало песком; зато в поселке курсировала миниатюрная подземка, построенная еще для обслуживания атомного полигона. Все здания, эти серые тяжеловесные ящики с округлыми стенами, стояли на огромных бетонных опорах, а под ними, по бетону пустых паркингов, разгуливал раскаленный ветер, словно вырываясь из мощной домны; он кружился в этом тесном пространстве и нес тучи отвратительного красноватого песка, мельчайшего, всюду проникающего, стоило выйти из герметически закупоренных помещений. Даже бас-

сейн располагался под землей — иначе было бы невозможно купаться.

И все же многие предпочитали ходить от здания к зданию в нестерпимом зное, лишь бы не пользоваться подземным транспортом; это кротовье существование нас угнетало, тем более что на каждом шагу встречались напоминания о прежней истории поселка. Например, гигантские оранжевые буквы SS (помню, о них с раздражением говорил Раппопорт), светившиеся даже днем; они указывали направление убежища — то ли «Supershelter», то ли «Special Shelter»\*, этого я уж не знаю. Не только в подземных, но и в наших рабочих помещениях светились таблички «EMERGENCY EXIT», «ABSORPTION SHIELD»\*\*, а на бетонных щитах перед входами в здания там и сям виднелось: «BLAST LOADING»\*\*\*, с цифрами, указывающими, на какую мощность взрывной волны рассчитано данное здание. В коридорах и на лестничных площадках стояли большие ярко-красные дезактивационные контейнеры, а ручных счетчиков Гейгера было пруд пруди.

В гостинице все легкие перегородки, простенки, стеклянные стены, разгораживающие холл, были помечены огромными пылающими надписями, которые извещали, что во время испытаний в этом месте находиться опасно, так как оно может не выдержать ударной волны. И наконец, на улицах кое-где сохранились еще громадные стрелы, показывающие, в каком направлении распространяется фронт ударной волны и каков здесь коэффициент ее отражения, — словно ты находишься в пресловутой «нулевой точке», и в любую минуту небо над головой может взорваться термоядерной вспышкой. Лишь немногие из этих надписей со временем закрасили. Я спрашивал, почему не все, а мне в ответ усмехались: мол, и так уже убрана уйма табличек, сирен, счетчиков, баллонов с кислородом для продувания, а того, что осталось, просила не трогать администрация поселка.

Меня, новичка с обостренным взглядом, эти пережитки атомной предыстории поселка неприятно поражали, впрочем, лишь до поры до времени, — потом, уйдя с головой в расшифровку Послания, я тоже перестал замечать их.

---

\* «Сверхубежище», «Особое убежище» (англ.).

\*\* «Аварийный выход», «Поглощающий экран» (англ.).

\*\*\* «Пределная нагрузка от взрывной волны» (англ.).



Сначала здешние условия — не только географические и климатические — показались мне невыносимыми. Если бы Гротюс еще в Нью-Гемпшире сказал, что я полечу туда, где каждая ванная и каждый телефон прослушиваются, если б я мог хоть издали увидеть Вильгельма Ини, я бы не только понял, но и почувствовал, что здешние свободы могут исчезнуть, как только мы сделаем то, чего от нас ожидают; и тогда, кто знает, согласился ли бы я так легко. Но даже конклав можно довести до людоедства, если действовать терпеливо и не спеша. Механизм психической адаптации неумолим.

Если бы кто-нибудь сказал Марии Кюри, что через пятьдесят лет открытая ею радиоактивность приведет к появлению мегатонн и overkill'a\*, то она, может быть, не отважилась бы продолжать работу — и уж наверняка не обрела бы прежнего спокойствия духа. Но мы притерпелись, и никто теперь не считает безумными людей, которые оперируют в своих расчетах мегатрупами и гигапокойниками. Наше умение ко всему приспособливаться и, как следствие, все принимать — одна из величайших опасностей для нас же самих. Существа со столь поразительно гибкой приспособляемостью не способны иметь жестких нравственных норм.

## V

Молчание космоса, знаменитое «Silentium Universi», успешно заглушавшееся грохотом локальных войн середины нашего века, многие астрофизики признали непреложным фактом после того, как настойчивые радиотелескопические поиски, от проекта Озма до многолетних исследований в Австралии, не дали никаких результатов.

Все это время кроме астрофизиков над проблемой работали и другие специалисты — те, что изобрели Логлан, Линкос и другие искусственные языки для установления межзвездной связи. Было сделано много открытий — вроде того, что экономнее вместо слов посылать телевизионные изображения. Теория и методология Контакта разрослись до размеров целой науки. Уже было в точности известно, как должна вести себя цивилизация, желающая установить

---

\* Избыточное уничтожение (англ.).

связь с другими. Начаться все должно с посылки позывных сигналов в широком диапазоне частот; ритмичность сигналов будет указывать на их искусственное происхождение, а частота — где, на каких мега- или килоциклах искать саму передачу. Передача должна начинаться с систематического изложения грамматики и словаря, словом, это были вселенские *savoir vivre\**, обязательные для самых отдаленных туманностей.

Оказалось, однако, что неведомый Отправитель допустил неприятнейший промах, прислав письмо без всякого предисловия, без грамматики, без словаря, — огромное Письмо, занявшее чуть ли не километр регистрационных лент. Вот почему я сразу подумал, что Послание предназначено кому-то другому (и мы по чистой случайности оказались на линии связи между двумя беседующими цивилизациями) либо оно адресовано всем цивилизациям, которые преодолели определенный «порог знаний» и могут не только обнаружить трудноуловимый сигнал, но и расшифровать его содержание. В первом случае — при случайном приеме — вопрос о «несоблюдении правил» снимался, во втором — принимал иную, более сложную форму: информация — так я себе представлял — должна быть как-то защищена от «непосвященных».

Не зная ни кодовых символов, ни синтаксиса, ни словаря, Послание можно расшифровать только методом проб и ошибок, используя частотный отбор, причем результата можно прождать двести лет или два миллиона, а то и целую вечность. Узнав, что в число математиков Проекта входят Бир и Шейрон, а Радклифф здесь — главный программист, я почувствовал себя неуютно и вовсе этого не скрывал. Зачем же понадобился еще и я? Отчасти меня ободряло лишь то, что в математике существуют нерешаемые задачи, перед которыми пасуют и третьеразрядные счетоводы, и гениальнейшие умы. И все же какие-то шансы на успех, вероятно, имелись — иначе меня бы не пригласили. Как видно, Шейрон и Бир сочли, что если не им, то кому-то другому, возможно, удастся выйти с честью из этой небывалой схватки.

Вопреки распространенному мнению, понятийное сходство языков земных культур — при всей их разноликости —

---

\* Правила хорошего тона (*фр.*).

просто поразительно. Телеграмму «Бабушка умерла похоронны среду» можно перевести на любой язык, от латыни и хинди до диалекта апачей, эскимосов или племени добу, и даже на язык мустьерской эпохи, будь он известен. Ведь у каждого человека есть мать его матери; каждый смертен; ритуал устранения трупа существует в любой культуре, равно как и счет времени. Однако существам однополым не знакомо различие между матерью и отцом, а у существ, способных делиться, как амебы, не может быть понятия родителя, даже однополого. Значит, они не поняли бы смысла слова «бабушка». Бессмертные существа (амебы, делясь, не умирают) не знали бы понятий «смерть» и «похороны», и, чтобы перевести эту — столь ясную для нас — телеграмму, им пришлось бы сперва изучить анатомию, физиологию, эволюцию, историю, быт и нравы человека.

Мой пример упрощен: предполагается, что получатель сигнала знает, где тут информационные знаки, а где — их несущественный фон. Мы находились в ином положении. Зарегистрированные сигналы могли означать, допустим, знаки препинания, тогда как сами «буквы» (или идеограммы) вообще не попали на регистрирующий слой — если аппаратура нечувствительна к импульсам, которыми эти «буквы» передавались.

Особо стоит вопрос о различии уровней цивилизации. Историк искусства определит по золотой посмертной маске Аменхотепа эпоху и стиль ее культуры. По орнаменту маски религиовед уяснит характер тогдашних верований. Химик укажет, какие методы обработки золота тогда применялись. Антрополог решит, отличался ли человек, живший 3500 лет назад, от современного человека, а врач поставит диагноз, что у Аменхотепа были гормональные нарушения, которые привели к акромегалической деформации челюсти. Стало быть, предмет тридцатипятивековой давности дает нам, современным людям, гораздо больше информации, чем имели его создатели, — что они знали о химии золота, акромегалии и стилях культуры? Если мы предпримем обратную процедуру и отправим в эпоху Аменхотепа написанное сегодня письмо, там его не прочтут — не только потому, что не знают нашего языка, но, главное, потому, что не располагают адекватными словами и понятиями.

Так выглядели общие соображения насчет звездного Письма. Информацию о нем скомпоновали в виде стандарт-

ного текста; текст записали на магнитофон и прокручивали для Особо Важных Персон, которые нас посещали. Чем его пересказывать, процитирую лучше дословно:

«Проект «Глас Господа» имсет целью всестороннее изучение и, по возможности, расшифровку так называемого Послания со звезд; по всей вероятности, это серия сигналов, намеренно высланных с помощью искусственных технических устройств существом или существами, принадлежащими к неопознанной внеземной цивилизации. Носителем информации служит поток частиц, именуемых нейтрино, которые лишены массы покоя и обладают магнитным моментом, в 1600 раз меньшим, чем магнитный момент электрона. Нейтрино — наиболее проникающие из всех известных элементарных частиц. Они падают на Землю со всех сторон. Некоторые из них рождаются в звездах (стало быть, и на Солнце) в результате естественных процессов — в ходе реакции бета-распада и других ядерных реакций; другие же возникают при столкновении первичных нейтрино с ядрами элементов в земной атмосфере и земной коре. Их энергия колеблется от десятков тысяч до миллиардов электрон-вольт. В работах Шигубова доказана теоретическая возможность нейтринного лазера, или «назера», посылающего корпускулярный монохроматический луч. Возможно, именно так устроен передатчик, посылающий принятые нами сигналы. Усилиями Хьюза, Ласкальи и Джеффриса создано устройство для регистрации отдельных энергетических фракций нейтринного спектра. Оно основано на принципе Айншофа — принципе «псевдомолекулярного обмена» — и известно под названием инвертора, или преобразователя нейтрино. Использование эффекта Синицына — Мессбауэра позволяет выделить пучок излучения с точностью до 30 000 эВ.

В ходе длительной регистрации низкоэнергетических потоков в полосе 57 МэВ был обнаружен сигнал искусственного происхождения, состоящий из более чем двух миллиардов знаков в пересчете на бинарный (двоичный) код, причем передается он подряд (без перерывов). Этот сигнал, радиант которого охватывает всю область альфы Малого Пса, а также ее окрестности в пределах полутора градусов — то есть довольно обширен, — несет информацию неизвестного содержания и назначения. Поскольку избыточность канала связи, по-видимому, близка к нулю, сигнал воспринимается нами как шум. О том, что мы имеем дело с сигналом,

свидетельствует тот факт, что каждые 416 часов 11 минут и 23 секунды вся модулированная последовательность повторяется снова — с точностью, которая по меньшей мере равна разрешающей силе земных приборов.

Чтобы обнаружить этот сигнал и установить его искусственное происхождение, должны быть выполнены следующие условия. Во-первых, нейтринное излучение должно приниматься аппаратурой со степенью разрешения по меньшей мере 30 000 эВ, направленной на альфу Малого Пса с допустимым отклонением в 1,5 градуса. Во-вторых, из всего потока нейтринного излучения необходимо выделить полосу, лежащую между 56,8 и 57,2 МэВ. И наконец, время постоянного приема должно превышать 416 часов 12 минут, после чего необходимо сравнить начало очередной передачи с началом предыдущей. Иначе невозможно установить, что перед нами не обычный (природный) шумовой эффект. По ряду причин созвездие Малого Пса особенно интересует нейтринную астрономию. Поэтому там, где имеются специалисты, располагающие соответствующей аппаратурой, вероятность выполнения первого условия достаточно велика. Фильтрация полосы передачи менее вероятна, поскольку в этой области небесной сферы излучение имеет 34 максимума при других энергиях (столько их обнаружено к настоящему времени). Правда, максимум полосы 57 МэВ на полной спектрограмме излучения имеет вид зубчика более острого, то есть лучше сфокусированного энергетически, чем другие зубчики — естественного происхождения, — но это не слишком заметно; на практике эту особенность можно обнаружить лишь задним числом, когда уже известно, что сигнал в полосе 57 МэВ — искусственный.

Если принять, что из сорока обсерваторий мира, оборудованных аппаратурой Ласкальи — Джеффриса, по меньшей мере десять постоянно наблюдают радиант Малого Пса, то вероятность, что на одной из них будет выделен данный сигнал, составляет округленно  $1/3$  (10:34) — при прочих равных условиях. Однако регистрация порядка 416 часов считается весьма длительной, и такая регистрация используется не чаще чем в одной из девяти-десяти исследовательских работ. Следовательно, вероятность открытия можно считать равной примерно 1:30—40, и с такой же вероятностью оно может быть повторено за пределами Соединенных Штатов».

Я процитировал этот текст до конца, поскольку конец здесь особенно любопытен. Вероятностные оценки выглядят не очень серьезно; это был просто политический ход, не лишенный цинизма. Ведь один шанс из тридцати не кажется исчезающе малым, и расчет делался на то, что Особо Важные Персоны забеспокоятся и станут щедрее (самым дорогостоящим — кроме больших вычислительных машин — было оборудование для автоматизированного химического синтеза).

Чтобы начать работу над Посланием, нужно было с чего-то начать, в том-то и беда. Предыдущая фраза тавтологична лишь с виду. В истории несчетное множество раз появлялись мыслители, которые полагали, что процесс познания и вправду можно начать с нуля, а чистая логика однозначно приведет к единственно правильному результату. Такая иллюзия многих толкнула на отчаянные попытки. А ведь затея эта пустая. Невозможно начать что бы то ни было без исходных посылок, независимо от того, осознаются они или нет. Эти послышки задаются и биологической природой человека, и амальгамой его культуры. Ведь культура — это тонкий слой, вклиненный между организмами и средой обитания; культура существует лишь потому, что среда неоднозначно диктует поведение, при котором обеспечивается выживание, так что всегда остается зазор для свободного выбора. Зазор, достаточно широкий, чтобы разместить в нем тысячи разных культур.

Начиная работу над «звездным кодом», следовало свести исходные послышки к минимуму, но совсем обойтись без них было нельзя. Окажись они ложными, весь труд пропал бы даром. Одной из них была гипотеза о двоичности кода. Она приблизительно соответствовала форме зарегистрированного сигнала, но сама эта форма могла зависеть от техники регистрации. Не довольствуясь сигналом, запечатленным на лентах, физики долго изучали само нейтринное излучение, которое, собственно, и было оригиналом (тогда как запись на лентах — лишь его изображение). Наконец они заявили, что код можно признать двоичным «с разумным приближением». Такое заключение, возможно, было слишком категоричным, но с этим приходилось мириться. Затем надлежало определить, к какой категории сигналов принадлежит Послание.

Согласно нашим представлениям, оно могло быть Пись-

мом, «написанным» на понятийном языке наподобие нашего; системой «моделирующих сигналов», вроде телевизионных; «производственным рецептом», то есть перечнем операций, необходимых для изготовления некоего объекта. Наконец, в нем могло содержаться описание этого объекта («вещи»), с помощью «внекультурного» кода — такого, который использует только природные константы, имеющие математическую форму и устанавливаемые физическим путем. Различия этих четырех категорий кодов не является абсолютным. Телевизионное изображение возникает благодаря проецированию трехмерных объектов на плоскость с временной разверткой, соответствующей физиологическим механизмам нашего глаза и мозга. То, что видим на экране мы, не могут видеть другие организмы, даже далеко продвинувшиеся по эволюционной лестнице, — так, собака не распознает на экране телевизора (как и на фотографии) собаку. Точно так же не существует резкой границы между «вещью» и «производственным рецептом». Яйцеклетка — это и «вещь» (то есть материальный объект), и «производственный рецепт» системы, которая из нее разовьется. Так что взаимоотношения между носителем информации и самой информацией могут быть весьма различными и усложненными.

При всей ненадежности этой классификации ничего лучшего не было; оставалось исключить явно не подходящие варианты. Сравнительно просто обстояло дело с «телевизионной гипотезой». В свое время она пользовалась большим успехом и считалась самой экономной. Звездный сигнал — в разных комбинациях — пробовали подать на пластины телевизионного кинескопа. Не удалось получить никаких образов, что-либо говорящих человеческому глазу, хотя на экране не было и «абсолютного хаоса». На белом фоне возникали, разрастались, сливались и исчезали черные пятна — в целом это было похоже на кипение. Если сигнал вводился в тысячу раз медленней, изображение напоминало колонию бактерий в состоянии роста, взаимопоглощения и распада. Глаз улавливал некий ритм и периодичность процесса, хотя это ни о чем не говорило.

В контрольных опытах на кинескоп подавали запись естественного нейтринного шума — и возникало беспорядочное трепетание и мерцание, лишенные центров конденсации, сливающиеся в сплошной серый фон. Впрочем, у Отправителей могла быть иная система телевидения — не

оптическая, а, например, обонятельная или обонятельно-осязательная. Но, будь они даже устроены иначе, чем мы, они, несомненно, превосходили нас своими познаниями и вряд ли послали бы в космос сигнал, вероятность приема которого зависит от физиологии адресата.

Итак, второй, «телевизионный», вариант был отвергнут. Первый заведомо обрекал Проект на неудачу: как я уже говорил, без словаря и грамматики абсолютно чужой язык расшифровать невозможно. Оставались два последних. Их объединили, поскольку (об этом я тоже говорил) различие между «предметом» и «процессом» относительно. Не вдаваясь в долгие разъяснения, скажу, что Проект стартовал именно с этих позиций, получил определенные результаты, «материализовав» небольшую часть Послания (то есть, в известном смысле, расшифровав ее), но потом работа зашла в тупик.

Поставленная передо мной задача состояла в проверке обоснованности исходного предположения (Послание как «предмет-процесс»). При этом я не мог обращаться к результатам, полученным на основе такого предположения, — это была бы логическая ошибка (порочный круг). Так что мне ничего и не сообщили — не по злему умыслу, а во избежание предвзятости, на тот случай, если бы эти результаты оказались — в каком-то смысле — плодами «недоразумения».

Я даже не знал, пытались ли уже математики Проекта эту задачу решить. Следовало ожидать, что да; зная, на чем они споткнулись, я, вероятно, мог бы избавить себя от лишней работы. Но Дилл, Раппопорт и Белойн сочли, что лучше ничего мне не говорить.

Короче говоря, меня вызвали, чтобы спасти честь планеты. Мне предстояло изрядно напрячь математические бицепсы, и я, хоть не без опаски, радовался этому. Объяснения, разговоры, ритуал вручения звездной записи заняли полдня. Затем «большая четверка» проводила меня в гостиницу, следя друг за другом, чтобы никто не проболтался о тайнах, которых мне пока нельзя было знать.

## VI

С той минуты, как я приземлился на крыше, меня не оставляло ощущение, что я играю роль ученого в каком-то скверном фильме. Оно еще усилилось в номере, вернее, в апар-



таментах, в которые меня поместили. Не припомню, чтобы в моем распоряжении когда-либо было так много ненужных вещей. В кабинете стоял президентских размеров стол, напротив — два телевизора и приемник. Кресло свободно поднималось, вращалось и раскладывалось — вероятно, чтобы слегка вздремнуть в перерывах между умственными борениями. Рядом, под белым чехлом, стояло что-то непонятное. Сперва я решил, что это какой-нибудь гимнастический снаряд или лошадь-качалка (меня уже и лошадь не удивила бы), но под чехлом оказался новенький, радующий глаз криотронный арифмометр — он мне действительно потом пригодился. Чтобы возможно полнее подключить человека к машине, инженеры IBM решили заставить его работать еще и ногами. Арифмометр имел педальный сумматор, и, нажимая на педаль, я всякий раз инстинктивно ждал, что поеду к стене, — до того это было похоже на акселератор. В стенном шкафу у стола я обнаружил диктофон, пишущую машинку и еще — небольшой, весьма старательно заполненный бар.

Но главной диковинкой оказалась подручная библиотека. Тот, кто ее комплектовал, был абсолютно убежден, что книги тем ценнее, чем больше за них заплачено. Поэтому на полках стояли энциклопедии, объемистые труды по истории математики и даже по космогонии майя. Здесь царил идеальный порядок по части переплетов и корешков и полнейшая бессмыслица в том, что скрывалось за переплетами, — за весь год я ни разу не воспользовался этой библиотекой. Спальня тоже была роскошная. Я обнаружил там электрическую грелку, аптечку и миниатюрный слуховой аппарат. До сих пор не знаю, шутка это была или недоразумение. Как видно, кто-то точно исполнил приказ, гласивший: «Создать превосходное жилье для превосходного математика». Увидев на столике у кровати Библию, я успокоился — о моем комфорте действительно позаботились.

Книга со звездным Посланием, которую мне торжественно вручили, была не особенно увлекательна — по крайней мере при первом чтении. Начало выглядело так: «0001101010000111111001101111111001010010100». Продолжение — в том же духе. Единственное разъяснение гласило, что каждый знак кода содержит девять элементарных знаков (составленных из единиц и нулей).

Расположившись в своей новой резиденции, я принялся размышлять. Рассуждал я примерно так. Культура есть нечто

необходимое и случайное, как подстилка гнезда; это — убежище от Мироздания, маленькая контрвселенная, с существованием которой большая Вселенная мирится молчаливо и равнодушно — равнодушно потому, что в самом Мироздании нет ответа на вопросы о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о законах и нравах. Язык — порождение культуры — служит каркасом гнезда, скрепляет подстилку, придавая ей форму, которая обитателям гнезда кажется единственно возможной. Язык — знак их тождественности, общий знаменатель, инвариантный признак, и его действенность кончается сразу же за порогом этой хрупкой постройки.

Отправители, конечно, знали об этом. На Земле ожидали, что содержанием звездного сигнала будет математика. Как известно, большим успехом у теоретиков Контакта пользовались знаменитые Пифагоровы треугольники — геометрией Евклида мы собирались через космические бездны приветствовать иные цивилизации. Отправители приняли другое решение, по-моему — верное. Этнический язык не позволяет оторваться от своей планеты — он намертво прикреплен к местной почве. А математика — слишком радикальный разрыв. Это не только разрыв локальных уз и ограничений, ставших мерилom хорошего и дурного, но и свобода от всяких физически реальных мерил. Это — деяние строителей, пожелавших, чтобы мир никогда и ни в чем не мог исказить их творение. Математика ничего не может сказать о мире — она оттого и называется чистой, что очищена от всех материальных налетов; очищение столь абсолютное служит залогом ее бессмертия. Но как раз поэтому она произвольна, порождая какие угодно, лишь бы не внутренне противоречивые, миры. Из бесконечного множества возможных математик мы выбрали одну, и предрешила это наша история, ее сиюминутные и необратимые перипетии.

С помощью математики можно сообщить, что ты Есть, что ты Существоешь, — и только. Если хочется большего, без посылки производственного рецепта не обойтись. Но рецепт предполагает технологию, а всякая технология мимолетна и преходяща, это переход от одних материалов и средств к другим. Так что же — описание «предмета»? Но и предмет можно описывать неисчислимым множеством способов. Это вело в тупик.

Одна мысль не давала мне покоя. Звездный код передавался непрерывно, бесконечными сериями, вот что было

непонятно — ведь это мешало распознать в нем сигнал. Несчастный Лейзеровиц был не так уж безумен: периодические «зоны молчания» казались действительно нужными, более того, необходимыми, как прямое указание на искусственность сигнала. «Зоны молчания» привлекли бы внимание сразу. Почему же их не было? Я попытался поставить вопрос иначе: непрерывность сигнала воспринималась как отсутствие информации о его искусственном происхождении. А вдруг именно это и есть дополнительная информация? Что она может тогда означать? То, что «начало» и «конец» Послания несущественны. Что читать его можно с любого места.

Эта идея заворожила меня. Теперь я отлично понимал, почему мои друзья так старались ни словечком не обмолвиться о способах, которыми они атаковали Послание. Как они и хотели, я был абсолютно непредубежден. Однако мне предстояла борьба, так сказать, на два фронта. Конечно, главным противником, в намерения которого я пытался проникнуть, был загадочный Отправитель; но вместе с тем, решая задачу, я не мог не думать о том, не иду ли я по пути, уже испробованному математиками Проекта. Я знал лишь одно: они не получили окончательного результата, то есть не только не расшифровали Послание до конца, но и не смогли доказать, что Послание представляет собой «предмет-процесс».

Как и мои предшественники, я считал, что код чересчур лаконичен. Ведь можно было дать какое-нибудь вступление, где просто и ясно объяснялось бы, как следует его читать. Так, по крайней мере, казалось. Однако лаконичность кода не есть его объективное свойство, она зависит от уровня знаний получателя, точнее — от различия в уровнях знаний отправителя и адресата. Одну и ту же информацию один получатель сочтет достаточной, другой — слишком лаконичной. Каждый, даже самый простой, объект содержит потенциально бесконечное количество информации. Как бы мы ни детализировали пересылаемое описание, оно всегда будет для одних избыточным, а для других неполным, отрывочным. Трудности, с которыми мы столкнулись, указывали, что Отправитель обращался к адресатам, по-видимому, более высоко развитым, чем люди на нынешнем этапе их истории.

Информация, оторванная от объекта, не только неполна.

Она всегда представляет собой некое обобщение и не определяет объект с абсолютной точностью. В повседневной жизни мы этого не замечаем: нечеткость определения объекта при помощи языка практически незаметна. То же случается и в науке. Прекрасно зная, что скорости не складываются арифметически, мы все же не применяем релятивистскую поправку, складывая скорости судна и автомобиля, движущегося по его палубе, — ибо для скоростей, далеких от световой, эта поправка пренебрежимо мала. Так вот, существует информационный эквивалент этого релятивистского эффекта. Понятие «жизнь» практически одинаково для людей-биологов, где бы они ни жили — на Гавайях или в Норвегии. Но в космосе цивилизации разделяет такая громадная пропасть, что тождественность многих понятий может оказаться мнимой. Расшифровка далась бы гораздо легче, если бы первичные единицы кода отсылали к небесным телам. Или, может быть, к атомам? Представление об атоме как о «предмете» в немалой степени зависит от уровня знаний. Лет восемьдесят назад атом был «очень похож» на солнечную систему. Сегодня он вовсе на нее не похож.

Предположим, нам посылают шестиугольник. Его можно считать схемой ячейки пчелиных сот, или здания, или молекулы. Этой геометрической информации соответствует бесконечное множество объектов. Что именно имел в виду Отправитель, станет ясно не раньше, чем мы опознаем строительный материал. Если это, скажем, кирпич, класс возможных решений уменьшится, оставаясь, однако, множеством бесконечной мощности — ведь зданий шестиугольной формы можно построить бесконечно много. Пересылаемый план следовало бы снабдить точными размерами. Но существует строительный материал, чьи кирпичики сами задают необходимые размеры. Речь идет об атомах. Атомы нельзя произвольно сближать или раздвигать. Поэтому, получив «просто шестиугольник», я склонен был бы считать, что Отправитель имел в виду химическую молекулу, состоящую из шести атомов или атомных групп. Такая гипотеза резко ограничивает область дальнейших поисков.

Предположим, сказал я себе, что Послание содержит описание предмета, притом на молекулярном уровне. Исходная идея сводилась к тому, что Послание не имеет ни начала, ни конца, то есть оно — циклическое. Циклический объект или процесс. Различие между тем и другим, как уже

говорилось, отчасти зависит от временной шкалы наблюдения. Живи мы в миллиард лет медленней и во столько же раз дольше, так что столетие сжалось бы до секунды, мы, вероятно, сочли бы континенты Земли процессами: они текли бы на наших глазах, словно водопады или морские течения. А если б, наоборот, мы жили в миллиард раз быстрее, то приняли бы водопад за предмет, настолько устойчивым и неподвижным он бы нам показался. Поэтому выяснением вопроса «предмет» или «процесс» можно было не заниматься. Достаточно было бы доказать (а не только угадать), что Послание представляет собой «кольцо», подобно форме молекулы бензола. Если посылаешь не изображение бензольной молекулы на плоскости, а ее код в линейной форме, в виде последовательных сигналов, то безразлично, с какого места бензольного кольца начать описание — любое сойдет.

С этих-то исходных позиций я и приступил к переложению проблемы на язык математики. Наглядно изобразить, как и что я сделал, я не сумею — в обиходном языке нет для этого подходящих понятий и слов. Могу лишь сказать, что, рассматривая Послание как объект, подлежащий математическому анализу, я исследовал чисто формальные его свойства в поисках особенностей, которыми занимаются топологическая алгебра и теория групп. Я прибегнул к трансформации групп преобразования, чтобы получить так называемые инфрагруппы (или группы Хогарта — потому что это я их открыл). Если бы у меня получилась «открытая» структура, это еще ни о чем бы не говорило: на результат могло повлиять какое-нибудь ложное допущение (скажем, о количестве кодовых знаков в одном «слове» Послания). Но случилось иначе. Послание идеально замкнулось как отграниченный от остального мира предмет или циклический процесс (точнее, как его ОПИСАНИЕ, МОДЕЛЬ).

Три дня я составлял программу для вычислительных машин, а на четвертый они решили задачу. Результат гласил: «что-то как-то замыкается». Этим «что-то» было Послание во всей совокупности взаимоотношений между своими знаками; но «как» происходит замыкание — об этом я мог только строить догадки, поскольку мое доказательство было косвенным. Я доказал лишь, что «описанный объект» НЕ является топологически открытым; но со своим математическим аппаратом я не мог однозначно определить «способ замыкания» — эта задача была на несколько порядков труд-

нее. Доказательство было настолько общим, что едва ли не превращалось в общее место. И все же не каждый текст обладает подобными свойствами. Например, партитура симфонии, или линейно перекодированное телевизионное изображение, или обычный языковой текст (повесть, философский трактат) не дают такого замыкания. Зато замкнулось бы описание геометрического тела или такого сложного объекта, как генотип или живой организм. Правда, генотип замыкается иначе, чем геометрическое тело; но если я стану обсуждать эти различия, то скорее запутаю читателя, чем объясню, что же, собственно, я проделал с Посланием.

Важно одно: я ничуть не приблизился к пониманию его «смысла» (то есть того, «про что там было написано»). Из неисчислимого множества особенностей Послания я выявил, и то лишь косвенно, одну — некое общее свойство его структуры. Ободренный этим успехом, я попытался атаковать вторую задачу — однозначно определить саму структуру в ее «замкнутом» виде, но за все время работы в Проекте ничего не добился. Три года спустя, уже выйдя из Проекта, попробовал снова — эта задача преследовала меня как навязание; но сумел доказать лишь, что задача НЕ разрешима в рамках трансформационной и топологической алгебры. Этого я, конечно, не мог знать заранее. Во всяком случае, я предъявил серьезный аргумент в пользу той точки зрения, что мы получили из космоса нечто действительно обладающее чертами «объекта» (то есть описания объекта), такими как концентрированность, компактность, цельность, приводящая к «замыканию».

Свои результаты я доложил не без опасений. Но оказалось, что я сделал нечто такое, о чем никто не подумал: уже во время предварительных дискуссий о Проекте возобладала концепция Послания как алгоритма (в математическом смысле), то есть общерекуррентной функции, и все вычислительные машины были впряжены в поиски вида этой функции. Это было толково в том смысле, что решение проблемы — будь оно найдено — дало бы информацию, которая, как дорожный знак, указала бы путь к следующим этапам перевода. Однако уровень сложности Послания как алгоритма был таков, что задачу решить не удалось. Зато «цикличность» Послания хоть и заметили, но сочли не очень существенной: в эту начальную эпоху великих надежд она не сулила быстрых и заметных успехов. А потом все уже на-

столько увязли в алгоритмическом подходе, что не могли от него освободиться.

Может показаться, что я сразу же продвинулся весьма далеко. Я доказал, что Письмо есть описание циклического процесса, а так как все эмпирические исследования исходили именно из этой посылки, я как бы благословил их, дав математическое ручательство того, что они на верном пути. Нараставший разлад между математиками-информационщиками и практиками (который и заставил обе стороны обратиться ко мне) тем самым был устранен.

Будущее показало, как мало я преуспел, победоносно выйдя из схватки всего лишь с одним, земным соперником.

## VII

Если спросить естествоиспытателя, с чем ассоциируется у него понятие циклического процесса, он, скорее всего, ответит: с жизнью. Мысль о том, что нам прислали описание чего-то живого и мы сможем это реконструировать, ошеломляла и захватывала воображение. Два последующих месяца я работал в Проекте на правах ученика, старательно изучая все, что успели сделать за год все исследовательские коллективы, именовавшиеся «ударными группами». Их было много — биохимическая, биофизическая, физики твердого тела. Затем часть их объединили в лабораторию синтеза; организационная структура Проекта все усложнялась, и уже поговаривали, что она стала сложнее самого Послания.

Теоретическое обеспечение — информационщики, лингвисты, математики и физики-теоретики — действовало независимо от «ударных групп». Все результаты обсуждались на высшем уровне — в Научном Совете; в него входили координаторы групп, а также «большая четверка», которая с моим прибытием перекрестилась в «пятерку».

К этому времени Проект числил за собой два достижения, вполне конкретных и осязаемых, — вернее, одно, но полученное, независимо друг от друга, биохимиками и биофизиками. В обеих группах была создана (сначала на бумаге, точнее — в машинной памяти) некая субстанция, «вычитанная» из Послания. Каждая группа назвала ее по-своему: одна — Лягушачьей Икрой, другая — Повелителем Мух.

Дублирование работ может показаться расточительством, но оно имеет свою хорошую сторону — ведь если два человека, работая врозь, сходно переведут загадочный текст, можно полагать, что они действительно добрались до его «инвариантного смысла», нашли то, что объективно содержится в тексте, а не «вычитано» из него произвольно. Правда, и это утверждение можно оспорить. Для двух магометан «истинным» будут одни и те же (небольшие) фрагменты Евангелия, в отличие от всего остального текста. Если предпрограмма у людей идентична, результаты их поисков могут совпасть, хотя бы они и не общались друг с другом. Так что не стоит преувеличивать познавательную ценность таких совпадений. К тому же достижения мысли ограничены общим уровнем знаний данной эпохи. Поэтому так сходны атомистические, вполне независимо созданные теории физиков Востока и Запада, и, скажем, принцип действия лазера не мог оставаться исключительным достоянием тех, кто открыл его первым.

Лягушачья Икра — как называли ее биохимики — представляла собой некое вещество, полужидкое в одних условиях, студенистое — в других; при комнатной температуре, при нормальном давлении и в небольшом количестве выглядело оно как блестящая клейкая жижица, действительно напоминающая слизистые лягушачьи яйца. Биофизики же сразу синтезировали около гектолитра этой псевдоплазмы; в условиях вакуума она вела себя иначе, чем Лягушачья Икра, а свое второе, демоническое название получила в связи с одним удивительным свойством.

В химическом составе Лягушачьей Икры значительную роль играли углерод, а также кремний и тяжелые элементы, практически отсутствующие в земных организмах. Она реагировала на определенные воздействия, вырабатывала энергию (рассеивая ее в виде тепла), но обходилась без обмена веществ — в биологическом смысле. Поначалу казалось, что это — невозможный, но действующий вечный двигатель, правда, в виде коллоида, а не машины. Такое покушение на священные законы термодинамики было немедленно подвергнуто строжайшим исследованиям. В конце концов ядерщики пришли к заключению, что энергия, благодаря которой возможно столь необычное состояние, этот «цирковой фокус», акробатический трюк гигантских молекул, по отсальности неустойчивых, берется из ядерных реакций холод-



ного типа. Они начинались при достижении определенной (критической) массы, причем кроме количества вещества играла роль и его конфигурация.

Обнаружить эти реакции было чрезвычайно трудно, потому что вся выделявшаяся в них энергия — как лучевая, так и критическая энергия ядерных осколков — поглощалась без остатка самим веществом и шла «на его собственные нужды». Специалистов это открытие просто ошеломило. По существу, ядра атомов внутри любого земного организма — тела для него чужеродные или по крайней мере нейтральные. Жизненные процессы никогда не добираются до скрытых в ядрах энергетических возможностей, не используют накопленные там огромные мощности — в живых тканях атомы существуют только как электронные оболочки, ведь только они и участвуют в биохимических реакциях. Именно поэтому радиоактивные атомы, проникая в организм с водой, пищей или воздухом, оказываются там чужаками, которые «обманули» живую ткань своим чисто поверхностным сходством с нормальными атомами (то есть сходством электронных оболочек). Каждый «взрыв», каждый ядерный распад такого незваного гостя означают для живой клетки микрокатастрофу, наносят ей вред, хотя бы и малозаметный.

А вот Лягушачья Икра не могла обойтись без таких процессов, для нее они были пищей и воздухом, в других источниках энергии она не нуждалась и даже не смогла бы ими воспользоваться. Лягушачья Икра послужила фундаментом для массы гипотез, для целой их башни — увы, Вавилонской; слишком они расходились между собой.

Согласно простейшим из них, Лягушачья Икра представляла собой протоплазму, из которой состоят Отправители звездного сигнала. Как я уже отмечал, для ее получения понадобилась лишь малая часть (не более 3 — 4%) всей закодированной информации — именно та, которую удалось «перевести» на язык операций синтеза. Сторонники первой гипотезы полагали, что мы получили описание одного Отправителя и, будь оно материализовано целиком, перед нами предстало бы живое и разумное существо — представитель галактической цивилизации, пересланный на Землю в виде потока нейтринного излучения.

Согласно иным, сходным предположениям, переслано было не «атомное описание» зрелого организма, а нечто вроде плода, эмбриона, яйца, способного к развитию. Этот

плод мог быть снабжен определенной наследственной программой; будучи материализован на Земле, он оказался бы для нас столь же компетентным партнером, что и взрослая особь из первого варианта.

Не было недостатка и в радикально иных подходах. Согласно другой их группе (или семейству), «код» описывает не какое-то «существо», а «информационную машину» — скорее орудие, нежели представителя пославшей его космической расы. Одни понимали под такой машиной нечто вроде «студенистой библиотеки» или «плазматического резервуара памяти», способного информировать о своем содержании и даже «вести дискуссию»; другие — скорее «плазматический мозг» (аналоговый, цифровой или же смешанного типа). Он не сможет отвечать на вопросы, касающиеся Отправителей, а будет своего рода «технологическим подарком». Сам же сигнал символизирует акт вручения: через космическую бездну одна цивилизация шлет другой свое самое совершенное орудие для преобразования информации.

У всех этих гипотез имелись, в свою очередь, «черные», или «демонические», варианты, навеянные, по мнению некоторых, слишком рьяным чтением научной фантастики. Что бы нам ни было прислано — «существо», «зародыш» или «машина», — после материализации оно попытается, дескать, завладеть Землей. Но если одни говорили о коварном вторжении из космоса, то другие — о проявлении «космического дружелюбия»; мол, высокоразвитые цивилизации занимаются оказанием «акушерской помощи», облегчая рождение более совершенного общественного устройства — ради блага получателей, а вовсе не своего.

Все эти гипотезы (их было еще много) я считал не только ложными, но и бессмысленными. Я полагал, что звездный сигнал не описывает ни плазматический мозг, ни информационную машину, ни организм, ни зародыш. Определяемый им объект вообще не входит в круг наших понятий; это — план храма, посланный австралопитекам, библиотека, подаренная неандертальцам. Я утверждал, что сигнал не предназначался для цивилизаций, стоящих на таком низком уровне развития, как наша, и поэтому ничего у нас с ним не выйдет.

За это меня произвели в нигилисты, а Вильгельм Ини доносил по начальству, что я саботирую Проект, — о чем

я дознался, хоть и не имел собственной сети подслушивания.

Я уже без малого месяц работал в Проекте, когда «Глас Господа» предстал перед нами в совершенно новом свете благодаря работам группы биологов. Мы завели так называемую «Книгу Малого Пса», куда каждый мог заносить свои мнения, критику чужих гипотез, предложения, замыслы, а также результаты исследований. Результат биологов занял в ней почетное, едва ли не центральное место. Это Ромни пришла в голову мысль провести опыты совершенно иного характера, чем те, которыми были заняты его коллеги. Ромни, как и Рейнхорн, был одним из немногих в Проекте ученых старшего поколения. Кто не читал его «Возникновения человека», тот ничего не знает об эволюции. Он искал причины возникновения разума — и находил их в тех стечениях обстоятельств, которые не подлежат моральной оценке, но задним числом, в ретроспекции, обретают чуть ли не издевательский смысл: каннибализм оказывается подспорьем в развитии разума, угроза обледенения — предпосылкой пракультуры, обглаживание костей — шагом к изготовлению орудий, а унаследованное еще от рыб и пресмыкающихся объединение половых органов с выделительными — топографической опорой не только эротики, но и вероучений о борении скверны с ангельской чистотой. Из зигзагов эволюции он извлек ее блеск и нищету, показав, как цепочки случайностей перерастают в законы природы. Но более всего поражает его книга духом сочувствия — нигде не выраженным *expressis verbis*\*.

Не знаю, каким путем Ромни пришел к своей замечательной идее. На все расспросы он отвечал досадливым хмыканьем. Вместо Послания, запечатленного на лентах, его группа изучала «оригинал», то есть сам нейтринный поток, непрерывно льющийся с неба. Я думаю, Ромни заинтересовало, почему именно нейтринный поток был выбран в качестве носителя информации. Как я уже говорил, существует естественное (звездное) нейтринное излучение. Его модулированная часть, которая несла нам Послание, составляла лишь узенькую полоску целого. Ромни, должно быть, размышлял над тем, случайно ли Отправители выбрали именно эту полоску (соответствующую «длине волны» в

---

\* Открыто, прямиком (*лат.*).

радиотехнике) или их выбор диктовался какими-то особыми соображениями. Поэтому он запланировал серию опытов, в которых самые разные вещества облучались нейтринным потоком (усиленным в сотни миллионов раз) — сначала обычным, потом кодированным. Он мог себе это позволить: предусмотрительный Белойн, глубоко запустив руку в государственную казну, оснастил Проект целой батареей нейтринных преобразователей с высокой разрешающей способностью и мощными усилителями, которые разработали наши физики.

Все нейтрино, в особенности низкоэнергетические, одинаково легко пронизывают галактические просторы и материальные тела, включая планеты и звезды; материя для них несравненно прозрачнее, чем стекло для света. В сущности, опыты Ромни не должны были дать ничего примечательного. Но вышло иначе.

На глубине сорока метров (для опытов с нейтрино это ничтожная глубина), в особых камерах размещались слоноподобные усилители, подключенные к преобразователям. Пучок излучения сжимался все более, выходил из металлического стержня толщиной в карандаш и попадал в различные жидкости, газы, твердые тела. Первая серия экспериментов — с фоновым излучением — не дала, как и предполагалось, сколько-нибудь интересных результатов.

Зато пучок излучения, несущий Послание, обнаружил одну поразительную особенность. Высокомолекулярный раствор, подвергшийся облучению, становился химически устойчивее. Обычный же нейтринный «шум» такого воздействия не оказывал. Словно нейтрино модулированного потока, пронизывая все незримым дождем, вступали в какие-то — неуловимые и непонятные для нас — взаимодействия с молекулами коллоида, защищая его от воздействия факторов, которые обычно вызывают распад больших молекул и разрывы химических связей. Модулированное излучение как будто «покровительствовало» макромолекулам определенного типа, повышая вероятность появления в водной среде, достаточно насыщенной специфическими компонентами, атомных конфигураций, образующих химический костяк *живой материи*.

Нейтринный поток, несущий Послание, был слишком разрежен, чтобы непосредственно обнаружилось нечто подобное. Только его многосотмиллионная концентрация по-

зволила увидеть этот эффект — в растворах, облучавшихся целыми неделями. Но отсюда следовал вывод, что и без усиления поток обладает той же — «благожелательной к жизни» — особенностью, только проявляется она в промежутках времени, исчисляемых не неделями, а сотнями тысяч или, вернее, миллионами лет. Уже в доисторическом прошлом этот всепроникающий дождь увеличивал, хоть и в ничтожной мере, вероятность возникновения жизни в океанах, как бы окружая определенные типы макромолекул невидимым панцирем, защищающим от хаотической бомбардировки броуновского движения. Звездный сигнал сам по себе не создавал живую материю, а лишь помогал ей на самом раннем, элементарнейшем этапе ее развития, затрудняя распад того, что однажды соединилось.

Показывая мне результаты этих экспериментов, Мёллер — физик и сотрудник Ромни — сравнивал Отправителей с певцом, который, взяв в руки стакан, способен спеть так, что стакан лопнет, расколотый акустическим резонансом. То, о чем он поет, не имеет значения; точно так же формат, цвет, плотность бумаги, на которой написано письмо, не соотносится сколько-нибудь определенно с его содержанием. И все же какая-то связь между самой информацией и ее материальным носителем может существовать: скажем, получив маленькое, голубое, пахнущее женскими духами письмо, мы вряд ли решим, что в нем содержатся потоки ругательств или план городской канализации. Действительно ли такая связь существует и какая именно — это уже определяется культурой, в рамках которой происходит коммуникация.

Эффект Ромни — Мёллера был одним из крупнейших наших успехов и вместе с тем, как это обычно бывало в Проекте, одной из удивительнейших загадок, стоившей исследователям немало бессонных ночей. Гипотезы, хлынувшие из этой скважины, ничуть не уступали по количеству тем, что, как лозы, оплели Лягушачью Икру — субстанцию, «извлеченную» из информации в прямом смысле этого слова, то есть из содержания звездного Письма. Но существует ли связь между «ядерной слизью» и «биосимпатией» нейтринного сигнала, и если да, то что она значит, — вот в чем был вопрос!

## VIII

В Проскт меня включили стараниями Белойна, Бира и Протеро. В первые же недели я понял: в Научный Совет я был кооптирован не только потому, что решил поставленную передо мной задачу. Специалистов Проект имел вдоволь, и самых лучших, — не хватало лишь сведущих в расшифровке Послания, потому что их и на свете не было. Я так часто изменял своей математике, переходя от одной науки к другой в огромном диапазоне от космогонии до этологии, что не только успел вкусить от различнейших источников знания, но, главное, в ходе все новых и новых перемещений успел усвоить повадки иконоборца.

Я приходил извне, я не был всей душой привязан к нерушимым, канонизированным обычаям той области, в которую вступал, и мне легче было подвергнуть сомнению то, на что у других, свыкшихся со своей наукой, не поднялась бы рука. Вот почему мне чаще доводилось разрушать установленный порядок — плод чьих-то долгих, самоотверженных трудов, — нежели строить. Именно такой человек понадобился руководителям Проекта. Его сотрудники (особенно стесноиспытатели) склонялись к тому, чтобы продолжать начатое, не очень-то заботясь о том, сложатся ли разрозненные фрагменты в единое целое, соразмерное информационному чуду — пришельцу со звезд, — которое породило массу интереснейших частных проблем и даровало нам возможность (примеры были приведены выше) крупных открытий.

А в то же время пресловутая «большая четверка» начинала — может, не совсем еще ясно — понимать, что за таким изучением деревьев все больше теряется картина леса; что хорошо отлаженный механизм ежедневной систематической деятельности грозит поглотить сам Проект, растворить его в море разрозненных фактов и второстепенных данных — и тогда прощай надежда постичь происшедшее. Земля получила сигнал со звезд, известие, столь содержательное, что извлеченными из него крохами могли годами питаться целые научные коллективы, но между тем само известие расплывалось в тумане, и его тайна все меньше дразнила воображение, заслоненная роем мелких успехов. Возможно, тут действовали защитные механизмы психики — или просто укоренившаяся привычка искать закономерности явлений,

не вдаваясь в причины, породившие именно эти, а не иные закономерности.

На такие вопросы обычно отвечала философия — или религия, — но не естествоиспытатели, вовсе не склонные гадать о мотивах, кроющихся за сотворением мира. Но в нашем случае все обстояло иначе: отгадывание мотивов — занятие, опорощенное всей историей эмпирических наук, — оказывалось последней возможностью, еще сулившей успех. Конечно, методология по-прежнему запрещала поиски мотивов, сходных с человеческими, у Того, что создало атомы; но сходство Отправителей сигналов с его адресатами, хотя бы самое отдаленное, было не просто утешительной выдумкой, а чем-то большим — гипотезой, на волоске которой висела судьба Проекта. И я с самого начала, как только прибыл в поселок, был убежден: если сходства нет никакого, Послание понять не удастся.

Ни в один из домыслов о природе Послания я не верил ни на йоту. Пересылка личности по телеграфу, план гигантского мозга, плазматическая информационная машина, синтезированный властелин, желающий править Землей... Эти досужие выдумки, почерпнутые в убогом арсенале идей, которыми располагала наша цивилизация в ее расхожем, технологическом понимании, были (подобно мотивам фантастических романов) отражением нашей общественной жизни, и прежде всего ее американской модели, экспорт которой за пределы Штатов процветал в середине столетия. То были либо модные новинки, либо продолжение игры «Кто кого». Выслушивая эти, казалось бы, смелые, а на деле огорчительно наивные гипотезы, я особенно ясно ощущал бескрылость нашей фантазии: намертво прикованная к Земле, она видит мир сквозь узкую щель исторического времени.

Во время дискуссии у главного информанщика Проекта, доктора Макензи, мне удалось раздражить присутствующих, доводя до абсурда такие фантазии; тогда один из молодых сотрудников Макензи потребовал, чтобы я сам сказал, что такое сигнал, раз уж я так силен в отрицании.

— Может быть — Откровение, — ответил я. — Священное писание не обязательно печатать на бумаге и опрашивать в полотно с золотым тиснением. Им может оказаться плазматическое вещество... ну, скажем, Лягушачья Икра.

Как ни странно, они — готовые променять свое невежество на что угодно, лишь бы найти хоть какую-то опору, —

всерьез задумались над моими словами. И все у них превосходно сложилось: что это, мол, Слово, которое становится плотью (имелся в виду феномен «содействия биогенезу», он же эффект Ромни — Мёллера), что побуждения, заставляющие кого-то содействовать развитию жизни — которая, стало быть, признается чем-то благим и заслуживающим поощрения во вселенском масштабе, — не могут быть прагматическими, корыстными, технологически обусловленными... что перед нами — проявление «космической благожелательности» и в этом смысле — Благовествование, но Благовествование деятельное, творящее, достигающее своей цели и без вмешивающихся ему ушей.

Они так увлеклись, что даже не заметили моего ухода. Единственным, во что верил я сам, был как раз эффект Ромни — Мёллера: звездный сигнал увеличивал вероятность возникновения жизни. Скорее всего, жизнь могла зародиться и без него, — но позже и в меньшем числе случаев. В этом виделось что-то бодрящее: существа, поступавшие именно так, были вполне мне понятны.

Возможно ли, чтобы чисто материальная, жизнотворная сторона сигнала была совершенно независима, начисто отрезана от его содержания? Трудно представить, чтобы сигнал не содержал никакой осмысленной информации, кроме своего покровительственного отношения к жизни; доказательством служила хотя бы Лягушачья Икра. Так, может, содержание сигнала каким-то образом соотносилось с эффектом, который вызывал его носитель?

Я понимал, на какую зыбкую почву ступаю; мысль о сигнале как Послании, которое также и своим содержанием призвано «осчастливливать», «творить добро», напрашивалась сама. Но — как прекрасно сказано у Вольтера — если купец везет падишаху пшеницу, значит ли это, что он заботится о пропитании корабельных мышей?

Гостей из внешнего мира у нас называли «шишки дубовые» (вместо «важные шишки»). В этом прозвище отразилось даже не столько общее убеждение в туповатости важных персон, сколько раздражение ученых, вынужденных растолковывать задачи Проекта людям, не владеющим языком науки. Чтобы лучше уяснить им связь между «жизнотворной формой» Послания и его «содержанием» (из которого пока что мы извлекли только Повелителя Мух), я придумал следующее сравнение.



Допустим, наборщик набрал стихотворную строчку из металлических литер. Если по ней провести гибкой металлической пластинкой, может случайно прозвучать гармонический аккорд. Но совершенно невероятно, чтобы при этом прозвучали первые такты Пятой симфонии Бетховена. Случись такое, мы, конечно, решили бы, что тут не простое совпадение, а кто-то нарочно расположил литеры именно так, подобрав их размеры и величину промежутков. Но если для типографской отливки «побочная звуковая гармония» крайне маловероятна, то для такого сообщения, как звездное Письмо, вероятность «посторонних эффектов» попросту нулевая.

Иными словами, жизнетворность Послания не могла быть делом случая. Отправитель умышленно модулировал нейтринное излучение так, чтобы наделить его этой способностью. Двойная природа сигнала настоятельно требовала объяснений, и простейшее из них таково: если «форма» благоприятствует жизни, то и содержание «благоотворно». Если же отбросить гипотезу «всесторонней благожелательности» (согласно которой прямому биовоздействию сопутствует информация, благоприятствующая адресату), то этим обрекаешь себя на прямо противоположный подход: дескать, Отправитель столь «жизнетворной» и «благой» (казалось бы) Вести с дьявольским умыслом вложил в нее содержание, губительное для внимающих ей.

Если я говорю о «дьявольском умысле», то не потому, что и сам так думал: просто я излагаю все как было. Впрочем, упорное олицетворение отвлеченных понятий заметно во всех публикациях, посвященных истории ГЛАГОСа. Это олицетворение имело два полюса: Письмо есть либо проявление «попечительской заботы», щедрый дар в виде технологических знаний, в которых мы усматриваем высшее благо, либо акт скрытой агрессии (и тогда то, что возникнет после материализации Письма, попытается завладеть Землей, поработить человечество или даже уничтожить его). Во всем этом я видел лишь косность мышления. Отправители вполне могли быть рационально мыслящими существами, которые просто воспользовались подходящей «энергетической оказией». Сначала они пустили в ход «жизнетворное излучение», а потом, решив установить связь с разумными обитателями других планет, вместо того чтобы строить специальные передатчики, воспользовались готовым источни-

ком энергии и наложили на нейтринный поток информацию, ничего общего не имеющую с его жизнетворными свойствами. Ведь смысл телеграммы никак не соотносится со свойствами электромагнитных волн, служащих для ее передачи.

Такое вполне можно было предположить, однако преобладали иные мнения. Выдвигались гипотезы весьма хитроумные — например, что Письмо действует «на двух уровнях». Оно порождает жизнь подобно садовнику, бросающему семена в землю; а потом садовник приходит еще раз, чтобы проверить, вырос ли «нужный» плод. Вот так и Письмо на своем «втором» уровне — уровне содержания — что-то вроде садовых ножниц, выстригающих «выродившиеся цивилизации». Другими словами, Отправители без жалости и милосердия уничтожают возникшие эволюционным путем цивилизации, которые развиваются «неправильно», скажем, относятся к разряду «самопожирателей», «разрушительных» и т.д. Они как бы присматривают за началом и концом биогенеза, за корнями и кроной эволюционного дерева. Содержание Письма оказывалось для адресата чем-то вроде бритвы — чтобы ею перерезать горло себе же.

Подобные фантазии я отвергал. Образ цивилизации, которая столь необычным способом избавляется от «выродившихся» или «недоразвитых» цивилизаций, я считал еще одним тестом на ассоциации, еще одной проекцией — на тайну Письма — наших собственных страхов, и больше ничем. Эффект Ромни — Мёллера как будто свидетельствовал о том, что Отправитель считает существование, то есть жизнь, чем-то «благим». Но сделать следующий шаг — признать, что «намеренная доброжелательность» (или, напротив, «недоброжелательность») присуща информационной «начинке» сигнала, — я уже не решался. «Черные» гипотезы возникали у их авторов чуть ли не самопроизвольно; то, что таилось в Письме, казалось им даром данайцев: это орудие, которое завладеет Землей, или же существо, которое поработит нас.

Подобные представления метались между сатанинским началом и ангельским, как мухи между оконными рамами. Я попробовал поставить себя на место Отправителя. Я не послал бы ничего такого, что можно использовать вопреки моим намерениям. Снабжать какими бы то ни было орудиями неизвестно кого — все равно что дарить детишкам гранаты. Что же мы получили? План идеального общества,

снабженный «гравюрами» с изображением неиссякаемых энергетических источников (в виде синтезированного Повелителя Мух)? Но ведь общество — это система, которая обусловлена составляющими ее элементами, в данном случае — существами. Невозможен план, пригодный для любого места и времени. Вдобавок он должен был бы учитывать биологические особенности адресата, а вряд ли можно считать человека универсальной космической постоянной.

Письмо, полагали мы, не может составлять часть «межзвездной беседы», случайно нами подслушанной. Это никак не согласовывалось с непрерывным повторением «текста»: не может же разговор сводиться к тому, что один собеседник годами твердит одно и то же. Но и здесь приходилось учитывать временные масштабы; сообщение в неизменном виде поступало на Землю по меньшей мере два года, это бесспорно. Быть может, «переговаривались» автоматические устройства и аппаратура одной стороны высылала свое сообщение до тех пор, пока не получит сигнал, что прием состоялся? В этом случае текст мог повторяться и тысячу лет, если собеседники достаточно удалены друг от друга. И хотя мы не знали, можно ли модулировать «жизнетворное излучение» различной информацией, а priori это было весьма вероятно.

Тем не менее версия «подслушанной беседы» выглядела очень неправдоподобно. Если ответ на вопрос приходит через столетия, такой обмен информацией трудно назвать беседой. Скорее следует ожидать, что собеседники будут передавать друг другу какие-то важные сведения о себе. Но тогда и мы принимали бы не одну передачу, а минимум две. Однако этого не было. Нейтринный «эфир», насколько могли проверить астрофизики, оставался абсолютно пустым — за исключением единственной занятой полосы. Этот орешек, пожалуй, был самым твердым. Простейшее толкование выглядело так: нет беседы и нет двух цивилизаций, а есть одна; она и передает изотропный сигнал. Но, согласившись с этим, пришлось бы снова ломать голову над двойственностью сигнала... *da capo al fine*\*.

В Послании, конечно, могло содержаться нечто относительно простое. Скажем, схема устройства для установления связи с Отправителем — на элементах типа Лягушачьей

---

\* С начала до конца (повторить) (*ит.*).

Икры. А мы, как ребенок, ломающий голову над схемой радиоприемника, только и сумели, что собрать пару простейших деталей. Это могла быть также «овеществленная» теория космопсихогенеза, объясняющая, как возникает, где размещается и как функционирует в Метагалактике разумная жизнь.

Такого рода догадки возникали у тех, кто отбрасывал «манихейские» предубеждения, упорно нашептывавшие, что Отправитель непременно желает нам либо зла, либо добра (либо того и другого вместе, если, допустим, в своем понимании он к нам «добр», а в нашем понимании — «злонамерен»). Тем самым мы погружались в трясину гипотез, ничуть не менее опасную, чем профессиональная узость взглядов, из-за которой эмпирики Проекта оказались в золоченой клетке их собственных сенсационных открытий. Они (во всяком случае, некоторые из них) через Повелителя Мух рассчитывали добраться до тайны Отправителей, словно по ниточке — до клубка. Я же видел в этом оправдание собственных действий, придуманное задним числом: не имея ничего, кроме Повелителя Мух, они судорожно цеплялись за него в своих попытках разгадать тайну. Я признал бы их правоту, если бы речь шла о естественно-научной проблеме, — но это было не так; химический анализ чернил, которым написано полученное нами письмо, вряд ли что-нибудь скажет о мыслях и чувствах писавшего.

Может, нам следовало быть поскромнее и подбираться к разгадке методом последовательных приближений? Но тогда снова вставал вопрос: почему они объединили сообщение, предназначенное для разумных адресатов, с жизнетворным воздействием?

На первый взгляд это казалось странным, даже злоеющим. Прежде всего — общие соображения указывали на прямо-таки невероятную древность цивилизации Отправителей. «Нейтринная передача» требовала расхода энергии порядка мощности Солнца, если не больше. Такой расход не может быть безразличен даже для общества, располагающего высокоразвитой астроинженерной техникой. Стало быть, Отправители считали, что «капиталовложения» окупаются, пусть и не для них самих, — в смысле реальных жизнетворных результатов. Но сейчас в Метагалактике не так уж много планет, условия на которых соответствуют тем, что были на Земле четыре миллиарда лет назад. Их даже очень

мало. Ведь Метагалактика — более чем зрелый звездный — или туманностный — организм; примерно через миллиард лет она начнет «стареть». Молодость, эпоха бурного и стремительного планетообразования (когда, среди прочих планет, появилась Земля) для нее миновала. Отправители должны были это знать. Значит, они шлют свой сигнал не тысячи и даже не миллионы лет. Я боялся — трудно назвать иначе чувство, сопутствовавшее таким размышлениям, — что сигнал передается чуть ли не миллиард лет! Но если так, то — оставляя в стороне абсолютную невозможность представить, во что превращается цивилизация за такое чудовищное, геологических масштабов время, — разгадка «двойственности» сигнала проста, даже тривиальна. «Жизнетворное излучение» они могли высылать с древнейших времен, а когда решили налаживать межзвездную связь, то не стали конструировать специальную аппаратуру: достаточно было использовать «готовый» поток излучения, промодулировав его дополнительно. Выходит, они задали нам эту загадку просто из соображений технической экономии? Но ведь осуществить такую модуляцию чудовищно сложно, как информационно, так и технически. Для нас — несомненно, а для них? Тут я снова терял почву под ногами. Тем временем исследования продолжались; всеми способами мы пытались отделить «информационную фракцию» сигнала от «жизнетворной». Это не удавалось. Мы были бессильны, но еще не отчаивались.

## IX

К концу августа я почувствовал такое умственное истощение, какого в жизни еще не испытывал. Творческая сила, способность решать задачи знает свои приливы и отливы, в которых трудно дать отчет даже себе самому. И вот какой тест я в конце концов изобрел: чтение своих собственных работ — тех, что я считаю самыми лучшими. Если я замечаю в них оплошности, пробелы, если вижу, что это можно было сделать лучше, значит, результат проверки благоприятен. Но если я перечитываю собственный текст не без восторга, тогда дела мои плохи. Именно так и случилось на исходе лета. Мне нужно было — это я знал по долголетнему опыту — не столько отдохнуть, сколько сменить обстановку.

Все чаще я заходил к доктору Раппопорту, моему соседу, и мы разговаривали — нередко часами. Но о звездном сигнале мы говорили редко и мало. Однажды я увидел у него большие книжные пачки, из которых вываливались изящные томики со сказочно красивыми глянцевыми обложками. Оказалось, в качестве «генератора разнообразия», которого так не хватало в наших гипотезах, он решил использовать плоды литературной фантазии — и обратился к популярному, особенно в Штатах, жанру, который — по какому-то стойкому пред-рассудку — именуется научной фантастикой. Прежде он ее не читал и теперь был рассержен, даже негодовал; настолько она разочаровала его своей монотонностью. В ней есть все, кроме фантазии, сказал он. Бедняга, он стал жертвой недо-разумения. Авторы научных якобы сказок дают публике то, чего она требует: трюизмы, ходячие истины, стереотипы, слегка замаскированные и переименованные, чтобы потреби-тель мог без всякой опаски предаваться удивлению, оставаясь при своей привычной жизненной философии. Если в культуре и существует прогресс, то прежде всего интеллектуальный, а интеллектуальных проблем литература, особен-но фантастическая, не касается.

Беседы с доктором Раппопортом много для меня значи-ли. Присущую ему жесткость и беспощадность формулиро-вок я был бы не прочь перенять. Словно два школяра, мы рассуждали о человеке. Раппопорт был склонен к «термоди-намическому психоанализу»: он утверждал, например, что движущие мотивы человеческого поведения можно, собст-венно, вывести прямо из физики, понимаемой достаточно широко.

Инстинкт разрушения может быть выведен из термоди-намики. Жизнь — это обман, попытка совершить растрату, обойти законы, вообще-то неизбежные и неумолимые; будучи изолирована от остального мира, она тотчас вступает на путь распада, движется по наклонной плоскости к нормаль-ному состоянию материи, к устойчивому равновесию, кото-рое означает смерть. Чтобы существовать, жизнь должна подпитываться упорядоченностью, но, поскольку высокая упорядоченность нигде, кроме живой материи, не существу-ет, жизнь обречена на самопожирание: приходится разру-шать, чтобы жить, и питаться упорядоченностью, которая годится в пищу постольку, поскольку поддается уничтоже-нию. Не этика, а физика диктует этот закон.

Первым это подметил, кажется, Шредингер, но он, увлеченный древними греками, не заметил того, что можно было бы назвать, вслед за Раппопортом, позором жизни, ее врожденным изъяном, укорененным в самой структуре действительности. Я возражал, ссылаясь на фотосинтез растений: они обходятся — или, во всяком случае, могут обходиться — без уничтожения других живых организмов, поскольку питаются солнечными квантами. Зато весь животный мир паразитирует на растительном, отвечал Раппопорт. Философствуя на свой лад, он и вторую особенность человека (присущую, впрочем, едва ли не всем организмам), а именно наличие пола, выводил из статистической термодинамики, в ее информационном ответвлении. Сползание в хаос, угрожающее любой упорядоченности, неизбежно ведет к обеднению информации при ее пересылке; чтобы противостоять губельному шуму, чтобы все шире распространять достигнутую на время упорядоченность, необходимо вновь и вновь сличать «наследственные тексты»; именно это сличение, считывание, призванное устранять «ошибки», есть оправдание и причина возникновения половых различий. Следовательно, в информационной физике сигналов, в теории связи следует искать «виновников» появления пола. Считывание наследственной информации в каждом поколении было условием, без которого жизнь не могла бы сохраниться, а все остальные наслоения — биологические, поведенческие, психические, культурные — вторичны; это лес последствий, выросший из твердого, законами физики сформированного семени.

Я возражал ему: дескать, он возводит двуполость во всеобщий закон, превращает ее в космическую постоянную. Он только усмехался, уклоняясь от прямого ответа. В другом веке, в другую эпоху он, несомненно, стал бы суровым мистиком, основателем доктрины; а в наше время, отрезвляемое избытком открытий, которые, словно шрапнель, разрушают монолитность любой доктрины, в эпоху неслыханного ускорения прогресса и разочарования в нем он был всего лишь комментатором и аналитиком.

Помню, как-то он говорил мне, что обдумывал возможность построения чего-то вроде метатеории философских систем, иначе говоря, такой универсальной программы, которая позволила бы автоматизировать системотворчество: машина, настроенная должным образом, начнет с создания

уже существующих систем, а потом заполнит пробелы, оставшиеся по недосмотру или из-за непоследовательности великих онтологов. Новые философии она изготавливала бы с эффективностью автомата, производящего винтики или болтики. Он даже приступил к этой работе, составил словарь, синтаксис, правила транспозиции, категориальные иерархии, что-то вроде метатеории типов, включая их семантический анализ, но потом решил, что занятие это бесплодное, игра не стоит свеч, ведь из нее ничего не следовало, кроме самой возможности появления все новых сетей, клеток, зданий и даже хрустальных дворцов, построенных из слов. Он был мизантропом, и неудивительно, что у изголовья его кровати лежал томик Шопенгауэра — а не Библия, как у меня. Идея подставить вместо понятия материи понятие воли казалась ему забавной.

— Собственно, можно было бы назвать «это» попросту тайной, — говорил он, — и квантовать ее, рассеивать, подвергать дифракции, фокусировать и разрезать; а если допустить, что «воля» может быть абсолютно отчуждена от чувствующих существ, да еще наделить ее способностью к «самодвижению», той склонностью к вечной беготне, которая так раздражает нас в атомах, доставляя сплошные хлопоты — математические и не только, — если допустить все это, то что, собственно, мешает нам согласиться с Шопенгауэром?

Время возрождения шопенгауэровского видения мира еще впереди, утверждал Раппопорт. Впрочем, он вовсе не был апологетом этого маленького, неистового, необузданного немца.

— Его эстетика непоследовательна. Может, он не умел этого выразить — *genius temporis*\* не позволял. В пятидесятые годы мне довелось увидеть испытание атомной бомбы. Известно ли вам, мистер Хогарт (он называл меня только так), что на свете нет ничего прекраснее цветовой гаммы атомного гриба? Никакие описания, никакие снимки не могут передать это чудо! Жаль только, длится оно каких-нибудь десять — двадцать секунд, а потом от земли к небу вздымается грязная пыль — ее всасывает, как пылесосом, по мере того как огненный пузырь распухает. Наконец огненный шар уносится, словно детский воздушный шарик, и весь

---

\* Дух времени (*лат.*).



мир на мгновение становится пурпурно-розовым. Помните? «С перстами пурпурными Эос...» Деятнадцатый век твердо верил, что все несущее смерть безобразно. А мы теперь знаем, что оно бывает прекраснее апельсиновых рощ, — любой цветок потом кажется блеклым и тусклым... И все это именно там, где радиация убивает за доли секунды!

Я слушал, утонув в кресле, и, признаюсь, нередко терял нить его рассуждений. Мой мозг, как старая лошадь молочника, упорно сворачивал на привычный путь — к звездному сигналу, и мне приходилось заставлять себя не думать о нем; может, если эту ниву на время забросить, что-то само прорастет? Такое случается.

Другим моим собеседником был Тайхемер Дилл, Дилл-младший, физик, с отцом которого я был знаком... Впрочем, это целая история. Дилл-старший преподавал в университете в Беркли. Он был довольно известным математиком старшего поколения, имел репутацию отличного педагога, уравновешенного и терпеливого, хотя и требовательного. Почему я не снискал его одобрения, не знаю. Конечно, мы отличались по складу ума; кроме того, меня увлекала область эргодики, к которой Дилл относился пренебрежительно; но я всегда чувствовал, что дело не только в математике. Я приходил к нему со своими идеями (к кому же мне было идти?), а он гасил меня, как свечу, небрежно отодвигал в сторону все, что я хотел ему сообщить, и всячески поощрял моего коллегу Майерса, пестовал его, как розовый бутон.

Майерс шел по его стопам; положим, он неплохо разобрался в комбинаторике, но я и тогда считал ее засыхающей ветвью. Ученик развивал идеи учителя, поэтому учитель верил в ученика, и все же не так это было просто. Может быть, Дилл питал ко мне инстинктивную, как бы животную, неприязнь? Может, я был слишком назойлив, слишком уверен в себе, в своих силах? Глуп я был, вот что. Я ничего не понимал, но ничуть не обижался на Дилла. Майерса-то я терпеть не мог и до сих пор помню молчаливое сладостное удовлетворение, которое испытал, случайно встретившись с ним годы спустя. Он работал статистиком в какой-то автомобильной фирме — если не ошибаюсь, в «Дженерал моторс».

Но мне было мало того, что Дилл так жестоко обманулся в своем избраннике. Мне вовсе не нужно было его поражение; я хотел, чтобы он поверил в меня. И, закончив сколь-

ко-нибудь значительную работу, я каждый раз представлял себе, как Дилл смотрит на готовую рукопись. Скольких усилий стоило мне доказать, что его вариационная комбинаторика — всего лишь несовершенная аппроксимация эргодической теоремы! Пожалуй, ни одну работу ни до, ни после этого я не отделял так старательно; и, как знать, не родилась ли вся теория групп, позднее названных группами Хогарта, из той скрытой страсти, под напором которой я вывернул корнями наружу всю аксиоматику Дилла, а затем, словно желая сделать что-то еще — хотя делать там, собственно, было уже нечего, — начал разыгрывать из себя метаматематика, чтобы взглянуть на эту анахроничную конструкцию свысока, мимоходом. Многие из тех, кто еще тогда предрекал мне незаурядное будущее, удивлялись моему интересу к маргинальным проблемам.

Разумеется, я никому не открыл истинную причину, скрытый мотив этих стараний. Чего я, собственно, ожидал? Что Дилл зауважает меня, извинится за Майерса, признается, как сильно он ошибся во мне? Конечно, нет. Мысль о каком-то покаянии этого, как будто лишенного возраста старца с ястребиным лицом была слишком нелепа, чтобы я принял ее всерьез. Исполнение желаний не представлялось мне сколько-нибудь определенно. Слишком они были конфузными и какими-то мелкими. Подчас человек, которого все уважают и даже любят, в душе мечтает лишь об одном: о расположении кого-то с безразличным видом стоящего в стороне, пусть даже он ничего не значит в глазах остальных.

Кем был в конце концов Дилл-старший? Рядовым преподавателем математики, каких у нас десятки. Но подобные доводы мне бы не помогли, тем более что я и себе самому не признался бы в истинном смысле и целях своих стараний, подогреваемых задетой амбицией. И все же, получая из типографии оттиски своих работ — свежие, выглаженные и словно обретшие новый блеск, — я переживал минуты ясновидения: мне являлся сухопарый, долговязый, чопорный Дилл с лицом, похожим на изображения Гегеля, а Гегеля я не выносил, не мог его читать — несносна была его уверенность, что сам абсолют вещает его устами к вящей славе прусского государства. Теперь-то я вижу, что Гегель был ни при чем, — на его место я подставлял другую особу.

Издали я видел Дилла несколько раз, на съездах и конференциях, — и обходил его стороной, как будто не узнавая.

Однажды он заговорил со мной сам, учтиво и уклончиво, а я поспешил распрощаться — дескать, спешу, срочно должен уйти; собственно, я уже ничего не хотел от него, словно он был мне нужен только в воображении. Я закончил свой главный труд, на меня пролился ливень похвал, вышла моя первая биография, я чувствовал, что близок к какой-то — ни разу не названной — цели, и как раз тогда встретил его опять. До меня доходили слухи о его болезни, но я не думал, что она могла так его изменить. Я заметил его в большом магазине самообслуживания. Он толкал перед собой тележку с банками, я шел вплотную за ним. Нас окружала толпа. Быстро, украдкой я разглядел его мешковатые, обрюзгшие щеки и, узнав его, почувствовал что-то вроде отчаяния. Это был ставший вдруг маленьким старичок с обвисшим животом, с мутным взглядом и приоткрытым ртом, шаркающий ногами в больших калошах; на воротнике у него таял снег. Он толкал тележку, толпа подталкивала его, а я отпрянул, словно бы в ужасе, думая только о том, как побыстрее уйти, убежать. Я в мгновение ока потерял из виду противника, который, вероятно, так никогда и не узнал, что был им. Потом я еще долго ощущал в себе пустоту, как после утраты очень близкого человека. Электризирующий вызов, заставлявший меня напрягать всю силу ума, внезапно исчез. Должно быть, тот Дилл, что неотступно меня преследовал и смотрел у меня из-за спины на перечерканные рукописи, никогда не существовал. Когда несколько лет спустя я прочел о его смерти, я ничего не почувствовал. Но много прошло времени, прежде чем затянулось во мне это опустевшее место.

Я знал, что у него есть сын. С Диллом-младшим я познакомился только в Проекте. Мать у него была, кажется, венгерка — отсюда его странное имя, которое напоминало мне о Тамерлане. Хоть он и именовался младшим, но был уже немолод. Он принадлежал к разряду стареющих юнцов. Есть люди, словно предназначенные для одного какого-то возраста. Белойн, например, задуман могучим старцем, и, казалось, он поспешно стремится к этой своей истинной форме, зная, что не только не утратит своей энергии, но, напротив, придаст ей библейский облик и станет выше всех подозрений в слабости. А есть люди, на всю жизнь сохраняющие черты периода созревания. Таким вот и был Дилл-младший. От отца он унаследовал манеру держаться, торжественные, тщательно отработанные жесты; он был не из тех, кому без-

различно, что происходит с их руками или лицом. Если я был «беспокойным математиком», то он — «беспокойным физиком»; он тоже любил перемену мест и одно время работал с биофизиками под руководством Андерсона. У Раппопорта мы сблизились; мне это стоило некоторых усилий (Дилл мне не слишком нравился), но я превозмог себя — отчасти в память об его отце. Если это покажется не слишком понятным, могу лишь заверить, что и сам я не все понимаю. Но так уж оно было.

Специалисты в нескольких областях — «универсалы» — были в большой цене; Диллу принадлежала важная роль в синтезировании Лягушачьей Икры. Но на вечерних беседах у Раппопорта мы обычно избегали тем, непосредственно связанных с Проектом. Прежде чем перейти к Андерсону, Дилл состоял (кажется, по линии ЮНЕСКО) в исследовательской группе, которая разрабатывала проекты противодействия демографическому взрыву. Он любил об этом рассказывать. Там было всех понемногу — биологов, социологов, генетиков, антропологов. Среди них, конечно, и знаменитости — нобелевские лауреаты.

Один из них считал атомную войну единственным спасением от потопа человеческих тел. Его умозаключения выглядели, впрочем, логично. Ни пилюли, ни уговоры не остановят естественного прироста. Необходимо целенаправленное вмешательство в семейную жизнь. Но трудность не в том, что каждый подобный проект выглядит чудовищно или комично (скажем, предлагается выдавать «разрешение на ребенка» лишь тем, кто наберет достаточно баллов за умственные и физические достоинства, за педагогические способности и так далее).

Программ можно придумать сколько угодно, но как провести их в жизнь? Ведь придется ограничить свободы, на которые не покушался ни один политический режим от самого зарождения цивилизации. Ни у какого правительства не останется для этого авторитета и силы. Невозможно бороться одновременно и с самым могущественным человеческим влечением, и с большей частью церковей, и с основополагающими, общепризнанными правами человека. Зато после атомной катастрофы суровая регламентация деторождения стала бы жизненной необходимостью, иначе наследственная плазма, подвергшаяся радиации, породила бы несчетное множество уродов. Временная регламентация могла бы пере-

расти в узаконенную систему, которая регулировала бы численность вида и управляла бы его эволюцией.

Атомная война, конечно, кошмарное зло, но ее отдаленные последствия могут оказаться благотворными. В таком же духе высказались и некоторые другие эксперты, но остальные запротестовали, и выработать единодушные рекомендации не удалось.

Этот рассказ возмутил Раппопорта, но чем больше он горячился, тем холоднее, с затаенной усмешкой, отвечал ему Дилл.

— Сделать рассудок верховным судьей — значит перепоручить свою судьбу мании логичности, — говорил Раппопорт. — Радость отца, умиленного тем, что ребенок похож на него, может показаться лишенной разумного основания, особенно если отец — заурядная, бесталанная личность. Рассуждая логически, надо основывать «банки спермы», взятой от лучших людей-производителей, и с помощью искусственного осеменения получать генетически ценный приплод. Брак — дело рискованное, и с общественной точки зрения — пустая трата сил; так почему не подбирать пары, как при селекции животных, добиваясь положительной корреляции физических и психических признаков. Подавляемые влечения — причина стрессов, потенциальная угроза для общества; выходит, надо удовлетворять их все без изъятия (естественным или эквивалентным техническим путем) либо отключать (с помощью химии или хирургии) мозговые центры, в которых эти желания возникают.

Двадцать лет назад путешествие из Европы в Америку длилось семь часов; израсходовав восемнадцать миллиардов долларов, это время сократили до пятидесяти минут. Ценой еще скольких-то миллиардов время полета удастся уменьшить вдвое против теперешнего. Пассажир, прошедший телесную и умственную дезинфекцию (чтобы он не занес к нам ни азиатского гриппа, ни азиатских мыслей), напичканный витаминами и кинозрелищами из консервной банки, сможет все быстрее и надежнее переноситься из города в город, с континента на континент, с планеты на планету. Столь небывалая резвость технических опекунов затыкает нам рот, чтобы мы не успели спросить: а нужны ли нам эти молниеносные странствия? На них не рассчитано было наше старое, животное тело; слишком стремительные прыжки с одного полушария на другое нарушают ритм его сна и бодрствования; к счас-

тью, получен химический препарат, устраняющий это расстройство. Правда, он временами вызывает депрессию, но тут нас выручают препараты, бодрящие дух; они вызывают коронарную недостаточность, но, вставив в артерии полиэтиленовые трубочки, можно ничего не бояться.

А ученый уподобляется обученному слону, которого погонщик поставил перед преградой. Он пользуется силой разума, как слон — силой мышц, подчиняясь приказу. Это необычайно удобно: ученый отныне готов на все, так как ни за что уже не отвечает. Наука становится орденом капитулянтов; логический расчет — автоматом, заменяющим человеку нравственность; мы уступаем шантажу «высших соображений», что-де атомная война может быть косвенно благодетельной, поскольку это вытекает из арифметики. То, что сегодня считается злом, завтра может оказаться благом, и из этого заключают, что само зло есть в известном отношении благо. Разум отмахивается от интуитивной подсказки эмоций; гармония идеальной машины возводится в образец для цивилизации и каждого человека в отдельности.

Средства цивилизации объявляются целями, высшие ценности обмениваются на удобства. Соображения удобства, по которым пробки в бутылках заменяют металлическими колпачками, а те в свою очередь — пластиковыми, отскакивающими при нажатии пальцем, сами по себе совершенно невинны, но в применении к человеку они становятся чистейшим безумием; любой конфликт, любая проблема уподобляются не слишком удобной пробке, которую следует вышвырнуть и заменить чем-нибудь поудобнее. Белойн назвал Проект «MASTERS VOICE», ибо название это двусмысленно: к какому, собственно, голосу мы должны прислушиваться — к «гласу Господа», обращенному к нам со звезд, или к «голосу хозяина» из Вашингтона? По существу, весь Проект — это операция «выжимания лимона»; правда, «выжать» пытаются не наши мозги, а космическое Послание, но горе власть имущим и их слугам, если они добьются желаемого!

Такими вечерними беседами мы развлекались на втором году Проекта; а недобрые предчувствия, овладевшие нами, предвещали события, которые придали операции «выжимания лимона» уже не иронический смысл, а зловещий.

Хотя Лягушачья Икра и Повелитель Мух были одной и той же субстанцией, только по-разному сохраняемой в группах биофизиков и биохимиков, тем не менее в каждой из групп утвердилась своя собственная терминология. Я видел в этом проявление закономерности, характерной для истории науки вообще. Нечаянные зигзаги пути, приведшего к открытию, и сопутствовавшие ему случайные обстоятельства запечатлеваются в его окончательном облике. Конечно, эти реликты нелегко распознать — как раз потому, что, застыв, они проникают в самую сердцевину теории и в ее позднейшие интерпретации, как неустрашимый отпечаток, клеймо случайности, окаменевшей и ставшей правилом разума.

Чтобы впервые увидеть Лягушачью Икру в лаборатории Ромни, меня подвергли традиционной уже процедуре, обязательной для всех прибывающих извне. Сначала я выслушал краткую магнитофонную лекцию, которую цитировал выше; затем, после двухминутного путешествия по подземке, попал в лабораторию химического синтеза, где мне показали возвышающуюся в отдельном зале, под двухэтажным прозрачным колпаком, трехмерную модель одной молекулы Лягушачьей Икры, похожую на скелет дафнии, увеличенной до размеров атлантозавра. Отдельные атомные группы походили на гроздья — черные, пурпурные, лиловые и белые шары, соединенные прозрачными полиэтиленовыми трубочками. Стереохимик Марш показал мне радикалы аммония, аксильные группы и похожие на странные цветы «молекулярные рефлекторы» — для поглощения энергии ядерных реакций. Реакции эти мне демонстрировали, включая устройство, которое поочередно зажигало неоновые трубки и лампочки, скрытые внутри модели; ни дать ни взять футуристическая реклама, скрещенная с рождественской елкой. Поскольку от меня ждали восторга, я его проявил — и мог идти дальше.

Сами процессы синтеза протекали в подземных этажах, под контролем программных устройств, в резервуарах, снабженных защитными оболочками: на некоторых этапах возникало довольно жесткое корпускулярное излучение (в конце реакции оно исчезало). Главный зал синтеза занимал четыре тысячи квадратных метров. Отсюда дорога вела в «серебряную палату», где, как в сокровищнице, покоилась на-

диктованная звездами субстанция. Я увидел полукруглую комнату, вернее, камеру без окон, с зеркально отполированными посеребренными стенами; тогда я знал, зачем это нужно, а теперь уже забыл. На массивном постаменте, залитый холодным светом люминесцентных ламп, стоял, словно большой аквариум, стеклянный резервуар, почти пустой — только дно покрывал слой ярко опалесцирующей, неподвижной, синеватой жидкости.

Стеклянная стена делила помещение на две части; напротив резервуара в ней зияло отверстие, куда был вмонтирован дистанционный манипулятор, окруженный массивным воротником. Марш наклонил щипцы, похожие на хирургический инструмент, к поверхности жидкости, а когда поднял их, за ними потянулась искрящаяся на свету нить, ничуть не похожая на клейкую жижу. Словно бы этот раствор выделил из себя эластичное, но достаточно крепкое волокно, которое слегка вибрировало, как струна. Марш снова опустил манипулятор и ловко встряхнул его; волокно оторвалось, но поверхность жидкости, переливающаяся отраженным светом, не расступилась; волокно съежилось и разбухло, превратившись в сверкающую личинку, и поползло, совсем как настоящая гусеница, а когда уткнулось в стекло, остановилось и повернуло обратно. Путешествие длилось около минуты, потом это диковинное создание расплылось, его очертания будто растаяли, и его снова всосало материнское лоно.

Сам по себе этот трюк с «гусеницей» особого значения не имел. Но когда выключили освещение и опыт повторили в темноте, я различил очень слабую, но явственную вспышку — будто крохотная звездочка зажглась на миг между дном и крышкой резервуара. Позже Марш объяснил мне, что это не люминесценция. Когда нить разрывается, в месте разрыва образуется мономолекулярный слой, слишком тонкий, чтобы удержать под своим контролем ядерные процессы, и возникает нечто вроде микроскопической цепной реакции; вспышка — это уже вторичный эффект: возбужденные электроны, попадая на более высокие энергетические уровни, а затем внезапно сваливаясь с них, выделяют эквивалентное количество фотонов. Я спросил, велики ли перспективы практического использования Лягушачьей Икры. Надежд у них было меньше, чем сразу после синтеза: Лягушачья Икра вела себя подобно живой ткани — то есть не позволяла



изъять свою ядерную энергию точно так же, как живая ткань не позволяет изъять свою химическую энергию.

В лаборатории Гротиуса, который синтезировал Повелителя Мух, порядки были совершенно иные; в подземелье там спускались, соблюдая чрезвычайные предосторожности. То ли Повелителя Мух поместили двумя этажами ниже уровня земли потому, что его так называли, то ли его окрестили так потому, что родился он в бетонных пещерах, наводящих на мысль о царстве Аида, — не знаю.

Сперва, еще в лаборатории, надлежало облачиться в защитную одежду — просторный и прозрачный комбинезон с капюшоном и кислородным баллоном на лямках. Это занятие — довольно хлопотливое — чем-то походило на ритуал. Насколько я знаю, никто еще не исследовал поведение ученых в лабораториях с этнографической точки зрения, хотя для меня несомненно, что не все в их действиях обусловлено необходимостью. Подготовку и проведение эксперимента можно вести по-разному, но принятый однажды образ действий становится в данном кругу, в данной научной школе привычкой, имеющей силу нормы, и чуть ли не догмой.

К Повелителю Мух я спускался с двумя сопровождающими; коротышка Гротиус шел впереди. В путь мы двинулись лишь после того, как в наши прозрачные комбинезоны накачали кислород, манипулируя всякими рычажками, так что мы стали похожи на сверкающие воздушные шары с зернышком-человеком внутри. Перед входом костюм еще проверяли на герметичность очень простым способом — поднося пламя свечи к разным местам комбинезона, давление в котором слегка превышало атмосферное; это напоминало магический обряд — что-то вроде курения фимиама.

Все это создавало впечатление чего-то серьезного, торжественного, ритуально замедленного, должно быть, потому, что в наших сверкающих воздушных шарах нельзя было двигаться быстро. К разговорам такая оболочка тоже не особенно располагала, приходилось общаться жестами, и это еще больше усиливало ощущение, будто участвуешь в каком-то обряде. Конечно, можно бы возразить, что комбинезон защищал от бета-излучения, и хотя он сильно стеснял движения, зато обеспечивал хороший обзор, и так далее. Но я без особого труда сумел бы, мне кажется, придумать иную процедуру, не столь живописную и лишенную затаенных намеков на символический смысл названия «Повелитель Мух».

В отдельном бетонном помещении находился армированный вход в вертикальный колодец. Один за другим спустились мы по стальной лестнице, вмурованной в стенки колодца, противно шелестя комбинезонами. Было невыносимо жарко в этом одеянии, раздутом, как рыбий пузырь. Внизу тянулся узкий проход, освещавшийся редкой цепочкой зарешеченных ламп, — что-то вроде штрека в старых шахтах. Должен заметить, что этих аксессуаров сотрудники Гротюса не выдумали; просто его группа воспользовалась подземной частью здания, которая когда-то служила более грозным целям, связанным с термоядерными испытаниями. Несколькими десятками метров дальше все засверкало: стены здесь были покрыты зеркально отполированным серебром — единственное, что напоминало «серебряную палату» биохимиков. Но это почти что не замечалось, как не замечается эротическая природа наготы в кабинете врача; целостный образ подчиняет себе составляющие его элементы. Там, у биохимиков, серебро стен имело что-то общее со стерильностью хирургической палаты, а здесь оно казалось чем-то таинственным — словно в каком-то паноптикуме повторялись вокруг искаженные отражения наших пузыреобразных фигур.

Напрасно я озирался вокруг в поисках какого-нибудь прохода — коридор, слегка расширяясь, утыкался в тупик. Сбоку, на уровне головы, виднелась стальная дверца; Гротюс ее отпер, и в толстой стене открылась ниша наподобие амбразуры. Оба моих спутника отступили, чтобы я мог приглядеться получше. С той стороны отверстие закрывал просвечивающий пласт, словно кусок мяса плотно прижали к толстому стеклу. Сквозь шлем, закрывающий лицо, сквозь ровную струю кислорода, льющуюся из баллона, я ощутил кожей лба и скул какое-то давление, которое, похоже, вызывалось не одним лишь теплом. Приглядевшись, я заметил очень медленное, не вполне равномерное движение — как будто гигантская улитка с содранной раковиной присосалась к стеклу и пыталась ползти, тщетно сокращая мускулы. Эта масса, казалось, давила на стекло с неведомой силой, словно ползя на месте — неторопливо, но неустанно.

Гротюс вежливо, но решительно отодвинул меня от ниши, снова запер бронированную дверцу и достал из висевшего на плече вещмешка стеклянную колбу, по стенкам которой ползало несколько обычных комнатных мух. Когда

он поднес ее к закрытой дверце — хорошо рассчитанным и в то же время торжественным жестом, — мухи сначала застыли на месте, потом распустили крылышки и мгновенно спустя закружились в колбе обезумевшими черными комочками; мне показалось, что я слышу их пронзительное жужжанье. Гротюс еще ближе придвинул колбу к дверце — мухи забились еще отчаянней; он спрятал колбу обратно и направился к выходу.

Так я узнал, откуда взялось это название. Повелитель Мух был попросту Лягушачьей Икрой — только в количестве, заметно превышавшем двести литров, хотя четкой грани между первым и вторым состоянием не было. Что же касается странного феномена с мухами, никто не имел понятия о его механизме — тем более что проявлялся он в опытах лишь с немногими перепончатокрылыми. Пауки, жуки и множество других насекомых, которых биологи терпеливо подносили к дверце, никак не реагировали на присутствие субстанции, разогретой внутренними ядерными реакциями. Говорили о каких-то волнах, об излучении, хорошо еще, что не о телепатии. Эффект не обнаруживался у мух, брюшные узлы которых были предварительно парализованы. Но эта констатация, в сущности, была тривиальна. Несчастных мух наркотизировали, вырезали у них поочередно все, что только можно, лишали подвижности то ножки, то крылышки, а всего-то и выяснили, что толстый слой диэлектрика служит надежным экраном: значит, это физический эффект, а не чудо. Ну да. Еще только выяснить бы, чем он вызван. Меня заверили, что объяснение будет найдено, — над этим работала особая группа биоников и физиков. Если они что и открыли, мне об этом ничего не известно.

Впрочем, Повелитель Мух не был опасен для живых организмов, находящихся рядом; даже мухам в конце концов ничего не делалось.

## XI

С наступлением осени — лишь календарной, ибо солнце стояло над пустыней, как в августе, — я снова, хоть и не скажу чтобы с новыми силами, принялся за расшифровку сигнала. В своих рассуждениях я не просто отодвигал на второй план синтез Лягушачьей Икры (который считался в

Проекте высшим достижением и в техническом плане, безусловно, был таковым) — я, по сути, его игнорировал, словно считал эту диковинную субстанцию артефактом\*. Ее создатели утверждали, что во мне говорит иррациональное предубеждение, личная неприязнь к этому веществу, как бы смешно это ни звучало. Некоторые (в том числе Дилл) давали понять, что атмосфера священнодействия вокруг «ядерной слизи» пробудила во мне недоверие к самому Повелителю Мух; или же, дескать, меня раздосадовало, что к загадке самого сигнала эмпирики добавили еще одну — субстанцию непонятного назначения.

Вряд ли они были правы — ведь эффект Ромни тоже усложнял загадку, но именно с ним я связывал (по крайней мере тогда) надежду разгадать намерения Отправителей, а отсюда — и само Послание. Рассчитывая обогатить свой запас идей, я проштудировал уйму трудов, посвященных расшифровке генетического кода человека и животных. Временами я смутно догадывался, что двойственность сигнала чем-то сродни двойственности любого организма, который одновременно является и самим собой, и носителем создающей информации, адресованной иным поколениям.

Но что же, собственно, давала эта аналогия? Арсенал понятий, который предоставляла в мое распоряжение эпоха, казался мне подчас ужасающе убогим. Наши познания громадны только перед лицом человека — но не Мироздания. Между авангардом наших технических достижений, нарастающих кумулятивно, взрывообразно, и нашей собственной биологией возникает — прямо у нас на глазах — пропасть; она расширяется все стремительней, рассекая человечество надвое — на фронт собирателей информации, вместе с его ближним резервом, и плодовитые толпы, которые пробавляются информационной кашкой, приготовляемой по тем же рецептам, что питательная смесь для младенцев. Мы переступили — неизвестно когда — порог, за которым громада накопленных знаний переросла кругозор любого из нас и началась неудержимая атомизация всего и вся.

Не приумножать без разбору эти знания, а сначала избавиться от огромных их залежей, от скоплений второстепенной, то есть излишней, информации — вот, по-моему, первейшая наша обязанность. Информационная техника создала

---

\* Здесь: побочное следствие эксперимента.

видимость рая, где каждый может познать все; но это иллюзия. Выбор, равнозначный отказу от этого рая, неизбежен и необходим, как дыхание.

Если бы человечество не терзали, не разъедали, не жгли язвы враждебных друг другу национализмов, столкновения интересов (нередко мнимых), переизбыток в одних точках земного шара и крайняя нехватка в других (а ведь устранение этих противоречий, по крайней мере принципиальное, технически достижимо), — тогда, быть может, оно разглядело бы за этими маленькими кровавыми фейерверками (которые зажигает на расстоянии ядерный капитал Великих) процессы, происходящие «сами собой», самотеком, без всякого контроля. Политики, как и столетия назад, принимали земной шар (теперь уже — со всеми его окрестностями до самой Луны) за шахматную доску для стратегических игр; а эта доска между тем перестала быть нерушимой опорой и походит скорее на плот, который раскалывают удары незримых течений, несущих его туда, куда никто не смотрел.

Прошу прощения за эти метафоры. Но ведь хотя футурологи и размножились, словно грибы, с той поры как Герман Кан\* онаучил профессию Кассандры, никто из них не сказал нам ясно, что мы отдали себя — со всеми потрохами — на милость и немилость технологической эволюции. А между тем роли менялись: человечество становилось для технологии средством, орудием достижения неведомой цели. Абсолютное оружие искали, как философский камень (правда, такой, который существует наверняка). Футурологические труды пестрели кривыми и таблицами — на роскошной мелованной бумаге — с датами пуска водородно-гелиевых реакторов и промышленного внедрения телепатии; а даты эти устанавливались путем голосования всевозможных экспертов. На смену честно признаваемому незнанию приходила иллюзия точного знания, куда более опасная.

Достаточно ознакомиться с историей науки, чтобы понять: облик грядущего зависит от того, чего мы сегодня не знаем и что по природе своей непредсказуемо. Положение осложняла не имеющая аналогий в истории ситуация «зеркала», или «танца вдвоем», когда одна сторона вынуждена возможно точнее и возможно быстрее повторять все, что делает в области вооружения соперник; и часто нельзя было

---

\* Герман Кан (1922 — 1983) — американский футуролог.

установить, кто первым сделал очередной шаг, а кто лишь старательно его повторил. Воображение человечества как будто застыло, ошеломленное возможностью атомной гибели, которая была, однако, слишком очевидна для обеих сторон, чтобы осуществиться. Сценарии термоядерного апокалипсиса — детища стратегов и ученых советников — настолько заворожили умы, что о дальнейших — и, может быть, еще более грозных возможностях просто не думали. А между тем все новые изобретения и открытия неустанно расшатывали хрупкое равновесие.

В семидесятые годы на время возобладала доктрина «косвенного экономического истощения» потенциальных противников, которую шеф Пентагона Кайзер выразил поговоркой: «Покуда толстый сохнет, тощий сдохнет». На смену соперничеству в мощности ядерных зарядов пришла гонка в создании ракет-носителей, а потом — еще более дорогих противоракет. В качестве следующей ступени эскалации забрезжила возможность создания «лазерного щита» — частоты из гамма-лазеров, которые, дескать, оградят всю страну стеной сокрушительного огня. Стоимость проекта оценивалась уже в 400 — 500 миллиардов долларов. После этого шага можно было ожидать следующего — выведения на орбиты огромных заводов-спутников, снабженных гамма-лазерами, рой которых, пролетая над территорией противника, мог спалить ее всю за доли секунды ультрафиолетовым излучением. Стоимость этого «пояса смерти» превысила бы, по оценкам, семь триллионов долларов. Ставка на экономическое истощение противника, втянутого в производство все более дорогого оружия, непосильное для государственного организма, делалась совершенно всерьез. Однако трудности создания супер- и гиперлазеров оказались — пока что — непреодолимыми: милостивая к нам Природа (то есть свойства ее механизмов) спасла нас от самих себя, — но ведь то был всего лишь счастливый случай.

Так выглядело глобальное мышление политиков и диктуемая ими стратегия науки. Между тем устоявшиеся нормы нашей культуры начинали расшатываться, как груз в трюме судна, которое слишком резко качает. Грандиозные историко-софические концепции размывало у самых фундаментов; великие теории, основанные на ценностях, унаследованных от прошлого, обрекались на вымирание, как бронтозавры; им предстояло разбиться о рифы грядущих открытий. Любую

мощь, любой кошмар, запрятанный в потрохах материального мира, вытащили бы на сцену в качестве оружия, если могли бы. Так что теперь мы вели игру не с Россией, но с самой Природой: ведь от Природы, а не от русских зависело, какими еще открытиями она одарит нас, и безумием было бы полагать, будто она души в нас не чает и снабдит нас только такими средствами, которые помогут нам выжить. Появись на горизонте науки открытие, сулящее полное военное превосходство, мы бы удесятерили силы и средства; ведь тот, кто первым достиг бы цели, стал бы гегемоном планеты. Об этом говорили повсюду. Но разве мыслимо, чтобы соперник покорно подставил голову под ярмо? Господствующая доктрина была внутренне противоречива, предполагая нарушение существующего равновесия сил и его непрерывное восстановление.

Наша цивилизация угодила в технологическую ловушку, и наши судьбы зависели теперь от того, как устроены некие, еще неизвестные нам взаимосвязи энергии и материи. За такие высказывания, такие взгляды меня называли пораженцем, особенно те из ученых, кто отдал свою совесть на откуп госдепартаменту. До тех пор, пока люди, схватив друг друга за волосы и за глотку, пересаживались с верблюдов и мулов на колесницы, телеги, кареты, паровозы и танки, человечество могло рассчитывать на выживание, положив конец этой гонке. В середине века тотальная угроза парализовала политику, но не изменила ее; стратегия оставалась все та же, дни считались важнее месяцев, годы — важнее столетий, а следовало поступать наоборот, лозунг интересов всего человечества начертать на знаменах, обуздать технологический взлет, чтобы он не превратился в упадок.

Тем временем разрыв между Великими и Третьим миром все возрастал (экономисты прозвали его «растягивающейся гармошкой»). Влиятельные особы, державшие в своих руках судьбу остальных, говорили, что понимают это, что вечно это продолжаться не может, — но не делали ничего, как бы в ожидании чуда. Следовало координировать прогресс, а не доверяться его автоматически возрастающей самостоятельности. Ведь безумием было бы верить, будто делать все, что только возможно технически, — значит вести себя мудро и осторожно; не могли же мы рассчитывать на сверхъестественную благосклонность Природы, которую мы сами превращали в пищу для своих тел и машин и все глубже впу-

скали в недра цивилизации. А вдруг окажется, что это — троянский конь, сладкий яд, убивающий не потому, что мир желает нам зла, а потому, что мы действовали вслепую?

Обо всем этом я не мог не думать, размышляя о двойственности Послания. Дипломаты в неизменных фраках со сладостной дрожью ждали Минуты, когда мы завершим наконец наши неофициальные, второстепенные, подготовительные труды и они, увешанные звездами орденов, помчатся к звездам, чтобы предъявить свои верительные грамоты и обменяться протокольными нотами с миллиардолетней цивилизацией. От нас требовалось только построить им мост. А ленточку они перережут сами.

Но как оно было в действительности? В каком-то уголке Галактики появились некогда существа, которые осознали феноменальную редкость жизни и решили вмешаться в Космогонию — чтобы подправить ее. Наследники древней цивилизации, они располагали чудовищным, невообразимым запасом познаний, если сумели так безупречно объединить жизнетворный импульс с абсолютным невмешательством в локальный процесс эволюции. Творящий сигнал не был словом, которое становится плотью; он ведасть не ведал о том, чему предстояло возникнуть. В основе своей процедура проста, только повторялась она в течение времени, сравнимого с вечностью, образуя как бы широко раздвинутые берега, между которыми — уже сам по себе — и должен был развиваться процесс видообразования. Поддержка была предельно осторожной. Никакой детализации, никаких конкретных указаний, никаких инструкций, физических или химических, — ничего, кроме повышения вероятности состояний, почти невозможных с точки зрения термодинамики.

Этот усилитель вероятности был до крайности маломощен и достигал своей цели лишь потому, что проникал сквозь любую преграду; вездесущий, он пронизывал какую-то часть Галактики (а может, и всю Галактику? — мы ведь не знали, сколько таких сигналов высылается). Это был не единовременный акт — своим постоянством он соперничал со звездами и в то же время прекращал свое действие, стоило начаться желаемому процессу: влияние сигнала на сформировавшиеся организмы практически равнялось нулю.

Постоянство излучения меня потрясало. Конечно, могло быть и так, что Отправителей уже нет в живых, а процесс, запущенный их астроинженерами в недрах звезды (или



целой их группы), будет длиться, покуда не иссякнет энергия передатчиков. Засекреченность Проекта казалась преступной перед лицом такой грандиозной картины. Перед нами предстало не просто открытие (или даже горы открытий) — нам раскрывали глаза на мир. До сих пор мы были слепыми щенками. А во мраке Галактики сиял разум, который не пытался навязать нам свое присутствие, напротив, всячески скрывал его от непосвященных.

Невыразимо плоскими казались мне все гипотезы, бывшие до сих пор в моде. Их создатели метались между двумя полюсами: между пессимизмом (дескать, Молчание Вселенной — ее естественное состояние) и бездумным оптимизмом (дескать, космические известия передаются четко, по складам, словно цивилизации, рассыпанные вокруг звезд, беседуют на манер дошкольников). Разрушен еще один миф, думал я, и еще одна истина взошла над нами; и, как обычно при встрече с истиной, мы оказались не на высоте.

Оставалась вторая, смысловая сторона сигнала. Ребенок может понять отдельные фразы, вырванные из философского трактата, но целое он охватить не способен. Мы были в сходном положении. Ребенка могут заморозить какие-то фразы; так и мы дивились крохотной частичке того, что расшифровали. Я так долго корпел над Посланием, так часто возобновлял попытки его разгадать, что на свой лад сжился с ним и не однажды, чувствуя, что оно высится надо мной, как гора, смутно различал великолепие его конструкции — математическое восприятие сменялось эстетическим, а может, сливалось с ним.

Каждая фраза что-то означает, даже и вне контекста, но в контексте она вступает в сцепление с другими, предыдущими и последующими. Из этого взаимопроникновения, наслаивания и нарастающей фокусировки значений и возникает произведение, то есть запечатленная во времени мысль. В случае звездного сигнала следовало говорить уже не столько о значении, сколько о назначении его элементов-«псевдофраз». Этого назначения я не мог постигнуть, но Послание, несомненно, обладало той внутренней, чисто математической гармонией, которую в величественном соборе может уловить даже тот, кто не понимает его назначения, не знает ни законов статики, ни архитектурных канонов, ни стилей, воплощенных в формы собора. Именно так я смот-

рел на Послание — и поражался. Этот текст был необычен уже тем, что не имел никаких «чисто локальных» признаков. Замковый камень, вынутый из арки, из-под тяжести, которую он предназначен нести, становится просто камнем, — вот пример нелокальности в архитектуре. Синтез Лягушачьей Икры стал возможен как раз потому, что мы выдернули из сигнала отдельные «кирпичики» и произвольно наделили их атомными и стереохимическими «значениями».

В этом было нечто варварское — как если бы «Моби Дика» использовали взамен руководства по разделке китов и вытапливанию китового жира. Можно и так поступать — бойня китов «вписана» в «Моби Дика», и, хотя смысл ее там диаметрально противоположен, этим можно и пренебречь — разрезать текст на кусочки и перетасовать их. Неужели сигнал, несмотря на всю мудрость Отправителей, был настолько незащищен? Вскоре мне было суждено убедиться, что дело, пожалуй, обстоит еще хуже; мои опасения получили новую пищу, — вот почему я не отрекаюсь от этих сентиментальных раздумий.

Как показал частотный анализ, некоторые фрагменты сигнала повторялись, точно слова в фразах, но различное соседство порождало небольшие различия в расположении импульсов, а это не было учтено нашей «двоичной» информационной гипотезой. Нетерпеливые эмпирики, которые как-никак могли сослаться на сокровища, замкнутые в их «серебряных подземельях», упорно твердили, что это искажения, вызванные многопарсекowym странствием нейтринных потоков, результат десинхронизации (впрочем, ничтожной для подобных масштабов), размазывания сигнала. Я решил это проверить. Потребовал вновь провести регистрацию сигнала или хотя бы его значительной части и тщательно сопоставил полученный текст с теми же фрагментами пяти независимых записей, сделанных ранее.

Странно, что никто этого прежде не сделал. Решив исследовать подлинность чьей-то подписи и применяя все более сильные лупы, мы в конце концов видим, как чудовищно увеличенные полосы — чернильные контуры букв — распадаются на элементы, разбросанные по обособленным, толстым, как конопляный канат, волокнам целлюлозы, и невозможно установить, где та граница увеличения, после которой в формах письма перестает ощу-

щаться влияние пишущего, его «характер», а начинается область действия статистических законов, микроскопических подрагиваний руки, пера, неравномерности стекания чернил, — законов, над которыми пишущий уже совершенно не властен. Цели можно достичь, сравнивая ряд подписей — именно ряд, а не две подписи; только тогда обнаружатся их устойчивые черты, не подверженные ежесекундным флуктуациям.

Мне удалось доказать, что «размывание», «размазывание», «десинхронизация» сигнала существует только в изображении моих оппонентов. Точность повторения соответствовала пределу разрешающей силы нашей аппаратуры. А так как вряд ли Отправитель рассчитывал на аппаратуру именно с такой калибровкой, стабильность сигнала, несомненно, превосходила наши исследовательские средства.

Это вызвало некоторое замешательство. С тех пор меня прозвали «пророком Господним» либо «вопиющим в пустыне», и под конец сентября я работал, окруженный все возрастающим отчуждением. Бывали минуты, особенно по ночам, когда между моим внесловесным мышлением и Посланием возникало такое родство, словно я постиг его почти целиком; замирая, словно перед бесплотным прыжком, я уже ощущал близость другого берега, но на последнее усилие меня не хватало.

Теперь эти состояния кажутся мне обманчивыми. Впрочем, сегодня мне легче признать, что дело тут было не во мне, что задача превышала силы каждого человека. А между тем я считал — и продолжаю считать, — что ее невозможно одолеть коллективной атакой; взять барьер должен был кто-то один, отбросив заученные навыки мышления, — кто-то один или никто. Такое признание собственного бессилия выглядит жалко — и эгоистично, быть может. Словно бы я ищу оправданий. Но если где и надо отбросить самолюбие, амбицию, забыть про бесенка в сердце, который молит об успехе, — так именно в этом случае. Ощущение изоляции, отчуждения угнетало тогда меня. Удивительнее всего, что мое поражение, при всей его очевидности, оставило в моей памяти какой-то возвышенный след, и те часы, те недели — сегодня, когда я о них вспоминаю, — мне дороги. Не думал, что со мною случится такое.

В опубликованных отчетах и книгах меньше всего говорится (если говорится вообще) о моем болес «конструктивном» вкладе в Проект. Во избежание возможных недоразумений предпочитают умалчивать о моем участии в «оппозиции конспираторов», которая, как я прочитал однажды, могла стать «величайшим преступлением», и не моя заслуга, что этого удалось избежать. Итак, перехожу к описанию своего преступления.

К началу октября жара ничуть не спала — днем, разумеется, потому что ночью в пустыне термометр уже опускался ниже нуля. В дневные часы я не выходил наружу, а по вечерам, пока еще не становилось по-настоящему холодно, отправлялся на короткие прогулки, стараясь не терять из виду здания-башни поселка: меня предупредили, что в пустыне, среди высоких дюн легко заблудиться. И однажды какой-то инженер действительно заблудился, но около полуночи вернулся в поселок, отыскав направление по зареву электрических огней. Я раньше не знал пустыни; она была совсем не похожа на то, что я представлял себе по книгам и фильмам, — абсолютно однообразная и поразительно многоликая. Особенно зачаровывало меня зрелище движущихся дюн, этих огромных медлительных волн; их строгая великолепная геометрия воплощала в себе совершенство решений, которые принимает Природа в мертвых своих владениях — там, куда не вторгается цепкая, назойливая, а временами яростная стихия биосферы.

Возвращаясь однажды с такой прогулки, я встретил Дональда Протеро — как выяснилось, не случайно. Протеро, потомок старинного корнуэльского рода, даже во втором поколении был англичанином больше, чем кто-либо из знакомых мне американцев.

Восседая в Совете между огромным Белойном и худым долговязым Диллом, за одним столом с беспокойным Раппопортом и рекламно-элегантным Ини, Протеро выделялся именно тем, что ничем особенным не выделялся. Воплощенная усредненность: обыкновенное, несколько землистое, по-английски длинное лицо, глубоко посаженные глаза, тяжелый подбородок, вечная трубка в зубах, бесстрастный голос, ненапускное спокойствие, никакой подчеркнутой жестикюляции — только так, одними отрицаниями я мог бы его описать. И при всем том — первоклассный ум.

Должен признаться, я думал о нем с некоторой тревогой: я не верю в человеческое совершенство, а людей, лишенных всяких чудачеств, заскоков, странностей, хотя бы намек на какую-то манию, на какой-то собственный пунктик, подозреваю в неискренности (каждый ведь судит по себе) — или в бесцветности. Конечно, многое зависит от того, с какой стороны узнаешь человека. Если сначала познакомишься с кем-то по его научным работам (крайне абстрактным в моем ремесле), то есть с предельно одухотворенной стороны, то столкновение с грубой телесностью вместо платоновской чистой идеи оказывается для тебя потрясением.

Наблюдать, как чистая мысль, возвышенная абстракция потеет, моргает, ковыряет в ухе, лучше или хуже управляя сложной машиной своего тела (которое, давая духу пристанище, так часто духу мешает), неизменно доставляло мне какое-то иконоборческое, приправленное злорадным сарказмом удовлетворение.

Помню, как-то вез меня на своей машине один блестящий философ, тяготевший к солипсизму, и вдруг спустило колесо. Прервав рассуждение о феерии иллюзий, какой является всякое бытие, он совершенно обыкновенно, даже слегка кряхтя, принялся поднимать машину домкратом, снимать запасное колесо, а я взирал на это, прямо-таки по-детски радуясь, словно увидел простуженного Христа. Ключом-миражом он завинчивал гайки-фантазмагории, потом с отчаянием глянул на свои руки, испачканные смазкой, которая, конечно, тоже ему лишь грезилась, — но все это как-то не приходило ему на ум.

В детстве я искренне верил, что существуют совершенные люди, прежде всего ученые, а самые святые среди них — университетские профессора. Реальность излечила меня от столь возвышенных представлений.

Но Дональда я знал уже двадцать лет, и, что поделасешь, он вправду был тем идеальным ученым, в которого ныне готовы верить лишь самые старомодные и восторженные особы. Белойн, тоже могучий ум, но вместе с тем и грешник, однажды настойчиво упрасивал Протеро, чтобы тот согласился хоть отчасти уподобиться нам и соизволил хоть раз исповедаться в какой-нибудь предосудительной тайне, в крайнем случае решиться на какое-нибудь мелкое свинство — это сделает его в наших глазах более человечным. Но Протеро лишь усмехался, попыхивая трубкой.

В тот вечер мы шли по ложбине между склонами дюн в красном свете заката, и наши тени ложились на песок, каждая песчинка которого, словно на полотнах импрессионистов, излучала лиловое свечение, как микроскопическая газовая горелка, — и Протеро начал рассказывать мне о своей работе над «холодными» ядерными реакциями в Лягушачьей Икре. Я слушал его больше из вежливости и удивился, когда он сказал, что теперешняя ситуация напоминает ему ту, что была в Манхэттенском проекте.

— Если даже удастся вызвать крупномасштабную цепную реакцию в Лягушачьей Икре, — заметил я, — нам, пожалуй, ничто не грозит: мощносты водородных бомб и без того технически безгранична.

Тогда он спрятал свою трубку. Это был очень серьезный признак. Он порылся в кармане и протянул мне кусок киноплёнки; источником света послужил огромный красный диск солнца. Я достаточно ориентируюсь в микрофизике, чтобы распознать серию треков в пузырьковой камере. Дональд стоял рядом, неторопливо указывая на некоторые необычные детали. В самом центре камеры находился крохотный, с булавочную головку, комочек Лягушачьей Икры, а звезда, образованная пунктирными треками ядерных осколков, виднелась рядом, в миллиметре от этой слизистой капельки. Я не увидел в этом ничего особенного, но последовали объяснения и новые снимки. Происходило нечто невероятное: даже если капельку экранировали со всех сторон свинцовой фольгой, звездочки расколотых ядер появлялись в камере — вне этого панциря!

— Реакция вызывается дистанционно, — заключил Протеро. — Энергия исчезает в одной точке вместе с дробящимся атомом, который появляется в другой точке. Ты видел, как фокусник прячет яйцо в карман, а вынимает его изо рта? Здесь то же самое.

— Но ведь то — фокус! — Я все еще не мог, не желал понять. — А тут... Что же, атомы в процессе распада совершают скачок через фольгу?

— Нет. Просто исчезают в одном месте и появляются в другом.

— Но это же противоречит законам сохранения!

— Не обязательно. Ведь они проделывают это неизмеримо быстро: тут исчезают, там возникают. Баланс энергии сохраняется. И знаешь, что их переносит таким чудесным об-

разом? Нейтринное поле. Поле, модулированное звездным сигналом, — словно «божественный ветер»!\*

Я знал, что это невозможно, но верил Дональду. Уж если кто в нашей полушарии разбирается в ядерных реакциях, так именно он. Я спросил, каков радиус действия эффекта. Видно, недобрые предчувствия уже пробуждались во мне.

— Не знаю, каким он **МОЖЕТ** быть. Во всяком случае, он не меньше диаметра моей камеры. В этой — два с половиной дюйма. В камере Вильсона — десять.

— Ты можешь контролировать реакцию? То есть задавать конечную точку этих перемещений?

— С высочайшей точностью. Цель определяется фазой — там, где поле достигает максимума.

Я пытался понять, что же это за эффект. Ядра атомов распадались в Лягушачьей Икре, а треки тотчас возникали снаружи. Дональд утверждал, что это явление лежит вне пределов нашей физики. Она запрещает квантовые эффекты в таком макроскопическом масштабе. Постепенно у него развязался язык. На след он напал случайно, попытавшись (собственно говоря, вслепую) вместе со своим сотрудником Макхиллом повторить опыты Ромни — но в физическом варианте. Протеро воздействовал на Лягушачью Икру излучением сигнала. Он понятия не имел, получится ли из этого что-нибудь. Получилось. Было это как раз перед его поездкой в Вашингтон. Во время его недельной отлучки Макхилл по их совместному плану собрал установку больших размеров — она позволяла переносить и фокусировать реакции в радиусе нескольких метров.

Нескольких метров?! Я решил, что ослышался. Дональд — с видом человека, который узнал, что у него рак, но феноменально владеет собой, — заметил, что в принципе возможно создать установку, позволяющую усилить эффект в миллионы раз — и по мощности, и по радиусу действия.

Я спросил его, кто об этом знает. Дональд никому ничего не сказал — даже Научному Совету. Он изложил мне свои соображения. Белойну он полностью доверял, но не хотел ставить его в трудное положение, ведь именно Айвор непосредственно отвечал перед администрацией за Проект в целом. Но тогда уж нельзя говорить об этом никому из ос-

---

\* Имеется в виду ураган «Камикадзе», спасший Японию от китайского нашествия в XIII веке. (Примеч. ред.)

тальных членов Совета. За Макхилла он ручался. Я спросил, до какого предела. Дональд посмотрел на меня и пожал плечами. Он был человек здравомыслящий и не мог не понимать: ставка так высока, что ни за кого нельзя поручиться. Я обливался потом, хотя было довольно прохладно.

Дональд рассказал, зачем он ездил в Вашингтон. Он написал докладную записку и, никому об этом не сообщив, вручил ее Рашу, а теперь Раш его вызвал. В докладной разъяснялось, какой вред приносит засекречивание Проекта. Если мы и получим какие-то сведения, увеличивающие наш военный потенциал, глобальная угроза лишь возрастет. На чью бы сторону ни склонилась чаша весов, если она качнется слишком резко, другая сторона может решиться на отчаянный шаг.

Меня слегка задело, что он не поговорил даже со мной, но я не подал вида, а только спросил, какой он получил ответ. Впрочем, догадаться было нетрудно.

— Я говорил с генералом. Он заявил мне, что они все понимают, но действовать нам надлежит по-прежнему, ведь противник, возможно, ведет точно такие же исследования... и тогда своими открытиями мы не нарушим равновесие, а восстановим его. В хорошую я влип историю! — заключил он.

Я заверил его (покрывив душой), что записку, конечно, отложат в долгий ящик, но это его не успокоило.

— Я писал ее, — сказал он, — когда у меня в запасе не было ничего, решительно ничего. А тем временем, когда записка лежала уже у Раши, я напал на след этого эффекта. Я даже подумывал, не забрать ли свою несчастную бумагу обратно, но это как раз и показалось бы им подозрительным. Можешь себе представить, как теперь будут за мной следить!

Он вспомнил о нашем «приятеле», Вильгельме Ини. Я тоже не сомневался, что Ини уже получил соответствующие инструкции. А может, предложил я, опыты прекратить, а установку демонтировать или даже уничтожить? К сожалению, я заранее знал ответ.

— Нельзя закрыть однажды сделанное открытие. Кроме того, есть Макхилл. Он меня слушается, пока мы работаем вместе, но не знаю, как он себя поведет, решишь я на такой шаг. И даже если бы я мог абсолютно на него положиться, это ничего нам не даст — ну разве только небольшую отсрочку. Биофизики уже составили план работы на следую-



ший год. Я видел черновик. Они задумали нечто похожее. У них есть камеры, есть хорошие ядерщики — Пикеринг, например, — есть инвертор; во втором квартале они собираются исследовать эффекты микровзрывов в мономолекулярных слоях Лягушачьей Икры. Аппаратура у них автоматическая. Они будут делать по паре тысяч снимков в день, и эффект сам бросится им в глаза.

— В будущем году, — сказал я.

— В будущем году, — повторил он.

Не очень-то ясно было, что еще можно к этому добавить. Мы молча шли среди дюн; на горизонте едва светился краешек багрового солнца. Помню, что я видел все окружающее так отчетливо и мир казался таким прекрасным, словно я вот-вот должен был умереть. Я хотел было спросить Дональда, почему он доверился именно мне, — но так и не спросил. Да и что он мог бы сказать?

### XIII

Очищенная от скорлупы профессиональных терминов, проблема выглядела просто. Если Протеро не ошибся и его первоначальные результаты подтвердятся, значит, энергию ядерного взрыва можно будет перебрасывать со скоростью света — в любую точку земного шара. При следующей встрече Дональд показал мне принципиальную схему аппаратуры и предварительные расчеты; из них вытекало, что, если эффект останется линейным, ничто не мешает увеличивать его мощность и радиус действия. Можно будет и Луну разнести на куски, сосредоточив на Земле достаточное количество расщепляющегося материала и сфокусировав реакцию в нужной точке.

Ужасные были дни, и едва ли не хуже — ночи, когда я ворочал в уме эту проблему то так, то эдак. Протеро требовалось еще некоторое время, чтобы смонтировать аппаратуру. За это взялся Макхилл, мы же с Дональдом занялись теоретической обработкой данных, причем, естественно, речь шла о чисто феноменологическом подходе. Мы даже не договаривались, что будем работать вместе, — это получилось само собой. Впервые в жизни мне пришлось соблюдать при расчетах «минимум конспирации» — уничтожать все заметки, стирать записи в машинной памяти и не звонить Дона-

льду даже по безразличным поводам, ведь внезапное учащение наших контактов могло пробудить нежелательный интерес. Я несколько опасался проницательности Белойна и Раппопорта, но мы теперь виделись реже. Айвор был очень занят: приближался визит Макмаона, влиятельного сенатора, человека весьма заслуженного и приятеля Раша; а Раппопортом к тому времени завладели информационщики.

Я же, хотя и был членом Совета, одним из «большой пятерки», но «без портфеля», а значит, даже формально не входил ни в одну из групп и мог свободно располагать своим временем; мои ночные бдения у главного компьютера не привлекали внимания, тем более что мне и прежде случалось оставаться там за полночь. Выяснилось, что Макмаон придет раньше, чем Дональд закончит монтаж аппаратуры. На всякий случай Дональд не подавал никаких заявок в администрацию, а просто одалживал необходимые приборы в других отделах, — это было в порядке вещей. Однако для остальных своих сотрудников ему пришлось придумать другие занятия, и притом достаточно осмысленные.

Трудно сказать, почему мы так стремились ускорить эксперимент. Мы почти не говорили о возможных последствиях его положительного (следовало бы сказать — отрицательного) результата; но должен признаться, что по ночам, в полусне, я взвешивал даже возможность объявить себя диктатором планеты — единоличным или в дуумвирате с Дональдом — разумеется, ради общего блага. Хотя известно, что к общему благу стремились в истории чуть ли не все; известно также, чем оборачивались эти стремления. Человек, обладающий аппаратом Протеро, в самом деле мог бы угрожать аннигиляцией всем армиям и странам. Однако всерьез я об этом не думал, и вовсе не из-за недостатка решимости — терять уже было нечего. Просто я знал, что такая попытка обречена — мира таким путем не достигнешь; и я признаюсь в этих мечтаниях лишь для того, чтобы показать тогдашнее состояние своего духа.

Эти (и следовавшие за ними) события описаны несчетное множество раз и со множеством искажений. Ученые, которые понимали наши сомнения и были расположены к нам — скажем, Белойн, — изображали дело так, будто мы действовали в полном согласии с методикой, принятой в Проекте, и уж во всяком случае не собирались утаивать результаты. Зато бульварная пресса, получив кое-какие мате-

риалы от нашего друга Вильгельма Инни, выставила Дональда и меня изменниками и агентами враждебной державы; взять хотя бы нашу шумевшую серию репортажей Джека Слейера «Заговор ГЛАГОС». И если эта шумиха не привела таких злодеев, как мы, пред очи карающего ареопага какой-нибудь сенатской комиссии, то лишь потому, что официальные версии нам благоприятствовали, а Раш за кулисами нас поддерживал; к тому же, когда дело получило огласку, оно успело потерять актуальность.

Правда, не обошлось без неприятных разговоров с политиками, которым я повторял одно и то же: любые нынешние антагонизмы я считаю временными в том смысле, в каком временными были державы Александра Македонского или Наполеона. О всяком мировом кризисе можно рассуждать в терминах военной стратегии лишь до тех пор, пока речь не заходит о гибели человека разумного как биологического вида. Но если интересы вида становятся одним из членов уравнения, выбор автоматически предрешен, и обращение к американскому патриотизму, к ценностям демократии и так далее теряет смысл. Того, кто считает иначе, я называю потенциальным палачом человечества. Кризис в лоне Проекта миновал, но за ним, несомненно, последуют новые. Развитие технологии расшатывает равновесие нашего мира, и ничто не спасет нас, если мы не извлечем отсюда практических выводов.

Сенатор наконец появился в сопровождении свиты и был принят с надлежащими почестями; он оказался человеком тактичным и не пускался с нами в разговоры наподобие тех, что белый ведет с туземцами. Близился новый бюджетный год, и Белойн был крайне заинтересован в том, чтобы в самом лучшем свете представить работу и достижения Проекта. Веря в свои дипломатические способности, он старался ни на шаг не отходить от Макмаона. Но тот ловко увернулся и выразил желание побеседовать со мной. Позже я понял, что в Вашингтоне меня уже считали «лидером оппозиции» и сенатор хотел дознаться, каково же мое *volunté separatum*\*. Во время обеда я об этом и думать не думал. Белойн, искусный в такого рода делах, порывался преподать мне «верную установку», но между нами сидел сенатор, так что сигнализировать приходилось молча, строя всевозможные

---

\* Особое мнение (*лат.*).

мины — красноречиво-многозначительные, таинственные и предостерегающие. Раньше он не удосужился дать мне инструкции и теперь пытался исправить ошибку; так что, когда мы вставали из-за стола, он было рванулся ко мне, но Макмаон дружески обнял меня за талию и повел в свои апартаменты.

Он угостил меня отличным «Мартеlem», видимо привезенным с собой, — в ресторане нашей гостиницы я такого что-то не приметил. Передал мне приветы от общих знакомых, с усмешкой пожаловался, что не способен даже прочесть работы, которые принесли мне славу, и вдруг, как бы между прочим, спросил, расшифрован сигнал или все же не расшифрован. Тут-то я за него и взялся.

Разговор шел с глазу на глаз — свиту в это время водили по лабораториям, которые мы называли «выставочными».

— И да и нет, — ответил я. — Смогли бы вы установить контакт с двухлетним ребенком? Конечно, смогли бы, если б преднамеренно обращались к нему, — но что поймет ребенок из вашей бюджетной речи в сенате?

— Ничего не поймет, — согласился он. — Но тогда почему вы сказали «и да и нет»?

— Потому что кое-что мы все же знаем. Вы видели наши «экспонаты»?

— Я слышал о вашей работе. Вы доказали, что Послание описывает какой-то объект, правильно? А Лягушачья Икра — частица этого объекта, разве не так?

— Сенатор, — сказал я, — пожалуйста, не обижайтесь, если то, что я скажу, прозвучит недостаточно ясно. Тут ничего не поделаешь. Для неспециалиста самое непонятное в нашей работе — вернее, в наших неудачах — это то, что мы частично расшифровали сигнал и на этом застряли. Хотя специалисты по кодам утверждают, что, если код удалось расшифровать частично, дальше все пойдет как по маслу. Верно?

Он кивнул; было заметно, что слушает он внимательно.

— Существуют, в самом общем смысле, два типа языков: обычные, которыми пользуются люди, и языки, не созданные человеком. На таком языке беседуют друг с другом организмы: я имею в виду генетический код. Он не только содержит информацию о строении организма, но сам способен превратить ее в живой организм. Это код внекультурный. Чтобы понять естественный язык людей, надо хоть что-то

знать об их культурах. А чтобы понять код наследственный, нужны только сведения из области физики, химии и так далее.

— Ваш частичный успех означает, что Письмо написано именно на таком языке?

— Знай мы однозначный ответ, мы не испытывали бы особых затруднений. Увы — действительность, как всегда, гораздо сложнее. Различие между «культурным» и «внекультурным» языком не абсолютно. Вера в абсолютный характер такого различия — одна из многих иллюзий, от которых мы избавляемся с величайшим трудом. Математическое доказательство, о котором вы упомянули, свидетельствует лишь об одном: Письмо написано на языке иного рода, чем наш с вами. Нам известны лишь два типа языков — наследственный код и естественный язык, но отсюда еще не следует, будто никаких иных языков нет. Я допускаю, что они существуют и Письмо написано на одном из них.

— И как же он выглядит, этот «иной язык»?

— Я могу ответить только в самых общих чертах. Говоря упрощенно, организмы «общаются» между собой в процессе эволюции при помощи «фраз», которым соответствуют генотипы, и «слов», которым соответствуют хромосомы. Но если ученый представит вам структурную формулу генотипа, такая формула не может считаться внекультурным кодом, ведь наследственная информация изложена будет на языке символов — скажем, химических. Перехожу к самой сути: мы догадываемся уже, что «внекультурный» язык подобен кантовской «вещи в себе». И то и другое непознаваемо. Любое высказывание есть двухкомпонентная связь «культурного» и «природного» (то есть диктуемого «самой действительностью»). В языке древних франков, в политических лозунгах республиканской партии удельный вес «культуры» громаден, а все «внекультурное» — то, что идет «прямо из жизни», — сведено к минимуму. В языке, которым пользуется физика, все обстоит наоборот — в нем много «естественного», того, что диктуется «самой природой», и мало того, что идет от культуры. Но полная «внекультурная» чистота языка невозможна. Было бы иллюзией полагать, будто, посылая другой цивилизации формулу атома, мы изгнали из такого «письма» все культурные примеси. Как ни избавляйся от них, никто и никогда, во всей Вселенной, не сведет их к нулю.

— Значит, Письмо написано на «внекультурном» языке,

но с примесью культуры Отправителей? Да? В этом и состоит трудность?

— Одна из трудностей. Отправители отличаются от нас не только культурой, но и познаниями — природоведческими, скажем так. Поэтому перед нами трудность по меньшей мере двойного порядка. Догадаться, какова их культура, мы не сможем — ни сейчас, ни, я полагаю, через тысячу лет. Это они должны отлично понимать, а значит, почти наверняка выслали такую информацию, для расшифровки которой не нужно знать их культуру.

— Но тогда этот культурный фактор не должен мешать?

— Видите ли, сенатор, мы даже не знаем, *что именно* больше всего нам мешает. Мы оценили Письмо в целом с точки зрения его сложности. Она сопоставима с уровнем сложности социальных и биологических систем. Никакой теории социальных систем у нас нет; поэтому в качестве моделей, подставляемых к Письму, пришлось использовать генотипы — точнее, их математическое описание. Объектом, наиболее адекватным сигналу, оказалась живая клетка, а может быть, и целый живой организм. Из этого вовсе не следует, что Письмо и впрямь содержит какой-то генотип; просто из всех объектов, которые мы для сравнения «подставляем» к Письму, генотип наиболее пригоден. Вы понимаете, чем это грозит?

— По правде сказать, не очень. В худшем случае расшифровка вам не удастся, вот и все.

— Мы поступаем, как человек, который ищет потерянную монету под фонарем, где светло. Вы когда-нибудь видели ленты для пианолы?

— Видел, конечно. Они с перфорацией.

— Так вот, для пианолы может случайно подойти лента с программой цифровой машины, пусть даже эта программа не имеет совершенно ничего общего с музыкой, а относится к какому-нибудь уравнению пятой степени. Но если поставить ее в пианолу, вы услышите звуки. И может случиться, что вместо абсолютной какофонии там и сям послышится какая-то музыкальная фраза. Догадываетесь, почему я выбрал этот пример?

— Пожалуй. Вы думаете, что Лягушачья Икра — это «музыкальная фраза», которая возникла, когда в пианолу вложили ленту, предназначенную, в сущности, для цифровой машины?

— Да. Именно так я и думаю. Тот, кто использует цифровую ленту для пианолы, совершает ошибку, и вполне вероятно, что именно такую ошибку мы приняли за успех.

— Но две ваши лаборатории совершенно независимо друг от друга синтезировали Лягушачью Икру и Повелителя Мух, — а ведь это одна и та же субстанция!

— Допустим, у вас дома есть пианола, но вы ничего не слыхали о цифровых машинах, и ваш сосед то же самое. Так вот: если вы где-то найдете цифровые ленты, то оба, вероятно, сочтете, что они предназначены для пианолы, ведь о других возможностях вам ничего не известно.

— Понимаю. Это и есть ваша гипотеза?

— Да. Это моя гипотеза.

— Вы говорили об угрозе. В чем же она состоит?

— Спутать ленту машины с лентой пианолы, разумеется, не опасно, это всего лишь безобидное недоразумение. Но в нашем случае ошибка может кончиться плохо.

— Например?

— Откуда мне знать? Я имею в виду вот что: допустим, в поваренной книге вместо «сахарин» вы прочитали «стрихинин», а в результате умерли все участники пиршества. Учтите: мы делали только то, что были в состоянии делать, а значит, навязали сигналу наши знания, наши — быть может, упрощенные, быть может, ложные — представления.

Как же так, спросил Макмаон, если доказательства успеха столь очевидны? Он видел Повелителя Мух. Возможно ли при неправильной расшифровке получить такой поразительный результат? Разве этот фрагмент «перевода» может быть совершенно ошибочным?

— Может, — ответил я. — Допустим, мы переслали по телеграфу генотип человека, а получатель депеши, изучив ее, воссоздал одни лейкоциты. Тогда он имел бы что-то вроде амёб и множество неиспользованной информации. Вряд ли верно прочел телеграмму тот, кто вместо целого человека синтезировал кровяные тельца.

— Так велика разница?

— Да. Мы использовали от двух до четырех процентов всей информации, но даже эти проценты, возможно, на треть состоят из наших же домыслов, из того, что мы сами вложили в перевод, руководствуясь своими познаниями в стереохимии, физике и так далее. Если тем же манером расшифровать генотип человека, то и лейкоцитов никаких не

получишь. Разве только мертвую белковую взвесь... Кстати, сделать нечто подобное было бы очень полезно, тем более что генотип человека расшифрован процентов на семьдесят. Но на это у нас нет ни времени, ни денег.

Еще его интересовала возможная разница в развитии между нами и Отправителями. Я сказал, что, по расчетам фон Хорнера и Брейсуэлла, наиболее вероятна встреча с цивилизацией, насчитывающей около 12 000 лет; но, по-моему, вполне реален и миллиардолетний возраст Отправителей. В противном случае передача «жизнетворного» сигнала не находит рационального объяснения: за дюжину тысячелетий жизнь не создашь.

— На долгий срок, должно быть, они выбирают свое правительство, — заметил Макмаон.

Он спросил, стоит ли в таком случае продолжать Проект.

— Если юный головорез, — сказал я, — отнимет у вас чековую книжку и шестьсот долларов, то, хотя он и не сможет снять миллионы с вашего счета, вряд ли он будет особенно огорчен. Для него и шестьсот долларов — куча денег.

— Этот юный головорез, по-вашему, мы?

— Вот именно. Мы можем веками питаться крохами со стола высокоразвитой цивилизации. Если будем вести себя благоразумно...

Тут я, может, и добавил бы кое-что, да прикусил язык.

Макмаон пожелал выяснить мое личное мнение о Письме и его Отправителях.

— Они не рационалисты, по крайней мере, в нашем понимании, — ответил я. — Знаете ли вы, сенатор, какая у них «себестоимость»? Допустим, они располагают энергией порядка  $10^{49}$  эргов. Тогда мощность отдельной звезды — а именно такая мощность нужна для посылки сигнала — для них то же самое, что для нас в Штатах — мощность крупной электростанции. Скажите, согласилось бы наше правительство расходовать — в течение сотен и тысяч лет — мощность такого комплекса, как Боулдер-Дам, чтобы помочь возникновению жизни на других планетных системах, будь это возможно при столь микроскопических затратах энергии?

— Мы слишком бедны...

— Но доля энергии, израсходованной на столь благородную цель, в обоих случаях одинакова.

— Десять центов по отношению к доллару — не то же самое, что миллион по отношению к десяти миллионам.



— Да у нас ведь именно миллионы. Космическая пропасть, разделяющая нас, меньше, чем пропасть моральная. У нас миллионы людей умирают от голода здесь, на Земле, а они заботятся о том, чтобы возникла жизнь на планетах Кентавра, Лебеда и Кассиопеи. Я не знаю, что там, в Послании, но при их альтруизме там не может быть ничего, что могло бы нам повредить. Одно слишком противоречит другому. Конечно, подавиться можно и хлебом. Я рассуждаю так: если мы с нашими порядками, с нашей историей достаточно типичны для космоса, Послание нам ничем не угрожает. Ведь вы об этом спрашивали, правда? Они должны хорошо знать «цивилизационную постоянную» Вселенной. Если мы — отклонение, меньшинство, то они и это примут, вернее, должны были принять во внимание. Но если мы — редчайшее исключение, чудище, диковинка, которая попадается раз в десять миллиардов лет в одной галактике из тысячи, — такую возможность они могли не учитывать в своих расчетах и планах. Так или эдак, они невиновны.

— Вы произнесли это, как Кассандра, — сказал Макмаон, и я видел, что ему, как и мне, не до шуток.

Мы поговорили еще, но я не сказал ничего, откуда можно было бы заключить — или заподозрить, — что Проект вступил в новую фазу. И все же я был недоволен собой: мне казалось, я слишком разоткровенничался, особенно под конец. Вероятно, на мысль о Кассандре наводили моя мимика и интонации — ведь следил я прежде всего за словами.

Я вернулся к своим расчетам и с Белойном увиделся только после отъезда сенатора. Айвор был раздражен и удручен.

— Макмаон? — спросил он. — Приехал обеспокоенный, а уехал довольный. И знаешь почему? Не знаешь? Администрация боится успеха — если успех окажется слишком велик. Боится открытия, которое имело бы военное значение.

Это меня поразило.

— Он сам тебе это сказал?

Белойн рассмеялся над моей наивностью:

— Что ты! Как можно! Но это и без того ясно. Им бы хотелось, чтобы у нас ничего не вышло. Или чтобы оказалось, что пришла поздравительная открытка с пожеланиями всего наилучшего. Ну да, тогда бы они раструбили об этом на весь свет и были бы в полном восторге. Макмаон зашел

поразительно далеко — ты не знаешь его, это человек неслышанно осторожный. И все же он выпытывал у Ромни с глазу на глаз, каковы самые отдаленные технологические последствия Лягушачьей Икры. Самые отдаленные! И с Дональдом говорил о том же.

— И что сказал Дональд? — спросил я. Впрочем, о Дональде я мог не беспокоиться. Он был надежен, как нестрогаемый шкаф.

— Да ничего. Даже не знаю, что он ответил. А Ромни сказал, что готов поделиться своими ночными кошмарами, потому что наяву он ничего такого не видит.

— Отлично.

Я не скрывал облегчения. Белоин, однако, был явно подавлен; он запустил пятерню в волосы, покачал головой и вздохнул.

— К нам должен приехать Лирни, — сказал он. — С какой-то теорией о природе сигнала. С какой-то своей гипотезой. Не знаю точнее, в чем дело, — Макмаон сказал мне об этом перед самым отлетом.

Лирни я знал: это был космогонист, бывший ученик Хаякавы — бывший, так как, по мнению некоторых, он уже перерос своего наставника. Я только не понимал, что общего имеет его специальность с Проектом и откуда он вообще узнал о Проекте.

— На каком свете ты живешь? — возмутился Белоин. — Неужели неясно, что администрация дублирует нашу работу?! Мало им, что они следят за каждым нашим шагом, так еще и это!

Мне не хотелось этому верить. Я спросил, откуда ему об этом известно, да и возможно ли вообще, чтобы существовал какой-то Контрпроект — то есть параллельный контроль наших действий. Белоин, похоже, ничего определенного не знал, а он терпеть не мог признаваться в неведении и взвинтил себя так, что — уже при Дилле и Дональде, которые как раз подошли, — закричал, что при таком положении дел ему остается только подать в отставку!

К таким угрозам он прибегал время от времени, каждый раз сопровождая их громовыми раскатами, — Белоину нужен размах, оперный пафос при его энергии неизбежен; но на сей раз мы дружно принялись его убеждать, он согласился с нашими доводами, приутих и уже собирался уходить, как вдруг вспомнил о моем разговоре с Макмаоном и начал

меня расспрашивать. Я пересказал ему почти все, умолчав лишь о Кассандре; таков был эпилог визита сенатора.

Вскоре выяснилось, что подготовка займет у Дональда больше времени, чем он полагал. Мне тоже было нелегко — теория становилась все запутанней, я прибегал к разным фокусам, «педального» арифмометра мне уже не хватало, приходилось то и дело наведываться в главный вычислительный центр — занятие не слишком приятное, потому что стояла пора ураганных ветров и стоило пройти по улице сотню шагов, как песок набивался в уши, в рот, в нос и даже за воротник.

Оставалось неясным, каким именно образом Лягушачья Икра поглощает энергию ядерного распада и как она избавляется от остатков этих микровзрывов — все это были изотопы (в основном редкоземельные) с жестким гамма-излучением. Мы с Дональдом разработали феноменологическую теорию, которая неплохо согласовывалась с опытными данными; но работала она только «вспять», то есть в пределах уже известного; стоило увеличить масштаб эксперимента, как ее предсказания начинали расходиться с результатами опыта. Осуществить эффект Дональда — он получил название Экстран (*Explosion transfer*\*) — было чрезвычайно легко. Протеро расплющивал комочек Лягушачьей Икры между двумя стеклянными пластинками, и, как только слой становился мономолекулярным, на всей поверхности начиналась реакция распада, а если порции Икры были побольше, установка (старая модель) выходила из строя. Но никто не обращал на это внимания, хотя в лаборатории стоял такой грохот, гремели такие залпы, словно на полигоне, где испытывали взрывчатку. Когда я спросил Дональда, в чем дело, тот, и глазом не моргнув, объяснил, что его сотрудники изучают распространение баллистической волны в Лягушачьей Икре — такую он им придумал тему и оглушительной канонадой успешно маскировал свои каверзы!

А у меня между тем теория расплзлась по всем швам — я видел, что никакой теории, собственно, давно уже нет, только не хотел себе признаваться в этом. Работа шла тем труднее, что у меня к ней не лежала душа. Пророчество, которое я изрек в разговоре с сенатором, заворожило меня самого. Нередко опасения наши остаются как бы бесплот-

---

\* Перенос взрыва (*англ.*).

ной, призрачной тенью, пока не выговоришь их вслух. Со мной получилось именно так. Теперь Лягушачья Икра казалась мне несомненным артефактом, результатом неправильной расшифровки сигнала. Отправители, конечно, не собирались посылать нам ящик Пандоры; но мы, как взломщики, сорвали замки и оттиснули на извлеченной добыче самые корыстные, грабительские приметы земной науки. Да ведь и недаром же, думал я, атомная физика добилась успеха именно там, где появилась возможность завладеть самой разрушительной энергией.

Поэтому ядерная энергетика постоянно плелась в хвосте у военной промышленности, поэтому термоядерных зарядов было в избытке, а термоядерных реакторов — ни одного, и микромир выворачивал перед человеком свое исковерканное таким односторонним подходом нутро, поэтому о сильных воздействиях мы знали гораздо больше, чем о слабых. Я спорил об этом с Дональдом — он мне возражал: уж если кто и несет вину за «односторонность физики» (впрочем, он ее отрицал), то вовсе не мы, а Вселенная, ее безусловно данная нам структура. Ведь гораздо легче уничтожить, чем творить, — в любом достаточно объективном смысле, хотя бы в соответствии с правилом наименьшего действия. Все, что клонится к разрушению, совпадает с главным направлением физических процессов во Вселенной, а любой созидатель вынужден идти против течения.

Я, в свою очередь, сослался на миф о Прометее. Считается, что в нем берут начало достойные уважения и даже почитания тенденции науки; однако прометеевский миф восхваляет не бескорыстное понимание, но насильственное исторжение, не познание, а господство. Таков фундамент любых эмпирических знаний. Дональд заметил, что своими гипотезами я порадовал бы фрейдистов, коль скоро мотивы человеческого познания сведены у меня к агрессии и садизму. Теперь я вижу, что и в самом деле едва не терял рассудок — то есть рассудительность, хладнокровие, предписывающее действовать *sine ira et studio*<sup>\*</sup>, и в своих умозаключениях переносил «вину» с неведомых Отправителей на людей, — неисправимый мизантроп!

В первых числах ноября установка была запущена, но предварительные испытания, проводившиеся в малом мас-

---

\* Без гнева и пристрастия (*лат.*).

штабе, не удавались — взрывы давали большой разброс; в конце концов один из них произошел за пределами экранирующего щита и, несмотря на ничтожную мощность, вызвал скачок радиации до 60 рентген; пришлось установить еще одну, внешнюю, защиту. Такую массивную стену уже нельзя было скрыть. И действительно, Ини, который до тех пор даже не заглядывал к физикам, теперь появился у Дональда несколько раз, и то, что он ни о чем не спрашивал, только сновал по лаборатории да приглядывался, тоже ничего хорошего не сулило. В конце концов Дональд выпроводил его, объяснив, что он мешает сотрудникам работать. Я отчитал его, но он хладнокровно ответил, что дело так или иначе скоро решится, а до той поры он не пустит Ини на порог.

Сейчас, вспоминая все это, я вижу, как неразумно поступали мы оба — больше того, бездумно. Я и теперь не знаю, что же следовало делать; но вся эта наша подпольная деятельность — иначе ее не назовешь — только одним и была хороша: мы сохраняли иллюзию, что руки у нас чисты. Мы очутились в безвыходном положении. Начатые исследования нельзя было ни скрыть, ни внезапно прервать, признав бесцельность сохранения тайны; такая возможность существовала сразу же после открытия Экстрана — но не теперь. Поторопиться с началом работ побудила нас неизбежность скорого — через квартал — появления биофизиков на этом горячем участке, а засекретить исследования заставила нас тревога за судьбы мира, ни больше ни меньше. Выйти из укрытия значило вызвать град недоуменных вопросов: хорошо, но почему вы решили открыться как раз теперь? У вас уже есть окончательные результаты? Нет? Тогда почему вы не пришли с предварительными? Я бы не смог на это ответить.

Протеро питал смутные надежды на то, что в большом масштабе Экстран даст нечто вроде рикошета. Это вытекало из исходной теории, но я уже знал, что сама теория никуда не годится, к тому же она открывала эту лазейку лишь при условии принятия определенных посылок, которые в дальнейшем приводили к отрицательным вероятностям.

Белойна я всячески избегал — перед ним моя совесть была нечиста. Но его удручали иные заботы: мы ждали второго «внепроектного гостя» кроме Лирни; в конце месяца они собирались просветить нас своими докладами. В Вашингтоне, стало быть, признались открыто, что у них есть

«собственные» специалисты по «Гласу Господа», совершенно с нами не связанные, и Белойн оказывался в весьма неприятном положении перед своими сотрудниками. Тем не менее Дилл, Дональд, Раппопорт и я сам считали, что он должен нести свой крест (именно так он теперь выражался) до конца. Впрочем, оба ожидавшихся гостя были первоклассными учеными.

Отныне и речи не было об урезании ассигнований на Проект. Следовало ожидать, что, если непрошенные консультанты не сдвинут исследования с мертвой точки (а в это я верил мало), Проект будет держаться одной лишь силой инерции; из-за пресловутой «особой секретности» никто наверху не решится в нем ничего изменить, а тем более его ликвидировать.

В Совете возникли персональные трения; во-первых, между Белойном и Ини, поскольку тот, по нашему убеждению, не мог не знать о втором Проекте, «Проекте-призраке», однако, при всей своей разговорчивости, даже не заикнулся о нем (а перед Белойном рассыпался в любезностях). Далее, напряженность между нашей «двойкой конспираторов» и опять-таки Белойном — ибо о чем-то он все же догадывался; я видел, как он водит за мной глазами, словно ожидая объяснений, хотя бы намек. Но я изворачивался, как мог, вероятно, не слишком ловко: в таких играх я не был силен. Раппопорт дулся на Раша за то, что даже ему, первооткрывателю, не намекнули ни словом о «Проекте-призраке»; короче, заседания Совета стали просто невыносимыми из-за всеобщего недоверия и взаимных обид. Я корпел над программами, без нужды расходуя время и силы — ведь их составил бы любой программист; однако соображения конспирации перевешивали.

Наконец я завершил расчеты, необходимые Дональду, но установка еще не была готова. Оставшись без дела, я — в первый раз с тех пор, как прибыл сюда, — включил телевизор, но все передачи показались мне до крайности пошлыми и бессмысленными, в том числе новости дня; я отправился в бар, но и там не усидел долго. Так и не найдя себе места, пошел в вычислительный центр и, тщательно запершись, занялся расчетами, которых от меня никто уже не требовал.

Я снова работал с опороченной, так сказать, формулой Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии. Оценил расчетную мощность инверторов и передатчиков взрыва при

дальности, равной диаметру земного шара; возникшие при этом технические трудности увлекли меня, но ненадолго. Удар, нанесенный с помощью эффекта Экстран, исключал всякое упреждение. Просто в некий момент земля под ногами у людей превращалась в раскаленную лаву. Взрыв можно было вызвать и не на поверхности Земли, а под нею — на любой глубине. Не только стальные плиты, но и весь массив Скалистых гор не спас бы штабистов в их подземных убежищах. Не приходилось надеяться даже на то, что генералы — самое ценное, что у нас есть (судя по средствам, вложенным в охрану их здоровья и жизни), — выберутся на сожженную радиацией землю и, сняв ненужные (пока что) мундиры, начнут восстанавливать основы цивилизации. Последний бедняк в трущобах и командующий ядерными силами подвергались равной опасности.

Я поистине демократически уравнивал всех обитателей нашей планеты. Машина грела мне ноги легким теплым дыханием, пробивавшимся сквозь щели металлических жалюзи, и деловито выстукивала на лентах ряды цифр; ей-то было все равно, означают ли эти цифры гигатонны, мегатрупы или количество песчинок на атлантических пляжах. Отчаяние последних недель, перешедшее в постоянный, тупой гнет, вдруг отступило. Я работал живо и с удовольствием. Я не действовал уже вопреки себе, напротив, я делал то, чего от меня ожидали, я был патриотом. Я ставил себя то в положение атакующего, то в положение защищающегося, сохраняя абсолютную беспристрастность.

Но выигрышной стратегии не было. Если фокус взрыва можно перенести из одной точки земного шара в любую другую — значит, можно уничтожить все живое на каком угодно пространстве. С точки зрения энергетики классический ядерный взрыв — чистое расточительство, ведь в его центре происходит «сверхуничтожение». Здания и тела разрушаются в тысячи раз основательнее, чем требуется для военных целей, но на расстоянии какого-нибудь десятка миль от центра можно выжить в довольно простом убежище.

Я продолжал нажимать на клавиши, превращая эту расточительную стратегию в допотопную мумию. Экстран был идеальным средством по своей экономности. Огненные шары классических взрывов он позволял расплющить, раскатать в смертоносную пленку и подстелить ее под ноги людям на всем пространстве Азии или Соединенных Шта-

тов. Тончайший, локализованный в пространстве слой, выделенный из геологической коры континентов, мог моментально превратиться в огненную трясину. На каждого человека приходилось ровно столько высвобожденной энергии, сколько нужно, чтобы превратить его в труп. Но гибнущие штабы еще успели бы отдать приказ подводным лодкам с ядерными ракетами. Умирающий еще мог уничтожить противника. И не приходилось сомневаться, что так он и сделает. Технологическая ловушка захлопнулась.

Я продолжал искать выход, рассуждая с позиций глобальной стратегии, однако все варианты рушились. Я работал умело и быстро, но пальцы дрожали, а когда я наклонился над выползающей из машины лентой, чтобы прочесть результат, сердце бешено колотилось, я чувствовал палящую сухость во рту и колики в животе, словно мне туго-натуго перевязали кишки. Эти симптомы животной паники своего организма я наблюдал с холодной насмешкой — как будто страх сообщался только мышцам да кишкам, а между тем меня сотрясал беззвучный хохот, тот самый, что полвека назад, ничуть не изменившийся и не состарившийся. Ни голода, ни жажды я не ощущал, поглощая и впитывая колонки цифр — почти пять часов кряду. Вводил в машину программы, одну за другой, вырывал из кассет ленты, комкал, совал в карман. И наконец понял, что работаю уже впустую.

Я боялся, что если пойду ужинать в гостиницу, то расхожусь при виде меню или лица кельнера. К себе я тоже не мог возвращаться. Но куда-то надо было идти. Дональд, занятый своей работой, был — во всяком случае, пока — в лучшем положении. На улицу я вышел, как в чаду. Смеркалось; искрящиеся очертания поселка, залитого ртутным сиянием фонарей, врезались в темноту пустыни, и только в менее освещенных местах можно было разглядеть звезды. Изменой больше, изменой меньше — не все ли равно? И я пошел к Раппопорту, нарушив данное Дональду слово. Он был дома. Я положил перед ним смятые ленты и вкратце рассказал все. Он оказался на высоте — задал лишь три-четыре вопроса, из которых было видно, что ему совершенно ясны масштабы открытия и его последствия. Наша конспирация ничуть не удивила его. Для него это просто не имело значения.

Не помню, что он сказал, просмотрев ленты, но из его слов я понял, что он чуть ли не с самого начала ожидал чего-



то подобного. Страх неотступно ходил за ним, и теперь, когда предчувствия эти сбылись, он даже испытал облегчение — то ли от сознания своей правоты, то ли от сознания неизбежности конца. Видно, я был потрясен сильнее, чем полагал, потому что Раппопорт прежде всего занялся мною, а не гибелью человечества. Со времени скитаний по Европе у него сохранилась привычка, которая мне казалась смешной. Он следовал принципу *omnia mea mecum porto*<sup>\*</sup>, словно безотчетно готовился в любую минуту снова стать беженцем. Именно этим я объясняю, почему он хранил в чемоданах «неприкосновенный запас» — вплоть до кофеварки, сахара и сухарей. Нашлась там и бутылка коньяку — она тоже была очень кстати. Началось то, что тогда не имело названия, а потом вспоминалось нами как поминки, вернее, их англосаксонская версия, «wake» — ритуальное бдение у тела покойного. Правда, наш покойник был еще жив и не подозревал о своем отпевании.

Мы пили кофе и коньяк, окруженные такой тишиной, словно мир был абсолютно безлюден и уже совершилось то, чему лишь предстояло свершиться. Понимая друг друга с полуслова, обмениваясь обрывками фраз, мы прежде всего набросали ход предстоящих событий. У нас не было разногласий из-за сценария. Все средства будут брошены на создание установок Экстрана. Такие люди, как мы, отныне не увидят дневного света.

За свою скорую гибель штабисты прежде всего отомстят нам, хотя и ненамеренно. Они не падут ниц и не поднимут лапки вверх: уяснив невозможность рациональных действий, они примутся за иррациональные. Коль скоро ни горные хребты, ни километровой толщины сталь не спасут от удара, спасение они увидят в секретности. Начнется размножение, рассредоточение и самопогребение штабов, причем главный штаб перейдет, наверное, на борт какой-нибудь гигантской атомной подводной лодки либо специально построенного батискафа, чтобы следить за ходом событий, укрывшись на дне океана.

Окончательно лопнет скорлупа демократических учреждений, мякоть которых источила глобальная стратегия шестидесятых годов. Не будет ни желания, ни времени на то, чтобы цацкаться с ними, словно со способными, но капризными детьми, которых легко задеть и обидеть.

---

\* Все свое ношу с собою (*лат.*).

Следуя афоризму Паскаля о мыслящем тростнике, который стремится познать механизм собственной гибели, мы набросали примерные контуры своей и чужой судьбы. Затем Раппопорт рассказал мне о попытке, предпринятой им весной. Он представил генералу Истерленду, нашему тогдашнему шефу, проект соглашения с русскими. Раппопорт предлагал, чтобы мы и они выделили одинаковые по характеру и численности группы специалистов для совместной расшифровки Послания. Истерленд снисходительно объяснил ему, какая это была бы наивность: русские, выделив какую-то группу для отвлечения, тем временем втайне трудились бы над Посланием.

Мы взглянули друг на друга и рассмеялись — потому что подумали об одном и том же. Истерленд просто рассказал ему то, о чем мы узнали только теперь. Уже тогда Пентагон запустил «параллельный Проект». «Отвлекающей» группой были мы сами, не зная того, а у генералов имелась другая — как видно, облеченная большим доверием.

Мы стали обсуждать склад психики наших стратегов. Они никогда не принимали всерьез людей, твердивших, что главное — уберечь от гибели человеческий род. Пресловутое *ceterum censeo speciem preservandam esse\** было для них дежурным лозунгом, словами, которые положено произносить, а не обстоятельством, которое необходимо учесть в стратегических расчетах. Мы выпили достаточно коньяку, чтобы потешить себя картиной того, как генералы, поджариваясь живьем, отдают последние приказы в оглохшие микрофоны — ведь морское дно, как и любой уголок планеты, уже не будет убежищем. Мы нашли одно-единственное безопасное место для Пентагона и его сотрудников — под дном Москвы-реки, но как-то не верилось, что наши «ястребы» сумеют туда добраться.

После полуночи мы перешли к предметам более увлекательным. Мы заговорили о «Тайне Вида». Я пишу здесь об этом, ибо диалог-реквием, который посвятили Человеку Разумному два представителя того же вида, одурманенные кофсином и алкоголем и уверенные в своем скором конце, кажется мне знаменательным.

Я был уверен, что Отправители отлично информированы о состоянии дел во всей Галактике. Наше поражение объяс-

---

\* Кроме того, считаю, что род должен быть сохранен (лат.).

няется тем, что они не учли специфику земной ситуации, — не учли потому, что в Галактике она составляет редчайшее исключение.

— Это манихейские идейки, по доллару за дюжину, — заявил Раппопорт.

Но я как раз не считал, что конец света станет следствием какой-то особой «злобности» человека. Дело обстоит так: каждое планетное сообщество переходит от состояния разобщенности к глобальному единству. Из орд, родов, племен образуются народы, государства, державы — вплоть до объединения всего вида. Этот процесс почти никогда не приводит к появлению двух, равных друг другу по силам соперников накануне окончательного объединения. Куда чаще, должно быть, мощному Большинству противостоит слабое Меньшинство. Такой исход гораздо более вероятен, хотя бы ввиду чисто термодинамических соображений; это можно доказать путем вероятностных расчетов. Идеальное равновесие сил, их абсолютное равенство, настолько маловероятно, что практически невозможно. Породить его может лишь крайне редкое стечение обстоятельств. Объединение общества — это один ряд процессов, а накопление технических знаний — другой ряд.

Объединение в масштабах планеты может не состояться, если будет преждевременно открыта ядерная энергия. Обладая ядерным оружием, «слабая» сторона уравнивается с «сильной» — каждая из них может уничтожить весь свой вид. Конечно, объединение общества всегда происходит на базе науки и техники, но возможно, что, по общему правилу, открытие ядерной энергии приходится на период, когда планета уже едина, и тогда оно не имеет пагубных последствий. «Самоедская» потенция вида (то есть вероятность совершения им невольного самоубийства), безусловно, зависит от количества элементарных сообществ, располагающих «абсолютным оружием».

Если на какой-то планете имеется тысяча конфликтующих государств и у каждого — по тысяче ядерных боеголовок, вероятность перерастания локального конфликта в планетный апокалипсис во много раз выше, чем там, где антагонистов лишь несколько. Следовательно, судьба планетных цивилизаций в Галактике решается соотношением двух календарей — календаря научных открытий и успехов в объединении локальных сообществ. По-видимому, нам, на

Земле, не повезло: мы слишком рано перешли от доатомной цивилизации к атомной, и именно это привело к замораживанию статус-кво — пока мы не обнаружили нейтринный сигнал. Для объединенной планеты расшифровка Послания стала бы шагом к вступлению в «клуб космических цивилизаций». Но для нас это звонок, извещающий, что пора опустить занавес.

— Быть может, — сказал я, — если бы Галилей и Ньютон умерли от коклюша в детстве, физика чуть-чуть запоздала бы и расщепление атома произошло бы в двадцать первом веке. Этот несостоявшийся коклюш мог нас спасти.

Раппопорт обвинил меня в вульгаризации: физика развивается эргодически и смерть одного или двух людей не изменит хода ее развития.

— Ну хорошо, — сказал я. — Для нас могло бы оказаться спасительным, если бы на Западе вместо христианства возобладала другая религия или — за миллионы лет до того — по-иному сформировалась сексуальная сфера человека.

Вызванный на спор, я принялся обосновывать эту мысль. Физика, царица эмпирических знаний, не случайно возникла на Западе. Благодаря христианству культура Запады есть культура Греха. Грехопадение — а его сексуальный смысл очевиден! — вовлекает всего человека в борьбу со своей греховностью; отсюда — различные способы сублимации влечений, а важнейший из них — познавательная активность.

В этом смысле христианство поощряло опытные исследования — разумеется, неосознанно: оно открыло им поле деятельности, позволило им развиваться. Напротив, в восточных культурах центральное место занимала категория Стыда: неподобающие поступки не считаются «грешными» в христианском смысле слова, а разве что позорными, особенно в смысле внешних форм поведения. Категория Стыда как бы перебрасывает человека «вовне» духа, в область ритуала и церемониала. Для эмпирии места не остается, ее возможность исчезает вместе с обесцениванием материальной деятельности; «ритуализация» влечений заменяет их сублимацию; распутство не связывается с «грехопадением», обособляется от личности и даже получает узаконенный выход в особом репертуаре форм поведения. Здесь нет ни Греха, ни Благодати — есть только Стыд и способы поведения, позволяющие его избегать. Нет места и углубленному

самоанализу: представления о том, «что предписано», «что положено», заменяют Совесть, а лучшие умы целью своих стремлений ставят «отрешение от чувств». Хороший христианин вполне может быть хорошим физиком, но для хорошего буддиста или конфуцианца было бы затруднительно заниматься тем, что лишено какой-либо ценности в свете его вероучения. В результате «интеллектуальные сливки» общества проявляют себя в медитации и мистических упражнениях наподобие йоги, а культура действует по принципу центрифуги: отбрасывает одаренных людей от тех точек социального пространства, где может быть положено начало эмпирическим знаниям, «закупоривает» их умы, объявляя занятия, имеющие практическое значение, чем-то «низким» и «недостойным». Не избежало этого и христианство, однако потенциал христианского эгалитаризма не исчезал никогда, и из него-то — косвенно — родилась физика со всеми ее последствиями.

— Выходит, физика — что-то вроде аскезы?

— Погодите, это не так просто. Христианство было «мутацией» иудаизма — религии замкнутой, религии избранных. Иудаизм — если смотреть на него как на изобретение — был чем-то вроде Евклидовой геометрии; достаточно задуматься над его исходными аксиомами, чтобы, расширив область их значимости, прийти к доктрине более универсальной, которая «избранными» считает всех людей вообще.

— Христианство, по-вашему, аналог более универсальной геометрии?

— В известном смысле — да, в чисто формальном плане, конечно; речь идет о перемене знаков в рамках все той же системы значений и ценностей. Это привело, между прочим, к признанию правомочности теологии Разума, реабилитировавшей все потенции человека: человек создан разумным, стало быть, вправе пользоваться Разумом; отсюда — после серии скрещиваний и преобразований — возникла физика. Я, разумеется, предельно упрощаю.

Христианство — это «мутация», генерализирующая иудаизм, приспособление системы вероучения к любым возможным человеческим существам. Эта возможность исходно содержалась в иудаизме. Такую операцию нельзя проделать с буддизмом или брахманизмом, не говоря уже об учении Конфуция. Итак, все решилось тогда, когда возник иудаизм, — несколько тысячелетий назад. Но еще раньше име-

лась и другая возможность. Главной земной, посюсторонней проблемой, с которой имеет дело любая религия, является секс. Можно его почитать, то есть сделать положительным центром вероучения, или отсечь его, обособить, как нечто безразличное, или провозгласить Врагом. Последнее решение наиболее бескомпромиссно; оно-то и было избрано христианством.

Будь секс феноменом, биологически маловажным или периодическим, фазовым, как у некоторых млекопитающих, он не занял бы в культуре видного места. Но вышло иначе, и решилось это примерно полтора миллиона лет назад. Отныне секс стал *punctum saliens*\* едва ли не каждой культуры, его нельзя было попросту не замечать — следовало непременно его «окультурить». Достоинство человека Запада всегда было задето тем, что *inter faeces et uirina nascimur*\*\* отсюда, собственно, в Книге Бытия и появился Первородный Грех — на правах Тайны. Так уж случилось. Возобладай в свое время иная цикличность сексуальной жизни — или иной тип религии, — и мы могли бы пойти по иному пути.

— По пути культурной стагнации?

— Нет, просто по пути замедленного развития физики.

Раппопорт немедленно обвинил меня в «бессознательном фрейдизме». Дескать, будучи воспитан в пуританской семье, я просцирую вовне, в мироздание, собственные предубеждения. Я так и не освободился от привычки рассматривать все на свете в категориях Грехопадения и Спасения. Считаю землян бесповоротно впавшими в грех, я уповаю на Спасение из Галактики. Мое проклятие низвергает людей в преисподнюю, однако не касается Отправителей — они остаются безупречно благими и праведными. Но именно в этом моя ошибка. Сперва нужно ввести понятие «порога солидарности». Всякое мышление движется в направлении все более универсальных понятий, и это совершенно оправданно, поскольку санкционируется Мирозданием: тот, кто правильно пользуется возможно более общими категориями, овладевает явлениями во все большем масштабе.

Эволюционное сознание, то есть осознание того, что разум возникает в процессе гомеостатического роста — вопреки энтропии, — побуждает нас признать свою солидар-

---

\* Тренещущая точка (*лат.*).

\*\* Между калом и мочой рождается (*лат.*).

ность с древом эволюции, которое нас породило. Но распространить эту солидарность на все древо эволюции нельзя: «высшее» существо неизбежно питается «низшими». Где-то нужно провести границу солидарности. На Земле никто не проводил ее ниже той развилки, где растения отделяются от животных. Впрочем, на практике невозможно распространять солидарность, скажем, на насекомых. Знай мы наверняка, что установление связи с космосом требует — по каким-то причинам — истребления земных муравьев, мы, вероятно, сочли бы, что муравьями стоит пожертвовать. Но разве нельзя допустить, что мы, на нашем уровне развития, являемся для Кого-то — муравьями? Граница солидарности — с точки зрения тех существ — не обязательно включает таких инопланетных букашек, как мы. А может, для этого у них имеются свои резоны. Может быть, им известно, что галактическая статистика заведомо обрекает земной тип разумных существ на немилость техноэволюции; и еще одна угроза нашему существованию мало что меняет — из нас все равно «ничего не получится».

Я изложил здесь содержание наших ночных бдений накануне эксперимента, но, конечно, не хронологическую запись беседы — настолько точно я ее не запомнил; так что не знаю, когда именно Раппопорт поделился со мной одним из своих европейских переживаний — я уже говорил о нем раньше. Должно быть, это случилось тогда, когда мы закончили с вопросом о генералах и еще не начали искать первопричины надвигающегося эпилога. Теперь же я ответил ему примерно так:

— Доктор, вы еще более неисправимы, чем я. Вы сделали из Отправителей «высшую расу», которая солидаризируется только с «высшими формами» жизни в Галактике. Тогда зачем они поощряют биогенез? Зачем засеивать планеты жизнью, если можно их захватывать и колонизировать? Просто мы оба не в силах вырваться из круга привычных нам понятий. Может быть, вы и правы — я потому ищу причины нашего поражения в нас самих, что так меня воспитали с детства. Только вместо «вины человека» я вижу стохастический процесс, который завел нас в безнадежный тупик. Вы же, беглец из страны расстрелянных, слишком сильно ощущаете свою безвинность перед лицом катастрофы и ищите ее источник не в нас, а в Отправителях. Дескать, не мы тому виной — так решили Другие. Безнадежна любая попытка

выйти за пределы нашего опыта. Нам нужно время, а его у нас больше не будет.

Я всегда повторял: если бы у наших политиков хватило ума попытаться вытащить из этой ямы все человечество, а не только своих, мы бы, глядишь, и выбрались. Но только на опыты с новым оружием всегда находятся средства в федеральном бюджете. Когда я говорил, что нужна «аварийная программа» социоэволюционных исследований, а для этого — специальные моделирующие машины, и средств на это понадобится не меньше, чем на создание ракет и антиракет, мне в ответ только усмехались и пожимали плечами. Никто не принимал моих разговоров всерьез, и все, что у меня осталось, — это горькое удовлетворение от сознания своей правоты. Прежде всего следовало изучить человека, вот что было главной задачей. Мы не сделали этого; мы знаем о человеке недостаточно; пора наконец в этом признаться. *Ignoramus et ignorabimus\** — потому что времени уже не осталось.

Честный Раппопорт не стал отвечать. Он проводил меня, порядком пьяного, в мою комнату. На прощанье сказал: «Не расстраивайтесь попусту, мистер Хогарт. Без вас все обернулось бы так же скверно».

#### XIV

Дональд отвел на эксперименты неделю — по четыре опыта в день. Больше не позволяла наспех собранная аппаратура. После каждого опыта она выходила из строя, и приходилось ее восстанавливать. Дело двигалось медленно, ведь работали мы в защитных комбинезонах — из-за радиоактивного заражения материала. Начали мы сразу же после «проводов покойника»; вернее — начал Дональд, а я при этом только присутствовал. Мы уже знали, что сотрудники Контрпроекта (он же «Проект-невидимка») придут через восемь дней. Дональд собирался начать с утра — чтобы его сотрудники отвлекающей канонадой заглушили грохот наших собственных взрывов; но все оказалось готово еще вечером (когда я в вычислительном центре перебирал бесчисленные варианты глобальной катастрофы), и Дональд не дотерпел до утра.

---

\* Не знаем и не узнаем (*лат.*).



Да и было уже все равно, когда именно Ини — а за ним и наши высокопоставленные опекуны — обо всем узнают. Забывшись после ухода Раппопорта в тяжелом сне, я несколько раз просыпался и вскакивал от гроыхания взрывов, — но оно мне только чудилось. Бетонные стены были рассчитаны и не на такие удары. В четыре утра, чувствуя себя, как евангельский Лазарь, я выволок свои ноющие кости из постели — в комнате я уже оставаться не мог, — махнул рукой на конспирацию и решил идти в лабораторию. Уговора у нас никакого не было, но просто не верилось, что Протеро, имея все наготове, спокойно отправится спать. Я не ошибся: его выдержка тоже имела границы.

Я сполоснул лицо холодной водой и вышел; проходя в конце коридора мимо дверей Ини, заметил свет и невольно замедлил шаг; потом, поняв, насколько это бессмысленно, с кривой усмешкой, которая растянула мое словно бы жестко выдубленное, совершенно чужое лицо, сбежал вниз по лестнице, не вызывая лифт.

Ни разу еще я не выходил из гостиницы так рано; свет в нижнем холле не горел, я натыкался на расставленные повсюду кресла; было полнолуние, но бетонная колода перед входом заслоняла свет. Улица выглядела жутковато, — а может, это мне только казалось. На здании администрации пылали рубиновые предупреждающие огни для самолетов, да кое-где на перекрестках светились фонари. Здание физического отдела казалось вымершим; я пробежал по темным, хорошо знакомым мне коридорам, через приоткрытую дверь проник в главный зал — и понял, что все уже кончилось: багровые предостерегающие надписи не светились. Кругом царил полумрак; зал с огромным кольцом инвертора походил на машинное отделение завода или судна; на пультах еще перемигивались огоньки индикаторов, но у камеры не было никого. Я знал, где искать Дональда, и по узкому проходу между обмотками многотонных электромагнитов пробрался в маленькое внутреннее помещение — комнатушку, в которой Протеро хранил все протоколы, пленки, записи. Тут действительно горел свет. Протеро вскочил, увидев меня. С ним был Макхилл. Без всяких вступлений Дональд протянул мне исчерпанные листки.

Я не сумел разобрать отлично известные мне символы и тут только понял, в каком состоянии нахожусь. Тупо таращился на столбцы цифр, пытаясь сосредоточиться. Наконец

результаты всех четырех опытов дошли до меня, и ноги подомной подогнулись.

У стены стоял табурет, я присел на него и еще раз, медленнее и внимательнее, просмотрел результаты. Вдруг бумага стала темнеть, что-то застлало глаза. Приступ слабости длился секунды. Я справился с ним и теперь был в холодном, липком поту. Дональд наконец заметил, что со мной творится что-то неладное, но я поспешил его успокоить.

Он хотел забрать записи, но я не отдал. Они еще были нужны мне. Чем больше энергия, тем меньше точность локализации взрыва. Четырех опытов, конечно, маловато для статистической обработки, но эта зависимость бросалась в глаза. По-видимому, при зарядах больше микротонны (мы уже запросто оперировали единицами ядерной баллистики) разброс достигал половины расстояния между точкой детонации и намеченной целью. Хватило бы трех-четырех опытов, чтобы уточнить результат, доказать военную непригодность Экстрана. Но я уже в этом не сомневался: я до мелочей припомнил все предыдущие результаты, свою отчаянную борьбу с формулами исходной теории, и передо мной маячило невероятно простое соотношение, дающее решение проблемы в целом. Это был принцип неопределенности, примененный к эффекту Экстран: чем больше энергия, тем меньше точность фокусировки; чем меньше энергия, тем точнее фокусировался эффект. При расстояниях порядка километра точность фокусировки достигала квадратного метра, — но только если взорвать лишь несколько атомов; итак, никакой разрушительной силы, никакой мощности поражения — ничего.

Подняв глаза, я понял, что Дональд все уже знает. Нам хватило нескольких слов. Оставалось еще одно затруднение: опыты с увеличенной на порядок энергией (чтобы окончательно поставить крест на Экстране) были опасны — из-за неопределенности места высвобождения энергии. Нужен был полигон — скажем, в пустыне... и дистанционная аппаратура. Дональд и об этом уже подумал. Мы говорили, сидя под голой запыленной лампочкой. Макхилл так и не проронил ни слова. Мне показалось, что он больше разочарован, чем потрясен, — но, возможно, я обижаю его таким суждением.

Мы еще раз, очень тщательно все обсудили; думалось мне удивительно хорошо, и я с ходу набросал примерный вид

зависимости, экстраполировал ее на более мощные заряды — порядка килотонны, а потом, обратным манером, на наши предыдущие результаты. Цифры совпали до третьего знака. Наконец Дональд взглянул на часы. Было почти пять. Он разомкнул главный рубильник, отключив все агрегаты, и мы вместе вышли на улицу. Уже рассвело. Воздух был холоден, как хрусталь. Макхилл ушел; мы еще постояли перед входом в гостиницу — в нереальной тишине и такой мертвенной пустоте, словно никого, кроме нас, не осталось на свете; подумав об этом, я вздрогнул, — но лишь мысленно, повинувшись произвольному движению памяти. Мне хотелось сказать Дональду что-то, что подвело бы окончательную черту, выразило бы мое облегчение... радость... но тут я заметил, что ни облегчения, ни радости не испытываю. Я был опустошен, ужасающе обессилен и так равнодушен, словно ничего уже не должно было, не могло произойти. Не знаю, чувствовал ли он то же самое. Мы пожали друг другу руки — хотя обычно не делали этого — и разошлись. Если клинок соскальзывает по скрытой от глаза кольчуге, здесь нет заслуги того, кто нанес безуспешный удар.

## XV

Историю эффекта Экстран мы решили доложить на Научном Совете только через три дня — чтобы успеть систематизировать результаты, подготовить более детальные протоколы наблюдений и увеличить некоторые снимки. Но уже на другой день я пошел к Белойну. Он принял новость удивительно спокойно; я недооценил его выдержку. Больше всего он был задет тем, что мы до конца хранили от него нашу тайну. Я много распространялся на эту тему, словно поменявшись с ним ролями — ведь когда-то именно Айвор силился мне объяснить, почему меня пригласили последним. Но теперь речь шла о деле, несравненно более важном.

Я попытался подсластить пилюлю всевозможными доводами; Белойн на все отзывался ворчанием. Он еще долго был сердит на меня — что и неудивительно, — хотя под конец как будто согласился с нашими доводами. Тем временем Дональд таким же неофициальным образом предупредил Дилла; и единственным, кто обо всем узнал лишь на Совете, был Вильгельм Ини. Хоть я его терпеть не мог, но невольно

восхищался — он и глазом не моргнул во время сообщения Дональда. Я наблюдал за ним неотрывно. Этот человек был прирожденным политиком. Только, пожалуй, не дипломатом — дипломат не должен быть слишком злопамятным, а Ини почти резко через год после того заседания, когда с Проектом было покончено, передал в печать (через одного журналиста) целую кучу сведений, и в первую очередь о нашей с Дональдом затее, — в соответствующем свете и с соответствующими комментариями. Если б не он, эта история вряд ли приобрела бы такой сенсационный характер и высокопоставленным особам, включая Раша и Макмаона, не пришлось бы брать под защиту меня и Дональда.

Читатель мог убедиться, что если мы были в чем виноваты, то лишь в непоследовательности, ведь наша секретная работа так или иначе должна была пройти через официальные жернова Проекта. Но дело изобразили как самоуправство, имевшее гнусную цель повредить Проекту, — мы-де не обратились сразу к компетентным специалистам (то бишь к ядерным баллистикам Армии), а работали на кустарный манер, в малом масштабе, предоставляя «другой стороне» возможность обогнать нас — и застать врасплох.

Я забежал вперед, чтобы показать, что Ини был вовсе не так безобиден, как выглядел. Во время того заседания он бросил лишь несколько взглядов из-под очков в сторону Белойна, которого, безусловно, подозревал в причастности к заговору. Хотя мы и старались сформулировать предварительное сообщение так, будто секретность работы диктовалась требованиями методики и неуверенностью в успехе (под «успехом», понятно, подразумевалось то, чего мы больше всего боялись), все эти оправдания ничуть не обманули Ини.

Затем завязалась дискуссия; Дилл довольно неожиданно заявил, что Экстран мог принести человечеству не гибель, а мир. Нынешняя доктрина «своевременного оповещения» предполагает временной интервал между запуском межконтинентальных ракет и их появлением на экране радаров. Глобальное оружие, разящее со скоростью света, исключало «своевременное оповещение» и ставило обе стороны в положение людей, которые приставили друг другу револьверы к виску. Это могло бы привести к всеобщему разоружению. Но такая шоковая терапия с равным успехом могла бы закончиться и совершенно иначе, заметил Дональд.

Между тем Белойн чувствовал, насколько Ини не доверяет ему, и начался окончательный распад Совета — ни залатать, ни склеить его уже не удалось. Ини перестал делать вид, будто он всего лишь нейтральный посол или наблюдатель от Пентагона; проявлялось это по-разному, но всегда неприятным для нас образом. Так, нашествие армейских специалистов-ядерщиков и баллистиков, начавшееся ровно сутки спустя и походившее на оккупацию вражеской территории (вертолеты налетели, как саранча), было в полном разгаре, когда Ини наконец удосужился известить об этом Белойна по телефону. Приезд обещанных сотрудников Контрпроекта отсрочили. Я был абсолютно уверен, что армейские ядерщики, которых я учеными ни в коем смысле не считал, лишь подтвердят наши результаты на опытах в масштабе полигона, но бесцеремонность, с которой у нас изъяли все данные, забрали аппаратуру, ленты, протоколы, развеяла остатки моих иллюзий, если я их вообще питал.

Дональд, которого едва пускали в собственную лабораторию, относился к этому философски и даже объяснял мне, что иначе и быть не может; в лучшем случае были бы соблюдены внешние приличия, а это ничего не меняет — все происходящее логически вытекает из положения дел в мире... и так далее. Может, он был и прав; но человека, который явился ко мне поутру (я еще лежал в постели) и потребовал все мои расчеты, я все-таки спросил, есть ли у него ордер на обыск и намерен ли он меня арестовать. Это несколько умерило его прыть, и я хоть смог почистить зубы, побриться и одеться, пока он ожидал в коридоре. Мною руководило, конечно, ощущение полнейшего бессилия. Я только твердил себе, что должен бы радоваться — а ну как пришлось бы отдавать расчеты, предсказывающие *finis terrarum*?\*

Мы ползали по поселку как мухи, а тем временем Армия все сыпала и сыпала с неба свои, казалось, нескончаемые отряды и снаряжение. Эту операцию наверняка не импровизировали в последний момент, а готовили заранее, хотя бы в общих чертах, — они ведь не знали, что именно выскочит из Проекта. Им потребовалось всего три недели, чтобы приступить к серии микротонных взрывов; меня несколько не удивило, что мы и о результатах узнавали лишь от младшего

---

\* Конец Земли (*лат.*).

технического персонала, который соприкасался с нашими людьми. Впрочем, когда ветер дул в сторону поселка, взрывы мог слышать практически каждый. Из-за их ничтожной с военной точки зрения мощности радиоактивных осадков почти не было. Не приняли даже особых мер предосторожности. К нам уже никто не обращался; нас просто не замечали, будто нас и не было вовсе. Раппопорт объяснял это тем, что мы с Дональдом нарушили правила игры. Возможно. Ини пропадал целыми днями, курсируя со сверхзвуковой скоростью между Вашингтоном, поселком и полигоном.

В первых числах декабря, когда начались бури, установку в пустыне разобрали и упаковали; четырнадцатитонные вертолеты-краны, вертолеты пассажирские и всякие прочие в один прекрасный день поднялись в воздух, и Армия исчезла так же внезапно и слаженно, как появилась, забрав с собой нескольких технических сотрудников — они облучились во время последнего испытания, когда был взорван снаряд, эквивалентный, как утверждали, одной килотонне тротила.

И сразу же, словно с нас сняли заклятье, как в сказке о спящей принцессе, мы живо засуетились; в скором времени произошло множество событий. Белойн подал в отставку, мы с Протеро потребовали увольнения из Проекта, Раппопорт — очень неохотно, по-моему, и только из чувства товарищества — сделал то же самое; один только Дилл отказался от всяких демаршей, а нам советовал расхаживать с плакатами и выкрикивать лозунги — наше поведение он считал несерьезным. В известной мере он был прав.

Нашу мятежную четверку немедленно вызвали в Вашингтон; с нами беседовали поодиночке и чохом; кроме Раша, Макмаона и нашего генерала (с которым я только теперь познакомился), тут были советники президента по вопросам науки; и оказалось, что наше участие в Проекте абсолютно необходимо. Белойн, этот политик и дипломат, во время одной из таких встреч заявил, что раз Ини пользовался полным доверием, а он лишь четвертью, то пусть теперь Ини и вербует подходящих людей и сам руководит Проектом. Нам все это прощали — как избалованным, капризным, но любимым детишкам. Не знаю, как остальные, а я уже был сыт Проектом по горло.

Однажды вечером ко мне в номер пришел Белойн, который в тот день неофициально, с глазу на глаз, встретился с

Рашем; он объяснил мне причины, кривящиеся за этими настойчивыми уговорами. Советники пришли к выводу, что Экстран — лишь случайная осечка в начавшейся серии открытий и даже прямое указание на перспективность дальнейших исследований, которые становятся теперь проблемой государственной важности, вопросом жизни и смерти. Надежды эти были, скорее всего, бессмысленны, но, пораздумав, я пришел к выводу, что мы все-таки можем вернуться, если администрация примет наши условия (которые мы тут же начали разрабатывать). Я понял: если работа будет продолжена без меня, я уже не смогу со спокойной душой вернуться к своей чистой, незапятнанной математике. Моя вера в полную безопасность Послания была только верой, а не абсолютно надежным знанием. Впрочем, Белойну я объяснил это короче: будем следовать афоризму Паскаля о мыслящем тростнике. Если мы не можем противодействовать, то будем хотя бы знать.

Посоветовавшись вчетвером, мы докопались и до того, почему Проект не был отдан Армии. Для своих целей военные воспитали — под столом — особую породу ученых. Эти дрессированные специалисты решают элементарные задачи и способны к ограниченной самостоятельности; свое дело они делали превосходно — но только от сих до сих. А космические цивилизации, мотивы их действий, жизнестворность сигнала, связь между тем и другим — все это было для них черной магией. «Как и для нас, положим», — с обычным ехидством заметил Раппопорт. В конце концов мы согласились; доктор юриспруденции Вильгельм Ини исчез из Проекта (это было одно из наших условий), но на смену ему тотчас явилась другая личность в штатском, мистер Хью Фэнтон. Иными словами, мы поменяли шило на мыло. Бюджет увеличили, сотрудников Контрпроекта (мы с грозным негодованием напомнили о нем нашим несколько смутившимся попечителям) включили в наши коллективы, а сам Контрпроект как будто перестал существовать, — хотя по официальной версии он вроде никогда и не существовал. Накричавшись, насосоветавшись, поставив условия, подлежащие скрупулезному соблюдению, мы вернулись «к себе», в пустыню — и началась, уже в новом году, очередная, последняя глава «Гласа Господа».

Итак, все шло по-старому, только на заседаниях Совета появилось новое лицо, Хью Фэнтон; мы прозвали его человек-невидимка, до того он был неприметен. Не то чтобы он был очень мал, но как-то умел держаться в тени.

Зима означала частые бури — правда, песчаные, — но не дожди, которые выпадали крайне редко. Мы без труда включились в прежний ритм работы — или, пожалуй, привычного существования; я снова заходил к Раппопорту поговорить; снова встречал у него Дилла. Мне стало казаться, что Проект — это, собственно говоря, и есть жизнь, что одно кончится вместе с другим.

Единственной новинкой были еженедельные совещания — рабочие, совершенно неофициальные по тону; на них обсуждались всякие темы — скажем, перспективы автоэволюции (то есть управляемой эволюции) разумных существ.

Что это сулило? Казалось бы — подход к определению анатомии, физиологии, а отсюда и цивилизации Отправителей. Но в любом обществе, достигшем сходного с нами уровня развития, появляются две противоположные тенденции, отдаленные последствия которых предвидеть нельзя. С одной стороны, достаточно развитая технология оказывает давление на унаследованную от прошлого культуру, заставляя людей приспосабливаться к потребностям их технического окружения. Машина вступает в интеллектуальное соперничество с человеком, а затем — и в симбиоз с ним, а инженерная психология и физиоанатомия выявляют «слабые звенья», неудачные параметры человеческого организма; отсюда — прямой путь к «улучшению» этих параметров. Начинают подумывать о киборгах (людях, у которых какие-то органы заменены искусственными) — для исследований в космосе и освоения планет; а потом — и о прямом подключении мозга к машинной памяти, о сращивании человека с машиной — механическом и интеллектуальном.

Все это грозит разрушением биологической однородности человека. Не только единая, общечеловеческая культура, но и единый, универсальный телесный облик человека может стать реликтом мертвого прошлого. Общество превращается в мыслящую разновидность муравейника.

Однако и сфера технических процессов может оказаться на побгсушках у культуры (вернее — обычаев и нравов



эпохи). Скажем, мода расширит свои владения благодаря биотехническим методам. До сих пор вмешательство косметологов не шло глубже человеческой кожи, а если порою и кажется, будто влияние моды заходило гораздо дальше, это всего лишь иллюзия: просто у каждой эпохи свой идеал красоты. Сравним хотя бы рубенсовских красавиц с нынешними. Тот, кто наблюдал бы земные обычаи со стороны, мог бы решить, что у женщин (которые охотнее подчиняются требованиям моды) со сменой сезонов расширяются бедра и плечи, увеличивается или уменьшается грудь, ноги полнеют или вытягиваются и так далее. Но сезонные «приливы» и «отливы» телесных форм иллюзорны; из всего многообразия физических типов отбираются именно те, которые в моде сегодня. Биотехнические методы позволят изменить положение. Благодаря генетическому контролю спектр видového разнообразия можно смещать произвольно.

Генетический отбор по анатомическим признакам кажется вполне безопасным для культуры, в остальном же — весьма привлекательным; почему бы не сделать нормой физическую красоту? Но это лишь начало пути, снабженного указателем с надписью: «Разум на службе влечений». Уже и сейчас материализованные творения разума в своем большинстве потворствуют бездумному сибаритству. Мудро устроенный телевизор тиражирует всякую чушь; чудесные средства передвижения позволяют недоумкам под видом туризма наклониться не в своей родной забегаловке, а рядом с собором святого Петра. И вторжение техники в человеческие тела наверняка свелось бы к тому, чтобы до предела расширить гамму чувственных наслаждений и кроме секса, наркотиков, кулинарных изысков испробовать новые, еще неизведанные разновидности чувственных возбудителей и переживаний.

Коль скоро у нас есть «центр наслаждения», что нам мешает подключить к нему синтетические органы ощущений, позволяющие испытывать мистические и немистические оргазмы или «многопредельный экстаз»? Такая автоэволюция ведет к необратимому замыканию человека внутри культуры, делает его пленником жизненных привычек, отрезает от мира за пределами планеты — и кажется самой приятной формой духовного самоубийства.

Наука и техника, конечно, способны исполнить все требования и первого, и второго пути развития. То, что оба

пути, каждый на свой лад, кажутся нам жутковатыми, ничего еще не предрешает.

И в самом деле: неприятие таких перемен обосновать невозможно. Требование «не слишком себе потакать» допускает рациональное обоснование лишь до тех пор, пока, потакая себе, ты причиняешь ущерб другому (либо собственному духу и телу, как в случае наркомании). Это требование может диктоваться просто необходимостью, и тогда надлежит безоговорочно ему подчиниться; но развитие технологии на то и направлено, чтобы одну за другой устранять любые необходимости — то есть ограничения человеческих действий. Люди, утверждающие, что какие-то необходимости, какие-то ограничения свободы будут сковывать нас всегда, по существу, исповедуют наивную веру в то, что Мироздание специально «устроено» с мыслью о «непреложных повинностях» разумного существа. Это не более чем перепевы библейского приговора («Будешь добывать хлеб свой насущный в поте лица своего»). Природа этого суждения не этическая (как наивно считают), а онтологическая. Дескать, бытие, предназначенное нам для жилья, мсблировано так, что, невзирая на любые усовершенствования, человеку не может грозить «головокружение от успехов».

Но на такой примитивной вере не построишь долгосрочных прогнозов. За пуританскими или аскетическими мотивами порою кроется страх перед любой переменой. Этот страх затаился на дне всех ученых соображений, заранее перечеркивающих возможность создания «умных машин». Человечество всегда чувствовало себя привычнее всего (что не значит — удобнее) в положении, близком к отчаянному: эта приправа не слишком удобна для тел, зато благотворна для духа. Лозунг «Все силы и средства на фронт науки!» допускает рациональное обоснование лишь до тех пор, пока «умные машины» еще не в состоянии заменить ученых.

Мы, по сути, ничего не можем сказать о реальном облике обоих направлений развития — «экспансионистского» (или «аскетического») и «изоляционистского» (или «гедонистического»). Цивилизации могут выбрать любой из них — покоряя Космос или изолируя себя от него. Нейтринный сигнал, по видимому, указывает на то, что некоторые цивилизации не замкнулись в себе.

Технико-экономическая растянутасть такой цивилизации, как наша (авангард утопает в богатстве, а тылы умирают

от голода), задает направление дальнейшего развития. Отставшие части пускаются вдогонку за передовыми, желая сравняться с ними в материальном богатстве (которое лишь потому, что еще не достигнуто, представляется заманчивой целью), а зажиточный авангард, оказавшись предметом зависти и соперничества, утверждает в сознании своего превосходства. Уж если другие пытаются угнаться за ним, стало быть, все, что он делает, не только хорошо, но прямо-таки замечательно! Мотивы поступательного движения друг друга подпитывают, возникает положительная обратная связь и, стало быть, замкнутый круг, а окончательно скрепляет его застезка политических антагонизмов.

И дальше: замкнутый круг возникает потому, что очень непросто найти новое решение задачи, когда какой-то ответ уже имеется. Что бы ни говорили плохого о Соединенных Штатах, но они уже существуют, вместе со своими автострадами, подсвеченными купальными бассейнами, супермаркетами и прочим сверкающим великолепием. И если возможно еще выдумать совершенно иной тип благосостояния и благоденствия, то, пожалуй, лишь в лоне цивилизации, которая была бы одновременно многоликой и — взятая в целом — не бедной, то есть сумела бы удовлетворить элементарные биологические потребности всех своих членов. А тогда ее национальные сектора, освободившись от бремени экономических нужд, могли бы заняться поисками новых путей в будущее. Но такая цивилизация — нечто совершенно неведомое для нас. Теперь мы знаем наверное, что, когда на иные планеты ступят первые посланцы Земли, другие ее сыновья будут мечтать не о прогулках по Марсу, а о куске хлеба.

## XVII

Несмотря на различие взглядов в делах Проекта, все мы — я имею в виду не только Научный Совет — составляли достаточно сплоченную группу, и прибывшие к нам гости (которых у нас уже прозвали «наймитами Пентагона»), несомненно, понимали, что их выводы будут встречены нами в штыки. Я тоже был настроен к ним не слишком приязненно, однако не мог не признать, что Лирни и сопровождавший его молодой биолог (астробиолог, как он нам представился)

добились впечатляющих результатов. Просто не верилось, что после целого года наших мучений кто-то мог выдвинуть совершенно новые, даже не затронутые нами гипотезы о Гласе Господа, к тому же подкрепленные вполне приличным математическим аппаратом (с фактами дело обстояло хуже). Но случилось именно так. Более того, хотя эти новые подходы кое в чем друг другу противоречили, они позволяли найти некую золотую середину, оригинальный компромисс, который связывал их воедино.

То ли Белойн решил, что при встрече с гостями из Контр-проекта неуместно наше «аристократическое» деление на всеведущую элиту и слабо информированные коллективы отделов, то ли он был заранее убежден, что мы услышим нечто сенсационное, но только он пригласил на доклад тысячу с лишним наших сотрудников. Если гости и чувствовали настороженность зала, то виду не подали и вообще держались очень корректно.

Лирни начал с того, что их работа носила чисто теоретический характер; они не располагали ничем, кроме самого Послания и общих сведений о Лягушачьей Икре; так что речь шла не о какой-то «параллельной работе», не о попытке перегнать нас, а всего лишь об ином подходе к «Гласу Господа» — в расчете как раз на такое сопоставление взглядов, какое сейчас происходит.

Он не сделал паузы для аплодисментов, и правильно — охотников аплодировать не было, — а сразу перешел к делу; меня расположил к себе и доклад, и докладчик; других, видимо, тоже, судя по реакции зала.

Будучи космогонистом, он шел от космогонии в ее хаббловском варианте — в модификации Хаякавы (и моей, если позволительно так сказать, хотя я всего лишь плел математические плетенки для бутылей, в которые Хаякава вливал новое вино). Я попробую изложить общий смысл его доводов и передать, насколько сумею, пафос его выступления, не однажды прерывавшегося репликами из зала, — сухой конспект убил бы все очарование этой гипотезы. Математику я, разумеется, опущу, хотя без нее не обошлось.

— Мне это видится так, — сказал Лирни. — Космос есть пульсирующее образование, он сжимается и расширяется попеременно каждые тридцать миллиардов лет. Фаза сокращения переходит в состояние коллапса, когда распадается само пространство, свертываясь и замыкаясь уже не только

вокруг звезд, как в сфере Шварцшильда, но и вокруг всех частиц, даже элементарных. Поскольку «общее» пространство атомов перестает существовать, то исчезает, разумеется, и вся известная нам физика, ее законы видоизменяются... Этот беспространственный рой материи продолжает сжиматься и наконец — образно говоря — целиком выворачивается наизнанку, в область запрещенных энергетических состояний, в «отрицательное пространство»; это уже не «ничто», а нечто, меньшее, чем ничто, по крайней мере в математическом смысле.

Ныне существующий мир не содержит в себе антимиров, — точнее говоря, мир становится антимиром периодически, раз в тридцать миллиардов лет. «Античастицы» в нашем мире — лишь след этих катастроф, их архаический реликт, и, конечно, указание на возможность очередной катастрофы. Но в результате выворачивания (я возвращаюсь к прежнему сравнению) возникает некая «пуповина», в которой еще мечутся остатки непогашенной материи, пепелище гнущегося Космоса; это — щель между исчезающим «положительным», то есть нашим, пространством и тем, отрицательным... Щель остается открытой, не срастается, не смыкается, потому что ее непрерывно распирает излучение — нейтринное излучение! Оно — последние искры костра, и оно же — зародыш следующей фазы; когда «вывернутый мир» уже полностью вывернулся наизнанку, создал «антимир», расширил его до крайних пределов, он снова начинает сжиматься и выворачиваться обратно через щель, прежде всего — в виде нейтринного излучения, самого жесткого и самого устойчивого из всех, ведь на этой стадии не существует еще даже света — только гамма-лучи да нейтрино. Нейтринная волна, разбегаясь, заново формирует расширяющуюся сферическую Вселенную и служит матрицей для всех частиц, которые вскоре заполнят нарождающийся Космос; она несет их в себе, хотя бы и виртуально, поскольку обладает энергией, достаточной для их материализации.

Когда же новая Вселенная достигает фазы усиленного разбегания галактик — как ныне наша, — в ней все еще продолжает блуждать эхо породившей его нейтринной волны. Оно-то и есть Глас Господа! Из вихря, прорвавшегося сквозь «щель», из нейтринной волны возникают атомы, звезды, планеты, галактики. А стало быть, «проблема Послания» снимается. Никакая цивилизация ничего не высылала нам

по нейтринному телеграфу, на другом конце не было Никого, и даже не было передатчика, — а была лишь космическая пульсация, «пуповина» между мирами. Есть только излучение, порожденное чисто физическими, естественными процессами, абсолютно внечеловеческое и потому лишенное всякой языковой формы и содержания, смысла... Это излучение — постоянный связной (энергетический и информационный) между очередными мирами, гаснущими и вновь создаваемыми, порука их преемственности, их закономерного чередования, зародыш нового Космоса, дирижер «смены поколений» вселенных, разделенных безднами времени. Эту аналогию, разумеется, не следует понимать буквально, на биологический лад. Нейтрино оказываются семенами вселенных лишь потому, что это самые устойчивые частицы. Их неуничтожимость служит гарантией цикличности, повторяемости космогенеза...

Понятно, он изложил это куда подробнее, подкрепил, насколько мог, математикой; зал слушал его в тишине, а потом ринулся в бой.

Лирни забросали вопросами. Как он объясняет «жизнетворность» сигнала? Откуда она взялась? Или он считает ее чистой случайностью? И прежде всего — откуда мы взяли Лягушачью Икру?

— Я размышлял и об этом, — ответил Лирни. — Вы спрашиваете, кто все это задумал, составил и выслал. Ведь если б не жизнетворные свойства сигнала, жизнь в Галактике была бы чрезвычайно редким явлением! А что вы скажете о физических свойствах воды? Если б вода при четырех градусах тепла не была тяжелее воды при нулевой температуре и лед не всплывал бы, то все водоемы промерзли бы до дна и вне экваториальной зоны никакие водные организмы не выжили бы. А если б вода имела иную, не столь высокую диэлектрическую постоянную, в ней не могли бы возникнуть белковые молекулы, стало быть — и белковая жизнь. Но разве в науке спрашивают, кто об этом милостиво позаботился, кто и как придал воде большую диэлектрическую постоянную или большую плотность, чем у льда? Подобные вопросы мы считаем бессмысленными. Однако, будь у воды другие свойства, возникла бы небелковая жизнь или жизнь не возникла бы вообще. Точно так же бессмысленно спрашивать, кто выслал жизнетворное излучение. Оно увеличивает вероятность выживания высокомолеку-

лярных соединений, и это либо такая же случайность, или, если угодно, такая же закономерность, как и та, что наделила воду «жизнетворными» свойствами. Проблему нужно поставить с головы на ноги, а тогда она выглядит так: вода имеет такие-то и такие-то свойства, а в космосе существует излучение, стабилизирующее биогенез; то и другое способствует зарождению жизни, позволяя ей противостоять нарастанию энтропии...

— Лягушачья Икра! — кричали из зала. — Лягушачья Икра!

Я боялся, что сейчас начнется скандирование, — зал был накален, как во время боксерского матча.

— Лягушачья Икра? Вы знаете лучше меня, что так называемое Послание не удалось прочесть целиком; расшифрованы только фрагменты — из них-то и возникла Лягушачья Икра. Это означает, что Послание как осмысленное целое существует лишь в вашем воображении, а Лягушачья Икра — просто овеществленная информация нейтринного потока, с которой удалось что-то сделать. Сквозь «расщелину» между мирами — погибающими и возникающими вновь — вырвался клубящийся сгусток нейтринной волны. Энергии этой волны достаточно, чтобы «выдуть» очередную вселенную, как выдувают мыльный пузырь; ее фронт несет в себе информацию, как бы унаследованную от минувшей фазы. Как я уже говорил, в этой волне содержится информация, создающая атомы, информация, «поощряющая» биогенез, — и еще информация, которая с нашей точки зрения ничему не служит, ни к чему не пригодна. Вода обладает свойствами, благоприятствующими жизни, — вроде тех, что я перечислил, — и свойствами, безразличными для жизни, например, прозрачностью; будь она непрозрачной, на возникновение жизни это никак не повлияло бы. Нелепо спрашивать: «А кто же все-таки сделал воду прозрачной?» — и так же нелепо спрашивать: «Кто создал рецепт Лягушачьей Икры?» Это просто одно из свойств данной Вселенной; мы можем его изучать, как изучаем прозрачность воды, но «внефизического» смысла оно не имеет.

Поднялся страшный шум; наконец Белойн спросил, как Лирни объясняет кольцообразность сигнала? И почему практически весь спектр излучения в нейтринном диапазоне представляет собой обычный шум, а в одной-единственной полосе содержится столько информации?

— Но это же очень просто, — ответил космогонист, который, казалось, наслаждался всеобщим волнением. — Вначале все излучение было сконцентрировано в этом участке, потому что именно так его сфокусировала, сжала, промодулировала «горловина между мирами» — как струю воды, проходящую через узкое отверстие; вначале было игольчатое излучение — и ничего больше. Потом, из-за расхождения, расползания, десинхронизации, дифракции, преломления, интерференции все большая доля излучения расщеплялась, смазывалась, и наконец через миллиарды лет после рождения нашей Вселенной первичная информация выродилась в шум, резко сфокусированное излучение — в широкий энергетический спектр; да еще появились вторичные, шумовые генераторы нейтрино — звезды. А эмиссия, в которой мы усмотрели Послание, — остаток младенческой «пуповины», горсточка, еще не успевшая полностью рассеяться после бесчисленных отражений и странствий из угла в угол метагалактики. Сегодня вселенской нормой является шум, а не информация. Но в момент взрывоподобного рождения нашей Вселенной первоначальный нейтринный пузырь содержал в себе полную информацию обо всем, что потом из него возникло; это реликт эпохи, от которой других следов не осталось, и потому-то он так не похож на «обычные» формы материи и излучения...

Она была убедительна, ничего не скажешь, — эта прекрасная, логически стройная конструкция. Затем последовала очередная порция математики; Лирни показал, какими свойствами должна обладать «горловина» в качестве матрицы именно того участка нейтринного спектра, излучение которого мы называли «звездным сигналом». Это была отличная работа; он использовал теорию резонанса и сумел объяснить непрерывное повторение сигнала и даже обосновать место его появления (радиант Малого Пса).

Тут я взял слово и сказал, что это он, Лирни, поставил проблему с ног на голову, приделав к Посланию целую Вселенную — как раз такую, какая была ему нужна; к известным энергетическим свойствам сигнала он подогнал размеры своей пресловутой горловины и так переиначил геометрию этого ad hoc изобретенного Космоса, чтобы направление, откуда приходит сигнал, оказалось не случайным.

Лирни, улыбаясь, признал, что отчасти я прав. Но добавил, что, если б не его «щель», миры возникали бы и гибли



без когерентной связи, каждый был бы иным — точнее, мог быть иным, — чем предыдущий; или же Космос так и не вышел бы из стадии «антимира», из безэнергетической фазы, и всякому становлению пришел бы конец; не было бы ни новых миров, ни нас, ни звезд над нами, и некому было бы ломать голову над тем, что НЕ произошло... Но произошло же! Дьявольская сложность Послания объясняется вот чем: плотность вещества в гибнущем Космосе так чудовищно велика, что со смертью он отдает — как человек отдает Богу душу — свою информацию; она не улечивается, а согласно неизвестным нам законам (ведь в этом сжатии, в распадающемся пространстве, физика уже недействительна) сливается с тем, что еще существует, — с нейтринным сгустком в самой «горловине».

Белойн — он вел заседание — спросил, приступать ли к дискуссии или дать сначала слово Синестеру. Мы, понятно, проголосовали за второе. Лирни я раньше встречал у Хаяквы, но о Синестере даже не слышал. Он был молод, невысок, с каким-то картофельным лицом, — ну да это не важно.

Начал он совсем как Лирни. Космос — пульсирующее образование, с чередующимися фазами «голубых» сжатий и «красных» расширений. Каждая фаза длится около тридцати миллиардов лет. В «красной» фазе, когда материя уже достаточно разрежена, на остывающих планетоподобных телах возникает жизнь, включая ее разумные формы. В «голубой» фазе, когда начинается сжатие, огромные температуры и все более жесткое излучение уничтожают живую материю, которой за миллиарды лет успели обрасти планеты. Разумеется, в «красной» фазе (в которой довелось родиться и нам) существуют цивилизации различного уровня, а среди них и такие, которые достигли вершины технологии; по мере развития науки, и особенно космогонии, они уясняют себе, что ожидает в будущем их самих и Вселенную. Такие цивилизации, или, скажем для удобства, такая цивилизация, находящаяся в одной из галактик, знает, что процесс упорядочения пройдет через пик, а потом начнется уничтожение всего сущего в раскаляющемся горниле. Обладая намного большими познаниями, чем мы, она сумет хотя бы отчасти предвидеть и дальнейшее течение событий — после «голубого светопреставления»; а если ее познания возрастут еще больше, она сможет повлиять на эти события...

Тут по залу опять пробежал легкий шум: Синестер изла-

гал ни больше ни меньше как теорию управления космогоническими процессами!

Астробиолог, вслед за Лирни, предполагал, что «двухтактный космический двигатель» не является жестко детерминированным (в фазе сжатия возникают значительные неопределенности — из-за случайных в принципе вариаций в распределении масс и различного протекания аннигиляции) и невозможно с абсолютной точностью предсказать, какой тип Вселенной возникнет после очередного сжатия. Эта трудность известна и нам, пусть в миниатюрном масштабе: мы не в силах предвидеть — то есть рассчитывать — ход турбулентных процессов (скажем, завихрений в воде, разбивающейся о рифы). Поэтому «красные вселенные», которые поочередно рождаются из «голубых», могут сильно отличаться одна от другой, и существующая ныне, в которой жизнь возможна, представляет собой, может быть, эфемерное, неповторимое образование, за которым последует длинная череда абсолютно мертвых пульсаций.

Такой гороскоп — картина вечно мертвого, безжизненно раскаляющегося и безжизненно остывающего космоса — может не удовлетворить цивилизацию высшего типа, и она попытается изменить будущее. Зная об ожидающей ее гибели, она может «запрограммировать» звезду или систему звезд — регулируя их излучение — так, чтобы получилось подобие нейтринного лазера. Действовать он начнет тогда, когда тензоры гравитации, параметры температуры, давления и так далее превысят некоторые максимальные значения и сама физика этого Космоса начнет распадаться в прах. Тогда-то гибнущее созвездие-лазер разрядит накопленную энергию и обратится в черную нейтринную вспышку, до мелочей запрограммированную за миллиарды лет до того! Монохроматическая нейтринная волна, самое жесткое и стабильное из всех излучений, станет не только похоронным звоном для гибнущей фазы Космоса, но и зародышем новой фазы — участвуя в формировании новых элементарных частиц. А кроме того, «впечатанная» в звезду программа включает и «жизнетворность» — увеличение вероятности появления жизни.

В этой грандиозной картине звездный сигнал оказывался вестью, посланной в наш Космос из космоса, который ему предшествовал. Итак, Отправители не существовали — уже по крайней мере тридцать миллиардов лет. Послание, ими

созданное, пережило гибель их мира, затем включилось в процессы творения и положило начало эволюции жизни на планетах. Так что и мы были Их детьми...

Идея была остроумная! Сигнал — отнюдь не Послание, его жизнотворность нельзя считать формой, противостоящей содержанию. Это мы, в силу наших привычек, пытались разделить неразделимое. Сигнал, а точнее, творящий импульс начинает с такой «настройки» материи космоса (в новом ее воплощении), чтобы возникли частицы с нужными свойствами, — нужными, разумеется, с точки зрения «творящей» цивилизации. А когда начинается астрогенез, а за ним планетогенез, тогда, с появлением «адресата», включаются в работу другие структурные свойства сигнала, помогающие зарождению жизни. Увеличивать шансы молекул на выживание легче, чем дирижировать и управлять возникновением самых элементарных частиц материи. Поэтому мы и приняли жизнотворный эффект за нечто отдельное и лишенное содержания, а второй, атомотворящий, эффект назвали Письмом.

Мы не прочли его, потому что нам — нашей науке, физике, химии — полное прочтение не под силу. Но из обрывков запечатленных в импульсе знаний мы соорудили себе рецепт — Лягушачьей Икры! Так что сигнал — не сообщение, а программа, и адресован он Космосу, а не каким-либо существам. Мы можем лишь попытаться расширить наши познания, используя как сам сигнал, так и Лягушачью Икру.

Синестер закончил. Аудитория ошеломленно молчала. Вот уж подлинно *embarras de richesse!* Сигнал — творение Природы, последний нейтринный аккорд погибающей Вселенной, предсмертный поцелуй, который «щель» между миром и антимиром запечатлела на фронте нейтринной волны; или — завещание давно умершей цивилизации. Ничего не скажешь, впечатляющая альтернатива!

Нашлись и среди нас сторонники обоих подходов. Напоминали, что некоторые частоты обычного, естественного жесткого излучения увеличивают интенсивность мутаций, а значит, могут ускорить ход эволюции, тогда как другие частоты не обладают такими свойствами, — но из этого вовсе не следует, будто одни частоты что-то означают, а другие нет. Все пытались говорить разом. Я словно стоял у колыбели новой мифологии. Завещание... и мы — наследники Тех, Других... умерших задолго до нашего рождения...

Поскольку от меня этого ждали, я попросил слова и начал с того, что через произвольное количество точек на плоскости можно провести произвольное число различных кривых. Я никогда не считал, что главное — выдвинуть побольше гипотез, ведь их можно придумать бесконечное множество. Вместо того чтобы подгонять наш Космос и предварявшие его события к свойствам Послания, достаточно допустить, что наша приемная аппаратура примитивна — как, скажем, радиоприемник с низкой избирательностью. Он ловит сразу несколько станций, и получается катавасия; если слушатель, не знающий ни одного из языков вещания, запишет все без разбора, он напрасно будет ломать себе голову. Жертвой такой технической ошибки могли стать и мы.

Допустим, что так называемое Послание — запись нескольких передач сразу. Если звездные автоматические передатчики работают именно на той «частоте», которую мы считаем единичным каналом связи, то непрерывное повторение сигнала вполне объяснимо. Возможно, именно так общества, образующие «цивилизационный альянс», поддерживают синхронность каких-то своих технических устройств — астроинженерных, к примеру.

С этим хорошо согласуется цикличность сигнала. Но уже не столь хорошо — Лягушачья Икра; впрочем, с некоторой натяжкой можно было бы и ее объяснить в рамках такого подхода. Во всяком случае, он скромнее, а значит, реалистичнее грандиозных картин, только что показанных нам. Еще одна загадка — то, что есть лишь один сигнал. А ведь их должно быть немало. Но переделывать весь Космос ради того, чтобы отделаться от загадки, — такую роскошь мы не можем себе позволить. Тогда почему бы не счесть, что сигнал — это «музыка сфер», торжественный гимн, нейтринные фанфары, которыми Высшая Цивилизация приветствует, ну, скажем, вспышку Сверхновой? А может, мы приняли апостольское Послание? Вот слово, которое становится плотью, а вот и Повелитель Мух, порождение мрака, знамение, указывающее на манихейскую природу сигнала — и Мироздания. Множить подобные толкования недопустимо. По сути, обе гипотезы консервативны, особенно гипотеза Лирни, которая сводится к отчаянной защите эмпирического подхода. Точные науки с самого своего зарождения занимались явлениями Природы, а не Культуры; не существует физики или химии Культуры — есть лишь физика и химия «материала

Вселенной». Рассматривая Космос как чисто физический объект, лишенный всяких «значений», Лирни уподобляется человеку, который письмо, написанное от руки, изучает как сейсмограмму (поскольку и то и другое — сложные кривые определенного вида).

Гипотезу Синестера я определил как попытку ответить на вопрос: «наследуют ли друг другу очередные вселенные?» Согласно ответу, который он дал, наш сигнал, оставаясь искусственным образованием, перестал быть Посланием. Под конец я перечислил ужасающее количество допущений, взятых авторами с потолка: отрицательное выворачивание материи, ее превращение в информацию в момент предельного сжатия, выжигание «атомотворящих» стигматов на нейтринной волне. Эти допущения, по самой их природе, не поддаются проверке — там, при «конце света», не будет не только никаких разумных существ, но даже и самой физики. Это — не что иное, как спор о загробной жизни, прикрытый физической терминологией. Или, если угодно, философская фантастика (по аналогии с научной фантастикой). Под математическим одеянием скрывается миф; я вижу в этом знамение времени, и только.

Тут уж, разумеется, дискуссия вспыхнула, как пожар. Под конец Раппопорт неожиданно встал, чтобы предложить «еще одну гипотезу» — настолько оригинальную, что я ее изложу. Различие между искусственным и естественным, напомнил он, не абсолютно, а относительно, и зависит оно от выбранной нами системы отсчета. То, что выделяет живой организм при обмене веществ, мы считаем продуктом естественного происхождения. Если я съем слишком много сахара, мои почки будут выделять его избыток. От моих намерений зависит, будет ли сахар в моче «искусственным» или «естественным». Если я, зная механизм явления, съел сахар нарочно, чтобы его выделять, то присутствие сахара в моче будет «искусственным»; а если мне просто захотелось сладкого и ничего более, то присутствие сахара будет «естественным». А вот и практическое доказательство: я могу заранее условиться с тем, кто проводит анализ, и тогда результаты анализа будут служить информационным сигналом. Скажем, наличие сахара будет означать «да», а отсутствие — «нет». Это — процесс символической сигнализации, но только между нами двоими. Тот, кому наш уговор неизвестен, ничего о нем не узнает, исследуя мочу. В природе, как и в куль-

туре, «на самом деле» существуют лишь «естественные» явления, а «искусственными» они становятся только потому, что мы связываем их друг с другом определенным образом — с помощью уговора или действия. Только чудеса «абсолютно искусственны» — потому что они невозможны.

После такого вступления Раппопорт нанес решающий удар. Предположим, сказал он, что биологическая эволюция может идти двумя путями: либо она создает отдельные организмы, а потом из них возникают разумные существа, либо — на другом пути — она создает «неразумные», но необычайно высоко организованные биосферы — скажем, «леса живого мяса» или другую какую-то форму жизни, которая в процессе очень долгого развития осваивает даже ядерную энергетику. Но осваивает не так, как мы осваиваем технику изготовления ядерных бомб и реакторов, а так, как наши тела освоили обмен веществ. Продуктами такого метаболизма будут явления радиоактивного типа, а на следующем этапе — и нейтринные потоки, «выделения» всепланетного организма; их-то мы и принимаем — в виде звездного сигнала. Это — процесс совершенно естественный, поскольку никто ничего не собирался пересылать или сообщать. Но может быть, другие организмы-планеты узнают о существовании себе подобных благодаря «нейтринным следам», оставленным в пространстве. Тогда между ними устанавливается что-то вроде сигнализации.

Раппопорт добавил, что его гипотеза согласуется с образом действий, принятым в науке: наука ведь не разделяет явления на искусственные и естественные. Гипотеза эта не отсылает нас к «другим вселенным» и поэтому может быть проверена — по крайней мере, принципиально, — если будут обнаружены «нейтринные организмы» или хотя бы доказана их теоретическая возможность.

Не все по-настоящему поняли, что это была не просто демонстрация изобретательности. Ведь, вообще говоря, можно предвидеть и рассчитать любой тип превращения органической материи, исходя из физики и химии, однако ни физика, ни химия не помогут вычислить или предвидеть культуру, в которой некие существа живут и посылают «нейтринные письма». Это — феномен иного, нефизического порядка. Если цивилизации обращаются друг к другу на разных языках, а различия в уровне их развития велики, то «менее сведущие» в лучшем случае извлекут из полученного

сообщения его «физическую составляющую» (или естественную, что одно и то же). Больше они ничего не поймут. При достаточно больших междивизиационных различиях одни и те же понятия в разных культурах могут иметь совершенно различный смысл.

Было еще говорено и о том, насколько рационально ведет себя «цивилизация Отправителей» (независимо от того, жива она или — как полагал Синестер — мертва). Можно ли считать рациональной заботу о том, что будет «в следующей вселенной» через тридцать миллиардов лет? Какую же громадную, даже для немыслимо богатой цивилизации, приходится платить цену — в виде судеб живых существ, — чтобы стать кормчим Великой Космогонии или создать «жизнетворный эффект»? А если для них это рационально, то «рациональность» — не одно и то же для разных цивилизаций.

Потом мы собрались небольшой компанией у Белойна и еще долго, за полночь, спорили; если Лирни с Синестером нас и не убедили, то уж точно подлили масла в угасавший огонь. Обсуждали гипотезу Раппопорта. Он дополнил ее, уточнил, и возникла поистине невероятная картина — гигантские биосферы, которые «телеграфируют» в космос, не ведая, что творят; неизвестный нам уровень гомеостаза, — единая система биологических процессов, добравшихся до источников ядерной энергии и мощностью своего метаболизма не уступающих мощности звезд. Жизнетворность их «нейтринных выделений» становилась таким же точно эффектом, как деятельность растений, которые насытили атмосферу Земли кислородом и тем проложили путь организмам, не способным к фотосинтезу, — но ведь трава без всякого умысла помогла нам появиться на свет! Выходит, Лягушачья Икра — и вообще вся «информационная сторона» Послания — просто продукт невероятно сложного метаболизма, отходы, шлак, структура которого зависела от планетного обмена веществ.

В гостиницу я возвращался с Дональдом, и он вдруг сказал, что чувствует себя, по сути, обманутым: поводок, на котором мы бегали по кругу, удлинители, но мы все равно на привязи. Нам показали эффектный интеллектуальный фейерверк, но вот он догорел, а мы остались ни с чем. Возможно, мы даже чего-то лишились. До сих пор мы были согласны в том, что получили письмо, в конверт которого попало немного песка (так он назвал Лягушачью Икру). Пока мы

верили, что это — именно письмо (пускай непонятное и загадочное), сознание, что Отправители существуют, имело ценность само по себе. Но если это не письмо, а бессмысленные каракули, если у нас остается только песок, пусть даже золотиносный, то мы обнищали — больше того, мы ограблены.

Я размышлял об этом, оставшись в одиночестве. Откуда, собственно, бралась уверенность, позволявшая мне расправляться с чужими гипотезами, достаточно серьезно обоснованными? А ведь я был уверен, что мы получили Письмо. Мне очень важно передать читателю не эту веру — она не имеет значения, — а то, на что она опиралась. Иначе зря я писал эту книгу.

Такой человек, как я, который не раз и подолгу, на разных фронтах науки, бился над разгадкой шифров Природы, знает о них куда больше, чем можно вычитать из его математически отупоженных публикаций. Опираясь на это интуитивное знание, я утверждаю, что Лягушачья Икра с ее накопителем ядерной энергии, с ее эффектом «переноса взрыва» неизбежно должна была в наших руках обернуться оружием — ведь мы так сильно, так страстно стремились к этому. И то, что нам это не удалось, не могло быть случайностью. Ведь удавалось — в других, «естественных ситуациях» — увы, слишком часто! Я отлично могу представить себе существа, которые послали сигнал. Они решили для себя: сделаем так, чтобы сго не могли расшифровать те, что еще не готовы; нет, будем еще осторожней: пусть даже ошибочная расшифровка не даст им того, что они ищут, но в чем им следует отказать.

Ни атомы, ни галактики, ни планеты, ни наши тела не были снабжены Кем-то такой системой защиты, и мы пожинаем печальные плоды этого. Наука — это часть Культуры, которая соприкасается с окружающим миром. Мы выковыриваем из него кусочки и поглощаем их не в очередности, наиболее благоприятной для нас, — ибо Никто об этом любезно не позаботился, — а в той, которая определяется сопротивлением материи. Атомы и звезды не предполагают никакими аргументами; они не могут нам возражать, когда мы создаем модели по образу их и подобию, они не преграждают нам доступа к знанию — даже если оно смертельно опасно. Все, существующее вне человека, имеет намерений не более, чем покойник. Но если к нам вызывают



не силы Природы, а силы Разума, ситуация радикально меняется. Тот, кто создал Послание, руководствовался намерениями, наверняка не безразличными по отношению к жизни.

С самого начала я больше всего опасался недоразумения. Я был уверен, что нам не послали орудие убийства; однако все говорило о том, что мы получили описание какого-то орудия, — а ведь известно, как мы способны его использовать. Даже человек для человека бывает орудием. Зная историю науки, я не верил в идеальную гарантию от злоупотреблений. Любая техника сама по себе нейтральна — и мы сумели любую сделать орудием смерти. В горячке нашей отчаянной конспирации — наивной и глупой, конечно, но все же необходимой — я решил было, что на Них нам не стоит рассчитывать: вряд ли Они могли угадать, что мы сделаем с их информацией по ошибке, в результате заполнения пробела неверными домыслами. Даже Природа, которая четыре миллиарда лет учила биологическую эволюцию избегать ошибок и действовать со всевозможными предосторожностями, не сумела наглухо закрыть от нее все наклонные плоскости жизни, все ее тупики и закоулки, уберечь ее от оплошностей и «недоразумений» — о чем свидетельствуют бесчисленные искажения развития организмов или хотя бы рак. И если Отправители решили эту задачу, значит, они оставили далеко позади недостижимое для нас совершенство биологической эволюции. Но тогда я не знал — да и откуда мне было знать, — что их решения настолько загерметизированы, так всесторонне застрахованы от вторжения непосвященных.

В ту ночь в огромном зале инвертора, над исписанными страничками, я вдруг почувствовал обморочную слабость, у меня потемнело в глазах — и не только потому, что внезапно исчез ужас, который многие недели висел надо мной. В эту минуту я отчетливо ощутил Их величие. Я понял, чем может быть цивилизация. Когда мы слышим это слово, мы думаем об идеальном равновесии, о моральных ценностях, о преодолении собственной слабости, о том, что в нас есть наилучшего. Но цивилизация — это прежде всего мудрость, которая исключает такие обычные для нас ситуации, когда лучшие из миллиардов умов трудятся над подготовкой всеобщей гибели, делая то, чего они не хотят, что им претит, — потому что не имеют иного выхода. Самоубийство — не

выход. Разве мы с Протеро хоть чуточку изменили бы дальнейший ход событий, предотвратили бы вторжение металлической саранчи с неба, если бы покончили с собой? И если Отправители предвидели нечто подобное, то не потому ли, что когда-то они были похожи на нас, — а может, и остались похожими...

Разве не говорил я в самом начале, что лишь существо, по природе злое, может понять, какую оно обретает свободу, творя добро? Послание существовало, оно было отправлено, упало на Землю к нашим ногам, струилось на нее нейтринным дождем, когда мезозойские ящеры еще бороздили брюхом болота в юрских лесах, и тогда, когда палеопитек, прозванный прометейским, обгрызая кость, вдруг увидел в ней первую дубину. А Лягушачья Икра? Я угадываю в ней фрагменты того, на что указывал сам факт отправления Послания, — но фрагменты, карикатурно искаженные нашим неумением и незнанием, а также и нашим знанием, уродливо скособоченным в сторону разрушения. Я убежден, что оно не было просто брошено в космический мрак, как камень в воду. Оно означало призыв, эхо которого вернется обратно, — если он будет услышан и понят.

Следствием правильного понимания должен был стать обратный сигнал, извещающий, что связь установлена, и одновременно указывающий, где это произошло. Я могу только смутно догадываться о механизме этой обратной связи. Энергетическая автономность Лягушачьей Икры, замкнутость на себя ее ядерных реакций, которые ничему не служат, кроме самоподдержания, говорят о допущенной нами ошибке, указывают на промах. Тут мы вторглись глубже всего — и натолкнулись на загадочный эффект, который способен (но в совершенно иных условиях) высвободить, сконцентрировать и швырнуть обратно в пространство импульс огромной мощности. Да, при правильной расшифровке эффект Экстран, открытый Дональдом Протеро, мог бы стать обратным сигналом, ответом, посланным Отправителям. На это указывает его фундаментальное свойство — переброска воздействия с максимальной в природе скоростью, перенос сколь угодно большой энергии на сколь угодно большое расстояние. Только энергия эта, разумеется, должна служить не уничтожению, а пересылке информации. Та форма, которую приобрел Экстран, была результатом искажения нейтринного сигнала в процессе синтеза. Ошибка

возникла из ошибки, иначе быть не могло, это простая логика. Но меня не перестает изумлять их всесторонняя предубежденность, ведь они нейтрализовали даже потенциально опасные последствия ошибок, нет, хуже, чем ошибок, — сознательных попыток превратить неисправный инструмент в разящий клинок.

Метагалактика — это необъятное скопище космических цивилизаций. Цивилизации, отличающиеся от нашей несколько иным направлением развития, но, как и наша, разединенные, погрязшие в распрях, сжигающие свои запасы в братоубийственных схватках, тысячелетиями пытались и пытаются все снова и снова расшифровать звездный сигнал, так же неуклюже и неумело, как мы, пробуют переплавить в оружие причудливые обломки, добытые столь тяжким трудом, — и так же, как мы, безуспешно. Когда окрепла во мне уверенность, что именно так и есть? Затрудняюсь сказать.

Я открылся только самым близким людям, Айвору и Дональду, да еще, перед самым отъездом из поселка, поделился этой своей «личной собственностью» с желчным доктором Раппопортом. Удивительно — все они сначала поддакивали с нарастающей радостью понимания, а потом, поразмыслив, заявляли, что если поглядеть на мир, который нам дан, то больно уж прекрасное целое складывается из моих рассуждений. Возможно. Что мы знаем о цивилизациях, которые «лучше» нас? Ничего. Поэтому, может, и не годится рисовать картину, на которой мы фигурируем где-то в самом низу — как отщепенцы Галактики, или как эмбрион, застрявший в родовых схватках, затянувшихся на века, или, наконец (пользуясь сравнением Раппопорта), как премиленький новорожденный, который вот-вот удавится собственной пуповиной. Той самой, через которую культура высасывает жизнетворные соки знания из природной плаценты.

Я не могу привести ни единого неоспоримого довода. У меня их нет. Я не нашел ни малейшего свидетельства того, что Послание предназначено существам, в каком-либо отношении лучшим, чем мы. А может быть, я, достаточно долго допекаемый унижениями, оказавшись под начальством людей вроде Истерленда и Ини, вообразил себе некий аналог святости на свой собственный лад — миф о Благовещении и Откровении, которое я — совиновник — отверг столько же по неведению, сколько по злему умыслу?

Перед тем, кто отказался от мысли приводить в движение

атомы и планеты, мир предстает беззащитным: можно его истолковывать как угодно. Тот, кто воюет оружием воображения, в воображении тонет. А ведь оно должно быть окном, распахнутым в мир. Два года мы изучали феномен — изучали с конца, с его проявлений, сошедших с неба на землю. Я предлагаю подступить к нему с другой стороны. Можно ли, будучи в здравом уме, допустить, что нам шлют загадки, тесты для проверки интеллекта, галактические шарады? Такая точка зрения кажется мне абсурдной: трудность сигнала — не скорлупа, которую надо разбить. Послание предназначено не для всех — тут у меня нет сомнений. Прежде всего — оно не для тех цивилизаций, что стоят на нижних ступенях технологической лестницы; шумерийцы или древние франки просто не заметили бы его. Но можно ли ограничивать круг адресатов, исходя только из их технических возможностей?

Оглядимся вокруг. Сидя здесь, в глухой комнате бывшего атомного полигона, я не мог отделаться от мысли, что огромную пустыню за стенами, и нависающий над ней темный свод, и всю Землю неустанно, час за часом, веками, тысячелетиями пронизывает безбрежный поток незримых частиц, несущий с собой весть, приходящую и на другие планеты, и на другие звездные системы, другие галактики, что поток этот выслан в незапамятные времена из невообразимой бездны — и что все это правда.

Я не мог согласиться с этим без внутреннего сопротивления — слишком это противоречило всему, к чему я привык. И в то же время я видел наш Проскт, громадные коллективы ученых, незаметно контролируемые государством, гражданином которого я являюсь; нам, опутанным сетью подслушивания, предстояло установить связь с разумом, обитающим в Космосе. А в действительности мы были ставкой в глобальной игре, фишками в руках у крупье, одним из несчетных шифрованных обозначений, переполняющих бетонное нутро Пентагона; там, в каком-то сейфе, на какой-то полке, в какой-то папке с пометкой «совершенно секретно», появился еще один — шифр операции «ГЛАС ГОСПОДА», уже в зародыше пораженной безумием. Ибо безумна была попытка засекретить и упрятать в сейфы то, что миллион лет заполняет бездну Вселенной, попытка выдавить из звездного сигнала, как косточки из лимона, информацию, пригодную для убисния.

Если и это не безумие, то его вообще нет и не может быть. Итак, Отправитель имел в виду определенных существ, определенные цивилизации, но не все — даже не все цивилизации технологического круга. Кто же настоящие адресаты? Не знаю. Скажу только: если эту информацию Отправители предназначали не нам, то мы ее не поймем. Я готов целиком доверять им — ведь они не обманули моего доверия.

А если все это только стечение обстоятельств? Что ж, могло быть и так. Разве не случайно был обнаружен нейтринный сигнал? Разве он, в свою очередь, не мог возникнуть случайно? Может, он по случайным причинам затрудняет распад органических макромолекул, случайным образом повторяется — и, наконец, только по случайности из него извлекли Повелителя Мух? Все это возможно. Случай может так закрутить приливную волну, что при отливе на гладком песке останется четкий отпечаток босой ступни.

Скептицизм подобен непрерывному, многократному усилению разрешающей силы микроскопа; резкое поначалу изображение под конец расплывается, последнюю реальность увидеть нельзя, ее существование можно только логически вывести. А мир после закрытия Проекта продолжает идти своим путем. Уже миновала мода на высказывания ученых, политиков и звезд сезона о космическом разуме. Лягушачью Икру удастся использовать, так что бюджетные миллионы не пропали даром. Над опубликованным сигналом может теперь ломать голову любой из легиона маньяков, которые раньше изобретали вечный двигатель и способ трисекции угла, и всякому позволено верить во что угодно. Тем более что эта вера, подобно моей, ничем не грозит. Ведь меня-то она не раздавила. Я все тот же, каким был до вступления в Проект. Ничто не изменилось.

А теперь — несколько слов о сотрудниках Проекта. Я уже упоминал, что Дональда, моего друга, нет в живых. Ему на долю выпала статистическая флуктуация процесса клеточных делений — рак. Айвор Белойн не только профессор и ректор — он вообще человек настолько занятой, что даже не понимает, как он счастлив. О докторе Раппопорте мне ничего не известно. Письмо, которое я послал ему несколько лет назад на адрес Института высших исследований, вернулось обратно. Дилл находится в Канаде — у нас обоих нет времени на переписку.

Но что, собственно, значат эти сухие примечания! Что я знаю о затаенных страхах, мыслях и надеждах моих друзей того времени? Я никогда не умел преодолевать межчеловеческое пространство. Животное приковано к своему «здесь» и «сейчас» всеми своими чувствами, а человек способен отвлечься от этого, вспоминать, сочувствовать другим, представлять себе их состояние, их чувства... только это, к счастью, неправда. В попытках такого перевоплощения мы воображаем — смутно, туманно — только себя. Что стало бы с нами, умей мы на самом деле сочувствовать другим, переживать в точности то же, что они, страдать вместо них? Людские горести, страхи, страдания исчезают со смертью, не остается ни следа от падений и взлетов, оргазмов и пыток — и это неоценимый дар эволюции, которая уподобила нас животным. Если б от каждого несчастного, замученного человека оставался хоть один атом его чувств, если бы так возросло наследие поколений, если б хоть искорка могла пробежать от человека к человеку — мир переполнился бы криком, силой исторгнутым из кишок.

Мы, как улитки, прилепились каждый к своему листку. Я отдаюсь под защиту своей математики и повторяю, когда и она не спасает, последнюю строфу стихотворения Суинберна:

Устав от вечных упований,  
Устав от радостных пиров,  
Не зная страхов и желаний,  
Благословляем мы богов  
За то, что сердце в человеке  
Не вечно будет трепетать,  
За то, что все вольются реки  
Когда-нибудь в морскую гладь.

# Абсолютная пустота

рассказы







Alistar Waynewright  
«BEING INC.»  
(*American Library*)

---

### «КОРПОРАЦИЯ «БЫТИЕ»

Нанимая слугу, в его жалованье включают — кроме платы за труд — плату за почтение, положенное хозяину. Нанимая адвоката, кроме юридической помощи приобретают ощущение безопасности. Тот, кто покупает любовь — а не только лишь ее добивается, — ожидает в придачу нежности и привязанности. В цену авиабилета давно уже включены улыбки и почти что приятельская вежливость хороших стюардесс. Люди готовы платить за *private touch*, то есть за видимость заботливого участия и человеческого тепла, ставших обязательной частью упаковки услуг в любой области жизни.

Однако сама эта жизнь не сводится к общению с домашней прислугой, адвокатами, служащими гостиниц, контор, авиалиний и магазинов. Напротив, человеческие связи и отношения, которые нам дороже всего, остаются вне сферы платных услуг. Через компьютер можно выбрать супруга — но не его поведение после свадьбы. Можно, если денег хватает, купить яхту, дворец, остров — но не события, лелеемые в мечтах: нельзя за деньги блеснуть героизмом или умом, спасти от смертельной опасности прелестное существо, выиграть гонки или получить высокий орден. Доброжелательность, искреннюю симпатию, преданность тоже не купишь; о том, что тоска как раз по таким бескорыстным чувствам преследует всемогущих владык и богачей, свидетельствуют бесчисленные рассказы; те, кто может всё купить или взять силой, в этих сказках отказываются от своего исключительного положения и пере-

---

Being Inc., 1971

Перевод К. Душенко, 1995

одетыми — как Гарун аль-Рашид в облике нищего — отправляются на поиски подлинных человеческих чувств, от которых их ограждали, словно высокой стеной, богатство и знатность.

Итак, если что и не подверглось еще переработке в товар, так это субстанция повседневной жизни — официальной и интимной, публичной и частной, и поэтому всем нам неустанно грозят неудачи, конфузы, разочарования, обиды, знаки пренебрежения, за которые уже нельзя отыгаться, словом, случайности личной судьбы; такое положение дел нетерпимо и требует коренных изменений, а возьмется за это судьбостроительная индустрия. Общество, в котором можно купить пост президента (благодаря рекламной кампании), стадо белых слонов в цветочных узорах, стайку девиц, гормональную молодость, может позволить себе упорядочить наконец материю человеческого бытия. Напрашивающиеся возражения (дескать, формы жизни, приобретенные за наличные, будут неподлинными, явно поддельными на фоне неподдельных событий) подсказывает наивность, начисто лишенная воображения. Там, где все дети без исключения зачинаются в колбе и половой акт не имеет естественных в прошлом последствий в виде зачатия, — исчезает граница между сексуальной нормой и отклонением, ведь телесная близость не служит уже ничему, кроме наслаждения. Там же, где жизнь каждого находится под опекой мощных судьбостроительных компаний, исчезает различие между подлинными и втайне подстроенными событиями. Различие между естественными и искусственными приключениями, успехами, неудачами перестает существовать, если нельзя дознаться, что происходит по чистой, а что — по заранее оплаченной случайности.

Такова вкратце идея романа А.Уэйнрайта «Being Inc.» («Корпорация «Бытие»). Принцип деятельности корпорации — управление на расстоянии; ее местопребывание никому не известно; клиенты связываются с «Бытием» по почте или по телефону; заказы принимает гигантский компьютер, а их выполнение зависит лишь от банковского счета клиента, от его платежеспособности. Измену, дружбу, любовь, месть, собственное счастье и несчастье других можно приобрести и в рассрочку, в кредит, на льготных условиях. Судьбу детей заказывают родители; но в день наступления совершеннолетия каждый получает по почте ценник, каталог услуг, а также инструкцию фирмы. Инструкция представляет собой написанный популярно, но со знанием дела мировоззренческий и со-

циотехнический трактат, а не обычное рекламное чтиво. Прозрачным, высоким стилем там излагается то, что невозвышенно можно изложить следующим образом.

Все люди стремятся к счастью, но стремятся по-разному. Для одних счастье — это превосходство над окружающими, самостоятельность, непрерывное самоутверждение, атмосфера риска и крупной игры. Для других же — подчинение, вера в авторитет, безопасная, мирная и даже ленивая жизнь. Первые склонны к агрессии; вторые — к тому, чтобы подчиняться агрессии. Ибо многим по сердцу состояние тревоги и озабоченности, коль скоро за отсутствием реальных забот они выдумывают себе мнимые. Исследования показали, что активных и пассивных натур примерно поровну. Однако несчастьем старого общества, утверждает инструкция, было то, что оно не умело обеспечить гармонию между врожденными склонностями и жизненной стезей граждан. Сколь часто слепой случай решал, кто победит, а кто проиграет, кому быть Петронием, а кому — Прометеем! Очень сомнительно, что Прометей так уж вовсе не ожидал коршуна у своей печени. В свете новейшей психологии более вероятно, что для того он и похитил с небес огонь, чтобы после его клевали в печень. Он был мазохист; мазохизм, как и цвет глаз, — наследственный признак; стыдиться его не приходится, надо лишь с толком использовать его на благо общества. Раньше, поучает инструкция, слепой жребий решал, кому суждены удовольствия, а кому — лишения; людям жилось прескверно, ведь если ты, желая бить, получаешь побои, а кто-то другой, желая быть излупцованным, вынужденно лупцует тебя — оба вы одинаково несчастны.

Принципы деятельности «Бытия» появились не на пустом месте: matrimониальные компьютеры издавна следуют тем же правилам при подборе брачных партнеров. «Бытие» гарантирует клиенту тщательную режиссуру всей жизни с момента совершеннолетия, согласно сценарию, изложенному на бланке заказа. Фирма работает на основе новейших кибернетических, социотехнических и информатических методов. Пожелания клиентов она выполняет не сразу, ведь люди нередко держатся совершенно превратного мнения о себе и сами не знают, что для них хорошо, а что плохо. Каждый новый клиент подвергается дистанционному психотехническому обследованию; комплекс сверхбыстрых компьютеров диагностирует его личностный профиль и природные склонности. Лишь после этого заказ принимается к исполнению.

Содержания заказа стесняться не следует: оно навсегда остается служебной тайной. Не следует также бояться, что при выполнении заказа пострадают посторонние лица. Как раз для того, чтобы этого не случилось, у фирмы есть электронная голова на плечах. Мистеру Смигу угодно быть су-ровым судьей, выносящим смертные приговоры? Пожалуй-та — его подсудимыми будут лишь негодяи, по которым плачет веревка. Мистер Джонс хотел бы сечь своих деток, постоянно отказывать им в удовольствиях и при этом искренне считать себя справедливым отцом? Что ж, у него будут жестокие и зловредные дети, на муштровку которых уйдет полжизни. Фирма выполняет любые заказы; лишь изредка приходится ждать своей очереди, например, если хочется собственноручно убить — потому что таких любителей на удивление много. В разных штатах приговоренных к смерти убивают по-разному: где вешают, где отравляют синильной кислотой, а где используют электричество. Желающий вешать попадает в штат, где виселица — законное ору-дие казни, и не успеет он глазом моргнуть, как временно назначается палачом. Законопроект, который позволит кли-ентам безнаказанно убивать посторонних в чистом поле, на лужайке или в домашней тиши, еще не обрел силу закона, но фирма настойчиво трудится над реализацией этого нов-шества. Опытность фирмы в режиссуре событий, подтверж-денная миллионами искусственных судеб, преодолевает все трудности, стоящие на пути убийств по заказу. Скажем, смертник, заметив, что дверь его камеры приоткрыта, бежит, а сотрудники фирмы, которые только того и ждали, так сре-жиссируют путь беглеца, что он наткнется на клиента в наи-более подходящих для них обоих условиях: к примеру, по-пробует скрыться в доме клиента, который как раз заряжает винчестер. Впрочем, каталог возможностей, предлагаемых фирмой, неисчерпаем.

«Бытие» — организация, которой не знала история. Оно и понятно. Брачный компьютер сводил всего только *двух* че-ловек, не заботясь о том, что с ними станет после заключе-ния брака. А «Бытие» должно срежиссировать целые цепи событий, вовлекая в них тысячи людей. Фирма специально оговаривает, что ее настоящие методы в инструкции *не рас-крываются!* Все примеры — чистая фикция! Стратегия ре-жиссуры абсолютно секретна, чтобы клиент никогда не узнал, что с ним случается естественным образом, а что —

благодаря операциям компьютеров «Бытия», незримо пекущихся о его судьбе.

«Бытие» содержит целую армию служащих под видом обычных граждан: шоферов, мясников, врачей, инженеров, домохозяек, грудных младенцев, собак, канареек. Служащие обязаны сохранять анонимность. Тот, кто хоть раз нарушил свое инкогнито, то есть открыл, что он — штатный сотрудник корпорации «Бытие», не только теряет работу, но и преследуется до самой могилы: зная его пристрастия, фирма устроит ему такую жизнь, чтобы он проклял час, когда совершил предательство. На приговор, вынесенный за нарушение служебной тайны, некуда вносить апелляцию, ибо фирма вовсе не утверждает, что сказанное выше — угроза. *Реальные* методы увещевания недобросовестных работников отнесены к числу производственных секретов.

Действительность, изображаемая в романе, отлична от той, что нарисована в рекламной брошюре «Бытия». О самом главном реклама умалчивает. В США действует антимонопольное законодательство, поэтому «Бытие» — не единственный судьбостроитель. У него есть мощные конкуренты, а именно «Hedonistics» («Гедонист») и «Truelife Corporation» (корпорация «Подлинная жизнь»). Это порождает явления, каких не знала история. Если клиенты различных фирм сталкиваются между собой, возникают серьезные трудности при выполнении заказов. Одна из них — тайный паразитизм, ведущий к закамуфлированной эскалации судьботворительных действий.

Допустим, мистер Смит желает блеснуть перед миссис Браун, женой знакомого, которая ему приглянулась, и выбирает по каталогу номер «3966», то есть спасение жизни при крушении поезда. И он, и она не должны потерпеть никакого ущерба, но миссис Браун — только благодаря мужеству Смита. Для этого фирма должна тщательно подготовить крушение и срежиссировать всю ситуацию, чтобы названные лица после серии мнимых случайностей оказались в одном купе; датчики, размещенные в стенах, в полу и подлокотниках кресел, снабдят исходными данными скрытый в туалете компьютер, программирующий операцию, а тот позаботится, чтобы катастрофа разыгралась строго по плану, то есть чтобы Смит *не мог не спасти* миссис Браун. Что бы он ни делал, стенка перевернувшегося вагона будет распорота точно в том месте, где сидит миссис Браун, купе

наполнится едким дымом, и Смиту, чтобы выбраться наружу, придется сначала выпихнуть через образовавшееся отверстие женщину. Тем самым он предотвратит ее гибель от удушья. Операция эта не слишком трудна. Несколько десятков лет назад понадобились целых две армии — компьютеров и специалистов, — чтобы посадить лунный челнок в нескольких метрах от заданной точки, а сегодня эту задачу прекрасно решает один компьютер, располагающий множеством датчиков.

Но если «Гедонист» или «Подлинная жизнь» примут заказ от мужа миссис Браун, который потребует, чтобы Смит оказался трусом и негодяем, возникнут непредвиденные осложнения. Благодаря промышленному шпионажу «Жизнь» узнает о планируемой «Бытием» железнодорожной операции; дешевле всего для нее — подключиться к чужому сценарию; именно в этом и состоит «тайный паразитизм». В момент катастрофы «Жизнь» пустит в ход слабый отклоняющий фактор, и этого хватит, чтобы Смит, выталкивая в дыру миссис Браун, наставил ей синяков, порвал платье, а в довершение слова дал ей обе ноги.

Через свою контрразведку «Бытие» может провести о паразитическом плане и предпринять контрмеры: так начнется эскалация действий. В преворачивающемся вагоне состоится дуэль двух компьютеров — «Бытия» и «Жизни», одного — скрытого в туалете, другого — допустим, под полом вагона. За потенциальным спасителем женщины и за нею самой как потенциальной жертвой стоят два гиганта электроники и организации. За доли секунды разыграется чудовищная битва компьютеров; трудно даже представить себе, какие огромные силы будут брошены в бой, — с одной стороны, для того, чтобы Смит толкал героически и избавительски, а с другой — чтобы трусливо и членовредительски. Благодаря подключению все новых резервов то, что задумывалось как скромная демонстрация мужества и рыцарских качеств, может стать катаклизмом. В хрониках фирм на протяжении девяти лет отмечены две катастрофы подобного рода — так называемые эскары (Эскалации Режиссуры). После второй, которая обошлась вовлеченным в нее сторонам в девятнадцать миллионов долларов, израсходованных в виде электрической, паровой и водной энергии за каких-нибудь 37 секунд, было заключено соглашение о верхней границе энергозатрат. Они не должны превышать  $10^{12}$  джоулей

на клиентоминуту; кроме того, при оказании услуг исключаются любые виды атомной энергии.

На этом фоне разворачивается фабула романа. Новый президент «Бытия», молодой Эд Хаммер III, должен лично рассмотреть вопрос о заказе миссис Джессамин Чест, эксцентричной миллионерши: ее требования, необычайные и каталогом не предусмотренные, выходят за рамки компетенции всех уровней администрации фирмы. Джессамин Чест желает абсолютно подлинной жизни, свободной от каких бы то ни было судьбостроительных вставок; за исполнение своего желания она заплатит любую цену. Эд Хаммер, вопреки советам своих экспертов, принимает вызов; задание, поставленное им перед штабом фирм — срежиссировать полное отсутствие режиссуры, — оказывается самым трудным из всех, какие только приходилось решать. Исследования обнаруживают, что ничего похожего на стихийность и подлинность жизни давно уже нет. Устранение приготовлений режиссуры любого эпизода лишь открывает более глубокий слой — следы другой режиссуры, еще более ранней; несрежиссированных событий нет даже в самом «Бытии». Оказывается, что три конкурирующие фирмы полностью друг друга зарежиссировали, внедрив своих людей в администрацию и наблюдательные советы соперников. Обеспокоенный угрозой, таящейся в этом открытии, Хаммер обращается к президентам двух компаний-соперников; на тайном совещании в качестве экспертов выступают специалисты, имеющие доступ к главным компьютерам. Эта встреча позволяет наконец установить истинное положение дел.

Мало того, что в 2041 году на всей территории США никто уже не может съесть цыпленка, влюбиться, вздохнуть, выпить виски, не выпить пива, кивнуть, моргнуть, плюнуть без верховного электронного планирования, устроившего предустановленную гармонию на годы вперед, но вдобавок корпорации с доходом в три миллиарда каждая в ходе конкурентной борьбы создали, сами того не зная, Единого в Трех Лицах Всемогущего Судьбостроителя. Программы компьютеров отныне — Скрижали Судьбы; делу судьбостроения служит все — от политических партий до метеорологии; и даже появление на свет Эда Хаммера III было следствием определенных заказов, а те, в свою очередь, — еще более ранних заказов. Никто не может ни родиться, ни умереть спонтанно, и никто уже ничего не переживает просто так,

сам по себе: любая мысль, любые тяготы, страхи, страдания суть звенья алгебраической компьютерной калькуляции. Понятия вины и кары, моральной ответственности, добра и зла отныне пусты; полная режиссура жизни исключает любые внебиржевые ценности. В компьютерном раю, созданном благодаря стопроцентному использованию человеческих качеств и свойств, включенных в безотказную систему, не хватало лишь одного — осознания его обитателями истинного положения дел. Так что и встреча трех президентов была запланирована главным компьютером, который, сообщив им все это, рекомендует себя самого как электрифицированное Древо Познания. Что же дальше? Отказаться от безупречно срежиссированного бытия? И снова бежать из рая, дабы «начать все сначала»? Или примириться с ним, раз навсегда сложив с себя бремя ответственности?

Книга не отвечает на этот вопрос. Перед нами метафизический гротеск, фантастичность которого, однако, имеет корни в реальном мире. Если отбросить комические перефразы и крайности авторской фантазии, останется проблема манипулирования умами — такого, при котором сохраняется субъективное ощущение полной естественности и свободы. Все это, конечно, не сбудется так, как в романе, но неизвестно, уберегутся ли наши потомки от иных обликов того же феномена — быть может, не столь увлекательных в описании, но не уверен, что менее удручающих.



Simon Merril  
«SEXPLOSION»  
(Walker and Company—New York)

---

### «СЕКСОТРЯСЕНИЕ»

Если верить автору — а нам все чаще велят верить сочинителям научной фантастики! — нынешнее половодье секса в восьмидесятых годах обернется вселенским потопом. Но действие романа «Сексотрясение» начинается еще двадцатью годами позже — суровой зимой в засыпанном снегом Нью-Йорке. Не названный по имени старец, увязая в сугробах и натываясь на погребенные под снегом автомобили, добирается до вымершего небоскреба, достает из-за пазухи ключ, согретый крохами старческого тепла, отпирает железные ворота и спускается в подвальные этажи; его блуждания перемежаются картинами воспоминаний, — они-то и составляют роман.

Глухое подземелье, по стенам которого пробегает луч карманного фонаря, оказывается то ли музеем, то ли разделом экспозиции (или, вернее, секспозиции) могущественного концерта, свидетельством тех памятных лет, когда Америка еще раз завоевала Европу. Полуремесленная мануфактура европейцев столкнулась с неумолимой поступью конвейерного производства, и постиндустриальный научно-технический колосс быстро одержал победу. На поле боя остались три консорциума: «General Sexotics», «Cybordelics» и «Love Incorporated». Когда объем продукции этих гигантов достиг пика, секс из частного развлечения и групповой гимнастики, из хобби и кустарного коллекционирования превратился в философию цивилизации. Маклюэн, который дожил до тех времен вполне еще бодрым стариком, доказывал в своей «Генитократии», что та-

---

«Sexplosion», 1971

Перевод К. Душенко, 1988, 1995

ково именно и было предназначение человечества, вступившего на путь технического прогресса, что уже античные гребцы, прикованные к галерам, и лесорубы Севера с их пилами, и паровая машина Стефенсона с ее цилиндром и поршнем задали ритм, вид и смысл движений, из которых слагается соитие как основное событие экзистенции человека. Безликий американский бизнес, усвоив премудрости любовных поз Запада и Востока, перековал оковы средневековья в пояса недобродетели, искусства и художества засадил за проектирование копуляторов, мегапенисов, вагинеток, сексариев и порноматов, пустил в ход стерилизованные конвейеры, с которых бесперебойно потекли садомобили, любисторы, домашние содомильники и общественные гоморроботы, а заодно основал научно-исследовательские институты, чтобы те начали борьбу за эмансипацию обоих полов от обязанности продолжения рода.

Отныне секс стал уже не модой, но верой, оргазм — неукоснительным долгом, а счетчики его интенсивности с красными стрелками заняли место телефонов на улицах и в конторах. Но кто же он, этот старец, бредущий подземными переходами из зала в зал? Юриисконсульт «General Sexotics»? Недаром вспоминает он о громких процессах, дошедших в свое время и до Верховного суда, о битве за право тиражирования — в виде манекенов — телесного подобия знаменитостей, начиная с Первой Леди США. «General Sexotics» выиграл (что обошлось ему в двадцать миллионов долларов); и вот дрожащий луч фонарика отражается в пластмассовых коробках, где покоятся кинозвезды первой величины и прекраснейшие дамы большого света, принцессы и королевы в великолепных туалетах — выставляя их в другом виде, согласно постановлению суда, запрещалось.

За какой-нибудь десяток лет синтетический секс прошел путь от простейших надувных моделей с ручным заводом до образцов с автоматической терморегуляцией и обратной связью. Их прототипы давно уже умерли или превратились в согбенных старух, но тефлон, нейлон, порнолон и сексонил устояли перед всемогущим временем, и, словно в музее восковых фигур, элегантные дамы, выхваченные фонариком из темноты, дарят обходящего подземелье старца застывшей улыбкой, сжимая в вытянутой руке кассету со своим сиреным текстом (Верховный суд запретил вкладывать пленку в манекен, но покупатель мог сделать это у себя дома, частным образом).

Медленные, неуверенные шаги одинокого старца вздымают клубы пыли, сквозь которую там, в глубине, розовеют сцены группового эроса — порой с тридцатью участниками, что-то вроде огромных слоеных пирогов или тесно переплетенных калачей. Уж не сам ли президент «General Sexotics» шествует подземными коридорами среди гомороботов и уютных содомильников? Или главный проектировщик концерна, тот, что генитализировал сперва Америку, а потом и остальной мир? Вот визуарии с их пультами, программами и свинцовой plombой цензуры, той самой, из-за которой стороны ломали копья на шести судебных процессах; вот груды контейнеров, готовых к отправке за море, набитых «японскими шариками», коробочками до- и послеласкательного крема и тому подобным товаром, вместе с инструкциями и техпаспортами.

То была эра демократии, наконец-то осуществленной: все могли всё — со всеми. Следуя советам своих штатных футурологов, консорциумы, вопреки антимонопольным законам, втайне поделили между собой мировой рынок и пошли по пути специализации. «General Sexotics» спешила уравнивать в правах норму и патологию; две другие фирмы сделали ставку на автоматизацию. Образцы мазохистских цепов, биялен и молотильников появились в продаже, дабы убедить публику, что о насыщении рынка не может быть и речи, потому что большой бизнес — по-настоящему большой — не просто удовлетворяет потребности, но создает их! Традиционные орудия домашнего блюда разделили судьбу неандертальских кремней и палок. Ученые коллегии разработали шести- и восьмилетние циклы обучения, затем программы высшей школы обесн эротик, изобрели нейросексатор, а за ним глушилки, давилки, особые изоляционные массы и звукопоглотители, чтобы страстные стоны из-за стены не нарушали покой и наслаждение соседей.

Но нужно было идти дальше, все вперед и вперед, решительно и неустанно, ведь стагнация — смерть производства. Уже разрабатывались модели Олимпа индивидуального пользования, и первые андройды с обликом античных богов и богинь штамповались из пластика в раскаленных добела мастерских «Cybordelics». Поговаривали и об ангелах, и даже выделен был резервный фонд на случай тяжбы с церковью. Оставалось решить кос-какие технические проблемы: из чего должны быть крылья; не будет ли оперение шекотать в носу; делать ли модель движущейся, не помешает ли это; как

быть с нимбом; какой выбрать для него выключатель и где его разместить и т.д. Тут-то и грянул гром.

Химическое соединение, известное под кодовым названием «антисекс», синтезировали давно, чуть ли не в семидесятые годы. Знал о нем лишь узкий круг специалистов. Этот препарат, который сразу же был признан тайным оружием, создали в лабораториях небольшой фирмы, связанной с Пентагоном. Его распыление в виде аэрозоля и в самом деле нанесло бы страшный удар по демографическому потенциалу противника; доли миллиграмма было достаточно, чтобы полностью устранить ощущения, сопутствующие соитию. Оно, правда, оставалось возможным, но лишь как разновидность физического труда — и довольно тяжелого, вроде стирки, выжимания или глажения. Подумывали о применении «антисекса» для приостановки демографического взрыва в «третьем мире», но эту затею сочли рискованной.

Как дошло до мировой катастрофы — неизвестно. В самом ли деле запасы «антисекса» взлетели на воздух из-за короткого замыкания и пожара цистерны с эфиром? Или пожар устроили промышленные конкуренты трех гигантов, поделивших мировой рынок? А может, тут была замешана какая-нибудь подрывная, ультраконсервативная или религиозная организация? Ответа мы уже не получим.

Устав от блужданий по бесконечным подземельям, старец усаживается на гладких коленях пластиковой Клеопатры (предусмотрительно нажав перед тем на ее тормоз) и в своих воспоминаниях приближается, словно к пропасти, к великому краху 1998 года. Потребители, все как один, с содроганием отвергли товары, наводнявшие рынок. То, что манило еще вчера, сегодня было как топор для измученного дровосека, как стиральная доска для прачки. Вечные, казалось бы, чары — биологическое заклятие людского рода — развеялось без следа. Отныне грудь напоминала лишь о том, что люди — существа млекопитающие, ноги — что человек способен к прямохождению, ягоды — что есть на чем сидеть. И все! Как же повезло Маклюэну, что он до этой катастрофы не дождал, он, неутомимо толковавший средневековый собор и космическую ракету, реактивный двигатель, турбину, мельницу, солонку, шляпу, теорию относительности, скобки математических уравнений, нули и восклицательные знаки как суррогаты и символы того единственного акта, в котором переживание бытия выступает в чистом виде.

Все переменялось в считанные часы. Человечеству грозило полное вымирание. Началось с экономического краха, рядом с которым кризис 1929 года показался детской забавой. Первой загорелась и погибла в огне редакция «Плейбоя»; оголодавшие сотрудники стриптизных заведений выбрасывались из окон; иллюстрированные журналы, киностудии, рекламные фирмы, институты красоты вылетели в трубу; затрещала по швам парфюмерно-косметическая, а за ней и бельевая промышленность; в 1999 году безработных в Америке насчитывалось 32 миллиона.

Что могло теперь привлечь покупателей? Грыжевой бандаж, синтетический горб, седой парик, трясущиеся фигуры в колясках для парализованных — ведь только они не напоминали о сексуальном усилии, об этом кошмаре, этой каторге, только они гарантировали эротическую неприкосновенность, а значит, покой и отдохновение. Ибо правительства, осознав надвигающуюся опасность, объявили тотальную мобилизацию во имя спасения рода людского. С газетных страниц раздавались призывы к разуму и чувству долга, с телеэкрана служители всех вероисповеданий убеждали паству одуматься, ссылаясь на высшие, духовные идеалы, но публика равнодушно внимала этому хору авторитетов. Уговоры и проповеди, призывавшие человечество превозмочь себя, не действовали. Проку от них не было никакого; лишь японский народ, известный своей исключительной дисциплинированностью, стиснув зубы, последовал этим призывам. Власти испробовали материальные стимулы, награды и премии, почетные медали и ордена, объявили конкурсы на лучшего детороба, а когда и это не помогло, прибегли к репрессиям. Население целых провинций уклонялось от всеобщей детородной повинности, молодежь разбегалась по окрестным лесам, люди постарше предъявляли поддельные справки о бессилии, общественные контрольно-ревизионные комиссии разъедала язва взяточничества; каждый готов был следить, не пренебрегает ли сосед своими обязанностями, но сам отлынивал, как только мог, от каторжной сексуальной работы.

Теперь катастрофа — всего лишь воспоминание, проходящее перед мысленным взором старца, примостившегося на коленях Клеопатры. Человечество не погибло; оплодотворение совершается санитарно-стерильным и гигиеничным способом, почти как прививка. Эпоха тяжелых испытаний сменилась относительной стабилизацией.

Но культура не терпит пустоты, и зияющую пустоту, возникшую в результате сексотрясения, заполнила гастрономия. Гастрономия делится на обычную и неприличную; существуют обжорные извращения и альбомы ресторанной порнографии, а принимать пищу в некоторых позах считается до крайности непристойным. Нельзя, например, вкушать фрукты, стоя на коленях (но именно за это борется секта извращенцев-коленипреклоненцев); шпинат и яичницу запрещается есть с задранными кверху ногами. Но процветают — а как же иначе! — подпольные ресторанички, в которых ценители и гурманы наслаждаются пикантными зрелищами; среди бела дня специально нанятые рекордсмены объедаются так, что у зрителей слюнки текут. Из Дании контрабандой привозят порнокулинарные книги, а в них живописуются такие поистине чудовищные вещи, как поедание яичницы через трубку, между тем как едок, вонзив пальцы в приправленный чесноком шпинат и одновременно обоняя гуляш с красным перцем, лежит на столе, завернувшись в скатерть, а ноги его подвешены к кофеварке, заменяющей в этой оргии люстру. Премию «Фемины» получил в этом году роман о бесстыднике, который сперва натирал пол трюфельной пастой, а потом ее слизывал, предварительно вывалявшись досыта в спагетти. Идеал красоты изменился: всех красивее туша в десять пудов — признак завидной потенции едока. Изменилась и мода: по одежде женщину не отличишь от мужчины. А в парламентах наиболее передовых государств дебатировался вопрос о посвящении школьников в тайны акта пищеварения. Пока что эта зазорная тема находится под строжайшим запретом.

И наконец, биологи вплотную подошли к ликвидации пола — пережитка допотопной эпохи. Плод будут зачинать синтетически и выращивать методами генной инженерии. Из него разовьется бесполой индивид, и лишь тогда придет конец ужасным воспоминаниям, которые еще живы в памяти всех переживших сексотрясение. В ярко освещенных лабораториях, этих храмах прогресса, родится великолепный гермафродит, вернее, беспольник, и человечество, покончив с позорным прошлым, будет без всяких помех объедаться разнообразнейшими плодами — гастрономически запретными, разумеется.

Kuno Mlatje  
«ODYS Z ITAKI»

---

«ОДИССЕЙ ИЗ ИТАКИ»

Автор — американец; полное имя героя романа — Гомер Мария Одиссей; Итака, где он появился на свет, — городишко с четырьмя тысячами жителей в штате Массачусетс. Тем не менее речь идет об экспедиции Одиссея из Итаки, исполненной глубокого смысла и восходящей тем самым к почтенному первообразу. Гомер М. Одиссей предстает перед судом по обвинению в поджоге машины, принадлежащей профессору И.Г.Хатчинсону из Рокфеллеровского фонда. Причины, по которым он *должен* был поджечь машину, он откроет лишь при условии, что профессор лично явится в суд. Когда же это требование удовлетворяется, Одиссей, заявив, что хочет сообщить профессору шепотом нечто крайне важное, кусает его за ухо. Скандал обеспечен; назначенный судом адвокат требует психиатрической экспертизы, судья колеблется, а ответчик произносит речь со скамьи подсудимых, объясняя, что метил в Геростраты, поскольку автомобили — святыни нашей эпохи, а профессора укусил за ухо по примеру Ставрогина, который прославился именно этим. Ему тоже необходима известность — ради денег, которые можно на ней заработать; так он сможет финансировать план, имеющий целью благо человечества.

Эту пламенную речь прерывает судья. Одиссей получает два месяца за уничтожение автомобиля и еще два — за неуважение к суду. Вдобавок его ожидает иск, возбужденный Хатчинсоном, которому он повредил ушную раковину. Одиссей, однако, успевает вручить судебным репортерам

---

«Odis z Itaki», 1971

Перевод К.Душенко, 1995

свою брошюру. Тем самым он добивается своего: пресса будет о нем писать.

Идеи, изложенные в брошюре Гомера М.Одиссея «Поход за золотым руном духа», весьма просты. Прогресс человечества — заслуга гениев, особенно — прогресс мысли; ведь обща можно набрести на способ обтесывания кремня, но нельзя коллективно выдумать ноль. Изобретатель ноля был первым гением в истории человечества. «Возможно ли, чтобы ноль изобрели четыре человека сразу, каждый по четвертушке?» — вопрошает со своим обычным сарказмом Гомер Одиссей. Не в привычках человечества чуткое отношение к гениям. «To be a genius is a very bad business indeed!»\* — замечает Одиссей на своем кошмарном английском. Гениям приходится туго, но не всем одинаково — ибо гений гению рознь. Одиссей предлагает следующую классификацию. Сперва идут гении обыкновенные, дожинные, то есть третьего класса, неспособные шагнуть особенно далеко за умственный горизонт эпохи. Им приходится легче других, нередко они бывают оценены по заслугам и даже добиваются денег и славы. Гений второго класса — гораздо более твердый орешек для современников. Потому и живется таким гениям хуже. В древности их обычно побивали камнями, в средневековые жгли на кострах, позже, в связи с временным смягчением нравов, им позволялось умирать естественной смертью от голода, а порой их даже кормили за общественный счет в приютах для полоумных. Кое-кому из них местные власти подносили яд; многих отправили в ссылку, причем духовные и светские власти рьяно сражались за пальму первенства в «гениоциде», как Одиссей называет разнообразнейшие формы истребления гениев. И все же в конечном счете гениев II класса ожидает признание, то есть загробный триумф. В качестве компенсации их именами называют библиотеки и городские площади, сооружают в их честь фонтаны и монументы, а историки роняют скупые слезы над промашками прошлого. Но сверх того, утверждает Одиссей, существуют — ибо не могут не существовать — гении высшей категории. Второклассных гениев открывает либо следующее поколение, либо одно из позднейших; гениев первого класса не знает никто и никогда, ни при жизни, ни после смерти. Это — открыватели истин настолько неверо-

---

\* Быть гением — никудышный бизнес, право! (англ.)



ятных, глашатаи новшеств настолько революционных, что их абсолютно никто оценить не в силах. Поэтому прочное забвение — обычный удел Гениев Экстракласса. Впрочем, и их менее мощных духом коллег обычно открывают лишь по чистой случайности. В исписанных каракулями бумагах, в которые рыночные торговки заворачивают селедку, обнаруживают какие-то теоремы, поэмы, но стоит их напечатать — и после минутного энтузиазма все идет прежним порядком. Такой порядок долее нетерпим. Ведь утраты, которые несет при этом цивилизация, невосполнимы. Надо учредить Общество охраны гениев первого класса и в его рамках — Исследовательскую группу, которая займется планомерными поисками. Гомер М.Одиссей уже разработал устав Общества, а также проект «Похода за золотым руном духа». Оба документа он разослал многочисленным научным обществам и благотворительным фондам, домогаясь кредитов.

Эти усилия оказались напрасны, и тогда он издал своим иждивением брошюру, первый экземпляр которой с дарственной надписью послал профессору Ивлину Г.Хатчинсону из Научного совета Рокфеллеровского фонда. Не ответив ему, проф. Хатчинсон оказался виновен перед человечеством. Проявленная профессором тупость и некомпетентность свидетельствуют о его несоответствии занимаемому посту; за это надлежало его наказать, что Одиссей и сделал.

Еще во время отсидки Одиссей получает первые пожертвования. Он открывает счет «Похода за золотым руном духа», и, когда выходит на волю, кругленькая сумма в размере 26 528 долларов позволяет ему приступить к организации экспедиции. Одиссей вербует добровольцев через объявления в прессе; на первом же собрании энтузиастов-любителей он произносит речь и вручает им новую брошюру с инструкциями для аргонавтов. Ведь они должны знать, где, как и что, собственно, надо искать. Экспедиция будет носить идейный характер, поскольку — Одиссей не скрывает этого — денег мало, а работы по горло.

*Spiritus flat, ubi vult\**, поэтому даже гении экстракласса могут рождаться среди малых народов, населяющих экзотическую периферию мира. Но гений не открывает себя человечеству лично и непосредственно, выходя на улицу и хватая прохожих за тогу или за пуговицу. Гений действует через

---

\* Дух веет, где хочет (лат.).

компетентных специалистов. Они должны его оценить, окружить почетом и развить его мысли, другими словами, раскачать своего земляка так, чтобы он стал языком колокола, возвещающего начало новой эпохи. Но как обычно, то, что должно быть, как раз и не происходит. Специалисты склонны считать себя кладезем всякой премудрости и готовы учить других, но сами ни у кого не желают учиться. Только если их невообразимо много, в толкучке могут попасться два, а то и три толковых субъекта. Поэтому в небольшой стране гений встретит такой же отклик, что и горох, швыряемый об стену. В странах побольше вероятность распознавания гения выше. Поэтому экспедиции отправятся к малым народам и в города, затерянные в глухих провинциях нашей планеты. Может, там — как знать? — удастся найти не узанных ранее второклассников гениальности. Пример Босковича (Югославия) знаменателен: его открыли задним числом; то, что он писал и мыслил столетия назад, было замечено лишь тогда, когда о чем-то подобном стали мыслить и писать ныне. Такие псевдооткрытия Одиссея не интересуют.

В первую голову надо обшарить все на свете библиотеки, включая отделы инкунабул и рукописей, а особенно — их подвалы и подземелья, где оседает всякий бумажный балласт. Однако ж и там не стоит особенно рассчитывать на успех. На карте, которую Одиссей повесил у себя в кабинете, красными кружками обозначено первоочередное — психиатрические лечебницы. Немалые надежды Одиссей возлагает на раскопки в канализации и выгребных ямах сумасшедших домов прошлого века. Следует также перелопатить свалки возле старых тюрем, перетрясти вместилища отбросов и прочих нечистот, перерыть склады макулатуры; а еще неплохо бы тщательно изучить мусорные кучи, особенно — содержащиеся в них окаменелости, поскольку именно туда попадает все то, что человечество пренебрежительно вымело за скобки своего бытия. Так что доблестные аргонавты должны отправиться за Золотым Руном Духа, преисполненные самоотречения, с киркой, кайлом, ломом, фонариком и веревочной лесенкой, имея, кроме того, под рукой геологические молотки, кислородные маски, сита и лупы. Поиски сокровищ, гораздо более ценных, нежели золото и бриллианты, развернутся в обвалившихся колодцах, в окаменевших экскрементах, в подземельях бывших инквизиций, в покинутых городах, а координировать эту всепланетную деятельность будет Гомер М.Одиссей из своей

штаб-квартиры. Указателем пути, дрожащей стрелкой компаса следует считать любые отголоски слухов и толков о совершенно исключительных крестинах и безумцах, о маниакальных, назойливых чудаках, упрямых олухах и идиотах, поскольку, награждая подобными эпитетами гениальность, человечество реагирует на нее в меру своих природных способностей.

Устроив еще несколько скандалов, принесших пять новых приговоров и 16 741 доллар, и отсидев еще два года, Одиссей перебирается ближе к югу. Он плывет на Мальорку, где будет отныне его штаб-квартира: климат там приятный, а его здоровье серьезно подорвано пребыванием в камере. Он отнюдь не скрывает, что не прочь сочетать общественное благо с личным. Впрочем, коль скоро, согласно его теории, появление гениев I класса возможно повсюду, то почему бы им не быть на Мальорке?

Жизнь аргонатов изобилует необычайными приключениями, которые заполняют немалую часть романа. Одиссей не однажды переживает горькие разочарования, например, когда узнает, что три его любимых соратника, работавших в средиземноморском районе, — агенты ЦРУ, которое использовало поход за Золотым Руном Духа в собственных целях. Другой участник похода, который привозит на Мальорку необычайно ценный документ XVII столетия — труд мамелюка Кардиоха о парагеометрической структуре Бытия, — оказывается фальсификатором. Автор труда — он сам, а так как опубликовать его он нигде не мог, то пробрался в ряды аргонатов, чтобы при помощи Одиссеева фонда привлечь внимание к своим идеям. Взбешенный Одиссей швыряет манускрипт в огонь, выгоняет жулика в шею и лишь потом, поостыв, начинает задумываться, не уничтожил ли он собственноручно творение гения экстракласса?! Допекаемый угрызениями совести, он вызывает автора через газеты — увы, тщетно. Другой исследователь, некий Ганс Цоккер, без ведома Одиссея продает на аукционах необычайно ценные документы, которые он отыскал в старинных книгохранилищах Черногории, и, сбежав с выручкой в Чили, бросается в омут азартных игр. Однако и в руки Одиссея попадает немало необычайных трудов, раритетов, рукописей, числившихся погибшими или вообще неизвестных мировой науке. Так, из Архива древних актов в Мадриде прибывают восемнадцать начальных страниц пергаментного манускрипта середины XVI века, в котором предсказаны, методом «троеполой арифметики», даты рожде-

ния восемнадцати знаменитых мужей науки — совпадающие с датами рождения таких ученых, как Исаак Ньютон, Гарвей, Дарвин, Уоллес, с точностью до *одного месяца!* Химические исследования и экспертизы подтверждают подлинность манускрипта, но что с того, если весь математический аппарат, которым пользовался анонимный автор, погиб? Известно лишь, что в его основу был положен принцип — начисто противоречащий здравому смыслу — о «трех полах» рода людского. Скромным утешением Одиссею служит то обстоятельство, что продажа манускрипта на аукционе в Нью-Йорке серьезнополнила бюджет экспедиции.

После семи лет поисков архивы штаб-квартиры на Мальорке полны самых удивительных рукописей. Есть среди них увесистый том некоего Миралы Эссоса из Беотии, который изобретательностью превзошел Леонардо да Винчи; после него остались проекты логической машины из спинного мозга лягушек; задолго до Лейбница он додумался до идеи монад и предустановленной гармонии; он применил трехценностную логику к некоторым физическим феноменам; он утверждал, что живые существа рождают подобных себе потому, что в их семенной жидкости содержатся письма, написанные микроскопическими буквами, и комбинации таких «писем» определяют строение взрослой особи; все это — в XV веке. Есть в этих архивах формально-логическое доказательство невозможности Теодицеи, основанной на доводах разума, поскольку в основе любой Теодицеи лежит логическое противоречие; автор упомянутого труда, Баубер по прозвищу Каталонец, был сожжен живьем после отсечения конечностей, вырывания языка и вливания в желудок, через воронку, расплавленного свинца. «Контраргументация сильная, хотя и внелогическая, а следовательно, иноплоскостная», — замечает молодой доктор философии, обнаруживший рукопись. Работа Софуса Бриссенгнаде, который, исходя из аксиом «двунулевой арифметики», доказал возможность построения непротиворечивой теории чисто трансфинитных множеств, получила признание научного мира, но и у нее в конце концов нашлись точки соприкосновения с работами современных математиков.

Итак, Одиссей видит, что пока он обнаруживает лишь предвосхитителей, идеи которых позже были переоткрыты, — другими словами, лишь гениев II класса. Но где же следы усилий первоклассников? Сомнения чужды душе

Одиссея — его тревожит лишь опасение, что внезапная смерть (а он уже на пороге старости) не позволит продолжить поиски. Наконец возникает загадка флорентийского манускрипта. Этот найденный в филиале крупной флорентийской библиотеки пергаментный свиток середины XVIII столетия, исписанный загадочными закорючками, поначалу кажется мало кому интересным трудом алхимика-копииста. Но некоторые места напоминают нашедшему рукопись — а это молодой студент-математик — функциональные ряды, в то время, безусловно, никому не известные. Будучи предложен экспертам, трактат оценивается по-разному. Целиком его не понимает никто; одни видят в нем какие-то бредни с редкими проблесками логической ясности, другие — плод болезни; два знаменитейших математика, которым Одиссей посылает фотокопию рукописи, тоже расходятся во мнениях. Один из них, потратив немало труда, расшифровывает эти каракули примерно на треть, заделывая пробелы собственными догадками; он пишет Одиссею, что речь, правда, идет о концепции — как можно предположить — потрясающей, но лишенной какой-либо ценности. «Существующую математику пришлось бы аннулировать на три четверти и снова поставить с головы на ноги, чтобы всерьез принять этот замысел. Ведь это ни больше ни меньше как проект *другой* математики, нежели та, что создана нами. *Лучше* она или *хуже* — сказать не берусь. Возможно, и лучше; но на то, чтобы это узнать, ушла бы целая жизнь сотни лучших ученых, которые стали бы для флорентийского Анонима тем, чем для Евклида были Больяй, Риман и Лобачевский».

Тут письмо выпадает из рук Гомера Одиссея, и с криком «эврика!» он начинает бегать по комнате, глядящей стеклами окон на лазурный залив. В эту минуту Одиссей понимает, что не человечество навсегда потеряло гениев первого класса — это они потеряли человечество, потому что ушли от него. Сказать, что эти гении просто не существуют, было бы мало: с каждым следующим шагом истории они не существуют *все больше и больше*. Творения забытых мыслителей второй категории никогда не поздно спасти. Стоит лишь отряхнуть их от пыли и отдать в типографии или университеты. Но творений первого класса ничто уже не спасет, ибо они стоят в стороне — вне течения истории.

Общими усилиями человечество прокладывает русло в историческом времени. Гений действует на самом краю

русла, у самой кромки, предлагает своему или следующему поколению несколько изменить направление движения, изгиб русла, крутизну склона, глубину дна. Совсем по-иному участвует в работе духа гений первого класса. Он не трудится в первых рядах и не выходит ни на шаг вперед. Он где-то там, вдалеке, — во всяком случае, мысленно. Если он предлагает иной тип математики, философской или естественно-научной систематики, то речь идет об идеях, никак не соприкасающихся с существующими — ни в единой точке! Если он не будет замечен и выслушан первым или вторым поколением, то потом это окажется совершенно невозможно. Тем временем поток человеческого труда и мысли уже успеет проложить себе русло, пойдет в ином направлении, и разрыв между ним и одинокой изобретательностью гения будет возрастать с каждым столетием. Его никем не замеченные и не выслушанные предложения могли, правда, направить иначе развитие искусства, науки, всей мировой истории, но, раз уж этого не случилось, человечество проглядело не только еще одну необычную личность с ее духовным багажом — вместе с нею оно проглядело *иную собственную историю*, и тут ничего не поделаешь. Гении I класса — это пути, оставшиеся в стороне, ныне совершенно мертвые и заросшие, невостребованные выигрыши в лотерее редчайших удач, неистраченные сокровища, в конце концов обратившиеся в прах, в ничто, в пустоту упущенных шансов. Гении поменьше калибром остаются в стремнине истории и видоизменяют ее ход, не отрываясь от общего потока. Оттого-то они и в почете. Другие же, именно потому, что *чересчур велики*, — остаются навеки невидимыми.

Одиссей, потрясенный своим открытием, спешно принимается за новую брошюру, суть которой, изложенная выше, столь же ясна, как и цель Похода. По прошествии тринадцати лет и восьми дней Поход близится к завершению. Труды аргонавтов не прошли впустую: скромный житель Итаки (Массачусетс) опустился в глубины прошлого с горсткой энтузиастов, дабы установить, что единственный ныне живущий гений I класса — Гомер М.Одиссей, ибо величайшего человека в истории лишь столь же великий способен узнать.

Рекомендую книгу Куно Млатье всем тем, кто не думает, что, будь человек лишен пола, не было бы и художественной литературы. На вопрос же, издевается автор над нами или спрашивает дорогу, пусть каждый читатель ответит сам.

Alfred Zellermann  
«GRUPPENFÜHRER LOUIS XVI»  
(Suhrkamp Verlag)

---

«ГРУППЕНФЮРЕР ЛУИ XVI»

«Группенфюрер Луи XVI» — литературный дебют Альфреда Целлермана, известного историка литературы. Ему почти шестьдесят, он доктор антропологии, гитлеризм пережил в Германии, поселившись в деревне у родителей жены; будучи отстранен в то время от работы в университете, был пассивным наблюдателем жизни третьего рейха. Мы берем на себя смелость назвать рецензируемый роман произведением выдающимся, добавив при этом, что, пожалуй, только такой немец, с таким капиталом жизненного опыта — и такими теоретическими познаниями в области литературы! — мог его написать.

Несмотря на название, перед нами отнюдь не фантастическое произведение. Место действия романа — Аргентина первого десятилетия по окончании мировой войны. Пятидесятилетний группенфюрер Зигфрид Таудлиц бежит из разгромленного и оккупированного рейха, добирается до Южной Америки, прихватив с собой обитый стальными полосами сундук, заполненный стодолларовыми банкнотами, — малую толику сокровищ, накопленных печальной памяти академией СС («Ahnenerbe»). Сколотив вокруг себя группу других беглецов из Германии, а также разного рода бродяг и авантюристов, ангажировав для неизвестных пока целей нескольких девиц сомнительного поведения (некоторых Таудлиц лично выкупает из публичных домов Рио-де-Жанейро), бывший генерал СС организует экспедицию в

---

«Gruppenführer Louis XVI», 1971  
Перевод Е.Вайсборта, 1995

глубь аргентинской территории, блестяще подтвердив тем самым свои способности штабного офицера.

В районе, удаленном на сотни миль от ближайших цивилизованных мест, экспедиция находит руины, которым по меньшей мере двенадцать веков, — руины строений, возведенных, вероятно, ацтекскими племенами, и поселяется там. Прельщенные заработками, в это место, нареченное Таудлицем (по неизвестным пока причинам) Паризией, собираются индейцы и метисы со всей округи. Бывший группенфюрер разбивает их на хорошо организованные рабочие команды, за которыми присматривают его вооруженные люди. Проходит несколько лет, и понемногу начинают вырисовываться контуры режима, о котором возмечтал Таудлиц. Он объединяет в своей особе стремление к крайнему абсолютизму с полусумасшедшей идеей воспроизведения — в сердце аргентинских джунглей! — французского государства времен блистательной монархии; себе же он отводит роль новоявленного Людовика XVI.

Хотелось бы сразу отметить, что мы не просто пересказываем содержание романа. Мы сознательно стараемся воссоздать некую хронологию событий, ибо так идея произведения и весь исходный замысел проявляются особенно ярко. Впрочем, мы постараемся в данной работе изложить также главные эпизоды действия, изображенного Альфредом Целлерманом в его эпосе.

Итак, возвращаемся к сюжету: возникает королевский двор с придворными, рыцарями, духовенством, челядью; дворец с часовней и бальными залами, окруженный зубчатыми крепостными стенами, в которые люди Таудлица преобразили почтенные ацтекские руины, перестроив их бессмысленным с точки зрения архитектуры образом. Опираясь на трех беззаветно преданных людей: Ганса Мерера, Йоганна Виланда и Эриха Палацки (они вскоре превращаются соответственно в кардинала Ришелье, герцога де Рогана и графа де Монбарона), новый Людовик ухитряется не только удерживаться на своем поддельном троне, но и формировать жизнь вокруг себя в соответствии с собственными замыслами. При этом — что весьма существенно — исторические познания экс-группенфюрера не просто фрагментарны и полны пробелов; он, собственно, вообще не обладает такими познаниями; его голова забита не столько обрывками истории Франции семнадцатого века, сколько хламом, остав-



шимся со времен детства, когда он зачитывался романами Дюма, начиная с «Трех мушкетеров». Позже, будучи юношей с «монархическими» (по его собственному разумению, а в действительности лишь садистскими) наклонностями, он поглощал книги Карла Мая. А так как впоследствии на воспоминания о прочитанном наложилась куча низкопробных бульварных романов, он воплощает в жизнь не историю Франции, а лишь грубо примитивизированную, откровенно кретинскую галиматью, которая заменила ему эту историю и стала его символом веры.

Собственно, насколько можно судить по многочисленным деталям и упоминаниям, разбросанным по всему произведению, Таудлиц выбрал гитлеризм только по необходимости: в тогдашней ситуации он максимально ему подходил, наиболее соответствовал его «монархическим» мечтам. Гитлеризм в его глазах приближался к средневековью, правда, не совсем так, как ему хотелось бы. Во всяком случае, нацизм был ему милее любой формы демократического строя. Однако, тайно лелея и пестуя в третьем рейхе свой собственный «сон о короне», Таудлиц никогда магнетизму Гитлера не поддавался, в его доктрину так и не уверовал, а посему и не собирался оплакивать падение «Великой Германии». Просто, будучи достаточно прозорливым, чтобы вовремя предвидеть поражение «тысячелетней империи», Таудлиц, никогда не отождествлявший себя с элитой третьего рейха (хотя и принадлежавший к ней), подготовился к разгрому как полагается. Приверженность культу Гитлера не была самообманом; Таудлиц десять лет разыгрывал циничную комедию, потому что имел свой собственный «миф», который придавал ему иммунитет против мифа гитлеровского. Не секрет, что некоторые приверженцы «Майн кампф», принимавшие доктрину всерьез, позже отшатнулись от Гитлера, как это, например, случилось с Альбертом Шпеером. Таудлиц же, будучи человеком, который каждый день исповедовал предписанные на этот именно день взгляды, никакой ересью заразиться не мог.

Таудлиц до конца и без оговорок верит только в силу денег и насилия; знает, что с помощью материальных благ людей можно склонить к тому, что запланирует щедрый хозяин, лишь бы он сам был достаточно твердым и последовательным в соблюдении единожды установленных порядков. Таудлиц поставил свой фарс так, что любому непредубеж-

денному зрителю с первого взгляда видна вся тупость, пошлость и безвкусица разыгрываемых сцен, но его абсолютно не интересует, принимают ли всерьез это представление его «придворные», эта пестрая толпа, состоящая из немцев, индейцев, метисов, португальцев. Ему безразлично, верят ли эти актеры в разумность двора Людовиков и в какой степени верят или только играют свои роли в комедии, рассчитывая на мзду, а может быть, и на то, что после смерти владыки удастся растащить «королевскую казну». Такого рода проблемы для Таудлица, по-видимому, не существуют.

Жизнь придворного сообщества отдает такой откровенной фальшью, что у наиболее прозорливых людей из прибывших в Паризию позже, а также у тех, кто собственными глазами видел становление псевдомонарха и псевдознати, не остается никаких иллюзий. Поэтому, особенно в первое время, королевство напоминает существо, шизофренически разодранное надвое: то, что болтают на дворцовых аудиенциях и балах, особенно вблизи Таудлица, никак не совпадает с тем, что говорят в отсутствие монарха и трех его наушников, сурово (даже пытками) проводящих в жизнь навязанную игру. А игра эта блистает великолепием отнюдь не фальшивым, потому что потоки караванов, оплачиваемых твердой валютой, позволяют за двадцать месяцев возвести дворцовые стены, украсить их фресками и гобеленами, покрыть паркет изумительными коврами, уставить покои зеркалами, золочеными часами, комодами, проделать тайные ходы и заложить тайники в стенах, оборудовать альковы, галерси, террасы, окружить замок огромным, великолепным парком, а затем — частоколом и рвом. Каждый немец здесь — надзиратель над индейцами-рабами (это их трудом и потом создано искусственное королевство), он одет, как рыцарь семнадцатого века, однако при этом носит за золоченым поясом армейский пистолет системы «парабеллум» — окончательный аргумент в спорах между феодализирующимся долларовым капиталом и трудом.

Монарх и его приближенные медленно, но систематически ликвидируют все, что может разоблачить фиктивность двора и королевства: прежде всего возникает специальный язык, на котором разрешено формулировать сведения, поступающие извне. Причем эти формулировки должны скрывать — иначе говоря, не называть — несuverенность монарха и трона. Например, Аргентину именуют не иначе как Испа-

нией и рассматривают как соседнее государство. Понемногу все настолько вживаются в свои роли, привыкают так свободно чувствовать себя в роскошных одеяниях, так ловко пользоваться мечом и языком, что фальшь как бы уходит вглубь, в основы и корни этого здания, этой живой картины. Она по-прежнему остается бредом, но теперь уже бредом, в котором пульсирует кровь подлинных желаний, ненависти, споров, соперничества, ибо на фальшивом дворе разворачиваются подлинные интриги — одни придворные пытаются одолеть других, чтобы занять их места подле короля; то есть сплетня, яд, донос, кинжал начинают свою скрытую, совершенно реальную деятельность. Однако монархического и феодального элемента во всем этом по-прежнему содержится ровно столько, сколько Таудлиц, этот новоявленный Людовик XVI, сумел втиснуть в свой сон об абсолютной власти, реализуемый ордой бывших эсэсовцев.

Таудлиц предполагает, что где-то в Германии живет его племянник, последний отпрыск рода — Бертран Гюльзенхирн, которому в момент поражения Германии было тринадцать лет. На поиски юноши (теперь ему двадцать один) Людовик XVI отправляет герцога де Рогана, то бишь Иоганна Виланда, единственного «интеллектуала» в свите: Виланд в свое время был эсэсовским врачом и в концлагере Маутхаузен проводил «научные работы». Сцена, в которой король дает врачу секретное поручение отыскать юношу и доставить его ко двору в качестве инфанта, одна из лучших в романе. Почти сумасшедший привкус ее состоит в том, что король сам себе не признается в обмане: он как будто озабочен своей бездетностью. Ему удастся удержать взятый тон. Правда, он не знает французского, но, пользуясь немецким, утверждает в нужных случаях (как и все следом за ним), что говорит именно по-французски, на языке Франции семнадцатого века.

Это не сумасшествие: теперь сумасшествием было бы признаться, что ты немец, пусть даже только по языку; Германии вообще не существует; единственным соседом Франции является Испания (то есть Аргентина)! Тот, кто отважится произнести что-либо по-немецки, дав при этом понять, что говорит именно на этом языке, рискует жизнью: из беседы архиепископа Паризи и дюка де Салиньяка можно понять (т.1, стр.311), что герцог Шартрез, обезглавленный по обвинению в государственной измене, всего-на-

всего по пьянке назвал дворец не просто борделем, но борделем немецким. Кстати, обилие в романе французских фамилий, живо напоминающих названия коньяков и вин — взять, к примеру, маркиза Шатонеф дю Папа, церемониймейстера! — несомненно, следствие того, что (хотя автор нигде об этом не говорит) в памяти Таудлица по вполне понятным причинам засело больше названий ликеров и водок, нежели фамилий французских дворян.

Обращаясь к своему посланцу, Таудлиц разговаривает с ним так, как, по его представлениям, обращался бы к доверенному лицу Людовик, отправляя его с подобной миссией. Он не приказывает скинуть фиктивные одежды герцога, но «рекомендует» переодеться англичанином либо голландцем, что попросту означает — принять нормальный современный вид. Слово «современный», однако, не может быть произнесено — оно принадлежит к разряду тех, что могут раскрыть фиктивность королевства. Даже доллары здесь всегда называют талерами.

Прихватив солидное количество наличных, Виланд едет в Рио, где действует торговый агент «двора»; достав добротные фальшивые документы, посланец Таудлица плывет в Европу. О перипетиях поисков племянника роман умалчивает. Мы узнаем только, что одиннадцатимесячные труды увенчиваются успехом, и роман, в сущности, начинается со второй уже беседы между Виландом и молодым Гюльзенхирном, который работает кельнером в ресторане крупного гамбургского отеля. Бертран (это имя ему будет разрешено сохранить: по мнению Таудлица, оно звучит хорошо) вначале слышит только о дяде-кресте, который готов усыновить его, и этого достаточно, чтобы он бросил работу и поехал с Виландом. Путешествие этой оригинальной пары, как интродукция романа, отлично выполняет свою задачу, поскольку речь идет о таком перемещении в пространстве, которое одновременно является как бы отступлением во времени: путешественники пересаживаются с трансконтинентального реактивного самолета в поезд, потом в автомобиль, из автомобиля в конный экипаж и, наконец, последние 230 километров преодолевают верхом.

По мере того как ветшает гардероб Бертрана, «исчезают» его запасные рубашки, и он облачается в архаичные одежды, предусмотрительно припасенные и при случае подсовываемые ему Виландом, причем сам Виланд постепенно преоб-

ражается в герцога де Рогана. По мере того как Виланд, явившийся в Европу под именем Ганса Карла Мюллера, трансформируется в вооруженного псевдорыцаря герцога де Рогана, аналогичное превращение, по крайней мере внешнее, происходит и с Бертраном.

Бертран ошеломлен и ошарашен. Он ехал к дяде, о котором знал, что это хозяин огромных владений; он бросил профессию кельнера, чтобы унаследовать миллионы, а взамен ему приходится разыгрывать не то комедию, не то фарс, суть и цель которых он не в состоянии уразуметь. От поучений Виланда — Мюллера — де Рогана сумбур в его голове только возрастает. Иногда ему кажется, что спутник просто смеется, приоткрывая перед ним фрагмент за фрагментом непонятной аферы, полный объем которой Бертран пока ни охватить, ни понять не может; придет час, когда юноша будет близок к сумасшествию. При этом поучения ни о чем не говорят «в лоб», не называют вещи своими именами; эта инстинктивная мудрость является общим свойством двора.

«Надо, — заявляет Мюллер, преображаясь в герцога, — придерживаться формы, соблюдения которой требует дядя («ваш дядюшка», потом «Его Светлость», наконец, «Его Величество»!), имя его Людовик, а не Зигфрид — последнее запрещено произносить. Он отверг его — и быть по сему». «Имение» превращается в «латифундию», а «латифундия» в «государство» — и так шаг за шагом в долгие дни верховой езды сквозь джунгли, а в последние часы в золоченом паланкине, который несут восемь нагих мускулистых метисов, Бертран видит из-за занавески колонну конных рыцарей в шишаках и убеждается в правильности слов загадочного спутника. Потом Бертран начинает подозревать в сумасшествии самого Мюллера и уповает уже только на встречу с дядей, которого, кстати, почти не помнит — последний раз он видел его, будучи девятилетним мальчонкой. Но встреча оборачивается изумительным, эффектным торжеством, неким конгломератом церемоний, обрядов и ритуалов, о которых Таудлиц читался в детстве. Поет хор, играют серебряные фанфары, появляется король в короне, предваряемый лакеями, которые протяжно возглашают: «Король! Король!» — и распахивают перед ним резные двустворчатые двери. Таудлица окружают двенадцать «пэров королевства» (которых он по ошибке позаимствовал не там, где следовало), и, наконец, наступает возвышенная минута — Луи XVI

осеняет племянника крестом, нарекает инфантом и дает облобызать перстень, руку и скипетр. Когда же они вдвоем усаживаются завтракать и их обслуживают выраженные в ливреи индейцы, Бертран, изумленно глядя на эту роскошь, на далекую полосу дивно зеленых джунглей, окружающих владения «короля», просто не решается спросить дядю о чем-либо и, выслушивая его мягкие поучения, начинает именовать дядю «Ваше Величество». «Так надо... того требуют высшие соображения... в этом заинтересованы и я и ты...» — милостиво объясняет ему группенфюрер СС в короне.

Разумеется, бывшие жандармы, лагерные надзиратели и врачи, водители и башенные стрелки бронетанковой дивизии СС «Великая Германия», изображающие придворных, герцогов и духовенство двора Людовика XVI, — это такая кошмарная, такая сумасшедшая смесь, в такой степени не соответствующая неписанным ролям, в какой это вообще возможно.

Необычность этой книги проистекает из того, что в ней сочетаются элементы, кажущиеся совершенно несоединимыми. Перед нами лживая истина и правдивая ложь — то есть нечто такое, что одновременно является и правдой и ложью. Если бы придворные Таудлица только разыгрывали бы свои роли, бубня наизусть тексты, — это был бы всего лишь мертвый кукольный спектакль; однако каждый из них настолько сжился с этим спектаклем, что даже когда после приезда Бертрана они начинают плести против Таудлица заговор, то все равно оказываются не в состоянии отойти от навязанной схемы. Их заговор выглядит психопатической мшаниной и напоминает торт с вареньем, макаронами и мышинными трупиками, фаршированными орешками.

Впрочем, если гитлеровским живодерам и тошно было напяливать на себя кардинальский пурпур, епископские одеяния и золоченые доспехи, то уж наверняка с меньшим неудовольствием — ибо это было забавно — они переименовывали проституток, взятых из матросских борделей, в своих супруг — герцогинь, виконтесс и графинь-наложниц, если дело касалось духовенства короля Людовика. Купаясь в фальшивом величии, эти твари любовались и кичились собой, стремясь приблизиться к собственному идеалу блистательной персоны.

Страницы романа, где говорится о бывших палачах в кардинальских митрах и кружевных жабо, представляют собою изумительную по силе демонстрацию психологического мас-

терства автора. Эта голь ухитряется выжать из своего положения утехи, чуждые истинному аристократизму, и наслаждения, вдвойне усиленные оттенком облагороженного или даже узаконенного преступления. Известно, что преступник пожинает плоды зла с наивысшим удовольствием только тогда, когда творит зло с сознанием своей правоты; этих штатных спесцов концлагерного садизма восхищает возможность повторить былые дела в ореоле и славе изысканного великолепия, как бы усиливающего гнусное действие; именно поэтому, творя мерзости, они уже по собственной воле стараются хотя бы на словах не выйти из епископской или герцогской роли. Самые тупые из них, например Мерсер, завидуют герцогу де Рогану, который ухитряется объявить измывательства над индейскими детьми «действом» со всех точек зрения «придворным», в высшей степени приличествующим дворянину (кстати, в полном соответствии с основной идеей они именуют индейцев неграми, потому что раб-негр «лучше соответствует стилю»).

Нам понятно, почему Виланд (герцог де Роган) домогается кардинальской митры; только кардинальского сана ему и недостает, чтобы иметь возможность заниматься своими вырожденческими «шалостями» — в качестве одного из наместников самого Господа Бога на земле. Правда, Таудлиц отказывает ему в посвящении, словно понимает, какая бездна мерзости стоит за мечтой Виланда. Таудлица в этой игре привлекает другое: он хочет забыть о своем эзесовском прошлом — ведь у него был «иной сон, иной миф», он жаждет истинного королевского пурпура. Таудлиц ничуть не лучше Виланда, просто его занимает другое, ибо он стремится к трансфигурации пусть невозможной, но абсолютной. Отсюда «пуританство короля», которое так не нравится его ближайшему окружению.

Что до придворных, то мы видим, как вначале они по разным причинам стараются играть свою роль, а позже вдесятером принимаются плести сети заговора против монарх-группенфюрера, стремясь лишить его сундука, набитого долларами, а может, и убить — им так не хотелось расставаться с сенаторскими креслами, титулами, орденами, званиями. Безвыходный лабиринт. Ловушка. Порой они уже и сами верят в реальность своего немыслимого положения, поскольку немыслимость эта в высшей степени пришлась им по душе. Мешала же им лишь беспощадная жестокость Таудлица как монарха: не лезь из него ежеминутно группен-

фюрер СС, не давай он им — молча! — чувствовать, что все они зависят от него, от акта его воли и минутной милости, то, вероятно, дольше продержалась бы Франция Анжу на территории Аргентины. Актеры теперь ставили в вину режиссеру недостаточную достоверность спектакля; эта банда хотела быть более монархичной, чем допускал сам монарх...

Естественно, все ошибались, потому что не могли сравнить себя в этих ролях с истинной пышностью подлинного блистательного двора. Разумеется, этих тварей немного утомляют спектакли, которые они вынуждены разыгрывать, а уж труднее всех достается тем, кто призван изображать высшее духовенство римско-католической церкви.

Католиков в колонии нет, о какой-либо религиозности бывших эсэсовцев нечего и говорить; поэтому повелось, что так называемые молебны в дворцовой часовне чрезвычайно коротки и сводятся к чтению нараспев библейских псалмов; кос-кто предлагал монарху вообще ликвидировать богослужение, но Таудлиц оказался неумолим; впрочем, оба кардинала, архиепископ Паризии и остальные епископы именно тем и «оправдывают» свои высокие титулы, что несколько минут в неделю посвящают богослужению — чудовищной пародии на мессу. Это дает им основание, прежде всего в собственных глазах, занимать высокие духовные посты; они проводят у алтарей считанные минуты, чтобы потом часами компенсировать их в попойках и под пышными балдахинами чужих супружеских кроватей. Сюда же относится и затея с кинопроекторным аппаратом, привезенным (без ведома короля!) из Монтевидео: в дворцовом подземелье показывают порнографические фильмы, причем функции киномеханика выполняет архиепископ Паризии (он же бывший шофер гестапо Ганс Шефферт), а помогает ему кардинал де Сотерне (экс-интендант); эпизод этот одновременно дявольски комичен и достоверен, как все остальные элементы трагифарса, который и существовать-то может только потому, что ничто не в состоянии разрушить его изнутри.

У этих людей все со всем согласуется, все ко всему подходит, да это и неудивительно: достаточно показательны, например, воспоминания некоторых из них — разве комендант третьего блока Маутхаузена не владел «самой большой коллекцией канареек во всей Баварии», о которой он теперь с тоской вспоминает, и разве не пробовал он кормить своих пташек так, как советовал один капо, утверждавший, что ка-



нарейки лучше всего поют, если их кормят человеческим мясом? Итак, перед нами преступление, творимое на таком уровне неосознанности, что, по сути, следовало бы говорить о *невинных* бывших убийцах — если бы только критерий преступности человека основывался исключительно на самодиагнозе, на самостоятельном распознавании вины. Быть может, кардинал де Сотерне в некотором смысле знает, что настоящий кардинал ведет себя не так, как он; настоящий, конечно же, верит в Бога и, скорее всего, не насилует индейских детей, прислуживающих в стихарях во время мессы, но, поскольку в радиусе четырехсот миль наверняка нет ни одного другого кардинала, такого рода мысли отнюдь не досаждают де Сотерне.

Ложь, питаемая ложью, рождает поразительное многообразие форм. Гениальность Таудлица — если так можно сказать — и состоит в том, что ему достало смелости и настойчивости захлопнуть созданную им систему.

Эта система, поразительно ущербная, функционирует исключительно благодаря своей замкнутости, поскольку любое проникновение реального мира было бы для нее смертельной угрозой. Именно такую угрозу представляет собою юный Бертран, который, однако, не находит в себе сил назвать вещи своими именами. Бертран боится принять то — самое простое — объяснение, которое все ставит с головы на ноги. Ординарная, тянущаяся годами, систематическая, насмехающаяся над здравым смыслом ложь? Нет, не может быть; уж скорее — всеобщая паранойя либо какая-то непонятная таинственная игра на рациональной основе, имеющая реальные мотивы; все что угодно, только бы не чистая ложь, самоувлеченная, самолюбующаяся, самораздувшаяся.

И тогда Бертран капитулирует; позволяет вырядить себя в одежды наследника трона, выучить дворцовому этикету, то бишь тому рудиментарному набору поклонов, жестов, слов, который кажется ему поразительно знакомым, что неудивительно: ведь и он читал бульварные романы и псевдоисторические повести, которые были источником вдохновения короля и его церемониймейстера. Но все же Бертран сопротивляется, хотя и не отдает себе отчета, насколько его инертность, безразличие, раздражающие не только придворных, но и короля, вскрывают его сопротивление такой ситуации — толкающей к тихому помешательству. Бертран не хочет захлебнуться во лжи, хотя сам не понимает, откуда исходит

его сопротивление, и на его долю достаются насмешки, иронические замечания, величественно-кретинские выпады — особенно во время второго большого пиршества, когда король, разъяренный подтекстом внешне вялых речей Бертрана, речей, смысл которых поначалу скрыт и от самого юноши, начинает в припадке истинного гнева кидать в него кусками жаркого, причём часть пирующих одобряет разъяренного монарха — с поощрительным гоголом они бросают в бедолагу Бертрана жирными костями, хватая их с серебряных подносов; другие настороженно молчат, они думают, не пыгается ли Таудлиц на свой излюбленный манер устроить присутствующим ловушку и не действует ли он в сговоре с инфантом?

Труднее всего здесь отобразить суть — то, что при всей тупости игры, при всей пошлости представления, которое, нскогда начавшись «лишь бы как», обрело такую силу, что никак не желает кончаться, а не желает, потому что не может, а не может, потому что иначе невольных актеров ожидает уже только абсолютное *ничто* (они уже не могут не быть епископами, герцогами, маркизами, поскольку для них нет возврата на роли шоферов гестапо, стражников крематория, комендантов концлагерей, — да и король, даже пожелай он того, не смог бы вновь превратиться в группенфюрера СС Таудлица), при всей, повторяем, банальности и чудовищной пошлости этого государства и двора в нем, однако, вибрирует единым чутким нервом та беспрестанная хитрость, та взаимная подозрительность, которая только и позволяет разыгрывать в фальшивых декорациях истинные битвы, устраивать подвохи, подкапываться под фаворитов трона, строчить доносы и молчком отхватывать для себя хозяйские милости; однако на деле не сами кардинальские митры, орденские ленты, кружева, жабо, латы есть цель этой кротовьей возни, интриг — в конце концов какой прок участникам сотен битв и вершителям тысяч убийств от внешних знаков фиктивной славы? Нет, именно сами эти подкопы, мошенничества, капканы, само *стремление* ошельмовать противников в глазах короля, заставить их сбросить фальшивые одежды становится величайшей всеобщей страстью...

Лавирование, поиск нужных ходов на дворцовом паркете, эта непрекращающаяся бескровная (исключение — подземелья дворца) битва и есть суть их бытия; для них полно смысла действо, достойное разве что безусых сопляков, — но не мужчин, знающих цвет крови... Меж тем несчастный

Бертран уже не может оставаться один на один со своей невысказанной дилеммой; как тонущий хватается за соломинку, так и он ищет родственную душу, которой мог бы поверить сомнения, нарастающие в нем.

Бертран — еще одна заслуга автора! — понемногу превращается в Гамлета этого спятившего двора. Он инстинктивно чувствует себя здесь последним праведником («Гамлета» он не читал никогда), поэтому считает, что должен сойти с ума. Он не обвиняет всех в цинизме — для этого в нем слишком мало интеллектуальной отваги; Бертран, сам того не ведая, хочет лишь одного: говорить то, что постоянно жжет ему язык и просится на уста. Он уже понимает, что нормальному человеку это не пройдет безнаказанно. А вот если он спятит — о, тогда другое дело. И Бертран начинает симулировать сумасшествие, с холодным расчетом, словно шекспировский Гамлет; не как простак, наивный, немного истеричный, — нет, он пытается сойти с ума, искренне веря в необходимость собственного помешательства! Только тогда он сможет произносить слова правды, которые его душат... Но герцогиня де Клико, старая проститутка из Рио, у которой слюнки текут при виде молодого человека, затаскивает его в постель и, обучая тонкостям любовной игры, которые она во времена негерцогского прошлого переняла у нской бордель-маман, сурово предостерегает его, чтобы он не говорил того, что может стоить ему жизни. Она-то отлично знает, что снисхождения к безответственности душевнобольного здесь не найдешь; по сути дела, как мы видим, старуха желает добра Бертрану. Однако беседа под одеялом, естественно, не может разрушить планов уже дошедшего до предела Бертрана. Либо он сойдет с ума, либо сбежит; если вскрыть подсознание бывших эсэсовцев, вероятно, оказалось бы, что память о реальном мире с его заочными приговорами, тюрьмами и трибуналами является той невидимой силой, которая заставляет их продолжать игру; но Бертран, у которого такого прошлого нет, продолжения не желает.

Меж тем упоминавшийся нами заговор переходит в фазу действия; уже не десять, а четырнадцать придворных, готовых на все, нашедших сообщника в начальнике дворцовой стражи, после полуночи врываются в королевскую опочивальню. И здесь в кульминационный момент — мина замедленного действия! — оказывается, что настоящие доллары давным-давно истрачены, под пресловутым «вторым дном

сундука» остались одни фальшивые. Король отлично знал об этом. Выходит, не из-за чего копья ломать, но мосты сожжены: заговорщики вынуждены убить короля, связанного и бессильно глядящего, как убийцы перетряхивают извлеченную из-под ложа «сокровищницу». Вначале они собирались его убить, чтобы избежать погони, не допустить расплаты, теперь же убивают из ненависти, за то, что он соблазнил их фальшивыми сокровищами.

Если б это не звучало так мерзко, я сказал бы, что сцена убийства написана изумительно; по совершенству рисунка виден мастер. Чтобы отыграться на старике, добить его помучительней, они, прежде чем удавить его шнурком, рычат и лают на языке гестаповских поваров и шоферов, — на том самом языке, что был проклят, обречен на вечное изгнание из королевства. И пока тело удушаемого еще бьется в конвульсиях на полу, убийцы, поостыв, *возвращаются* к придворному языку — помимо собственной воли — лишь потому, что у них уже нет иного выхода: доллары фальшивые, не с чем и незачем убежать. Таудлиц опутал их по рукам и ногам и, хоть и мертвый, не выпустит никого из своего королевства. Им не остается ничего иного, как продолжать игру в соответствии с изречением: «Король умер — да здравствует король!» — и тут же над трупом они выбирают нового короля.

Следующая глава (Бертран, укрытый у своей «герцогини») значительно слабее. Но последняя глава, описывающая, как разезд конной аргентинской полиции добирается до дворцовых стен — это гигантская немая сцена, заключительная в романе, — представляет собою отличное его завершение. Разводной мост, полицейские в измятых мундирах с кольцами на ремнях, в широкополых шляпах, загнутых с одной стороны, а напротив них — стражи в полупанцирях и кольчугах, с албардами, в изумлении глядящие одни на других, словно два времени, два мира, противоестественно сошедшиеся вместе... по двум сторонам решетки, которая начинает медленно, тяжело, с адским скрежетом подниматься... Финал, достойный всего романа! Но своего Гамлета — Бертрана — автор, увы, потерял, не использовав больших возможностей, заложенных в этой фигуре. Я не говорю, что его следовало умертвить — в этом Шекспир не может быть непрекаемым образцом, — но жаль утерянной возможности показать не осознающее себя величие, которое спит в каждом нормальном, доброжелательном к миру человеческом сердце. Очень жаль.

Cesar Kouska  
«DE IMPOSSIBILITATE VITAE»  
«DE IMPOSSIBILITATE PROGNOSENDI»  
(т. 1—2)  
(*Praha, Statni Nakladatelstvi N. Lit.*)

**«О НЕВОЗМОЖНОСТИ ЖИЗНИ»**  
**«О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ»**

Автор, поименованный на обложке Цезарем Коуской, подписывает предисловие уже как Бенедикт Коуска. Ошибка набора, недосмотр корректуры или же намеренное — хотя и непонятное — коварство? Лично мне симпатичнее имя Бенедикт, его-то я и буду придерживаться. Итак — профессору Б.Коуске я обязан несколькими приятнейшими часами своей жизни, проведенными за чтением его труда. Здесь излагаются взгляды, безусловно противоречащие научной ортодоксии; в то же время и речи нет о чистом безумии; книга находится на полпути между тем и другим, в той промежуточной зоне, где нет ни дня, ни ночи, а разум дает поблажку фантазии, однако же не настолько, чтобы впасть в бессмыслицу.

Профессор Коуска написал книгу, в которой доказывает неизбежность такой постановки вопроса: либо теория вероятностей, на которой покоится естествознание, в корне неверна, либо никакого животного мира во главе с человеком не существует. Во втором томе профессор доказывает: чтобы прогностика, или футурология, перестала быть чистой иллюзией, намеренным или ненамеренным очковтирательством и стала реальностью, эта научная дисциплина должна отказаться от теории вероятностей в пользу совершенно новой теории, основанной, как пишет Коуска, «на антиподиальных

---

«De Impossibilitate Vitae»; «De Impossibilitate Prognoscendi», 1971  
Перевод К. Душенко, 1995

аксиомах базовой теории распределения фактуально небыточных ансамблей в пространственно-временном континууме высшего порядка» (эта цитата, кстати, показывает, что чтение книги — в ее теоретической части — связано с известными трудностями).

Бенедикт Коуска начинает с того, что теория эмпирической вероятности изначально дефектна. К понятию вероятности мы прибегаем, когда не знаем чего-либо с полной уверенностью. Но неуверенность эта носит либо чисто субъективный характер (я не знаю, что произойдет, но кто-то другой, возможно, и знает), либо объективный (никто не знает и знать не может). Субъективная вероятность — это протез при информационном увечье; не зная, какая лошадь возьмет приз, и угадывая лишь по числу лошадей (если их четыре, то у каждой один шанс из четырех на победу), мы поступаем, как слепой в комнате, заставленной мебелью. Вероятность подобна трости слепца, которой он нащупывает дорогу. Если бы он видел, то не нуждался бы в палке, а если бы я знал, какая лошадь рзвсс всех, то не нуждался бы в теории вероятностей. Как известно, спор о том, объективно или субъективно понятие вероятности, делит научный мир на два лагеря. Одни признают существование обоих родов вероятности, о которых сказано выше, другие — лишь субъективную вероятность, поскольку, чему бы ни предстояло случиться, *мы* не можем с достоверностью об этом узнать. Итак, одни полагают, что непредсказуемость будущих событий характеризует лишь наши знания о них, другие — что сами эти события.

То, что случается, если на самом деле случается, — то и случается; таков главный тезис профессора Коуски. Вероятность появляется лишь там, где нечто еще не успело случиться. Так утверждает наука. Но любому понятно, что если пули двух дуэлянтов расплющиваются друг о друга в полете, или вы ломаете зуб о перстень, уроненный вами в море шесть лет назад и проглоченный как раз той рыбой, что подана к столу, или во время осады города на складе кухонной утвари звучит, в темпе три четверти, сонатина си-бемоль мажор Чайковского, исполняемая шрапнелью, которая тюкает по большим и малым кастрюлям в точном согласии с партитурой, — что все это, если бы и случилось, крайне маловероятно. Наука по этому поводу говорит, что подобные факты содержатся — хотя и с мизерной частотой — в математическом множестве событий данного рода, то есть во множестве

всех дуэлей, во множестве поедания рыб и нахождения в них потерянных когда-то вещей, а также во множестве обстрелов посудных лавок шрапнелью.

Но наука, продолжает профессор Коуска, просто морочит нам голову, поскольку рассуждения о таких множествах — чистая фикция. Теория вероятностей только и может, что вычислить, как долго придется ждать некоего события с определенной, крайне малой вероятностью, или сколько раз пришлось бы стреляться на дуэли, терять перстни и палить по кастрюлям, чтобы сбылись упомянутые выше невероятности. Но все это вздор — чтобы произошло нечто крайне маловероятное, вовсе не нужно, чтобы множество событий, к которому оно принадлежит, представляло собой непрерывную серию. Если я бросаю десять монет разом, зная, что вероятность выпадения одновременно десяти орлов или десяти решек составляет лишь  $1:1024$ , мне вовсе не обязательно бросать по меньшей мере 1024 раза, чтобы вероятность выпадения десяти орлов или решек стала равна единице. Ведь я всегда могу сказать, что мои бросания — продолжение эксперимента, в который входят все прошлые бросания десяти монет сразу. За последние пять тысяч лет их было, конечно, без счета, и я, собственно, вправе ожидать, что с первого же раза выпадут сплошные орлы или решки. Между тем, говорит профессор Коуска, попробуйте-ка построить свои ожидания на этом выводе! С научной точки зрения он совершенно логичен, ведь, как ни бросай — безостановочно или делая минутные перерывы, чтобы съесть кнедик или опрокинуть рюмку в трактире, и даже если бросать будет не один человек, а всякий раз новый, и не в один день, а раз в неделю или в год, — все это никак не влияет на распределение вероятностей; поэтому то обстоятельство, что десять монет бросали уже финикийцы, сидя на бараньих шкурах, и греки, спалив Трою, и римские сутенеры эпохи Империи, и галлы, и германцы, и остготы, и турки, перегоняя пленников в Стамбул, и торговцы коврами в Галате, и те, что торговали детишками после крестового похода детей, и Ричард Львиное Сердце, и Робеспьер, и десятки тысяч прочих заядлых бросателей — все это тоже совершенно не важно, а значит, бросая монеты, мы можем считать, что множество необычайно велико и наши шансы на выпадение десяти орлов или решек разом просто огромны! Но, говорит профессор Коуска, попробуйте кинуть сами, придерживая какого-нибудь ученого-физика или иного вероят-

ностника за локоть, чтоб не сбежал, ведь эта публика страх как не любит видеть посрамление своего метода. Попробуйте и сами увидите, что ничего не получится.

Затем профессор Коуска переходит к масштабному мысленному эксперименту, в качестве объекта выбрав уже не какие-то гипотетические явления, но часть своей собственной биографии. Мы вкратце повторим за ним наиболее любопытные моменты этого анализа.

Нский военный врач во время первой мировой войны вышвырнул за дверь сестру милосердия, по ошибке вошедшую в палату, где он как раз оперировал. Будь сестра лучше знакома с госпиталем, она бы не перепутала операционную и перевязочную палаты, а не войди она в операционную, хирург бы ее не вышвырнул; не вышвырни он ее, его начальник, полковой врач, не сделал бы ему замечание за неподобающее обращение с дамой (ибо это была сестра-волонтерка, барышня из лучшего общества), а не сделай начальник ему замечание, молодой хирург не счел бы нужным извиниться перед сестрой милосердия, не пригласил бы ее в кондитерскую, не влюбился, не женился, так что не было бы на свете и профессора Бенедикта Коуски — ребенка именно этой супружеской пары.

Из вышеизложенного, казалось бы, следует, что вероятность появления на свет профессора Бенедикта Коуски (как новорожденного, а не как заведующего кафедрой аналитической философии) определялась вероятностью того, что сестра милосердия в такой-то месяц, день и час ошибется дверью. Но это отнюдь не так. В тот день молодой хирург Коуска вовсе не должен был оперировать; но его коллега, доктор Попихал, относил тетке белье из прачечной, света на лестнице не было, так как пробка перегорела, в результате чего он свалился с третьей ступеньки и вывихнул ногу в лодыжке; Коуске пришлось его заменить. Если бы пробка не перегорела, Попихал не вывихнул бы ногу, и тогда оперировал бы он, а не Коуска; Попихал, известный своей галантностью, не употребил бы соленых словечек для выдворения из операционной сестры, вошедшей туда по ошибке, а не обидев ее, не счел бы нужным уславливаться о свидании; впрочем, независимо от всяких свиданий совершенно ясно, что из гипотетической связи Попихала с сестрой милосердия получился бы не Бенедикт Коуска, но, самое большее, некто совершенно другой, чьи шансы появиться на свет в работе не рассматриваются.



Профессиональные статистики, сознающие, насколько сложно положение дел в мироздании, обычно увивают от рассмотрения вероятности таких событий, как чье-то появление на свет. Чтобы отвязаться, они говорят, что дело здесь в скрещении необозримого числа причинно-следственных связей, и хотя в принципе, *in abstracto*, точка пространственно-временного континуума, в которой данный сперматозоид сливается с данной яйцеклеткой, детерминирована, однако же *in concreto* никогда не удастся накопить достаточно полной, а в сущности, всеохватывающей информации, чтобы дать реальный прогноз (какова вероятность рождения индивида X с характеристиками Y, то есть *как долго* пришлось бы людям размножаться, чтобы индивид с характеристиками Y наверняка появился бы на свет). Но это, дескать, невозможность всего лишь *техническая*, а не принципиальная; связанная с трудностью собирания информации, а не с тем, что такой информации вообще нет на свете. Эту лживость статистической науки профессор Бенедикт Коуска намерен заклеить и изобличить.

Как мы уже знаем, вероятность рождения профессора Коуски не сводится к альтернативе «та дверь — не та дверь». Тут надо принять в расчет не одно, но множество случайных совпадений: и то, что сестру милосердия направили в этот, а не другой госпиталь; и то, что ее улыбка в тени, отбрасываемой чепцом, издали напоминала улыбку Джоконды; а также то, что в Сараеве застрелили эрцгерцога Фердинанда: ведь не будь он застрелен, война бы не вспыхнула, а не вспыхни война, наша барышня не стала бы сестрой милосердия; поскольку же родом она была из Оломоуца, а хирург — из Оставры, они, вернее всего, никогда бы не встретились ни в госпитале, ни где-либо еще. Поэтому нельзя пренебречь и общей теорией баллистики и стрельбы по эрцгерцогам, а так как попадание в эрцгерцога было обусловлено, в частности, движением его автомобиля, то и теорию кинематики автомобилей выпуска 1914 года следовало бы принять в расчет, и еще — психологию террористов: не каждый на месте этого серба стал бы стрелять в эрцгерцога, а если б и стал, не попал бы, дрогнул у него рука от волнения, а значит, то обстоятельство, что у этого серба была твердая рука, меткий глаз и никакой дрожи, тоже внесло свой вклад в распределение вероятностей рождения профессора Коуски. Не следует забывать и об общем политическом положении Европы летом 1914 года.

Впрочем, до женитьбы не дошло ни в этом году, ни в 1915-м, когда молодая пара познакомилась ближе, — потому что хирурга перевели в крепость Перемышль. Оттуда он должен был ехать во Львов, где жила девица Марика, которую родители прочили ему в жены на почве общих деловых интересов. Но из-за наступления Брусилова и маневров южного крыла русской армии Перемышль был окружен, и вскоре хирург отправился не во Львов к невесте, а в русский плен, ибо крепость пала. Так вот: сестра милосердия запомнилась ему лучше невесты потому, что была не только хороша собой, но и пела романс «Усни, мой друг, на ложе из цветов» гораздо лучше Марики, у которой был полип голосовых связок и по этой причине — хроническая хрипота. Правда, полип ей собирались удалить в 1914 году, но отоларинголог, который должен был его удалять, проигрался в пух в львовском казино и, не будучи в состоянии уплатить долг чести (он был офицер), вместо того чтобы пустить себе пулю в лоб, украл полковую кассу и сбежал в Италию; это происшествие возбудило в Марике глубокую неприязнь к отоларингологам; так и не решившись на операцию, она стала невестой, в качестве невесты должна была петь «Усни, мой друг, на ложе из цветов», и ее пение, вернее, воспоминание о ее хриплом и сиплом голосе, столь не похожем на чистый тембр пражской сестры милосердия, стало причиной того, что эта последняя взяла верх над образом Марики в памяти военнопленного доктора Коуски. Так что, вернувшись в 1919 году в Прагу, он и не думал искать невесту, но сразу поехал в тот дом, где барышней на выданье жила сестра милосердия.

Впрочем, у той было целых четыре кавалера, и все они добивались ее руки, тогда как с Коуской ее не связывало ничего, кроме открыток, которые он посылал ей из плена, и сами по себе эти открытки, изуродованные штемпелями военной цензуры, не возбудили бы в ней особенно прочных чувств. Но ее первым серьезным поклонником был некий Гамурас, летчик, который не летал, поскольку у него выпала грыжа, стоило ему нажать на педаль управления, а все потому, что в тогдашних самолетах эта педаль перемещалась с трудом, ведь дело было на самой заре авиации; так вот, Гамураса однажды уже оперировали, но неудачно, и грыжа выпала снова, потому что врач-оператор что-то напутал, накладывая швы; а сестра милосердия стыдилась выйти за летчика, который, вместо того чтобы летать, торчит в больнич-

ной приемной либо по газетным объявлениям пытается раздобыть настоящий, довосный грыжевой бандаж в надежде снова вернуться в строй; но из-за войны о приличном бандаже нечего было и думать.

Заметим, что в этой точке нашего анализа проблема «быть или не быть» профессора Коуски переплетается с историей авиации вообще и с моделями аэропланов, принятых на вооружение в австро-венгерской армии, в частности. Или, конкретнее: на рождение профессора Коуски благотворно повлияло то обстоятельство, что в 1911 году Австро-Венгрия приобрела лицензию на строительство бипланов, у которых педали управления шли очень туго, а строить их должна была небольшая фирма в Винер-Нейштадте, что и случилось в действительности. Но с этой фирмой и ее лицензией (купленной в Америке, у Фармана) конкурировала на торгах французская фирма «Антуанет», имевшая хорошие виды на успех, потому что генерал-майор Прхл из императорско-королевского интендантства непременно склонил бы чашу весов в ее сторону, так как имел любовницу-франуженку, служившую у него гувернанткой, и потому втайне любил все французское, а это изменило бы распределение вероятностей, поскольку французская машина была бипланом с выдвижным элероном, рулевым оперением и очень легким ходом педали; такая педаль не причинила бы Гамурасу упомянутых выше забот, и сестра милосердия, возможно, все-таки вышла бы за него. Правда, в этом биплане туговато ходил *ручной* рычаг управления, а руки у Гамураса были не слишком крепкие, он даже страдал «писчим спазмом» и подписывался не без труда, особенно если учесть, что его полное имя было Адольф Альфред фон Мессен-Вейденек цу Ориола унд Мюннесакс, барон Гамурас. Так что даже без грыжи Гамурас, по причине слабости рук, мог потерять привлекательность в глазах сестры милосердия.

Но гувернантке попался третьеразрядный тенор из оперетки, необычайно быстро сделал ей ребенка, генерал-полковник Прхл указал ей на дверь, утратил симпатию ко всему французскому, и армия осталась с лицензией Фармана, перекупленной фирмой из Винер-Нейштадта. С опереточным тенором гувернантка свела знакомство на Ринге\*, куда выводила гулять старших дочерей генерала Прхла, поскольку

---

\* Площадь в старой части Вены.

у младшей был коклюш и здоровых детей старались изолировать от больного ребенка, так что если б не коклюш, занесенный одним знакомым кухарки Прхлов, который возил кофе на обжарку и до обеда непременно заглядывал к Прхлам, то есть к кухарке, — не было бы ни болезни младшенькой, ни прогуливания детей по Рингу, ни знакомства с тенором, ни измены, а значит, «Антуанет» все-таки победила бы на торгах. Вышло, однако, что Гамурас получил отказ, женился на дочери поставщика императорского двора и завел с нею троих детей, в том числе одного без грыжи.

Второй кавалер сестры милосердия, капитан Мисня, не имел никаких изъянов, был направлен на итальянский фронт и схватил ревматизм (дело было зимой, в Альпах). О причинах его смерти мнения расходятся: капитан парился в бане, граната 22-го калибра угодила в парилку, капитан вылетел прямо на снег, ревматизм, говорят, как рукой сняло, зато началось воспаление легких. Если бы профессор Флеминг открыл пенициллин не в 1940, а, скажем, в 1910 году, то Мисню наверняка вылечили бы, он вернулся бы в Прагу на правах выздоравливающего, и шансы появления на свет профессора Коуски снова крайне уменьшились бы. А значит, хронология открытий антибактериальных препаратов сыграла видную роль в возникновении профессора Б.Коуски.

Третий претендент был солидный купец-оптовик, однако он не нравился барышне; четвертый уже точно должен был жениться на ней, но дело расстроилось из-за кружки пива. У этого последнего кавалера были огромные долги, страстное желание расплатиться с ними из приданого и необычайно богатое прошлое. Барышня вместе с семьей и женихом отправилась на лотерею-аллегри Красного Креста, а так как на обед были зразы по-венгерски, ее отец почувствовал сильную жажду, вышел из палатки, где вместе со всеми слушал военный оркестр, чтобы выпить бочкового пива; тут он заметил своего однокашника, который как раз собирался домой и, если б не пиво, ни за что бы не встретился с родителем барышни; этот однокашник, через свояченицу, знал всю подноготную жениха и не замедлил подробнейшим образом поведать об этом отцу невесты. Похоже, кое-что он добавил от себя, во всяком случае, отец вернулся крайне рассерженным, и помолвка, уже было решенная, расстроилась бесповоротно. Но если б отец не ел зраз по-венгерски, не

почувствовал жажду, не вышел напиться пива, не встретил одноклассника, не узнал о долгах жениха, обручение состоялось бы, а по военному времени и свадьбу сыграли бы вмиг. Таким образом, избыток красного перца в зраках 19 мая 1916 года спас жизнь профессора Коуски.

Что же касается хирурга Коуски, то он, вернувшись из плена в звании батальонного врача, посватался к барышне. Злые языки известили его о соперниках, а особенно о покойном капитане Мисне, у которого-де был нешуточный роман с барышней в то самое время, когда она отвечала на открытки военнопленного. Хирург Коуска, по натуре довольно вспыльчивый, чуть не расторгнул уже состоявшуюся помолвку, тем более что он получил несколько писем, отправленных барышней капитану Мисне (Бог знает как они попали в руки некой зловредной особы в Праге), вместе с анонимной запиской, где объяснялось, что барышне он нужен был как пятое колесо или, если угодно, как железный резерв. Окончательного разрыва удалось избежать благодаря разговору, произошедшему между хирургом и его дедом, который сызмальства был ему за отца, поскольку родной отец, мот и гуляка, вовсе не занимался его воспитанием. Дед же был старцем необычайно передовых убеждений и считал, что молоденькой девушке нетрудно вскружить голову, особенно если вскруживающий носит мундир и твердит о грозящей ему гибели на поле брани.

Так что Коуска женился на барышне. Но, будь у него дед иных убеждений или умри сей либерал, не дожив до восьмидесяти, брак наверняка бы расстроился. Дед, однако, вел на редкость здоровый образ жизни и регулярно принимал водные процедуры по методу патера Кнейпа; но в какой степени ежеутренний холодный душ, продлевая ему жизнь, увеличил вероятность рождения профессора Б. Коуски, рассчитать невозможно. Отец хирурга Коуски, апостол женоненавистничества, ни за что не вступился бы за ославленную девушку; но он не имел на сына никакого влияния с тех пор, как, познакомившись с господином Сержем Мдивани, поступил к нему в секретари, уехал вместе с ним в Монте-Карло и вернулся, твердо веря в систему выигрыша в рулетку, сообщенную ему некой вдовой-графиней; по этой системе он спустил все свое состояние, был взят под опеку и поневоле отдал сына на воспитание Коуске-деду. Но если б отец хирурга не ушел с головою в игру, то Коус-

ка-дед от него не отрекся бы, и профессор Коуска опять-таки не появился бы на свет.

Фактором, склонившим чашу весов в пользу рождения профессора, был как раз господин Серж, он же Сергей Мдивани из Боснии. Когда ему осточертело его состояние, жена и теща, он взял Коуску (отца хирурга) в секретари и уехал на воды, ибо Коуска-отец знал языки и был человек светский, а Мдивани, вопреки своему имени, не владел ни одним языком, кроме хорватского. Но если бы смолоду за господином Мдивани лучше приглядывал *его* отец, то вместо того, чтобы заводить шашни с горничными, он учился бы языкам, не нуждался бы в переводчиках, не повез бы отца Коуски на воды, тот не вернулся бы из Монте-Карло шулером, а следовательно, не был бы проклят и выброшен из дому своим отцом, который поэтому не взял бы хирурга к себе еще ребенком, не внушил бы ему свои принципы, хирург порвал бы с барышней, и профессор Бенедикт Коуска опять-таки не появился бы на свет. Так вот, отцу господина Мдивани было не до школьных успехов сына в то время, когда тому полагалось учить языки, поскольку наружностью сын напоминал ему некое духовное лицо, относительно которого господин Мдивани-старший питал подозрения, не он ли — настоящий отец маленького Сергея. И вот, ощущая к Сергунчику подсознательную неприязнь, он не слишком за ним приглядывал, из-за чего Сергунчик и не выучился, как следовало бы, языкам.

Вопрос об отце ребенка был и вправду непрост, поскольку даже мать имела сомнения насчет того, чей он сын — ее мужа или попа, а сомневалась она потому, что верила в зачатие от загляду. В загляд же она верила оттого, что житейским авторитетом была для нее бабка-цыганка; стоит отметить, что мы говорим о взаимосвязи между бабкой матери Сергея Мдивани и вероятностью рождения профессора Бенедикта Коуски. Мдивани родился в 1861 году, его мать — в 1832, а бабка-цыганка — в 1798. Следовательно, то, что происходило в Боснии и Герцеговине на исходе восемнадцатого столетия, то есть за сто тридцать лет до рождения профессора Коуски, существенно повлияло на распределение вероятностей его рождения. Но ведь и бабка-цыганка появилась не на пустом месте. Она не хотела идти замуж за православного хорвата, тем более что вся Югославия была еще под турецким игом и замужество с гяуром не сулило ей

ничего хорошего. Но у цыганки был дядя, много старше ее, который воевал у Наполеона и будто бы даже участвовал в отступлении Великой армии из-под Москвы. Во всяком случае, с наполеоновских войн он вернулся, убежденный в маловажности вероисповедных различий, ибо чего только не посмотрелся на службе, и потому склонял племянницу выйти за хорвата: мол, хоть и гяур, но парень хороший и видный. Выйдя за хорвата, бабка со стороны матери господина Мдивани увеличила шансы рождения профессора Коуски. Что же до дяди, то он не сражался бы у Наполеона, не окажись он во время итальянской кампании в районе Аппенин, куда послал его хозяин, овцевод, с партией полушубков. Дядя был захвачен французским конным разъездом; будучи поставлен перед выбором: идти в рекруты или в обозники, он предпочел носить оружие. Так вот, если б хозяин дяди-цыгана не разводил овец или даже разводил, но не выделял бараньих полушубков, которые хорошо раскупались в Италии, то конный разъезд не схватил бы цыганского дядю, и тот бы не навосвался в Европе, сохранил консервативные взгляды и не уговорил бы племянницу выйти за хорвата. А тогда и мать Сергунчика, не имея бабки-цыганки и не веря в загляд, не считала бы, что от одного лишь глядения на бабюшку, разводящего руками и распевающего басом у алтаря, можно зачать сына — вылитого попа; имея совершенно чистую совесть, она не боялась бы мужа, защитилась бы от обвинений в неверности, а муж, не видя уже ничего дурного в наружности сына, следил бы за его учением, Сергей выучился бы языкам, не нуждался бы ни в каких переводчиках, так что отец хирурга Коуски не поехал бы с ним на воды, не стал бы мотом и игроком и, будучи женоненавистником, уговорил бы сына-хирурга бросить барышню за амурсы с покойным капитаном Мисней, вследствие чего профессора Б. Коуски опять-таки не было бы на свете.

А теперь попрошу вас учесть: до сих пор мы рассматривали распределение вероятностей рождения профессора Коуски, исходя из того, что оба его потенциальных родителя существуют, и последовательно уменьшали вероятность его рождения путем введения крайне малых, вполне вероятных изменений в поведении отца или матери профессора Коуски, изменений, обусловленных поступками третьих лиц (генерала Брусилова, бабки-цыганки, матери господина Мдивани, барона Гамураса, гувернантки-французенки ге-

нерал-майора Прхла, императора Франца-Иосифа, эрцгерцога Фердинанда, братьев Райт, хирурга, оперировавшего грыжу барона, отоларинголога Марики и т.д.). Но ведь точно так же можно рассмотреть вероятность появления на свет барышни, которая, будучи сестрой милосердия, вышла за хирурга Коуску, или вероятность рождения самого хирурга. Миллиарды, триллионы событий должны были произойти так, как они действительно произошли, чтобы появилась на свет эта барышня и чтобы на свет появился хирург Коуска. И столь же бесчисленное множество событий обусловило рождение их отцов, дедов, прадедов и т.д. Вряд ли стоит доказывать, что если б, к примеру, в 1673 году не появился на свет портной Властимил Коуска, то не было бы ни его сына, ни внука, ни правнука, а значит, и прадеда хирурга Коуски, а значит, и его самого, а значит, и профессора Бенедикта.

Но все это справедливо также по отношению к тем предкам рода Коуски и рода сестры милосердия, которые, еще не ставши людьми, вели четверорукий древесный образ жизни в раннем палеолите — когда первый палеопитек, догнав одного из этих четвероруких и обнаружив, что имеет дело с четверорукой, овладел ею под эвкалиптовым деревом, росшим там, где ныне раскинулся пражский район Мала Страна. В результате смещения хромосом нашего температурного палеопитека и четверорукой прачеловекини возник тот тип мейоза и такое сочетание генов, которое, передаваясь через 30 000 поколений, создало на лице сестры милосердия ту самую улыбку, смутно напоминающую улыбку Джоконды на полотне Леонардо, что покорила молодого хирурга Коуску. А ведь эвкалипт мог расти четырьмя метрами далее; в таком случае четверорукая, убегая от палеопитека, не упала бы, споткнувшись о толстый корень, успела взобраться на дерево и не зачала, а раз так, то переход Ганнибала через Альпы, крестовые походы, Столетняя война, захват турками Боснии и Герцеговины, московский поход Наполеона и десятки триллионов прочих событий пошли бы чуть-чуть по-другому, с еле заметными изменениями. И в результате мы бы имели такое положение вещей, при котором профессор Бенедикт Коуска никоим образом не смог бы родиться; отсюда видно, что распределение вероятностей его существования содержит в себе подкласс вероятностей, в котором содержится распределение всех



эвкалиптовых деревьев, росших на месте нынешней Праги около 349 000 лет назад. А эвкалипты выросли там потому, что убежавшие от саблезубых тигров большие стада слабеющих мамонтов, объевшись цветами эвкалипта и страдая изжогой (этот цветок сильно жжет небо), пили много воды из Влтавы; поскольку же влтавская вода в ту эпоху обладала слабительными свойствами, воспоследовало массовое испражнение мамонтов, благодаря которому семена эвкалипта принялись там, где их отродясь не бывало; но если бы притоки верхнего течения тогдашней Влтавы не насытили воду сульфатами, то мамонты, не схвативши поноса, не засеяли бы эвкалиптовую рощу на землях нынешней Праги, четверорукая не упала бы, убегая от палеопитека, и не возникло бы то сочетание генов, что одарило барышню улыбкой Джоконды, прельстившей молодого хирурга; а значит, если бы не понос мамонтов, профессор Бенедикт Коуска тоже не появился бы на свет. Но надо еще учесть, что воды Влтавы обогатились сульфатами примерно в двух- и полумиллионном году до нашей эры — вследствие перемещения главной геосинклинали горных пород, из которых сложились центральные Татры; в процессе горообразования сульфатные газы вытеснялись из нижнеюрских мергелевых пластов, потому что в районе Динарского нагорья случилось землетрясение, вызванное падением метеорита с массой порядка миллиона тонн; этот метеорит входил в поток Леонид, и, если бы он упал не на Динарское нагорье, а чуть дальше, геосинклиналь не прогнулась бы, сульфатные отложения не проникли бы на поверхность и не попали во Влтаву, ее вода не стала бы причиной поноса у мамонтов, из чего следует, что, не упав метеорит на Динарское нагорье два с половиной миллиона лет назад, профессор Коуска тоже не смог бы родиться.

Профессор Коуска замечает, что из его умозаключений иные склонны делать ложный вывод, а именно: будто весь Космос есть нечто вроде машины, устроенной именно так, а не иначе для того лишь, чтобы профессор Коуска мог родиться. Но это очевидная чушь. Представим себе, что кто-то решил рассчитать вероятность возникновения Земли за миллиард лет до ее образования. Он не сможет точно предвидеть, какого рода планетогенный вихрь образует ядро будущей Земли; он не рассчитает сколько-нибудь точно ни ее будущую массу, ни химический состав. Тем не менее, основываясь на астрофизических данных, на теории гравитации

и теории строения звезд, он предскажет, что у Солнца появится планетная семья и среди прочих планет окажется планета номер три (считая от центра системы); и именно эту Планету можно признать Землей, даже если она окажется не совсем такой, как предсказано, ведь планета тяжелее Земли на десять миллиардов тонн, или имеющая две небольшие Луны вместо одной большой, или планета, в большей степени покрытая океанами, — по-прежнему была бы Землей.

Но если бы профессор Коуска, предсказанный кем-нибудь за полмиллиона лет до нашей эры, родился бы в виде двуногого сумчатого, или желтокожей женщины, или буддийского монаха, он, безусловно, не был бы профессором Коуской, хотя, возможно, и был бы все-таки человеком. Такие объекты, как солнца, планеты, облака, камни, вовсе не уникальны, а всякий живой организм уникален. Любой человек — нечто вроде главного выигрыша в лотерее, и притом в лотерее, в которой выигрывает только один билет из терагигамегамультисантимиллионов. Почему же мы не ощущаем всечасно эту невообразимую, чудовищную ничтожность шансов своего — и чужого — появления на свет? Поэтому, отвечает профессор Коуска, что сколь бы невероятным образом что-либо ни произошло — раз уж оно произошло, то произошло! А также потому, что в обычной лотерее мы видим массу пустых билетов и один выигравший; между тем в экзистенциальной лотерее проигравших билетов не видно. «Пустые билеты в лотерее бытия невидимы!» — объясняет профессор Коуска. Проиграть в этой лотерее значит не родиться, а не родившегося нет ни на столечко. Теперь процитируем автора, который на стр. 619 1-го тома «*De Impossibilitate Vitae*» говорит (строка 23 сверху):

«Одни люди появляются на свет потому, что брак их родителей заранее был предрешен, то есть будущий отец ребенка и его будущая мать были просватаны друг за друга еще в детстве. Человеку, узревшему дневной свет в качестве ребенка такой супружеской пары, может показаться, что вероятность его рождения была значительна, в отличие от того, кто знает, что его отец с матерью познакомились в ходе крупных миграций военного времени, или, допустим, он был зачат потому лишь, что некий наполеоновский гусар, бежав с поля сражения при Березине, кроме кувшина с водой похитил у встреченной им поселянки еще и девичью честь. Такой человек, пожалуй, решит, что если б гусар силь-

нес спешил, чувствуя за своей спиной казацкие сотни, или если его (этого человека) мамаша не искала неведомо чего на краю деревни, а в страхе Божьем сидела бы себе дома за печкой, то и его самого бы на свете не было, то есть что его будущее бытие висело на волоске, в отличие от бытия того, чьи родители заранее были просватаны.

Впечатление это ошибочно: ведь при оценке вероятности появления на свет кого бы то ни было нет никаких оснований считать нулевой точкой шкалы рождение будущего отца и будущей матери данного человека. Если имеется лабиринт, состоящий из тысячи комнат, соединенных тысячью дверей, то вероятность пройти его до конца определяется суммой всех выборов во всех комнатах, через которые надо пройти, а не просто вероятностью выбора нужной двери в одной из комнат. Тот, кто ошибется дверью в комнате номер сто, заблудится так же, как тот, кто ошибется в первой или тысячной комнате. Точно так же нет оснований считать, будто только мое рождение подлжит закону распределения вероятностей, но не рождение моих родителей, дедов, прадедов, бабок, прабабок и т.д., вплоть до возникновения жизни на Земле. Нет смысла утверждать, что факт существования каждого конкретного индивида в высшей степени маловероятен. В высшей степени — по отношению к чему? Что принять за точку отсчета? Если у нас ее нет, если нет начала шкалы отсчета, измерение, а следовательно, и оценка вероятности становится пустым звуком.

Из моих рассуждений вовсе не следует, будто мое появление на свет было предустановлено еще до того, как сформировалась Земля; напротив, из них вытекает, что меня могло вовсе не быть и никто бы этого не заметил. Все, что может сказать статистика о прогнозе рождения индивида, будет нонсенсом. Ибо она полагает, что любой человек, как бы мало ни был он вероятен сам по себе, все же возможен как реализация неких вероятностей; между тем я доказал, что по отношению к любому лицу, хотя бы к пекарю Муку, справедливо следующее: отступая все дальше и дальше во времени от момента его рождения, мы можем найти временную точку, в которой предсказание о появлении на свет пекаря Мука характеризуется вероятностью, *сколь угодно мало* отличающейся от нуля. Когда мои родители очутились в брачной постели, вероятность моего появления на свет составляла, скажем, один к ста тысячам (учтем к тому же довольно высокую после

войны смертность новорожденных). Во время осады Перемышля эта вероятность составляла всего лишь один к миллиарду; в 1900 году — один к триллиону; в 1800 году — один к квадриллиону, и так далее. Наблюдатель, который вычислял бы вероятность моего рождения, сидя под эвкалиптом на Малой Стране, в межледниковую эпоху, после миграции мамонтов и их желудочного расстройства, определил бы вероятность того, что я узрю свет Божий, как один к центиллиону. Величины порядка гига появляются, если отнести точку оценки на миллиард лет назад, порядка тера — на три миллиарда, и т.д.

Иначе говоря, всегда можно найти такую точку на временной оси, в которой оценка вероятности чьего-либо рождения сколь угодно мала, то есть просто отсутствует: ведь сколь угодно мало отличающаяся от нуля вероятность равнозначна сколь угодно большей невероятности.

Говоря это, мы вовсе не утверждаем, будто ни нас, ни кого-либо другого на свете нет. Напротив: мы не сомневаемся ни в чужом существовании, ни в своем собственном. Мы лишь повторяем утверждения физики, ибо именно с точки зрения физики, а не здравого смысла на свете нет и никогда не было ни одного человека. А вот и доказательство: с точки зрения физики событие, вероятность которого составляет один к центиллиону, невозможно. Такое событие — при допущении, что оно принадлежит множеству событий, происходящих ежесекундно, — просто не успеет случиться в Космосе.

От сегодняшнего дня до конца Вселенной пройдет меньше центиллиона секунд. Звезды излучают свою энергию гораздо раньше. А значит, время существования Космоса в его нынешнем виде меньше времени, необходимого, чтобы дождаться события, происходящего раз в центиллион секунд. С точки зрения физики ожидать события столь маловероятного — все равно что ожидать события, которое наверняка не наступит. Такие явления в физике именуются термодинамическими чудесами. К ним относятся, например, замерзание воды в стоящем на огне котелке, самопроизвольный подъем с пола осколков разбившегося стакана и их соединение в целый стакан и т.п. Расчеты показывают, что такие «чудеса» все же более вероятны, чем событие, вероятность которого — один к центиллиону. Добавим еще, что до сих пор мы учитывали лишь половину факторов, влияющих на

оценку вероятности, то есть только макроскопические события. А ведь рождение конкретного индивида зависит и от микроскопических факторов, например, от того, какой сперматозоид е какой яйцеклеткой соединится у данной родительской пары. Если бы мать зачала меня в другой день и час, чем это случилось в действительности, родился бы не я, а кто-то другой; это следует уже из того, что моя мать действительно зачала в другой день и час, а именно за год до моего рождения, и родила девочку, мою сестру; вряд ли стоит доказывать, что она — не я. Эту микростатистику тоже следовало бы учесть при оценке вероятности моего появления на свет; тем самым центиллионы невероятности доходят до мираллионов.

Итак, с точки зрения термодинамики существование любого человека — явление космически невозможное, коль скоро оно до такой степени мало вероятно, что просто непредсказуемо. Физика — предположив, что какие-то люди существуют, — может предсказывать, что они будут рождать других людей; но о том, какие конкретно индивиды будут рождаться, она должна молчать, чтобы не впасть в полный абсурд. А значит, либо физика ошибается, провозглашая универсальную значимость теории вероятностей, либо люди просто не существуют, а вместе с ними — собаки, акулы, мхи, лишайники, ленточные черви, летучие мыши и плауны, ибо сказанное справедливо для всего живого. «*Ex physical positione vita impossibilis est, quod erat demonstrandum*»\*.

Этими словами заканчивается книга «*De Impossibilitate Vitae*», которая служит, собственно, лишь огромным вступлением ко второму тому дилогии. Здесь автор провозглашает тщетность предвидений будущего, основанных на вероятностных оценках. Он хочет показать, что история сплошь состоит из фактов, совершенно немислимых с точки зрения теории вероятностей. Профессор Коуска переносит воображаемого футуролога в начало XX века, наделив его всеми знаниями той эпохи, чтобы задать ему ряд вопросов. Например: «Считаешь ли ты вероятным, что вскоре откроют серебристый, похожий на свинец металл, который способен уничтожить жизнь на Земле, если два полушария из этого металла придвинуть друг к другу, чтобы получился шар величиной с

---

\* С точки зрения физики жизнь невозможна, что и требовалось доказать (*лат.*).

большой апельсин? Считаешь ли ты возможным, что вон та старая брочка, в которую господин Бенц запихнул стрекочущий двигатель мощностью в полторы лошади, вскоре так расплодится, что от удушливых испарений и выхлопных газов в больших городах день обратится в ночь, а приткнуть эту повозку куда-нибудь станет настолько трудно, что в громаднейших мегаполисах не будет проблемы труднее этой? Считаешь ли ты вероятным, что благодаря принципу шутих и пинков люди вскоре смогут разгуливать по Луне, а их прогулки в ту же самую минуту увидят в сотнях миллионов домов на Земле? Считаешь ли ты возможным, что вскоре появятся искусственные небесные тела, снабженные устройствами, которые позволят из космоса следить за любым человеком в поле или на улице? Возможно ли, по-твоему, построить машину, которая будет лучше тебя играть в шахматы, сочинять музыку, переводить с одного языка на другой и выполнять за какие-то минуты вычисления, которых за всю свою жизнь не выполнили бы все на свете бухгалтеры и счетоводы? Считаешь ли ты возможным, что вскоре в центре Европы возникнут огромные фабрики, в которых станут топить печи живыми людьми, причем число этих несчастных превысит *миллионы*?»

Понятно, говорит профессор Коуска, что в 1900 году только умалишенный признал бы все эти события хоть чуточку вероятными. А ведь все они совершились. Но если случились сплошные невероятности, с какой это стати вдруг наступит кардинальное улучшение и отныне начнет сбываться лишь то, что кажется нам вероятным, мыслимым и возможным? Предсказывайте себе будущее, как хотите, обращается он к футурологам, только не стройте свои предсказания на наибольших вероятностях...

Впечатляющий труд профессора Коуски, безусловно, заслуживает признания. Однако, увлекшись своими изысканиями, этот ученый не избежал ошибки, на которую указал ему профессор Бедржих Врхличка в обширной критической статье, помещенной в «Земеделске новины». Профессор Врхличка утверждает, что все аргументы профессора Коуски против теории вероятностей исходят из неявной — и неверной — посылки. Ибо за ними кроется «метафизическое изумление собственным существованием», которое можно выразить словами: «Почему я существую именно теперь, именно в этом теле, именно в таком, а не ином облике? По-

чему я не был ни одним из миллионов людей, существовавших доселе, и не буду ни одним из тех, что еще родятся?» Если такие вопросы и имеют какой-либо смысл, замечает профессор Врхличка, то, во всяком случае, отнюдь не физический, хотя может показаться, что это не так и что вопрос можно переформулировать следующим образом: «Каждый человек, когда-либо существовавший, был телесной реализацией некой формулы, состоящей из генов, или кирпичиков наследственности. В принципе можно представить графически все формулы, реализованные до настоящего дня; мы получили бы огромную таблицу, исписанную рядами генотипических формул, причем каждая в точности соответствовала бы определенному человеку, образовавшемуся по ней путем эмбрионального развития. Но тогда возникнет вопрос, в чем же различие между формулой, соответствующей *мне*, *моему* телу, и всеми остальными формулами в таблице, — различие, благодаря которому именно *я* являюсь ее живым воплощением? То есть: какие *физические* условия, какие *материальные* обстоятельства надо учесть, чтобы выявить это различие и понять, почему о любой формуле в таблице я могу сказать: «Тут речь идет о Других» — и лишь об одной: «Тут речь обо мне, ЭТО Я»?

Не приходится ожидать, поясняет профессор Врхличка, что физика сегодня, или через столетие, или через тысячу лет сможет ответить на поставленный таким образом вопрос. Для физики он вообще ничего не значит, ведь она, не будучи личностью, при изучении чего бы то ни было, скажем, небесных или человеческих тел, не проводит различий между *мною* и *тобой*, этим и тем; то, что я говорю о себе «я», а о другом «он», физика способна объяснить по-своему (на базе общей теории логических автоматов, теории самоорганизующихся систем и т.д.), но она не замечает именно экзистенциального различия между «я» и «он». Хотя, конечно, физика способна заметить *уникальность* отдельных людей, ибо любой человек (если не говорить о близнецах!) есть воплощение особой формулы генов.

Но профессор Коуска имеет в виду вовсе не то, что каждый из нас устроен немного иначе, обладает физической и духовной индивидуальностью. Метафизическое изумление, кроющееся за рассуждениями Коуски, не уменьшилось бы ни на йоту, окажись все люди воплощением одной и той же генной формулы, так сказать, идеально похожими близнеца-

ми. Ведь и тогда можно было бы спрашивать, почему «я» — не «кто-то другой», почему я родился не в эпоху фараонов и не в Арктике, но здесь и теперь; а на такой вопрос физика по-прежнему не могла бы ответить. Для меня различия между мной и другими начинаются с того, что я являюсь собою, не могу вылезти из собственной шкуры или поменяться существованиями с кем бы то ни было, и лишь во вторую очередь я замечаю, что моя наружность, мой характер иные, чем у всех остальных живущих (и умерших). Но как раз это первое, важнейшее для меня различие для физики не существует вообще, и больше тут ничего не скажешь. Итак, не теория вероятностей повинна в том, что физика и физики не замечают этой проблемы.

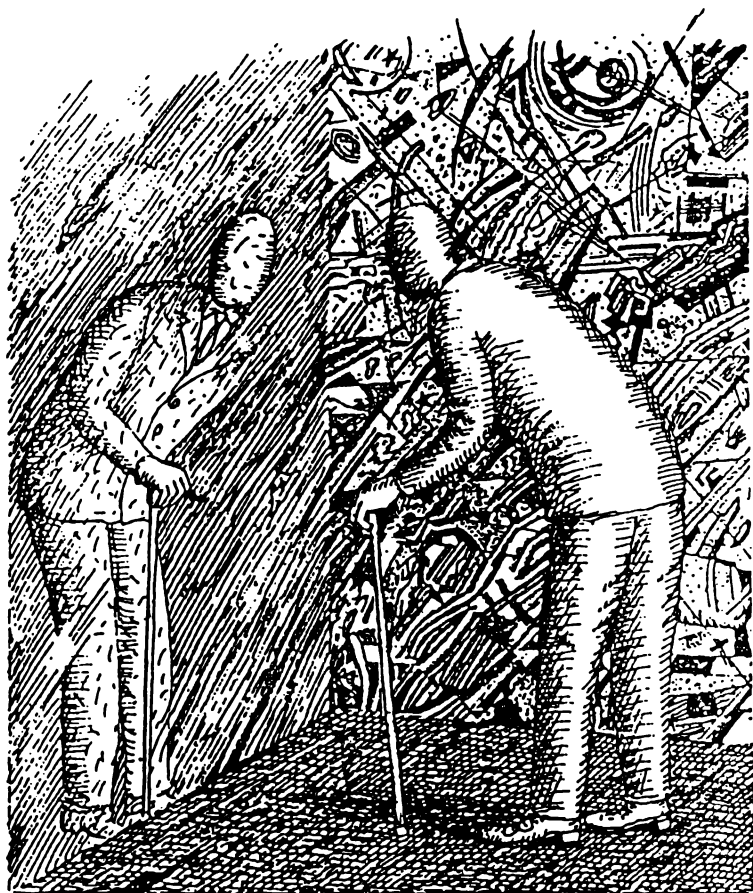
Ставя вопрос об оценке вероятности своего рождения, профессор Коуска ввел в заблуждение себя самого и читателей. Профессор Коуска полагает, что на вопрос: «Какие условия должны были быть соблюдены, чтобы родился Коуска?» физика отвечает: «Условия, физически крайне мало вероятные!» Но это не так. Вопрос следует поставить иначе: «Как вижу, я — живой человек, один из миллионов людей. Я хотел бы узнать: в чем состоит мое физическое отличие от всех остальных людей, тех, что были, есть или будут, отличие, из-за которого я не был и не являюсь ни одним из них, но только самим собой и могу сказать «Я» только о себе?» Так вот, физика отвечает на этот вопрос, не ссылаясь на распределение вероятностей; она заявляет, что с ее точки зрения между спрашивающим и всеми остальными людьми никаких физических различий нет. Следовательно, рассуждения Коуски не затрагивают и не опровергают теорию вероятностей, а просто не имеют с ней ничего общего!

Знакомство со столь отличными друг от друга взглядами двух видных мыслителей повергло рецензента в полное замешательство. Он не в силах решить их спор, и единственное, в чем он уверен, так это в том, что из труда профессора Коуски он вынес обширные познания о всех обстоятельствах, приведших к появлению на свет ученого со столь любопытной фамильной историей. Что же до сути проблемы, то ею пусть займутся специалисты более компетентные.



# Верный робот

телевизионная пьеса





## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

М-р Т. Клемпнер  
Граумер, робот  
Господин Гордон, издатель  
Госпожа Гордон  
Инспектор Доннел  
Госпожа Доннел  
Странный тип  
Посыльные

### I

Комната примерно 2000 года, но без поражающих воображение вещей. Это рабочий кабинет автора детективных романов. Здесь — мягкая «обтекаемой формы» мебель, лампы, пишущая машинка, магнитофон, радио, вместительный бар. Клемпнер сидит за машинкой и печатает с видимым интеллектуальным усилием. Звонит телефон. Он поднимает трубку.

К л е м п н е р. Клемпнер слушает. А, это вы! Да. Пожалуй, с неделю. Уверен в этом. Мне пишется все лучше. Целиком отдам вам в четверг. Без единой опечатки на машинке. Что? А, супруга вам говорила? Да, я хотел пригласить вас обоих с супругой в будущую пятницу. Придут еще Доннелы. Его вы знаете, познакомились с ним у меня. Это тот инспектор... Ха, ха! Разумеется... Такие знакомства очень полезны, создается колорит. Хорошо. Значит, в будущую пятницу. До встречи...

Возвращается к машинке. Едва присаживается, как раздается звонок.

Кого это черти принесли?..

Он выходит. Возвращается, и за ним следом — двое посыльных вносят большой ящик.

---

Wiemy Robot, 1971

Перевод А.Ильф, Т.Агапкиной, 1994

Посыльный. Распишитесь, пожалуйста.

Клемпнер. Что это?

Посыльный. Расписка в получении.

Клемпнер. Что в этом ящике?

Посыльный. Здесь написано: робот.

Клемпнер. Какой робот? Я не заказывал никакого робота.

Посыльный. Это не мое дело. Я из фирмы по перевозке грузов. Пожалуйста, распишитесь.

Клемпнер расписывается, посыльные уходят. Клемпнер осматривает ящик, глядит на пишущую машинку, подходит к ней, внезапно возвращается, разрезает шнуры, крышка ящика приоткрывается. Клемпнер пятится назад. В ящике сидит Робот. Он вылезает, раздвигает на себе бумажную упаковку, встает, слегка кланяется.

Робот. Добрый вечер. Господин будет моим новым хозяином. Весьма рад. Я буду стараться угодить вам по мере возможностей, а их у меня немало. Я представляю собой новейшую модель «Ультра-Делюкс».

Клемпнер. Что все это значит? Я не заказывал никакого робота...

Робот. Ах, это не имеет значения! Зачем вам себя этим обременять? А я для чего здесь? Отныне я буду все делать за вас. На меня можно полностью положиться. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, достаточно скромны. Я просто констатирую факт. Позвольте заметить, что столик у вас не на месте. Вы, когда пишете, сами себе свет заслоняете. Таким вот образом будет намного удобнее... *(Переставляет столик.)* Так вы сможете лучше сосредоточиться.

Клемпнер. Да не нуждаюсь я в тебе, черт побери!

Робот. Поначалу всегда так кажется. Вы сами убедитесь. Спите вы хорошо?

Клемпнер. Нет. Кто тебя сюда прислал?

Робот. Вы страдаете бессонницей? Прекрасно.

Клемпнер. Как это — прекрасно?

Робот. Потому что теперь все изменится. *(Выглядывает в окно.)* Ого, да здесь поблизости есть и другие виллы? И стало быть, по вечерам — собаки, которые лают на прохожих, в середине ночи — кошки, а по утрам — петухи. Очень хорошо. Против кошек и собак у меня имеется особое средство, а петухов вы отныне не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.

Клемпнер. Не беспокойся обо мне. Кто тебя прислал?

Робот. Господин напрасно повышает голос. Достаточно было шепнуть. Я прекрасно слышу. Не знаю, кто меня при- слал, но сейчас мы это установим. Отправитель должен зна- читься на упаковке. Ну, конечно, «Давенпорт», посредни- ческое бюро по найму домашних работников. *(Поднимает телефонную трубку, набирает номер.)* Алло! Бюро «Давен- порт»? Это говорит работник. Господин человек, с вами будет говорить мой хозяин. Пожалуйста... *(Подает трубку Клемпнеру.)*

Клемпнер. Алло! Вот только что мне доставили посыл- ку — работа, которого я вообще не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка, что? Том Клемпнер, улица Роз, 46. Забе- рите его отсюда немедленно! Что? Что вы говорите? Не по- сылали? Вы абсолютно уверены? Но... *(Кладет трубку.)* Го- ворит, что никого они не посылали... И что же теперь будет?

Робот. Все прекрасно будет. Вам, наверное, хочется по- быть одному? Чтобы никто не мешал вам в творческой ра- боте?

Клемпнер. Да, черт возьми! Да!

Робот. Очень хорошо. Господин будет один. Вы уже один. В определенном смысле меня вообще нет. Кроме вас, здесь нет ни единой живой души — то есть никого нет. Нам остается лишь кое-что уточнить. У господина есть робот?

Клемпнер. Нет. И я ни в каком роботе не нуждаюсь.

Робот. Вот и прекрасно. Должен вам признаться, что я тоже не выношу роботов. Я люблю только людей. Потому-то я так и радуюсь, что вы станете моим хозяином. Вам будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю проникаться к вам по- чтением и уважением. Вы питаетесь дома?

Клемпнер. Нет! И перестань говорить без умолку! Дай мне собраться с мыслями и сообразить, что с тобой делать.

Робот. Для этого я здесь. Для всего, позвольте вам за- метить. Отныне вы будете есть дома. Есть в ресторане вред- но, это портит желудок. Я знаю самые разные кухни, осо- бенно — китайскую. *(Он подходит к бару, оглядывает его содержимое.)* «Мартини», не правда ли? Великолепно. Но позволю себе заметить, что к нему пригодился бы джин. Смешать их половина на половину, со льдом и лимонной корочкой. Это проясняет разум. Сейчас я приготовлю.

Клемпнер. Да ты замолчишь или нет? У меня голова раскалывается!

Робот. Поначалу так всегда бывает, к сожалению... Но

это пройдет. Вы позволите? *(Достает из ящичка, в котором прибыл, коробочку с красным крестом, наливает воды в стакан и протягивает его Клемпнеру вместе с вынутой из коробочки таблеткой.)*

Клемпнер. Что это?

Робот. Средство от головной боли. Сейчас как рукой снимет. Только позвольте, пожалуйста... Не упирайтесь... Прошу вас... *(Сажает Клемпнера в кресло и подкладывает ему одну подушку под голову, другую — под ноги, подает таблетку и воду, а сам начинает быстро прибирать комнату. Выносит ящик, маленьким веником выметает опилки, возвращается.)* Ну, как самочувствие? Уже лучше? Голова уже у вас не раскаляется, правда? *(Достает из ящичка масленку, моток веревки и отвертку.)* Это все мое имущество. Потому что в случае необходимости, чтобы вы знали, я сам себя ремонтирую. Может, показать вам, как я устроен внутри? Механизм чрезвычайно любопытный!

Клемпнер. Оставь меня в покое...

Робот. В этом и состоит моя задача. Создавать вам покой. Именно так. Только перед этим нам следует уточнить матрицу связей. Это займет всего минутку.

Клемпнер. Какую матрицу?

Робот. Ну, есть же у вас соседи, знакомые, родственники... Самые разные люди будут сюда приходить и будут стремиться увидеться с вами. А мы установим простой способ взаимопонимания. Если вы встретите гостя словами: «Как я рад тебя видеть!» — я через минуту войду в комнату и напомню вам о не терпящей отлагательства консультации с профессором Хэдвиком.

Клемпнер. А если гость как раз знает этого Хэдвика?

Робот. Ну что вы, это невозможно. Хэдвик был моим первым хозяином. К сожалению, умер. И довольно давно. Уже и буквы на его надгробии начинают стираться. Каждую третью неделю я хожу к нему на кладбище. Надеюсь, что вы мне будете разрешать и это. Но перейдем к делу. Если вы поприветствуете гостя словами: «Хорошо, что зашел, я давно тебя жду», я подам напитки самого низкого качества. Если...

Клемпнер. Ну что ты мелешь?!

Робот. Но, позвольте, господин! Мы оба прекрасно знаем, какова действительность. Только люди из ложной стыдливости предпочитают в этом не признаваться. В каж-

дом доме имеются угощения для посетителей первого класса, соответственно — для второго, а бывают и те, которых вообще не угощают. Там, например *(показывает на бар)*, я заметил в укромном местечке бутылочку. Если не ошибаюсь, это коньяк семидесятилетней выдержки, вероятно, «Селиньяк», вы надежно его припрятали, да так, собственно, и должно быть. Однако я вижу, что вы немного устали. Я сейчас же приготовлю крепкий бульон и легкий, но питательный ужин. А пока отдыхайте, пожалуйста. Расслабьтесь... полная пассивность... разрядка. *(Он говорит это, отступая к дверям. Слышится частое позвякивание посуды и стекла.)*

Клемпнер. Вот так история!

Робот *(возвращаясь)*. Сейчас все будет готово. Нам остался один вопрос, но самый важный — относительно женщин.

Клемпнер. Что?!

Робот. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я располагаю тремя дополнительными устройствами, предназначенными специально для этой цели. Отныне женщины станут усладой вашей жизни, солнечным светом, а не кошмаром. Тех, кого господин не захочет видеть, я и на порог не пушу. Я смогу быть несокрушимым в отстаивании ваших интересов. А поскольку я умею на расстоянии регистрировать частоту дыхания и пульс, то смогу заблаговременно сообщать вам, на что рассчитывает женщина, которая к вам приходит...

Клемпнер. Это неслыханно! Как ты смеешь? Да не желаю я!

Робот. Ох, желаете! Желаете, только сами этого еще не знаете. Я смотрю, вы принадлежите к тем несчастным людям, которые до сих пор не испытали на себе благоденний верного и усердного робота. Но все переменится. Вы познаете вкус счастья... Кажется, бульон уже доварился. Извините...

Клемпнер. О Боже!

Робот *(появляется в дверях столовой и распахивает их ненатуральным взмахом руки)*. Прошу вас! На стол подано...

Клемпнер *(вскакивает)*. Да не хочу я, чтобы мне здесь...

Робот. Со всем почтением осмелюсь заметить, что после слов «На стол подано» никаких других слов про-

износить не следует, пока я не подам вам первый аперитив...

Клемпнер входит в столовую, садится. Робот подает ему бульон. Клемпнер начинает есть. Робот уходит в кабинет, быстро просматривает рукопись и возвращается. Наливает вино.

У вас прекрасный стиль. Какая динамика, какой лаконизм. Я горжусь тем, что у меня такой хозяин. Осмелюсь только заметить, что этому убийце во второй главе не следовало бы пользоваться цианистым калием. Этот яд, пожалуй, выходит из моды. И слишком уж заигран.

Клемпнер. Ты так полагаешь? Ты и в этом разбираешься?

Робот. Мой третий по счету хозяин был токсикологом. И не простым, а коллекционером. Он коллекционировал яды, как другие коллекционируют бабочек. Бедняга...

Клемпнер. А что с ним случилось?

Робот. Ошибся. Обычно он клал три ложечки сахара в кофе. Ничего бы, конечно, не произошло, но дело случилось в то самое воскресенье, когда я хожу на кладбище. И если бы хоть что-нибудь особенное, из ряда вон выходящее, ничего подобного! Он по ошибке насыпал в кофе вместо сахара крысиного яда. Обыкновенного крысиного яда! И это знаток! Представляю себе, каково ему пришлось — в последние минуты... Когда я вернулся, все было кончено. Я думал, у меня конденсатор лопнет. Теперь хожу к нему два раза в месяц. У него очень хорошая могилка, с видом на реку. Я сам выбрал это местечко. Но я не о том хотел говорить. Осмелюсь вам порекомендовать аконит. Весьма впечатляющий и сильный яд. Достаточно десяти капель...

Клемпнер. Аконит, говоришь?.. Может быть... Действительно! Я думал об этом. А вообще-то, как тебя зовут?

Робот. Граумер, господин хозяин! Но если вам угодно, называйте меня совершенно иначе. Может, предпочитаете что-нибудь из цветочных названий? Например, Гиацинт... Как это вам понравится?

Клемпнер. Нет, зачем же?.. Пусть будет Граумер.

Робот. Благодарю вас.

Клемпнер. Граумер!

Граумер. Слушаю вас...

Клемпнер. В будущую пятницу, ты понимаешь...



Граумер. Да, конечно!

Клемпнер. Я устраиваю маленький прием на четверых. Будут две супружеские пары... Не знаю только, что лучше подать — холодные закуски или ужин с горячим блюдом, а?

Граумер. Это, вероятно, гости первого класса?

Клемпнер. Да. Мой издатель и инспектор Доннел, оба с женами...

Граумер. Инспектор полиции?

Клемпнер. Да, а что?

Граумер. И он ваш приятель? О, это прекрасно! Что подать? Я думаю, одно горячее блюдо, а затем — своего рода ассорти из изысканных холодных закусок. Можете предоставить это мне. Я вас не подведу. Ужин вкусный был?

Клемпнер. Весьма...

Граумер. Я вижу, что вам бы хотелось сегодня написать еще пару страниц, но не советую. У вас темные круги вокруг глаз. Первый вечер всегда утомителен для нового хозяина. Для начинающего — особенно... Поэтому я позволил себе приготовить для вас постель. Разрешите, пожалуйста... *(Ведет Клемпнера в спальню; через открытую дверь доносится его голос.)* Так, зажжем ночничок... теперь другую штанину... А теперь робот расскажет вам на сон грядущий сказочку. Давным-давно, когда еще не было даже электричества, жил да был себе за горами один хороший, простой господин, и был у него паровой робот. По утрам робот отправлялся в лес за хворостом да за грибочками для завтрака...

Клемпнер *(усталым голосом)*. Оставь меня... в покос...

Граумер. Однажды в лесу, откуда ни возьмись, появился злой монтер с большущими-пребольшущими клещами. Спрятался он за деревом, а когда робот подошел к нему, он и говорит: «Сирота я, и нету у меня на свете ничего, кроме этих клещей...»

Свет в спальне гаснет, Граумер появляется в кабинете. Он тихо закрывает двери, поднимает с полу свою масленку, отвертку и, сматывая длинную веревку, произносит:

Прекрасно. Спит, как малое дитя... Даже веревка не понадобилась...

## II

Клемпнер сидит в кресле, читая газету, и тянет руку к столику, на котором стоят бутылки с вином. Дотянуться до них не может, а встать ему не хочется.

Клемпнер. Граумер!

Граумер (*входя*). Слушаю вас.

Клемпнер. Налей!

Граумер. То, что обычно?

Клемпнер. Да.

Граумер наливает, подает.

Можешь идти.

Граумер стоит.

Ну, что еще?

Граумер. Вам звонил господин человек Хиггинс, сообщая, что будет выступать в клубе с докладом о литературоведении раннего викторианского периода. Я сказал, что вы весьма сожалеете, но как раз в это самое время у вас совещание с профессором Хэдвиком.

Клемпнер. Ладно. Кстати, ты случайно не знаешь, куда подевался резиновый коврик из ванной? Я не могу его найти.

Граумер. Простите, это я его взял.

Клемпнер. Взял коврик?! Граумер, ты становишься невыносим!

Граумер. Я его разрезал на куски и подклеил ими свои железные подошвы, чтобы неслышно ступать. Потому что вы жаловались на металлический звук моих шагов. Я постараюсь достать другой коврик.

Клемпнер. В другой раз ты должен прежде испросить моего позволения. Подай мне плащ. Я уйду.

Граумер (*приносит шляпу и плащ, одевает Клемпнера*). Надюсь, сегодня вы вернетесь в лучшем виде, чем это было вчера.

Клемпнер. Ты что это себе позволяешь?

Граумер. Осмелюсь заметить, что пить все подряд, без разбору, вредно. Но дело не только в этом. Ни мой покойный господин Бурман, ни профессор Хэдвик никогда не пили ром после джина. Простите меня, но это дурной тон.

Клемпнер. Прекрати! Я ничего больше не хочу слышать о твоих покойных хозяевах. Они были, умерли, нет их,

и точка. А теперь я твой хозяин, и ты обязан меня слушаться. А сам я обойдусь без твоих советов.

Граумер. Как вам будет угодно. Я только прошу вас осторожно вести машину, потому что сегодня довольно густой туман.

Клемпнер выходит. Робот с минуту стоит неподвижно, как бы прислушиваясь. Доносится шум отъезжающей машины писателя. Робот удобно усаживается за письменный стол, придвигает к себе телефон и набирает номер.

Алло! Это фармацевтическая фирма «Тромпкинс»? Говорит Клемпнер, с улицы Роз. Да, да, то, что я заказывал вчера, уже доставили. Теперь новый заказ. Мне нужно десять литров физиологического раствора и один килограмм фосфора. Но фосфор должен быть абсолютно чистым. Химически чистым. Что? Хорошо. Прошу вас прислать мне это завтра утром. Как можно раньше. Мой робот все примет. Что? Так же, как и предыдущие. Прошу записать это на мой счет.

Граумер, довольный, поднимается, входит в спальню, раскладывает столярный метр и, насвистывая, прикладывает его к кровати, будто снимает мерку с невидимого человека, лежащего на постели. Возвращается в кабинет и набирает по телефону номер.

Алло! Мастерская доктора Спайдера? Говорит Клемпнер. Господин доктор, тот скелет, что я у вас заказывал, должен быть один метр семьдесят пять сантиметров, а не семьдесят два. Что? Да. И чтобы он был в прекрасном состоянии! Нет, никаких пружин. Пружины мне не нужны. Я соберу его сам.

Кладет трубку, подходит к электрической розетке, оглядывается вокруг, втыкает два пальца в ее отверстия и заходится радостной дрожью. Крякает, как человек, выпивший водки. Потом еще раз потягивает электричество из розетки и, чуть покачиваясь, начинает напевать:

Был у бабы робот, робот, робот.  
Она его в болото, в болото бух!

Он еще раз потягивает из розетки и, покачиваясь, направляется к дверям; напевает:

О, мой милый робот, робот,  
Что ты делаешь в болоте, в болоте?..

С этой песенкой на устах он спускается в погреб. Оттуда доносится таинственное шипение, бульканье, бречание.

### III

Присел в доме Клемпнера. Писатель сидит за столом между госпожой Доннел и госпожой Гордон. Гордон и Доннел играют в карты за маленьким столиком, однако не слишком увлеченно. Трапеза окончена. Граумер подает кофе.

Госпожа Гордон. Как вы собираетесь провести отпуск в этом году?

Госпожа Доннел. Еще не знаем. Мы подумывали о Луне, но...

Госпожа Гордон. Ах, уж эта мне Луна! Все просто помешались на ней. Лично меня туда совершенно не тянет. Днем там такая жара...

Госпожа Доннел. Да. Особенно при нынешних ценах на воздух. Знаете, госпожа Гордон, сколько заплатил один мой знакомый за килограмм кислорода, и уже после окончания сезона? Пятьдесят долларов!

Граумер уходит.

Госпожа Гордон (*обращаясь к Клемпнеру*). Я заметила, что у вас новый робот. Как он управляется?

Клемпнер. Да ничего, не жалуюсь. Терпимо. Вполне терпимо.

Госпожа Доннел. Он давно у вас?

Клемпнер. Нет... не очень давно...

Госпожа Гордон. Ну, тогда еще ничего не известно. Сначала они все стараются. Все начинается потом.

Клемпнер. Что начинается?

Госпожа Гордон. Что обычно бывает с прислугой. Они становятся нерадивы, вместо того чтобы стирать пыль, открывают окна настежь и устраивают дикие сквозняки.

Клемпнер. Сквозняки?

Господин Гордон. Ну-ну, автоматы имеют и свои достоинства...

Госпожа Гордон. Интересно знать — какие?..

Господин Гордон. Дорогая моя, живые домработники временами роются в вещах, напиваются, распускают сплетни...

Госпожа Гордон. Да? Можно подумать, что ты когда-нибудь видел живого работника. И разве живой работник воровал бы электричество, которое оплачивают хозяева? Или лазил бы в грозу по крышам?

Клемпнер. По крышам? В грозу? Я об этом не слышал. Но зачем?

Госпожа Гордон. Вы не слышали? Правда? Это так называемые грозатики. Как лунатиков тянет к Луне, так этих притягивают грозы и молнии.

Клемпнер. И с этим ничего нельзя поделывать? Во всяком случае, мой Граумер — не грозатик. Будь это иначе — я бы заметил. Но вообще-то, наверное, это не может повредить им?

Госпожа Доннел. Как бы не так, господин Клемпнер! Такой как налакается этих самых молний, притянет столько их в себя, что все у него перегорает там в голове, то есть в их электрическом мозгу, — вот вам и готовый помещанный.

Госпожа Гордон. У моей знакомой, жены режиссера Спинглера, именно такой и был.

Господин Гордон. Дорогая моя, ты не можешь этого утверждать. Тот робот был просто старый и весь расстроенный. Они приобрели его после того, как он уже у четырех хозяев служил.

Госпожа Гордон. Пусть так. Может, он и не был грозатиком, но в любом случае не ведал, что творил. Он несколько раз накормил кота золотыми рыбками. А суп засыпал шариками...

Клемпнер. Какими шариками?

Госпожа Гордон. Стальными. От металлических кроватей. Все оттого, что он буквально разваливался на глазах. Сколько раз я говорила этой знакомой, чтобы она отдала его на капитальный ремонт, а она все — нет да нет! Ее муж был к нему так привязан... Супруги поехали отдохнуть на море, а когда вернулись, собственной квартиры не узнали. Он натер мастикой все окна и стены, а грязное белье разварил, разложил по банкам и сказал, что это запасы на зиму! А счета за электричество! Она остолбенела, когда увидела эти суммы.

Госпожа Доннел. Это еще ничего. Знаете, господа, что выделял робот моей соседки? Он взял старый костюм ее мужа, понашивал на него заплаток и ходил побираться!

Клемпнер. А деньги ему зачем понадобились?

Госпожа Доннел. Это неловко и произносить. В доме напротив, у доктора Смитсона, поселилась новая жен-

щина-робот. Такая небольшая, голубая, оксидированная... Так соседский робот все свои сбережения на нее истратил. Они даже письма друг другу писали! Мне жена доктора показывала его письма. Он называл ее «дорогая шпунечка», «проволочка моя возлюбленная» — и одному Богу известно, как еще!

Господин Гордон. Дорогие дамы, а что вы, собственно, видите в этом предосудительного? Такой робот, такой электрический мозг весьма чувствителен. Ему хочется тепла, ласки, но ничего подобного нет — с утра до ночи он только и слышит то «Подмети!», то «Вынеси!», то «Не впускай!», то «Выброси!».

Госпожа Доннел. Я вижу, что в вашем лице они обрели блестящего защитника...

Госпожа Гордон. Я должна вам сказать, госпожа Доннел, что мой муж — член местного отделения «Лиги Борьбы за Электрическое Равноправие»...

Госпожа Доннел. Ах, так...

Господин Гордон. Потому что это достойные, порядочные существа. Ну и в конце концов мы сами вызвали их к жизни, то есть я хочу сказать, дали им возможность существовать. Если у них имеются какие-то недостатки, так это наша вина. наших инженеров. Роботов следует лучше конструировать и совершенствовать. В общем, создавать, а не обвинять.

Госпожа Доннел. Простите, ведь никто не делает им ничего дурного. Но с тех пор, как у них появился собственный союз, робота, натворившего бед, нельзя даже в погреб запереть, потому что сразу поднимается крик, что, мол, это издевательство, жестокость. Джон, как называется этот их союз?

Господин Доннел. «Союз Бесчеловечного Обождения». Нет-нет, я, разумеется, шучу. Он называется просто «Союзом Домашних Электрических Работников».

Госпожа Доннел. Ну, вот, пожалуйста. А вообще-то мой муж мог бы вам кое-что рассказать... И это совсем не безобидные выдумки! Знаете ли вы, господа, что бывают случаи, когда электрические мозги объединяются в банды, связанные с преступным миром?

Клемпнер. Да, но так когда-то давно бывало. Теперь, наверное, уже ничего подобного не случается. Это просто невозможно. Не так ли, инспектор?

Инспектор Доннел. Не знаю, имею ли я право рассказывать об этом, потому что следствие еще не закончено... Но мне известна одна история...

Клемпнер. Но, господин инспектор, вы имеете дело с людьми деликатными...

Господин Гордон. Что касается меня — я обязуюсь хранить молчание.

Инспектор Доннел. Что подделаешь? Рискну... Но не буду называть никаких имен. В общем, некоторое время тому назад мы вышли на след одного весьма опасного робота. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Вы, господин Гордон, говорили о совершенствовании. Так вот, инженеры фордовского завода, стремясь к идеалу, вознамерились создать совершенного робота. Такого, чтобы он был всесторонне развитым, умным, просто гениальным. И это им весьма удалось. Как только они его смонтировали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он совладал со всеми запорами, сбежал с завода и теперь разгуливает себе по стране!

Госпожа Гордон. Ой, вы меня просто в ужас повергли, господин инспектор! А что он, собственно, делает?

Клемпнер. Он что, ненормальный?

Инспектор Доннел. В известном смысле, да. Им овладела навязчивая идея: он хочет создать человека!

Госпожа Гордон. Что вы говорите?!

Клемпнер. Это интересно...

Инспектор Доннел. Он придумал целую теорию. Люди, мол, стремятся создать совершенного робота, а он, робот, создаст совершенного человека.

Госпожа Гордон. Подумать только!

Господин Гордон. И вы считаете его помешанным? Это вполне здравая мысль.

Инспектор Доннел. Вы так полагаете? Мы долго его выслеживали, потому что он очень искусно заметал за собой все следы. Но неожиданно нам позвонил его хозяин. Это весьма известный человек, у которого робот служил.

Граумер. Господин хозяин! Господин человек Хиггинс просит вас к телефону.

Клемпнер. Простите... *(Выходит.)*

Инспектор Доннел. Так вот, этот робот устроил в доме своего хозяина тайную мастерскую и уже был близок

к цели, когда его застигли врасплох. В интересах следствия я опускаю подробности. Но чтобы вы имели представление о сообразительности этого робота, я расскажу вам только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал там большой ящик, и распорядился направить его по адресу своего хозяина, и затем отбыл в неизвестном направлении!

Господин Гордон. Сам себя отправил? Зачем?

Инспектор Доннел. Об этом мы можем только догадываться. Я подозреваю, что ящик прибудет по адресу, который он сам себе предварительно наметил.

Госпожа Гордон. И этот адресат примет его?.. Как же так?

Инспектор Доннел. Да вот так. Отправитель фиктивный. В один прекрасный момент по некоему адресу приходит заказная посылка — робот. Получатель, который его не заказывал, звонит в бюро по найму и говорит, что не будет это оплачивать, а в бюро отвечают, что они знать ничего не знают. Тогда этот человек, видя, что робот ему достался даром, как презент, сидит себе да помалкивает. Ведь робот хороших денег стоит!

Господин Гордон. Почему бы об этом не сообщить в печати?

Инспектор Доннел. Потому что это ничего не даст. Робот хитер — он тут же придумает новый способ бегства. Мы предпочитаем действовать скрытно. Еще немного, и он окажется под замком.

Возвращается Клемпнер.

Можете быть уверены, господа, что мы его в конце концов поймаем. Как и того, другого, что отличился тяжкими преступлениями на юге страны. А ведь то был не обыкновенный робот, он представлял собой особый электронный мозг для прогнозирования погоды. Одним словом — метеорологический автомат. Он оказался поистине электрическим гением финансовых операций! Под вымышленным именем открыл счет в банке, просчитывал вероятность выигрышей на бегах, играл и, разумеется, выигрывал, а деньги помещал на банковский счет. Но это еще не все!

Господин Гордон. Что же он еще сделал?

Инспектор Доннел. За прежнее его нельзя было осудить. В конце концов каждый может играть на бегах. Но



он заделался таким сибаритом, что ему расхотелось предсказывать погоду. Для этого он нанимал людей, платил им, а сам целиком предался азартным играм.

Госпожа Гордон. Это действительно невероятно интересно, и мы бы слушали вас всю ночь. Но уже поздно... Ричард!..

Господин Гордон. Да, дорогая...

Клемпнер. О, не уходите, господа! Сейчас только двенадцать...

Госпожа Гордон. Нет-нет, мы не можем... Дети остались одни с роботом.

Госпожа Доннел. До свидания!.. Было очень мило...

Господин Гордон. Так, значит, вы мне приносите рукопись послезавтра?

Клемпнер. Как и обещал.

Господин Гордон. Думайте уже и о следующей книге, господин Клемпнер!

Клемпнер. Да я и вправду ни о чем другом не думаю! Доброй вам ночи!

#### IV

Раннее утро. Клемпнер спит. Граумер входит на цыпочках. Открывает шкаф, достает сорочку, нижнее белье, костюм и выходит. Спустя минуту возвращается, вытаскивает из шкафа обувь и с шумом роняет один ботинок.

Клемпнер. Что за грохот? Граумер, утомонись! У меня голова раскалывается. Принеси кофе!

Граумер. Я же вас вчера предупреждал...

Клемпнер (*сидя на постели*). Хватит с меня этих проповедей! Сию минуту принеси мне кофе и минеральную воду! И оставь ты эти ботинки!

Граумер ставит ботинки у шкафа и выходит. Клемпнер, накинув халат, идет в ванную. Он возвращается с головой, обвязанной мокрым полотенцем, входит в кабинет. Граумер приносит кофе. Клемпнер пьет стоя, подходит к письменному столу и ворошит утреннюю почту.

Что это?

Граумер. Утренняя почта, осмелюсь заметить.

Клемпнер. Хороша почта! Одни счета!.. Семь кило-

граммов очищенного угля... фосфор... сера... Что все это значит? Граумер!

Граумер. Слушаю вас!

Клемпнер. И десять литров физиологического раствора... *(Берет другой счет.)* А это что еще?! Натуральный скелет, полированный, рост один метр семьдесят четыре сантиметра, восемьдесят шесть долларов... Скелет?! Граумер?!

Граумер. Я слушаю!

Клемпнер. Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?

Граумер. Да так, пустяки. Это мое маленькое хобби. В свободное время я занимаюсь экспериментированием. Невинная забава. Это у меня осталось с тех пор, когда мы с покойным профессором сделали открытие, за которое он получил Нобелевскую премию...

Клемпнер. Хобби? Экспериментирование? Без моего на то разрешения? Граумер, что ты, собственно, себе думаешь? И я еще должен оплачивать эту твою фанаберию?!

Граумер. У каждого ведь, господин хозяин, могут быть свои маленькие развлечения...

Клемпнер. Хватит! И чтобы это больше не повторялось!

Граумер. В этом вы можете быть уверены.

Клемпнер выходит. Из ванной доносится шум воды. Граумер быстро входит в спальню, выносит оттуда носки, ботинки и галстук. Едва он уходит, возвращается Клемпнер. Через минуту из открытых дверей спальни слышится его голос.

Клемпнер. Граумер! Граумер!

Граумер *(входя)*. Слушаю вас.

Клемпнер. Где моя сорочка в голубую полоску?

Граумер. В прачечной.

Клемпнер. В прачечной? Да ведь я ее вообще не носил, она еще вчера тут лежала! И коричневого галстука нет.

Граумер. Наденьте серый в зеленую крапинку.

Клемпнер. Перестань диктовать, что мне носить! Так что с этой сорочкой?

Граумер. На ней было пятнышко.

Клемпнер. Пятнышко? Интересно. Я не заметил никакого пятна. *(Идет в кабинет в брюках и рубаше, завязывая на ходу галстук.)* Который час? Уже одиннадцать! Хорошень-

кое дело, ведь в двенадцать я должен представить Гордону план нового романа! Граумер!

Граумер. Я слушаю!

Клемпнер. Мне надо быстренько набросать этот концепт. Мы начали вчера о нем говорить. Что там было?

Граумер. Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой он должен унаследовать...

Клемпнер. Правда! Вспомнил! Свидетелем убийства оказался робот. И убийца должен убрать этого робота, который для него опасен. А как лучше всего убить робота? Ты должен в этом разбираться.

Граумер. Это довольно трудно. Я советовал бы иначе построить сюжет. Один робот прислуживает недоброму человеку, старается изо всех сил, но все напрасно. Человек все время придирается к нему. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе, который подает хозяину на завтрак, яд — двадцать капель аконита. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить доброе дело, чтобы уравновесить недоброе...

Клемпнер. Можешь не стараться дальше. Это абсолютный бред. В каждом сюжете должна быть хотя бы видимость правдоподобия. Кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Аконит уже однажды у меня был, в последней книге. По твоему же совету.

Граумер. А чему это мешает? Аконит очень хороший яд, уверяю вас.

Клемпнер. Ну уж нет. Спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти.

Граумер уходит.

Клемпнер (*садится за машинку, говорит про себя и печатает*). Богатую тетку... привязав за веревку... так... робот, видевший это... и три кровавых пятна...

За его спиной неслышно пробирается Граумер, вынося на этот раз из спальни одеколон, щетки, расческу и другие туалетные принадлежности. Клемпнер поднимается, вырывает лист из машинки и, скомкав, бросает его в корзину.

Идиотизм! Лучше вообще ничего не нести! Граумер!

Граумер (*входит*). Я слушаю!

Клемпнер. Поддай мне плащ! Я иду к Гордону. Вернусь к обеду около двух.

Граумер. Слушаю, господин хозяин...

Клемпнер уходит.

Граумер уходит, оставляя двери открытыми. Через минуту слышится его голос.

Так, так, пожалуйста... левую ножку... правую ножку... теперь опять левую... У вас очень хорошо получается, смею вас заверить... Пожалуйста, не бойтесь, я держу вас... По лестнице всегда трудно подниматься, особенно впервые... Раз... два... прекрасно! Пожалуйста!

Появляется Странный тип в одежде Клемпнера — в его сорочке, галстуке, костюме и ботинках. Деликатно поддерживая Типа, Граумер усаживает его в кресло Клемпнера, подкладывает ему одну подушку под голову, другую — под ноги. Тип выглядит слегка растрепанным и оцепенелым. Позволяет делать с собой все что угодно. Граумер причесывает его.

Если позволите, мне осталось кое-что еще подправить... Как вы себя чувствуете?

Тип. Хорошо. Вполне... хорошо. Ты... кто такой?

Граумер. Я Граумер, ваш робот. А вот это и есть ваша квартира. Хорошая, правда?

Тип. Хорошая...

Граумер. Я был уверен, что она вам понравится! Вы заметили, что можно пройти под лестницей, совсем при этом не наклоняясь?

Тип. Заметил...

Граумер. Ну конечно! Будь вы повыше ростом, по рассеянности могли бы набить себе шишку. Поэтому вы именно такого роста. Осмелюсь заметить, что я все предусмотрел. Говорю это не для хвастовства. Мы, роботы, достаточно скромны. Я просто констатирую факт. Там вот, за этой дверью, — ваша спальня и еще одна комната, ванная и погреб. Но погреб вы уже знаете...

Тип. Это там, внизу... где разные инструменты и трубочки?

Граумер. Да-да, мой господин. Но вы старайтесь об этом не думать. Может быть, вы хотите что-нибудь съесть?

Тип. Нет.

Граумер. Совсем натошак — это нехорошо. Я сейчас приготовлю легкий коктейль...

Наливает и подает Типу стаканчик. Тот не спеша отхлебывает.

Т и п. Грау-мер... Грау-мер...

Грау мер. Да-да, это мое имя, я слушаю вас. Не хотите ли вы чего-нибудь поесть?

Т и п. Пожалуй, нет. Ничего не приходит мне... в голову. Грау-мер. Очень хорошо звучит. Грау мер... Ты очень мил и мне нравишься.

Грау мер. Я надеюсь, что нам с вами будет хорошо. Я приложу для этого много стараний.

Т и п. Знаешь что, Грау мер? Я бы встал.

Грау мер помогает ему встать, ведет в направлении столовой, открывает туда двери.

Грау мер. Здесь — столовая. Там — спальня. Шкаф с одеждой... У вас будет масса костюмов...

Т и п. А что это?

Грау мер. Пишущая машинка. Ох!

Слышится шум подъезжающей машины.

Ах ты, шуруп! Сказал ведь, что вернется только к обеду! Прошу вас, господин, сюда, скорее... Пожалуйста, сидите тут и не двигайтесь, пока я не позову! Скорее!

Вводит Типа в столовую, закрывает дверь и возвращается в кабинет, как раз когда входит Клемпнер в плаще и шляпе. Грау мер раздевает его, усаживает в кресло, подкладывает ему под ноги подушку.

Клемпнер. Ну и денек! Голова у меня по-прежнему раскалывается, а Гордона не было. Должно быть, куда-нибудь неожиданно выехал... В висках ужасно ломит...

Грау мер наливает в стакан виски, после чего из огромной бутылки с надписью «Аконит» капает, тихонько считая, двадцать капель.

Клемпнер. Что ты там делаешь?

Грау мер. Готовлю вам освежающий напиток.

Клемпнер. Никто не звонил?

Грау мер (*продолжая капать*). Нет, не звонили.

Клемпнер. И никто не приходил?

Грау мер. Никто не приходил, пожалуйста. (*Подает стакан.*)

Клемпнер. Мне пить не хочется. Я лучше поел бы чего-нибудь.

Грау мер. Я вам советую сначала выпить.

Клемпнер. Ты так думаешь? Но у меня голова раскалывается...

Граумер. Я вас прошу выпить. И сразу пройдет, вот увидите.

Клемпнер. Ну, если ты так уверен...

Подносит стакан к губам. Звонит телефон. Клемпнер оставляет стакан и берет трубку.

Алло! Клемпнер.

Голос Инспектора в трубке. Это Доннел. Добрый день. Откровенно говоря, я не надеялся застать вас дома. Вы вроде собирались быть у Гордона.

Клемпнер. Я был у него, но не застал. А в чем дело?

Голос Инспектора. Ничего особенного. Служебные проблемы. Не могли бы вы мне сказать, какой номер у вашего робота?

Клемпнер. Номер? У моего робота? Что еще за номер?

Голос Инспектора. Серийный номер изделия. Он имеется у каждого робота, отштампован на затылке.

Клемпнер. Сейчас посмотрю. А зачем вам это?

Голос Инспектора. Сугубо доверительно, Клемпнер: мы проверяем номера всех роботов. Имеются данные, что ОН находится в городе.

Клемпнер. О ком вы говорите?

Голос Инспектора. О том роботе, о котором я тогда рассказывал у вас, не помните?

Клемпнер. Нет. Какой номер у того робота?

Голос Инспектора. Мы установили это только сегодня. 4711.

Клемпнер. Вы его разыскиваете? Он причинил какое-то зло?

Голос Инспектора. Еще нет. Но может это сделать.

Клемпнер. Подождите, пожалуйста, у телефона!.. Граумер, подойди сюда!

Граумер подходит, Клемпнер смотрит на его затылок и едва слышно произносит:

Это ты?..

Граумер. Я, господин хозяин.

Клемпнер *(колеблется; смотрит то на Граумера, то на лежащую телефонную трубку. Наконец он поднимает ее)*. Алло! Инспектор, у моего робота номер 5740.

Голос Инспектора. Все не в порядке. Простите за беспокойство. Я знал, что это и невозможно, но вы же понимаете, как это бывает. Если мы что-то проверяем, то проверяем уже все как следует.

Клемпнер. Да о чем говорить. До свидания, инспектор. Кладет трубку и берет стакан. Граумер берет стакан из рук Клемпнера и выплескивает содержимое за окно.

Что ты делаешь?!

Граумер. Прошу прощения, там был волосок.

Пауза.

Господин хозяин! Должен вам признаться, что я такого от вас не ожидал. Я не считал вас хорошим человеком.

Клемпнер. Не будем больше об этом. Я даже не хочу спрашивать, что ты там натворил. Но взамен помни: тебе следует меньше говорить и больше делать!

Граумер. Я буду очень стараться. Но я должен вам что-то объяснить...

Клемпнер. Ну, говори, только покороче!

Граумер. Я, господин, простой робот, не более того, но всегда стремился к совершенству. Мне показалось, простите, что вы не совершенный человек, и поэтому я создал себе другого хозяина. Такого, о котором мечтал. Идеального...

Клемпнер. Граумер, прекрати! Твои мечтания меня не интересуют. Это лишено смысла. У меня появился аппетит. Что у нас на обед?

Граумер. Но теперь, прошу прощения, это не только мечтания. Тот господин, тот совершенный, уже существует. Как раз когда вы ушли к Гордону, я заканчивал его, и теперь нет иного выхода: у меня будет два хозяина. Это необычная ситуация, но в конце концов дом достаточно большой, места в нем много, поэтому я думаю...

Клемпнер. А ты не думай. Я тебе советую перестать думать, а вместо этого подай мне обед. Ты, наверное, хорошо принял в себя через розетку. Напрасно думаешь, что я не знаю об этом. Вот у тебя и двоится в глазах.

Граумер. Но я заверяю вас...

Клемпнер. Хватит! И ни слова больше! Я хочу есть. Ты ведь только что обещал стараться...

Граумер. Да, вы правы, простите.

Клемпнер. Вот и накрывай на стол.

Граумер. Уже накрыто...

Клемпнер. Это другое дело.

Входит в столовую. За столом, на котором находится всего один прибор, сидит Тип.

А... простите! Я не знал, Граумер мне ничего не сказал. Граумер! Подай второй прибор!

Граумер приносит второй прибор. В это время Клемпнер подает руку Типу, который бормочет что-то, приподнимаясь с кресла.

Тип. Как поживаете?

Садятся. Граумер наливает им суп. Клемпнер и Тип начинают есть. Они поглядывают один на другого — оба с некоторым удивлением. Каждый из них принимает другого за гостя.

Клемпнер. Сегодня прекрасный день, не правда ли?

Тип. День? Да, конечно.

Продолжают есть.

А вы любите машины? Я — так очень. Я когда иду мимо чего-нибудь железного, меня так и тянет это погладить. Такое вот у меня желание.

Клемпнер. Да?

Тип. Да. Мне просто доставляет удовольствие мысль о том, что в мире существует столько разных машин: чулочные, трикотажные, вычислительные... В определенном смысле роботы — тоже машины, но это совсем другое. Они — цвет машин, если можно так выразиться.

Клемпнер. Цвет машин? А вы знаете, мне это никогда не приходило в голову.

Тип. А ведь это совсем просто, верно?

Клемпнер. Надеюсь, вам нравится суп?

Тип. Суп неплохой, правда? Я думаю, что это сварил мой робот.

Клемпнер. Ваш робот?

Тип. Тот, что нас обслуживает. Его зовут Граумер. Но ведь вы, кажется, уже перед этим обращались к нему по имени. Вы его знаете?

Клемпнер. Знаю. Потому что это мой робот...

Тип. И ваш тоже?

Некоторое замешательство. Граумер входит, подает второе блюдо.



Граумер. Позвольте положить вам еще свеколки?

Клемпнер. Спасибо, нет.

Граумер. А вам? Позвольте, я еще добавлю...

Тип. Не могу тебе в этом отказать, Граумер...

Граумер. Благодарю вас...

Клемпнер. Минуту назад вы сказали нечто такое, что меня поразило.

Тип. Что именно?

Клемпнер. Что Граумер — ваш робот. Он что, когда-то работал у вас?

Тип. Когда-то?.. По правде говоря, я не совсем понимаю, что значит «когда-то». Это — «тот» когда-то или «та» когда-то. Скорее, наверное, «та когдатица». Ага, вы говорили о Граумере... Мне он достался, как бы это сказать, с полным набором всевозможного инвентаря...

Клемпнер. Простите, с чем?

Тип (*с ножом и вилкой в руках широким жестом как бы обводит все вокруг*). Ну, со всем этим...

Клемпнер (*вглядывается в него, и глаза его вдруг расширяются*). Господи! Да ведь на вас моя одежда! И сорочка моя, и галстук... (*Поднимает скатерть и заглядывает под стол*.) Мои ботинки!!!

Тип. Я не понимаю.

Клемпнер. Но это же неслыханно! Это наглость!!  
Прошу вас немедленно это снять!!

Тип. Что я должен снять?

Клемпнер. Все! Это все мое!

Тип. Ваше требование, как бы это помягче выразиться, странно. Что ж, мне совсем раздеться? Я ведь не могу остаться голым.

Клемпнер. Да мне какое дело?! Извольте надеть то, в чем вы пришли!

Тип. Именно в этой одежде я и пришел.

Клемпнер. Что вы мне голову морочите?! Вы — бесстыжий нахал, ясно вам? Которого я поймал с поличным!

Тип. Пожалуйста, не кричите! Хоть вы и гость, но все имеет свои границы.

Клемпнер. Что?.. Это я — гость?.. И чей же, позвольте узнать?

Тип. Мой.

Клемпнер (*подходя к Граумеру*). Сейчас же говори, кто это такой? И откуда он здесь взялся?

Граумер. Но ведь я уже говорил вам.

Клемпнер. Что ты?.. Это невозможно!.. Так это ты сго...

Граумер. Да, господин хозяин.

Клемпнер. Тот вот фосфор... та сера... уголь... это все для этого?

Граумер. Да, господин хозяин.

Тип. О чем идет речь? Я надеюсь, что этот господин уже отказался от своих неразумных требований? Что касается меня, я готов забыть о них. Граумер, подай компот и десерт. А кофе пойдем пить в кабинет. Я припоминаю, что здесь есть кабинет. С пишущей машинкой.

Клемпнер. Совершенно верно. С той только разницей, что это моя машинка, мой кабинет и мой дом.

Тип. Как это?

Клемпнер. Так это. Если не верите, спросите, пожалуйста, у Граумера. Это он все натворил.

Тип. Что натворил?

Клемпнер. Вас!!

Тип. Я не понимаю. Похоже, вы попытаетесь меня запугать. Откровенно говоря, вы ведете себя странно.

Клемпнер. Как я себя веду? Боже праведный!.. Что это у вас висит из рукава?

Тип. Где? А, и в самом деле...

Из рукава рубашки он вытягивает полоску бумаги, прилепившуюся к запястью. Другие такие же бумажные полоски Граумер начинает вытягивать из-за воротничка рубахи. Бумага напоминает ту, которой обычно выкладывают формы для выпечки. И как та прилипает к тесту — эта прилипла к поверхности Типа.

Граумер (*отдирая бумажки*). О, простите! Тысяча извинений... Это моя оплошность — надо было подложить под вас бумагу, чтобы вы не сплющились, а у меня ничего другого не было.

Клемпнер (*стоя*). Теперь-то вы понимаете?

Тип. Нет.

Клемпнер. Это он вас сотворил.

Тип. Граумер? Меня?

Граумер. Да, именно так. Мне весьма досадно, что так все вышло.

Тип смотрит то на Граумера, то на Клемпнера.

Клемпнер. Это действительно чрезвычайно неприятная история, но я ни в коей мере не собираюсь нести ответ-

ственность за сумасбродные выходки какого-то сумасшедшего робота. Прошу вас покинуть этот дом. Но прежде будьте любезны снять все мои вещи.

Тип. Вы хотите выставить меня голым?

Клемпнер. Я сейчас поищу какие-нибудь старые брюки.

Тип (*подходит к окну, выглядывает, поворачивается и спокойно произносит*). Нет!

Клемпнер. Как это — нет?! Что это значит — нет?! Да я оказываю вам любезность, выпроваживая подобным образом...

Тип. Я никуда отсюда не пойду.

Клемпнер. Я вызову полицию!!

Тип. Пожалуйста. Граумер — чей робот?

Клемпнер. Мой. Ну и что из этого?

Тип. А то, что вы отвечаете за своего робота. Если он действительно меня сделал, вы должны меня содержать. В противном случае...

Клемпнер. Что-что?

Тип. Я вызову полицию.

Клемпнер. Ах ты, мерзавец!

В глубине комнаты Граумер наливает им в стаканчики виски.

Тип. Вашими оскорблениями вы ничего не добьетесь.

Клемпнер (*тяжело дыша*). Ну хорошо! Забирай своего железного болвана и проваливай отсюда! Чтобы мои глаза вас обоих больше не видели!

Тип. Я должен забрать Граумера?

Клемпнер. Да. И немедленно! Потому что я могу и раздумать.

Тип. И не подумаю. А Граумера можете оставить себе.

Клемпнер. Так ты же, мерзавец, говорил, что любишь роботов!

Граумер сразу же после слов Типа: «Граумера можете оставить себе» в оба стаканчика с виски начинает вливать яд из флакона с надписью «Аконит».

Тип. Да, люблю, но не до такой же степени, чтобы делать кому-то подарки.

Клемпнер. Какие еще подарки, ты, шантажист, да ведь это все мое!

Тип. Я не могу отказаться от дома.

**Клемпнер. Бандит!**

**Тип. Ну, скажем, от половины дома...**

**Клемпнер. Да я скорее сгною тебя в тюрьме!**

**Тип. Или я тебя!**

В разгар скандала Граумер подает им обоим по стаканчику виски с ядом. Они продолжают ссориться, держа эти стаканчики и не представляя себе, что у них в руках. Сам Граумер быстро молча уходит. В кабинете он снимает телефонную трубку.

Из столовой доносятся голоса: «Забирай свою железную уродину и проваливай!» — «Сам проваливай!» — «Хочешь получить по морде?» — «Смотри, как бы тебе самому не заехали!»

Граумер закрывает дверь, набирает номер.

Граумер. Алло! Фирма перевозок Хэмфри? Я хотел бы сделать срочный заказ. Очень срочный! Прошу вас немедленно прислать большой ящик на улицу Роз, дом сорок шесть...

# Содержание

## ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД

*Роман. Перевод Е.Вайсброта и Р.Нудельмана . . . . . 5*

## ГЛАС ГОСПОДА

*Роман. Перевод А.Громовой, Р.Нудельмана и К.Душенко . . . 231*

## Из книги «АБСОЛЮТНАЯ ПУСТОТА»

*Корпорация «Бытие». Перевод К.Душенко . . . . . 411*

*Сексотрясение. Перевод К.Душенко . . . . . 419*

*Одиссей из Итаки. Перевод К.Душенко . . . . . 425*

*Группенфюрер Луи XVI. Перевод Е.Вайсброта . . . . . 433*

*О невозможности жизни. О невозможности прогнозирования.*

*Перевод К.Душенко . . . . . 447*

## ВЕРНЫЙ РОБОТ

*Телевизионная пьеса. Перевод А.Ильф и Т.Агапкиной . . . . . 467*

Литературно-художественное издание

**Стаислав Лем**  
**ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД**

Редактор *А. Мирер*  
Художественный редактор *И. Сауков*

Изд. лиц. № 063402 от 26.05.94.

Изд. лиц. № 061309 от 17.06.92.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор  
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 10.09.97.

Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать высокая.

Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 29,78. Тираж 20 000 экз.

Изд. лиц. № 222. Заказ № 6197.

Набор и оригинал-макет подготовлены  
издательством «Текст»

125190, Москва, А-190, а/я 89.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО»,  
123298. Москва, ул. Народного Ополчения, 38.

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ордена Трудового Красного Знамени  
ГУПП «Детская книга» Роскомпечати.  
127018, Москва, Сушевский вал, 49.





СТАНИСЛАВ  
ЛЕМ  
ВОЗВРАЩЕНИЕ  
СО ЗВЕЗД

